В. ВЕРЕСАЕВ

3

В. ВЕРЕСАЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

3

ТОМ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1961

Подготовка текста
и примечания
М. П. Еремина.

НА ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ

Записки

I

ДОМА

Япония прервала дипломатические сношения с Россией. В порт-артурском рейде, темною ночью, среди мирно спавших боевых судов загремели взрывы японских мин. В далеком Чемульпо, после титанической борьбы с целою эскадрою, погибли одинокие «Варяг» и «Кореец»... Война началась.

Из-за чего эта война? Никто не знал. Полгода тянулись чуждые всем переговоры об очищении русскими Маньчжурии, тучи скоплялись все гуще, пахло грозою. Наши правители с дразнящею медлительностью колебали на весах чаши войны и мира. И вот Япония решительно бросила свой жребий на чашу войны.

Русские патриотические газеты закипели воинственным жаром. Они кричали об адском вероломстве и азиатском коварстве японцев, напавших на нас без объявления войны. Во всех крупных городах происходили манифестации. Толпы народа расхаживали по улицам с царскими портретами, кричали «ура», пели «Боже, царя храни!». В театрах, как сообщали газеты, публика настойчиво и единодушно требовала исполнения национального гимна. Уходившие на восток войска поражали газетных писателей своим бодрым видом и рвались в бой. Было похоже, будто вся Россия сверху донизу охвачена одним могучим порывом одушевления и негодования.

Война была вызвана, конечно, не Японией, война всем была непонятна своею ненужностью,— что до того? Если у каждой клеточки живого тела есть свое отдельное, маленькое сознание, то клеточки не станут спрашивать, для

чего тело вдруг вскочило, напрягается, борется; кровяные тельца будут бегать по сосудам, мускульные волокна будут сокращаться, каждая клеточка будет делать, что ей предназначено; а для чего борьба, куда наносятся удары,— это дело верховного мозга. Такое впечатление производила и Россия: война была ей ненужна, непонятна, но весь ее огромный организм трепетал от охватившего его могучего подъема.

Так казалось издали. Но вблизи это выглядело иначе. Кругом, в интеллигенции, было враждебное раздражение отнюдь не против японцев. Вопрос об исходе войны не волновал, вражды к японцам не было и следа, наши неуспехи не угнетали; напротив, рядом с болью за безумно-ненужные жертвы было почти злорадство. Многие прямо заявляли, что для России полезнее всего было бы поражение. При взгляде со стороны, при взгляде непонимающими глазами, происходило что-то невероятное: страна борется, а внутри страны ее умственный цвет следит за борьбой с враждебно-вызывающим вниманием. Иностранцев это поражало, «патриотов» возмущало до дна души, они говорили о «гнилой, беспочвенной, космополитической русской интеллигенции». Но у большинства это вовсе не было истинным, широким космополитизмом, способным сказать и родной стране: «ты не права, а прав твой враг»; это не было также органическим отвращением к кровавому способу решения международных споров. Что тут, действительно, могло поражать, что теперь с особенною яркостью бросалось в глаза,— это та невиданно-глубокая, всеобщая вражда, которая была к начавшим войну правителям страны: они вели на борьбу с врагом, а сами были для всех самыми чуждыми, самыми ненавистными врагами.

Также и широкие массы переживали не совсем то, что им приписывали патриотические газеты. Некоторый подъем в самом начале был,— бессознательный подъем нерассуждающей клеточки, охваченной жаром загоревшегося борьбою организма. Но подъем был поверхностный и слабый, а от назойливо шумевших на сцене фигур ясно тянулись за кулисы толстые нити, и видны были направляющие руки.

В то время я жил в Москве. На масленице мне пришлось быть в Большом театре на «Риголетто». Перед увертюрою сверху и снизу раздались отдельные голоса, требовавшие гимна. Занавес взвился, хор на сцене спел

гимн, раздалось «bis» — спели во второй раз и в третий. Приступили к опере. Перед последним актом, когда все уже сидели на местах, вдруг с разных концов опять раздались одиночные голоса: «Гимн! Гимн!». Моментально взвился занавес. На сцене стоял полукругом хор в оперных костюмах, и снова казенные три раза он пропел гимн. Но странно было вот что: в последнем действии «Риголетто» хор, как известно, не участвует; почему же хористы не переоделись и не разошлись по домам? Как они могли предчувствовать рост патриотического одушевления публики, почему заблаговременно выстроились на сцене, где им в то время совсем не полагалось быть? Назавтра газеты писали: «В обществе замечается все больший подъем патриотических чувств; вчера во всех театрах публика дружно требовала исполнения гимна не только в начале спектакля, но и перед последним актом».

В манифестировавших на улицах толпах тоже наблюдалось что-то подозрительное. Толпы были немногочисленны, наполовину состояли из уличных ребят; в руководителях манифестаций узнавали переодетых околоточных и городовых. Настроение толпы было задирающее и грозно приглядывающееся; от прохожих требовали, чтоб они снимали шапки; кто этого не делал, того избивали. Когда толпа увеличивалась, происходили непредвиденные осложнения. В ресторане «Эрмитаж» толпа чуть не произвела полного разгрома; на Страстной площади конные городовые нагайками разогнали манифестантов, слишком пылко проявивших свои патриотические восторги.

Генерал-губернатор выпустил воззвание. Благодаря жителей за выраженные ими чувства, он предлагал прекратить манифестации и мирно приступить к своим занятиям. Одновременно подобные же воззвания были выпущены начальниками других городов, — и повсюду манифестации мгновенно прекратились. Было трогательно то примерное послушание, с каким население соразмеряло высоту своего душевного подъема с мановениями горячо любимого начальства... Скоро, скоро улицы российских городов должны были покрыться другими толпами, спаянными действительным общим подъемом, — и против *этого* подъема оказались бессильными не только отеческие мановения начальств, но даже его нагайки, шашки и пули.

В витринах магазинов ярко пестрели лубочные картины удивительно хамского содержания. На одной огром-

ный казак с свирепо ухмыляющеюся рожею сек нагайкою маленького, испуганно вопящего японца; на другой картинке живописалось, «как русский матрос разбил японцу нос»,— по плачущему лицу японца текла кровь, зубы дождем сыпались в синие волны. Маленькие «макаки» извивались под сапожищами лохматого чудовища с кровожадною рожею, и это чудовище олицетворяло Россию. Тем временем патриотические газеты и журналы писали о глубоко-народном и глубоко-христианском характере войны, о начинающейся великой борьбе Георгия Победоносца с драконом...

А успехи японцев шли за успехами. Один за другим выбывали из строя наши броненосцы, в Корее японцы продвигались все дальше. Уехали на Дальний Восток Макаров и Куропаткин, увозя с собою горы поднесенных икон. Куропаткин сказал свое знаменитое: «терпение, терпение и терпение»... В конце марта погиб с «Петропавловском» слепо-храбрый Макаров, ловко пойманный на удочку адмиралом Того. Японцы перешли через реку Ялу. Как гром, прокатилось известие об их высадке в Бицзыво. Порт-Артур был отрезан.

Оказывалось, на нас шли не смешные толпы презренных «макаков»,— на нас наступали стройные ряды грозных воинов, безумно храбрых, охваченных великим душевным подъемом. Их выдержка и организованность внушали изумление. В промежутках между извещениями о крупных успехах японцев телеграммы сообщали о лихих разведках сотника X. или поручика У., молодецки переколовших японскую заставу в десять человек. Но впечатление не уравновешивалось. Доверие падало.

Идет по улице мальчуган-газетчик, у ворот сидят мастеровые.

— Последние телеграммы с театра войны! Наши побили японца!

— Ладно, проходи! Нашли где в канаве пьяного японца и побили! Знаем!

Бои становились чаще, кровопролитнее; кровавый туман окутывал далекую Маньчжурию. Взрывы, огненные дожди из снарядов, волчьи ямы и проволочные заграждения, трупы, трупы, трупы,— за тысячи верст через газетные листы как будто доносился запах растерзанного и обожженного человеческого мяса, призрак какой-то огромной, еще невиданной в мире бойни.

В апреле я уехал из Москвы в Тулу, оттуда в деревню. Везде жадно хватались за газеты, жадно читали и расспрашивали. Мужики печально говорили:

— Теперь еще больше пойдут податей брать!

В конце апреля по нашей губернии была объявлена мобилизация. О ней глухо говорили, ее ждали уже недели три, но все хранилось в глубочайшем секрете. И вдруг, как ураган, она ударила по губернии. В деревнях людей брали прямо с поля, от сохи. В городе полиция глухою ночью звонилась в квартиры, вручала призываемым билеты и приказывала *немедленно* явиться в участок. У одного знакомого инженера взяли одновременно всю его прислугу: лакея, кучера и повара. Сам он в это время был в отлучке,— полиция взломала его стол, достала паспорты призванных и всех их увела.

Было что-то равнодушно-свирепое в этой непонятной торопливости. Людей выхватывали из дела на полном его ходу, не давали времени ни устроить его, ни ликвидировать. Людей брали, а за ними оставались бессмысленно разоренные хозяйства и разрушенные благополучия.

Наутро мне пришлось быть в воинском присутствии,— нужно было дать свой деревенский адрес на случай призыва меня из запаса. На большом дворе присутствия, у заборов, стояли телеги с лошадьми, на телегах и на земле сидели бабы, ребята, старики. Вокруг крыльца присутствия теснилась большая толпа мужиков. Солдат стоял перед дверью крыльца и гнал мужиков прочь. Он сердито кричал:

— Сказано вам, в понедельник приходи!.. Ступай, расходись!

— Да как же это так в понедельник?.. Забрали нас, гнали, гнали: «Скорей! Чтоб сейчас же явиться!»

— Ну, вот, в понедельник и являйся!

— В понедельник! — Мужики отходили, разводя руками.— Подняли ночью, забрали без разговоров. Ничего справить не успели, гнали сюда за тридцать верст, а тут — «приходи в понедельник». А нынче суббота.

— Нам к понедельнику и самим было бы способнее... А теперь где ж нам тут до понедельника ждать?

По всему городу стояли плач и стоны. Здесь и там вспыхивали короткие, быстрые драмы. У одного призванного заводского рабочего была жена с пороком сердца и пятеро ребят; когда пришла повестка о призыве, с женою

от волнения и горя сделался паралич сердца, и она тут же умерла; муж поглядел на труп, на ребят, пошел в сарай и повесился. Другой призванный, вдовец с тремя детьми, плакал и кричал в присутствии:

— А с ребятами что мне делать? Научите, покажите!.. Ведь они тут без меня с голоду передохнут!

Он был как сумасшедший, вопил и тряс в воздухе кулаком. Потом вдруг замолк, ушел домой, зарубил топором своих детей и воротился.

— Ну, теперь берите! Свои дела я справил.

Его арестовали.

Телеграммы с театра войны снова и снова приносили известия о крупных успехах японцев и о лихих разведках хорунжего Иванова или корнета Петрова. Газеты писали, что победы японцев на море неудивительны,— японцы природные моряки; но теперь, когда война перешла на сушу, дело пойдет совсем иначе. Сообщалось, что у японцев нет больше ни денег, ни людей, что под ружье призваны шестнадцатилетние мальчики и старики. Куропаткин спокойно и грозно заявил, что мир будет заключен только в Токио.

В начале июня я получил в деревне телеграмму с требованием немедленно явиться в воинское присутствие.

Там мне объявили, что я призван на действительную службу и должен явиться в Тамбов, в штаб 72 пехотной дивизии. По закону полагалось два дня на устройство домашних дел и три дня на обмундирование. Началась спешка,— шилась форма, закупались вещи. Что именно шить из формы, что покупать, сколько вещей можно с собою взять,— никто не знал. Сшить полное обмундирование в пять дней было трудно; пришлось торопить портных, платить втридорога за работу днем и ночью. Все-таки форма на день запоздала, и я поспешно, с первым же поездом, выехал в Тамбов.

Приехал я туда ночью. Все гостиницы были битком набиты призванными офицерами и врачами, я долго ездил по городу, пока в грязных меблированных комнатах на окраине города нашел свободный номер, дорогой и скверный.

Утром я пошел в штаб дивизии. Необычно было чувствовать себя в военной форме, необычно было, что встреч-

ные солдаты и городовые делают тебе под козырек. Ноги путались в болтавшейся на боку шашке.

Длинные, низкие комнаты штаба были уставлены столами, везде сидели и писали офицеры, врачи, солдаты-писаря. Меня направили к помощнику дивизионного врача.

— Как ваша фамилия?

Я сказал.

— Вы у нас в мобилизационном плане не значитесь,— удивленно возразил он.

— Я уж не знаю. Я вызван сюда, в Тамбов, с предписанием явиться в штаб 72 пехотной дивизии. Вот бумага.

Помощник дивизионного врача посмотрел мою бумагу, пожал плечами. Пошел куда-то, поговорил с каким-то другим врачом, оба долго копались в списках.

— Нет, нигде решительно вы у нас не значитесь! — объявил он мне.

— Значит, я могу ехать обратно? — с улыбкой спросил я.

— Подождите тут немного, я еще посмотрю.

Я стал ждать. Были здесь и другие врачи, призванные из запаса,— одни еще в статском платье, другие, как я, в новеньких сюртуках с блестящими погонами. Перезнакомились. Они рассказывали мне о невообразимой путанице, которая здесь царствует,— никто ничего не знает, ни от кого ничего не добьешься.

— Вста-ать!!! — вдруг повелительно прокатился по комнате звонкий голос.

Все встали, поспешно оправляясь. Молодцевато вошел старик-генерал в очках и шутливо гаркнул:

— Здравия желаю!

В ответ раздался приветственный гул. Генерал прошел в следующую комнату.

Ко мне подошел помощник дивизионного врача.

— Ну, наконец, нашли! В 38 полевом подвижном госпитале не хватает одного младшего ординатора, присутствие признало его больным. Вы вызваны на его место... Вот как раз ваш главный врач, представьтесь ему.

В канцелярию торопливо входил невысокий, худощавый старик в заношенном сюртуке, с почерневшими погонами коллежского советника. Я подошел, представился. Спрашиваю, куда мне нужно ходить, что делать.

— Что делать?.. Да делать нечего. Дайте в канцелярию свой адрес, больше ничего.

День за днем шел без дела. Наш корпус выступал на Дальний Восток только через два месяца. Мы, врачи, подновляли свои знания по хирургии, ходили в местную городскую больницу, присутствовали при операциях, работали на трупах.

Среди призванных из запаса товарищей-врачей были специалисты по самым разнообразным отраслям,— были психиатры, гигиенисты, детские врачи, акушеры. Нас распределили по госпиталям, по лазаретам, по полкам, руководясь мобилизационными списками и совершенно не интересуясь нашими специальностями. Были врачи, давно уже бросившие практику; один из них лет восемь назад, тотчас же по окончании университета, поступил в акциз и за всю свою жизнь самостоятельно не прописал ни одного рецепта.

Я был назначен в полевой подвижной госпиталь. К каждой дивизии в военное время придается по два таких госпиталя. В госпитале — главный врач, один старший ординатор и три младших. Низшие должности были замещены врачами, призванными из запаса, высшие —военными врачами.

Нашего главного врача, д-ра Давыдова, я видел редко: он был занят формированием госпиталя, кроме того, имел в городе обширную практику и постоянно куда-нибудь торопился. В штабе я познакомился с главным врачом другого госпиталя нашей дивизии, д-ром Мутиным. До мобилизации он был младшим врачом местного полка. Жил он еще в лагере полка, вместе с женою. Я провел у него вечер, встретил там младших ординаторов его госпиталя. Все они уже перезнакомились и сошлись друг с другом, отношения с Мутиным установились чисто товарищеские. Было весело, семейно и уютно. Я жалел и завидовал, что не попал в их госпиталь.

Через несколько дней в штаб дивизии неожиданно пришла из Москвы телеграмма: д-ру Мутину предписывалось сдать свой госпиталь какому-то д-ру Султанову, а самому немедленно ехать в Харбин и приступить там к формированию запасного госпиталя. Назначение было неожиданное и непонятное: Мутин уж сформировал здесь свой госпиталь, все устроил,— и вдруг это перемещение. Но, ко-

нечно, приходилось покориться. Еще через несколько дней пришла новая телеграмма: в Харбин Мутину не ехать, он снова назначается младшим врачом своего полка, какой и должен сопровождать на Дальний Восток; по приезде же с эшелоном в Харбин ему предписывалось приступить к формированию запасного госпиталя.

Обида была жестокая и незаслуженная. Мутин возмущался и волновался, осунулся, говорил, что после такого служебного оскорбления ему остается только пустить себе пулю в лоб. Он взял отпуск и поехал в Москву искать правды. У него были кое-какие связи, но добиться ему ничего не удалось: в Москве Мутину дали понять, что в дело замешана большая рука, против которой ничего нельзя поделать.

Мутин воротился к своему разбитому корыту — полковому околотку, а через несколько дней из Москвы приехал его преемник по госпиталю, д-р Султанов. Был это стройный господин лет за сорок, с бородкою клинышком и седеющими волосами, с умным, насмешливым лицом. Он умел легко заговаривать и разговаривать, везде сразу становился центром внимания и ленивым, серьезным голосом ронял остроты, от которых все смеялись. Султанов побыл в городе несколько дней и уехал назад в Москву. Все заботы по дальнейшему устройству госпиталя он предоставил старшему ординатору.

Вскоре стало известно, что из четырех сестер милосердия, приглашенных в госпиталь из местной общины Красного Креста, оставлена в госпитале только одна. Д-р Султанов заявил, что остальных трех он заместит сам. Шли слухи, что Султанов — большой приятель нашего корпусного командира, что в его госпитале, в качестве сестер милосердия, едут на театр военных действий московские дамы, хорошие знакомые корпусного командира.

Город был полон войсками. Повсюду мелькали красные генеральские отвороты, золотые и серебряные приборы офицеров, желто-коричневые рубашки нижних чинов. Все козыряли, вытягивались друг перед другом. Все казалось странным и чуждым.

На моей одежде были серебряные пуговицы, на плечах — мишурные серебряные полоски. На этом основании всякий солдат был обязан почтительно вытягиваться передо мною и говорить какие-то особенные, нигде больше не принятые слова: «так точно!», «никак нет!», «рад старать-

ся!» На этом же основании сам я был обязан проявлять глубокое почтение ко всякому старику, если его шинель была с красною подкладкою и вдоль штанов тянулись красные лампасы.

Я узнал, что в присутствии генерала я не имею права курить, без его разрешения не имею права сесть. Я узнал, что мой главный врач имеет право посадить меня на неделю под арест. И это без всякого права апелляции, даже без права потребовать объяснения по поводу ареста. Сам я имел подобную же власть над подчиненными мне нижними чинами. Создавалась какая-то особая атмосфера, видно было, как люди пьянели от власти над людьми, как их души настраивались на необычный, вызывавший улыбку лад.

Любопытно, как эта одурманивающая атмосфера подействовала на слабую голову одного товарища-врача, призванного из запаса. Это был д-р Васильев, тот самый старший ординатор, которому предоставил устраивать свой госпиталь уехавший в Москву д-р Султанов. Психически неуравновешенный, с болезненно-вздутым самолюбием, Васильев прямо ошалел от власти и почета, которыми вдруг оказался окруженным.

Однажды входит он в канцелярию своего госпиталя. Когда главный врач (пользующийся правами командира части) входил в канцелярию, офицер-смотритель обыкновенно командовал сидящим писарям: «встать!» Когда вошел Васильев, смотритель этого не сделал.

Васильев нахмурился, отозвал смотрителя в сторону и грозно спросил, почему он не скомандовал писарям встать. Смотритель пожал плечами.

— Это — только проявление известной вежливости, которую я волен вам оказывать, волен нет!

— Извините-с! Раз я исправляю должность главного врача, вы это по закону *обязаны* делать!

— Я такого закона не знаю!

— Ну, постарайтесь узнать, а пока отправляйтесь на двое суток под арест.

Офицер обратился к начальнику дивизии и рассказал ему, как было дело. Пригласили д-ра Васильева. Генерал, начальник его штаба и два штаб-офицера разобрали дело и порешили: смотритель был обязан крикнуть: «встать!» От ареста его освободили, но перевели из госпиталя в строй.

Когда смотритель ушел, начальник дивизии сказал д-ру Васильеву:

— Вы видите, я генерал. Я служу уж почти сорок лет, поседел на службе,— и до сих пор *ни разу* еще не посадил офицера под арест. Вы только что попали на военную службу, временно, на несколько дней получили власть,— и уж поспешили использовать эту власть в полнейшем ее объеме.

В мирное время нашего корпуса не существовало. При мобилизации он был развернут из одной бригады и почти целиком состоял из запасных. Солдаты были отвыкшие от дисциплины, удрученные думами о своих семьях, многие даже не знали обращения с винтовками нового образца. Они шли на войну, а в России оставались войска молодые, свежие, состоявшие из кадровых солдат. Рассказывали, что военный министр Сахаров сильно враждует с Куропаткиным и нарочно, чтобы вредить ему, посылает на Дальний Восток самые плохие войска. Слухи были очень настойчивы, и Сахарову в беседах с корреспондентами приходилось усиленно оправдываться в своем непонятном образе действий.

Я познакомился в штабе с местным дивизионным врачом; он по болезни уходил в отставку и дослуживал свои последние дни. Был это очень милый и добродушный старичок,— жалкий какой-то, жестоко поклеванный жизнью. Я из любопытства поехал с ним в местный военный лазарет на заседание комиссии, которая осматривала солдат, заявившихся больными. Мобилизованы были и запасные самых ранних призывов; перед глазами бесконечною вереницею проходили ревматики, эмфизематики, беззубые, с растяжением ножных вен. Председатель комиссии, бравый кавалерийский полковник, морщился и жаловался, что очень много «протестованных». Меня, напротив, удивляло, скольких явно больных заседавшие здесь военные врачи не «протестуют». По окончании заседания к моему знакомцу обратился один из врачей комиссии:

— Мы тут без вас признали одного негодным к службе. Посмотрите,— можно его освободить? Сильнейшее varicocele.

Ввели солдата.

— Спусти штаны! — резко, каким-то особенным, подозревающим голосом сказал дивизионный врач.— Эге! Это-то? Пу-устяки! Нет, нет, освободить нельзя!

— Ваше высокородие, я совсем ходить не могу,— угрюмо заявил солдат.

Старичок вдруг вскипел.

— Врешь! Притворяешься! Великолепно можешь ходить!.. У меня, брат, у самого еще больше, а вот хожу!.. Да это пустяки, помилуйте! — обратился он к врачу.— Это у большинства так... Мерзавец какой! Сукин сын!

Солдат одевался, с ненавистью глядя исподлобья на дивизионного врача. Оделся и медленно пошел к двери, расставляя ноги.

— Иди как следует! — заорал старик, бешено затопав ногами.— Чего раскорячился? Прямо ступай! Меня, брат, не надуешь!

Они обменялись взглядами, полными ненависти. Солдат вышел.

В полках старшие врачи, военные, твердили младшим, призванным из запаса:

— Вы незнакомы с условиями военной службы. Относитесь к солдатам построже, имейте в виду, что это не обычный пациент. Все они удивительные лодыри и симулянты.

Один солдат обратился к старшему врачу полка с жалобою на боли в ногах, мешающие ходить. Наружных признаков не было, врач раскричался на солдата и прогнал его. Младший полковой врач пошел следом за солдатом, тщательно осмотрел его и нашел типическую, резко выраженную плоскую стопу. Солдат был освобожден. Через несколько дней этот же младший врач присутствовал в качестве дежурного на стрельбе. Солдаты возвращаются, один сильно отстал, как-то странно припадает на ноги. Врач спросил, что с ним.

— Ноги болят. Только болезнь нутряная, снаружи не видно,— сдержанно и угрюмо ответил солдат.

Врач исследовал,— оказалось полное отсутствие коленных рефлексов. Разумеется, освободили и этого солдата.

Вот они, лодыри! И освобождены они были только потому, что молодой врач «не был знаком с условиями военной службы».

Нечего говорить, как жестоко было отправлять на войну всю эту немощную, стариковскую силу. Но прежде всего это было даже прямо нерасчетливо. Проехав семь тысяч верст на Дальний Восток, эти солдаты после первого же перехода сваливались. Они заполняли госпитали, этапы,

слабосильные команды, через один-два месяца — сами никуда уж не годные, не принесшие никакой пользы и дорого обошедшиеся казне,— эвакуировались обратно в Россию.

Город все время жил в страхе и трепете. Буйные толпы призванных солдат шатались по городу, грабили прохожих и разносили казенные винные лавки. Они говорили: «Пускай под суд отдают,— все равно помирать!» Вечером за лагерями солдаты напали на пятьдесят возвращавшихся с кирпичного завода баб и изнасиловали их. На базаре шли глухие слухи, что готовится большой бунт запасных.

С востока приходили все новые известия о крупных успехах японцев и о лихих разведках русских сотников и поручиков. Газеты писали, что победы японцев в горах неудивительны,— они природные горные жители; но война переходит на равнину, мы можем развернуть нашу кавалерию, и дело теперь пойдет совсем иначе. Сообщалось, что у японцев совсем уже нет ни денег, ни людей, что убыль в солдатах пополняется четырнадцатилетними мальчиками и дряхлыми стариками. Куропаткин, исполняя свой никому неведомый план, отступал к грозно укрепленному Ляояну. Военные обозреватели писали: «Лук согнулся, тетива напряглась до крайности,— и скоро смертоносная стрела с страшною силою полетит в самое сердце врага».

Наши офицеры смотрели на будущее радостно. Они говорили, что в войне наступает перелом, победа русских несомненна, и нашему корпусу навряд ли даже придется быть в деле: мы там нужны только, как сорок тысяч лишних штыков при заключении мира.

В начале августа пошли на Дальний Восток эшелоны нашего корпуса. Один офицер, перед самым отходом своего эшелона, застрелился в гостинице. На Старом Базаре в булочную зашел солдат, купил фунт ситного хлеба, попросил дать ему нож нарезать хлеб и этим ножом полоснул себя по горлу. Другой солдат застрелился за лагерем из винтовки.

Однажды зашел я на вокзал, когда уходил эшелон. Было много публики, были представители от города. Начальник дивизии напутствовал уходящих речью; он говорил, что прежде всего нужно почитать бога, что мы с богом начали войну, с богом ее и кончим. Раздался звонок, пошло прощание. В воздухе стояли плач и вой женщин. Пьяные

солдаты размещались в вагонах, публика совала отъезжающим деньги, мыло, папиросы.

Около вагона младший унтер-офицер прощался с женою и плакал, как маленький мальчик; усатое загорелое лицо было залито слезами, губы кривились и распускались от плача. Жена была тоже загорелая, скуластая и ужасно безобразная. На ее руке сидел грудной ребенок в шапочке из разноцветных лоскутков, баба качалась от рыданий, и ребенок на ее руке качался, как листок под ветром. Муж рыдал и целовал безобразное лицо бабы, целовал в губы, в глаза, ребенок на ее руке качался. Странно было, что можно так рыдать от любви к этой уродливой женщине, и к горлу подступали слезы от несшихся отовсюду рыданий и всхлипывающих вздохов. И глаза жадно останавливались на набитых в вагоны людях: сколько из них воротится? сколько ляжет трупами на далеких залитых кровью полях?

— Ну, садись, полезай в вагон! — торопили унтер-офицера. Его подхватили под руки и подняли в вагон. Он, рыдая, рвался наружу к рыдающей бабе с качающимся на руке ребенком.

— Разве солдат может плакать? — строго и упрекающе говорил фельдфебель.

— Ма-атушка ты моя ро-одненькая!..— тоскливо выли бабьи голоса.

— Отходи, отходи! — повторяли жандармы и оттесняли толпу от вагонов. Но толпа сейчас же опять приливала назад, и жандармы опять теснили ее.

— Чего стараетесь, продажные души? Аль не жалко вам? — с негодованием говорили из толпы.

— Не жалко? Нешто не жалко? — поучающе возражал жандарм.— А только так-то вот люди и режутся, и режут. И под колеса бросаются. Нужно смотреть.

Поезд двинулся. Вой баб стал громче. Жандармы оттесняли толпу. Из нее выскочил солдат, быстро перебежал платформу и протянул уезжавшим бутылку водки. Вдруг, как из земли, перед солдатом вырос комендант. Он вырвал у солдата бутылку и ударил ее о плиты. Бутылка разлетелась вдребезги. В публике и в двигавшихся вагонах раздался угрожающий ропот. Солдат вспыхнул и злобно закусил губу.

— Не имеешь права бутылку разбивать! — крикнул он на офицера.

— Что-о?

Комендант размахнулся и изо всей силы ударил солдата по лицу. Неизвестно откуда, вдруг появилась стража с ружьями и окружила солдата.

Вагоны двигались все скорее, пьяные солдаты и публика кричали «ура!». Безобразная жена унтер-офицера покачнулась и, роняя ребенка, без чувств повалилась наземь. Соседка подхватила ребенка.

Поезд исчезал вдали. По перрону к арестованному солдату шел начальник дивизии.

— Ты что это, голубчик, с офицерами вздумал ругаться, а? — сказал он.

Солдат стоял бледный, сдерживая бушевавшую в нем ярость.

— Ваше превосходительство! Лучше бы он у меня столько крови пролил, сколько водки... Ведь нам в водке только и жизнь, ваше превосходительство!

Публика теснилась вокруг.

— Его самого офицер по лицу ударил. Позвольте, генерал, узнать,— есть такой закон?

Начальник дивизии как будто не слышал. Он сквозь очки взглянул на солдата и раздельно произнес:

— Под суд, в разряд штрафованных — и порка!.. Увести его.

Генерал пошел прочь, повторив еще раз медленно и раздельно:

— Под суд, в разряд штрафованных — и порка!

II

В ПУТИ

Отходил наш эшелон.

Поезд стоял далеко от платформы, на запасном пути. Вокруг вагонов толпились солдаты, мужики, мастеровые и бабы. Монопольки уже две недели не торговали, но почти все солдаты были пьяны. Сквозь тягуче-скорбный вой женщин прорезывались бойкие переборы гармоники, шутки и смех. У электрического фонаря, прислонившись спиною к его подножью, сидел мужик с провалившимся носом, в рваном зипуне, и жевал хлеб.

Наш смотритель,— поручик, призванный из запаса,— в новом кителе и блестящих погонах, слегка взволнованный, расхаживал вдоль поезда.

— По ваго-онам! — раздался его надменно-повелительный голос.

Толпа спешно всколыхнулась. Стали прощаться. Шатающийся, пьяный солдат впился губами в губы старухи в черном платочке, приник к ним долго, крепко; больно было смотреть, казалось, он выдавит ей зубы; наконец, оторвался, ринулся целоваться с блаженно улыбающимся, широкобородым мужиком. В воздухе, как завывание вьюги, тоскливо переливался вой женщин, он обрывался всхлипывающими передышками, ослабевал и снова усиливался.

— Бабы! Прочь от вагонов! — грозно крикнул поручик, идя вдоль поезда.

Из вагона трезвыми и суровыми глазами на поручика смотрел солдат с русою бородкой.

— Баб наших, ваше благородие, вы гнать не смеете! — резко сказал он.— Вам над нами власть дадена, на нас и кричите. А баб наших не трогайте.

— Верно! Над бабами вам власти нету! — зароптали другие голоса.

Смотритель покраснел, но притворился, что не слышит, и более мягким голосом сказал:

— Запирай двери, поезд сейчас пойдет!

Раздался кондукторский свисток, поезд дрогнул и начал двигаться.

— Ура! — загремело в вагонах и в толпе.

Среди рыдающих, бессильно склонившихся жен, поддерживаемых мужчинами, мелькнуло безносое лицо мужика в рваном зипуне; из красных глаз мимо дыры носа текли слезы, и губы дергались.

— Ур-ра-а!!! — гремело в воздухе под учащавшийся грохот колес. В переднем вагоне хор солдат нестройно запел «Отче наш». Вдоль пути, отставая от поезда, быстро шел широкобородый мужик с блаженным красным лицом; он размахивал руками и, широко открывая темный рот, кричал «ура».

Навстречу кучками шли из мастерских железнодорожные рабочие в синих блузах.

— Вертайтесь, братцы, здоровы! — крикнул один. Другой взбросил фуражку высоко в воздух.

— Ура! — раздалось в ответ из вагонов.

Поезд грохотал и мчался вдаль. Пьяный солдат, высунувшись по пояс из высоко поставленного, маленького оконца товарного вагона, непрерывно все кричал «ура», его

профиль с раскрытым ртом темнел на фоне синего неба. Люди и здания остались назади, он махал фуражкою телеграфным столбам и продолжал кричать «ура».

В наше купе вошел смотритель. Он был смущен и взволнован.

— Вы слышали? Мне сейчас рассказывали на вокзале офицеры: говорят, вчера солдаты убили в дороге полковника Лукашева. Они пьяные стали стрелять из вагонов в проходившее стадо, он начал их останавливать, они его застрелили.

— Я это иначе слышал,— возразил я.— Он очень грубо и жестоко обращался с солдатами, они еще тут говорили, что убьют его в дороге.

— Да-а...— Смотритель помолчал, широко открытыми глазами глядя перед собою.— Однако нужно быть с ними поосторожнее...

В солдатских вагонах шло непрерывное пьянство. Где, как доставали солдаты водку, никто не знал, но водки у них было сколько угодно. Днем и ночью из вагонов неслись песни, пьяный говор, смех. При отходе поезда от станции солдаты нестройно и пьяно, с вялым надсадом, кричали «ура», а привыкшая к проходящим эшелонам публика молча и равнодушно смотрела на них.

Тот же вялый надсад чувствовался и в солдатском веселье. Хотелось веселиться вовсю, веселиться все время, но это не удавалось. Было пьяно, и все-таки скучно. Ефрейтор Сучков, бывший сапожник, упорно и деловито плясал на каждой остановке. Как будто службу какую-то исполнял. Солдаты толпились вокруг.

Длинный и вихрастый, в ситцевой рубашке, заправленной в брюки, Сучков станет, хлопнет в ладоши и, присев, пойдет под гармонику. Движения медленные и раздражающе-вялые, тело мягко извивается, как будто оно без костей, ноги, болтаясь, вылетают вперед. Потом он захватит руками носок сапога и продолжает плясать на одной ноге, тело все так же извивается, и странно,— как он, насквозь пьяный, удерживается на одной ноге? А Сучков вдруг подпрыгнет, затопает ногами,— и опять вылетают вперед болтающиеся ноги, и надоедливо-вяло извивается словно бескостное тело.

Кругом посмеиваются.

— Ты бы, дядя, повеселее!

— Слышь, земляк! Ступай за ворота! Наплачься раньше, а потом пляши!

— Есть одна колено, его только и показывает!—махнув рукою, говорит ротный фельдшер и отходит прочь.

Как будто и самого Сучкова начинает выводить из себя вялость его движений, бессильных разразиться лихою пляскою. Он вдруг остановится, топнет ногою и яростно заколотит себя кулаками в грудь.

— Ну-ка, еще по грудям стукни, что у тебя там звенело? — смеется фельдфебель.

— Буде плясать, оставь на завтра,— сурово говорят солдаты и лезут обратно в вагоны.

Но иногда,— нечаянно, сама собою,— вдруг на каком-нибудь полустанке вспыхивала бешеная пляска. Помост трещал под каблуками, сильные тела изгибались, приседали, подпрыгивали, как мячики, и в выжженную солнцем степь неслись безумно-веселые уханья и присвисты.

На Самаро-Златоустовской дороге нас нагнал командир нашего корпуса; он ехал в отдельном вагоне со скорым поездом. Поднялась суета, бледный смотритель взволнованно выстраивал перед вагонами команду, «кто в чем есть»,— так приказал корпусный. Самых пьяных убрали в дальние вагоны.

Генерал перешел через рельсы на четвертый путь, где стоял наш эшелон, и пошел вдоль выстроившихся солдат. К некоторым он обращался с вопросами, те отвечали связно, но старались не дышать на генерала. Он молча пошел назад.

Увы! На перроне, недалеко от вагона корпусного командира, среди толпы зрителей плясал Сучков! Он плясал и вызывал плясать с собою кокетливую, полногрудую горничную.

— Ты что ж, вареной колбасы хочешь? Что не пляшешь?

Горничная, посмеиваясь, ушла в толпу, Сучков бросился за нею.

— Ну, чертовка, ты у меня смотри! Я тебя заметил!..

Смотритель обомлел.

— Убрать его,— грозно прошипел он другим солдатам.

Солдаты подхватили Сучкова и потащили прочь. Сучков ругался, кричал и упирался. Корпусный и начальник штаба молча смотрели со стороны.

Через минуту главный врач стоял перед корпусным командиром, вытянувшись и приложив руку к козырьку. Генерал сурово сказал ему что-то и вместе с начальником штаба ушел в свой вагон.

Начальник штаба вышел обратно. Похлопывая изящным стеком по лакированному сапогу, он направился к главному врачу и смотрителю.

— Его высокопревосходительство объявляет вам строгий выговор. Мы обогнали много эшелонов, все представлялись в полном порядке! Только у вас вся команда пьяна.

— Г. полковник, ничего нельзя с ними поделать.

— Вы бы им давали книжки религиозно-нравственного содержания.

— Не помогает. Читают и все-таки пьют.

— Ну, а тогда...— Полковник выразительно махнул по воздуху стеком.— Попробуйте... Это великолепно помогает.

Был этот разговор не позже, как через две недели после высочайшего манифеста о полной отмене телесных наказаний.

Мы «перевалили через Урал». Кругом пошли степи. Эшелоны медленно ползли один за другим, стоянки на станциях были бесконечны. За сутки мы проезжали всего полтораста—двести верст.

Во всех эшелонах шло такое же пьянство, как и в нашем. Солдаты буйствовали, громили железнодорожные буфеты и поселки. Дисциплины было мало, и поддерживать ее было очень нелегко. Она целиком опиралась на устрашение,— но люди знали, что едут умирать, чем же их было устрашить? Смерть — так ведь и без того смерть; другое наказание,— какое ни будь, все-таки же оно лучше смерти. И происходили такие сцены.

Начальник эшелона подходит к выстроившимся у поезда солдатам. На фланге стоит унтер-офицер и... курит папироску.

— Это что такое? Ты — унтер-офицер! — не знаешь, что в строю нельзя курить?..

— Отчего же... пфф! пфф!.. отчего же это мне не курить? — спокойно спрашивает унтер-офицер, попыхивая папироскою. И ясно, он именно добивается, чтоб его отдали под суд.

У нас в вагоне шла своя однообразная и размеренная жизнь. Мы, четверо «младших» врачей, ехали в двух сосед-

них купе: старший ординатор Гречихин, младшие ординаторы Селюков, Шанцер и я. Люди все были славные, мы хорошо сошлись. Читали, спорили, играли в шахматы.

Иногда к нам заходил из своего отдельного купе наш главный врач Давыдов. Он много и охотно рассказывал нам об условиях службы военного врача, о царящих в военном ведомстве непорядках; рассказывал о своих столкновениях с начальством и о том, как благородно и независимо он держался в этих столкновениях. В рассказах его чувствовалась хвастливость и желание подладиться под наши взгляды. Интеллигентного в нем было мало, шутки его были циничны, мнения пошлы и банальны.

За Давыдовым по пятам всюду следовал смотритель, офицер-поручик, взятый из запаса. До призыва он служил земским начальником. Рассказывали, что, благодаря большой протекции, ему удалось избежать строя и попасть в смотрители госпиталя. Был это полный, красивый мужчина лет под тридцать,— туповатый, заносчивый и самовлюбленный, на редкость ленивый и нераспорядительный. Отношения с главным врачом у него были великолепные. На будущее он смотрел мрачно и грустно.

— Я знаю, с войны я не ворочусь. Я страшно много пью воды, а вода там плохая, непременно заражусь тифом или дизентерией. А то под хунхузскую пулю попаду. Вообще, воротиться домой я не рассчитываю.

Ехали с нами еще аптекарь, священник, два зауряд-чиновника и четыре сестры милосердия. Сестры были простые, мало интеллигентные девушки. Они говорили «колидор», «милосливый государь», обиженно дулись на наши невинные шутки и сконфуженно смеялись на двусмысленные шутки главного врача и смотрителя.

На больших остановках нас нагонял эшелон, в котором ехал другой госпиталь нашей дивизии. Из вагона своею красивою, лениво-развалистою походкой выходил стройный д-р Султанов, ведя под руку изящно одетую, высокую барышню. Это, как рассказывали,— его племянница. И другие сестры были одеты очень изящно, говорили по-французски, вокруг них увивались штабные офицеры.

До своего госпиталя Султанову было мало дела. Люди его голодали, лошади тоже. Однажды, рано утром, во время стоянки, наш главный врач съездил в город, купил сена, овса. Фураж привезли и сложили на платформе между нашим эшелоном и эшелоном Султанова. Из ок-

на выглянул только что проснувшийся Султанов. По платформе суетливо шел Давыдов. Султанов торжествующе указал ему на фураж.

— А у меня вот уж есть овес! — сказал он.

— Та-ак! — иронически отозвался Давыдов.

— Видите? И сено.

— И сено? Великолепно!.. Только я все это прикажу сейчас грузить в мои вагоны.

— Как это так?

— Так. Потому что это я купил.

— А-а... А я думал, мой смотритель.— Султанов лениво зевнул и обратился к стоявшей рядом племяннице: — Ну, что ж, пойдем на вокзал кофе пить!

Сотни верст за сотнями. Местность ровная, как стол, мелкие перелески, кустарник. Пашен почти не видно, одни луга. Зеленеют выкошенные поляны, темнеют копны и небольшие стожки. Но больше лугов нескошенных; рыжая, высохшая на корню трава клонится под ветром и шуршит семенами в сухих семенных коробочках. Один перегон в нашем эшелоне ехал местный крестьянский начальник, он рассказывал: рабочих рук нет, всех взрослых мужчин, включая ополченцев, угнали на войну; луга гибнут, пашни не обработаны.

Однажды под вечер, где-то под Каинском, наш поезд вдруг стал давать тревожные свистки и круто остановился среди поля. Вбежал денщик и оживленно сообщил, что сейчас мы чуть-чуть не столкнулись с встречным поездом. Подобные тревоги случались то-и-дело: дорожные служащие были переутомлены сверх всякой меры, уходить им не позволялось под страхом военного суда, вагоны были старые, изношенные; то загоралась ось, то отрывались вагоны, то поезд проскакивал мимо стрелки.

Мы вышли наружу. Впереди перед нашим поездом виднелся другой поезд. Паровозы стояли, выпучив друг на друга свои круглые фонари, как два врага, встретившиеся на узкой тропинке. В сторону тянулась кочковатая, заросшая осокою поляна; вдали, меж кустов, темнели копны сена.

Встречный поезд задним ходом двинулся обратно. Дал свисток и наш поезд. Вдруг вижу,— от кустов бежит через поляну к вагонам несколько наших солдат, и у каждого в руках огромная охапка сена.

— Эй! Бросьте сено! — крикнул я.

Они продолжали бежать к поезду. Из солдатских вагонов слышались поощрительные замечания.

— Нет уж! Добежали,— теперь сено наше!

Из окна вагона с любопытством смотрели главный врач и смотритель.

— Сейчас же бросить сено, слышите?! — грозно заорал я.

Солдаты побросали охапки на откос и с недовольным ворчанием полезли в двинувшийся поезд. Я, возмущенный, вошел в вагон.

— Черт знает, что такое! Здесь уж, у своих, начинается мародерство! И как бесцеремонно,— у всех на глазах!

— Да ведь тут сену цена грош, оно все равно сгниет в копнах,— неохотно возразил главный врач.

Я удивился:

— То есть, как это? Позвольте! Вы же вчера только слышали, что рассказывал крестьянский начальник: сено, напротив, очень дорого, косить его некому; интендантство платит по сорок копеек за пуд. А главное, ведь это же *мародерство*, этого в принципе нельзя допускать.

— Ну, да! Ну, да, конечно! Кто ж об этом спорит?— поспешно согласился главный врач.

Разговор оставил во мне странное впечатление. Я ждал, что главный врач и смотритель возмутятся, что они соберут команду, строго и решительно запретят ей мародерствовать. Но они отнеслись к происшедшему с глубочайшим равнодушием. Денщик, слышавший наш разговор, со сдержанною усмешкой заметил мне:

— Для кого солдат тащит? Для лошадей. Начальству же лучше,— за сено не платить.

Тогда мне вдруг стало понятно и то, что меня немножко удивило три дня назад: главный врач на одной маленькой станции купил тысячу пудов овса по очень дешевой цене; он воротился в вагон довольный и сияющий.

— Купил сейчас овес по сорок пять копеек! — с торжеством сообщил он.

Меня удивило,— неужели он так радуется, что сберег для казны несколько сот рублей? Теперь его восторг становился мне более понятным.

На каждой станции солдаты тащили все, что попадалось под руку. Часто нельзя было даже понять, для чего

это им. Попадается собака,— они подхватывают ее и водворяют на вагоне-платформе между фурами; через день-другой собака убегает, солдаты ловят новую. Как-то заглянул я на одну из платформ: в сене были сложены красная деревянная миска, небольшой чугунный котел, два топора, табуретка, шайки. Это все была добыча. На одном разъезде вышел я походить. У откоса стоит ржавая чугунная печка; вокруг нее подозрительно толкутся наши солдаты, поглядывают на меня и посмеиваются. Я поднялся в свой вагон, они встрепенулись. Через несколько минут я вышел опять. Печки на откосе нет, солдаты ныряют под вагоны, в одном из вагонов с грохотом передвигается что-то тяжелое.

— Живого человека стащат и спрячут! — весело говорит мне сидящий на откосе солдат.

Как-то вечером, на станции Хилок, я вышел из поезда, спрашиваю мальчика, нельзя ли где купить здесь хлеба.

— Там на горе еврей торгует, да он заперся.

— Отчего?

— Боится.

— Чего же боится?

Мальчик промолчал. Мимо шел солдат с чайником кипятку.

— Если днем тащим все, то ночью лавку вместе с жидом самим стащим! — на ходу объяснил он мне.

На больших остановках солдаты разводили костры и то варили суп из кур, взявшихся неизвестно откуда, то палили свинью, будто бы задавленную нашим поездом.

Часто они разыгрывали свои реквизиции по очень тонким и хитрым планам. Однажды мы долго стояли у небольшой станции. Худой, высокий и испитой хохол Кучеренко, остряк нашей команды, дурачился на полянке у поезда. Он напялил на себя какую-то рогожу, шатался, изображая пьяного. Солдат, смеясь, столкнул его в канаву. Кучеренко повозился там и полез назад; за собою он сосредоточенно тащил погнутый и ржавый железный цилиндр из-под печки.

— Каспада, сичас путит мусика!.. Пашалста, нэ мэшайт! — объявил он, изображая из себя иностранца.

Вокруг толпились солдаты и обитатели станционного поселка. Кучеренко, с рогожею на плечах, возился над своим цилиндром, как медведь над чурбаном. С величественно-серьезным видом он задвигал около цилиндра ру-

кою, как будто вертел воображаемую ручку шарманки, и хрипло запел:

Зачем ты, безумная... Трр... Трр... Уу-о!
Того, кто... уэз! Трр... Трр... завлекся... Трррр...

Кучеренко изображал испорченную шарманку до того великолепно, что все кругом хохотали: станционные жители, солдаты, мы. Сняв фуражку, он стал обходить публику.

— Каспада, пошалуйтэ пэдному тальянскому мусиканту за труды.

Унтер-офицер Сметанников сунул ему в руку камень. Кучеренко в недоумении покрутил над камнем головою и швырнул его в спину убегавшему Сметанникову.

— По вагонам! — раздалась команда. Поезд свистнул, солдаты стремглав бросились к вагонам.

На следующей остановке они варили на костре суп: в котле густо плавали куры и утки. Подошли две наших сестры.

— Не желаете ли, сестрицы, курятинки? — предложили солдаты.

— Откуда она у вас?

Солдаты лукаво посмеивались.

— Музыканту нашему за труды подали!

Оказалось, пока Кучеренко отвлекал на себя внимание жителей поселка, другие солдаты очищали их дворы от птичьей живности. Сестры начали стыдить солдат, говорили, что воровать нехорошо.

— Ничего нехорошего! Мы на царской службе, что ж нам есть? Вон, три дня уж горячей пищи не дают, на станциях ничего не купишь, хлеб невыпеченный. С голоду, что ли, издыхать?

— Мы что! — заметил другой.— А вон кирсановцы, так те целых две коровы стащили!

— Ну, вот представь себе: у тебя, скажем, дома одна корова; и вдруг свои же, православные, возьмут ее и сведут! Разве бы не обидно было тебе? То же вот и здесь: может быть, последнюю корову свели у мужика, он теперь убивается с горя, плачет.

— Э!..— Солдат махнул рукой.— А у нас нешто мало плачут? Везде плачут.

Когда мы были под Красноярском, стали приходить вести о Ляоянском бое. Сначала, по обычаю, телеграммы извещали о близкой победе, об отступающих японцах, о захваченных орудиях. Потом пошли телеграммы со смутными, зловещими недомолвками, и наконец — обычное сообщение об отступлении «в полном порядке». Жадно все хватались за газеты, вчитывались в телеграммы,— дело было ясно: мы разбиты и в этом бою, неприступный Ляоян взят, «смертоносная стрела» с «туго натянутой тетивы» бессильно упала на землю, и мы опять бежим.

Настроение в эшелонах было мрачное и подавленное.

Вечером мы сидели в маленьком зале небольшой станции, ели скверные, десяток раз подогретые щи. Скопилось несколько эшелонов, зал был полон офицерами. Против нас сидел высокий, с впалыми щеками штабс-капитан, рядом с ним молчаливый подполковник.

Штабс-капитан громко, на всю залу, говорил:

— Японские офицеры отказались от своего содержания в пользу казны, а сами перешли на солдатский паек. Министр народного просвещения, чтобы послужить родине, пошел на войну простым рядовым. Жизнью своею никто не дорожит, каждый готов все отдать за родину. Почему? Потому что у них есть идея. Потому что они знают, за что сражаются. И все они образованные, все солдаты грамотные. У каждого солдата компас, план, каждый дает себе отчет в заданной задаче. И от маршала до последнего рядового, все думают только о победе над врагом. И интендантство думает об этом же.

Штабс-капитан говорил то, что все знали из газет, но говорил так, как будто он все это специально изучил, а никто кругом этого не знает. У буфета шумел и о чем-то препирался с буфетчиком необъятно-толстый, пьяный капитан.

— А у нас что? — продолжал штабс-капитан.— Кто из нас знает, зачем война? Кто из нас воодушевлен? Только и разговоров, что о прогонах да о подъемных. Гонят нас всех, как баранов. Генералы наши то и знают, что ссорятся меж собою. Интендантство ворует. Посмотрите на сапоги наших солдат,— в два месяца совсем истрепались. А ведь принимало сапоги двадцать пять комиссий!

— И забраковать нельзя,— поддержал его наш главный врач.— Товар не перегорелый, не гнилой.

— Да. А в первый же дождь подошва под ногою разъезжается... Ну-ка, скажите мне, пожалуйста,— может такой солдат победить или нет?

Он громко говорил на всю залу, и все сочувственно слушали. Наш смотритель опасливо поглядывал по сторонам. Он почувствовал себя неловко от этих громких, небоящихся речей и стал возражать: вся суть в том, как сшит сапог, а товар интендантства прекрасный, он сам его видел и может засвидетельствовать.

— И как хотите, господа,— своим полным, самоуверенным голосом заявил смотритель.— Дело вовсе не в сапогах, а в духе армии. Хорош дух,— и во всяких сапогах разобьешь врага.

— Босой, с ногами в язвах, не разобьешь,— возразил штабс-капитан.

— А дух хорош? — с любопытством спросил подполковник.

— Мы сами виноваты, что нехорош! — горячо заговорил смотритель.— Мы не сумели воспитать солдата. Видите ли, ему *идея* нужна! Идея,— скажите, пожалуйста! И нас, и солдат должен вести воинский долг, а не идея. Не дело военного говорить об идеях, его дело без разговора идти и умирать.

Подошел шумевший у буфета толстый капитан. Он молча стоял, качался на ногах и пучил глаза на говоривших.

— Нет, господа, вы мне вот что скажите,— вдруг вмешался он.— Ну, как,— как я буду брать сопку?!.

Он разводил руками и с недоумением оглядывал свой огромный живот.

Назади остались степи, местность становилась гористою. Вместо маленьких, корявых березок кругом высились могучие, сплошные леса. Таежные сосны сурово и сухо шумели под ветром, и осина, красавица осени, сверкала средь темной хвои нежным золотом, пурпуром и багрянцем. У железнодорожных мостиков и на каждой версте стояли охранники-часовые. в сумерках их одинокие фигуры темнели среди глухой чащи тайги.

Проехали мы Красноярск, Иркутск, поздно ночью прибыли на станцию Байкал. Нас встретил помощник коменданта, приказано было немедленно вывести из вагонов людей и лошадей; платформы с повозками должны были идти на ледоколе неразгруженными.

До трех часов ночи мы сидели в маленьком, тесном зальце станции. В буфете нельзя было ничего получить, кроме чаю и водки, потому что в кухне шел ремонт. На платформе и в багажном зальце вповалку спали наши солдаты. Пришел еще эшелон; он должен был переправляться на ледоколе вместе с нами. Эшелон был громадный, в тысячу двести человек; в нем шли на пополнение частей запасные из Уфимской, Казанской и Самарской губерний; были здесь русские, татары, мордвины, все больше пожилые, почти старые люди.

Уже в пути мы приметили этот злосчастный эшелон. У солдат были малиновые погоны без всяких цифр и знаков, и мы прозвали их «малиновой командой». Команду вел один поручик. Чтобы не заботиться о довольствии солдат, он выдавал им на руки казенные 21 копейку и предоставлял им питаться, как хотят. На каждой станции солдаты рыскали по платформе и окрестным лавочкам, раздобывая себе пищи. Но на такую массу людей припасов не хватало. На эту массу не хватало не только припасов,— не хватало кипятку. Поезд останавливался, из вагонов спешно выскакивали с чайниками приземистые, скуластые фигуры и бежали к будочке, на которой красовалась большая вывеска: «кипяток бесплатно».

— Давай кипятку!

— Кипятку нет. Греют. Эшелоны весь разобрали.

Одни вяло возвращались обратно, другие, с сосредоточенными лицами, длинной вереницей стояли и ждали.

Иногда дождутся, чаще нет и с пустыми чайниками бегут к отходящим вагонам. Пели они на остановках и песни, пели скрипучими, жидкими тенорами, и странно: песни все были арестантские, однообразно-тягучие, тупо-равнодушные, и это удивительно подходило ко всему впечатлению от них.

Напрасно, напрасно в тюрьме я сижу,
Напрасно на волю святую гляжу.
Погиб я, мальчишка, погиб навсегда!
Годы за годами проходят лета...

В третьем часу ночи в черной мгле озера загудел протяжный свисток, ледокол «Байкал» подошел к берегу. По бесконечной платформе мы пошли вдоль рельсов к пристани. Было холодно. Возле шпал тянулась выстроенная попарно «малиновая команда». Обвешанные мешками, с винтовками к ноге, солдаты неподвижно стояли с

угрюмыми, сосредоточенными лицами; слышался незнакомый, гортанный говор.

Мы поднялись по сходням на какие-то мостки, повернули вправо, потом влево — и незаметно вдруг очутились на верхней палубе парохода; было непонятно, где же она началась. На пристани ярко сияли электрические фонари, вдали мрачно чернела сырая темь озера. По сходням солдаты взводили волнующихся, нервно-вздрагивающих лошадей, внизу, отрывисто посвистывая, паровозы вкатывали в пароход вагоны и платформы. Потом двинулись солдаты.

Они шли бесконечною вереницею, в серых, неуклюжих шинелях, обвешанные мешками, держа в руках винтовки прикладами к земле. В узком входе на палубу солдаты сбивались в кучу и останавливались. Сбоку на возвышении стоял какой-то инженер и, выходя из себя, кричал:

— Да не задерживай! Чего толчетесь?.. Ах, с-сукины дети! Иди вперед, чего стоишь?!

И солдаты, с понуренными головами, напирали. И следом шли, шли все новые,— однообразные, серые, угрюмые, как будто стадо овец.

Все было погружено, прогудел третий свисток. Пароход дрогнул и стал медленно подаваться назад. В громадном, неясном сооружении с высокими помостами образовался ровный овальный вырез,— и сразу стало понятно, где кончались помосты и начиналось тело парохода. Плавно подрагивая, мы понеслись в темноту.

В пароходном зале первого класса было ярко, тепло и просторно. Пахло паровым отоплением; и каюты были уютные, теплые. Пришел поручик в фуражке с белым околышем, ведущий «малиновую команду». Познакомились. Он оказался очень милым господином.

Мы вместе поужинали. Легли спать, кто в каютах, кто в столовой. На заре меня разбудил товарищ Шанцер.

— Викентий Викентьевич, вставайте! Не пожалеете! Давно вас хотел разбудить. Теперь, все равно, через двадцать минут приходим.

Я вскочил, умылся. В столовой было тепло. В окно виднелся лежащий на палубе солдат; он спал, привалившись головою к мешку, скорчившись под шинелью, с посиневшим от стужи лицом.

Мы вышли на палубу. Светало. Тусклые, серые волны мрачно и медленно вздымались, водная гладь казалась

выпуклою. По ту сторону озера нежно голубели далекие горы. На пристани, к которой мы подплывали, еще горели огни, а кругом к берегу теснились заросшие лесом горы, мрачные, как тоска. В отрогах и на вершинах белел снег. Черные горы эти казались густо закопченными, и боры на них — шершавою, взлохмаченною сажею, какая бывает в долго не чищенных печных трубах. Было удивительно, как черны эти горы и боры.

Поручик громко и восторженно восхищался. Солдаты, сидя у пароходной трубы, кутались в шинели и угрюмо слушали. И везде, по всей палубе, лежали, скорчившись под шинелями, солдаты, тесно прижимаясь друг к другу. Было очень холодно, ветер пронизывал, как сквозняк. Всю ночь солдаты мерзли под ветром, жались к трубам и выступам, бегали по палубе, чтобы согреться.

Ледокол медленно подплыл к пристани, вошел в высокое сооружение с овальным вырезом и опять слился с запутанными помостами и сходнями, и опять нельзя было понять, где кончается пароход и начинаются мостки. Явился помощник коменданта и обратился к начальникам эшелонов с обычными вопросами.

Конюхи сводили по сходням фыркающих лошадей, внизу подходили паровозы и брали с нижней палубы вагоны. Двинулись команды. Опять, выходя из себя, свирепо кричали на солдат помощник коменданта и любезный, милый поручик с белым околышем. Опять солдаты толклись угрюмо и сосредоточенно, держа прикладами к земле винтовки с привинченными острием вниз штыками.

— Ах, подлецы! Чего они толкутся?.. Да идите вы, сукины дети (так-то вас и так-то)! Чего стали?.. Эй, ты! Куда ящик с патронами несешь? Сюда с патронами!

Медленною бесконечною вереницею мимо двигались солдаты. Прошел, внимательно глядя вперед, пожилой татарин с слегка отвисшею губою и опущенными вниз углами губ; прошел скуластый, бородатый пермяк с изрытым оспою лицом. Все выглядели совсем как мужики, и странно было видеть в их руках винтовки. И они шли, шли, лица сменялись, и на всех была та же ушедшая в себя, как будто застывшая под холодным ветром, дума. Никто не оглядывался на крики и ругательства офицеров, словно это было чем-то таким же стихийным, как рвавшийся с озера ледяной ветер.

Совсем рассвело. Над тусклым озером бежали тяжелые, свинцовые тучи. От пристани мы перешли на станцию. По путям, угрожающе посвистывая, маневрировали паровозы. Было ужасно холодно. Ноги стыли. Обогреться было негде. Солдаты стояли и сидели, прижавшись друг к другу, с теми же угрюмыми, ушедшими в себя, готовыми на муку лицами.

Я ходил по платформе с нашим аптекарем. В огромной косматой папахе, с орлиным носом на худощавом лице, он выглядел не как смирный провизор, а совсем как лихой казак.

— Вы откуда, ребята? — спросил он солдат, сидевших кучкою у фундамента станции.

— Казанские... Есть Уфимские, Самарские...— неохотно ответил маленький, белобрысый солдат. На его груди, из-под повязанного через плечо полотнища палатки, торчал огромный ситный хлеб.

— Из Тимохинской волости есть, Казанской губернии?

Солдат просиял.

— Да мы тимохинские!

— Да ну?

— Ей-богу!.. Вот тоже он тимохинский!

— Каменку знаете?

— Н-нет... Никак нет! — поправился солдат.

— А Левашово?

— А как же! Мы туда на базар ездим! — с радостным удивлением отозвался солдат.

И с любовным, связывающим друг друга чувством они заговорили о родных местах, перебирали окрестные деревни. И здесь, в далекой стороне, на пороге кровавосмертного царства, они радовались именам знакомых деревень и тому, что и другой произносил эти имена, как знакомые.

В зале третьего класса стояли шум и споры. Иззябшие солдаты требовали от сторожа, чтобы он затопил печку. Сторож отказывался,— не имеет права взять дров. Его корили и ругали.

— Ну, и Сибирь ваша проклятая! — в негодовании говорили солдаты.— Глаза мне завяжи, я с завязанными глазами пешком домой бы пошел!

— Какая это моя Сибирь, я сам из России,— огрызался заруганный сторож.

— Что на него смотреть? Вон сколько дров наложено. Возьмем, да и затопим!

Но они не решились. Мы пошли к коменданту попросить дров, чтобы вытопить станцию: солдатам предстояло ждать здесь еще часов пять. Оказалось, выдать дрова совершенно невозможно, никак невозможно: топить полагается только с 1 октября, теперь же начало сентября. А дрова кругом лежали горами.

Подали наш поезд. В вагоне было морозно, зуб не попадал на зуб, руки и ноги обратились в настоящие ледяшки. К коменданту пошел сам главный врач требовать, чтобы протопили вагон. Это тоже оказалось никак невозможно: и вагоны полагается топить только с 1-го октября.

— Скажите мне, пожалуйста, от кого же это зависит разрешить протопить вагон теперь? — в негодовании спросил главный врач.

— Пошлите телеграмму главному начальнику тяги. Если он разрешит, я прикажу истопить.

— Виноват, вы, кажется, обмолвились! Не министру ли путей сообщения нужно послать телеграмму? А может быть, телеграмму нужно послать на высочайшее имя?

— Что ж, пошлите на высочайшее имя! — любезно усмехнулся комендант и повернул спину.

Наш поезд двинулся. В студеных солдатских вагонах не слышно было обычных песен, все жались друг к другу в своих холодных шинелях, с мрачными, посинелыми лицами. А мимо двигавшегося поезда мелькали огромные кубы дров; на запасных путях стояли ряды вагонов-теплушек; но их теперь по закону тоже не полагалось давать.

До Байкала мы ехали медленно, с долгими остановками. Теперь, по Забайкальской дороге, мы почти все время стояли. Стояли по пяти, по шести часов на каждом разъезде; проедем десять верст,— и опять стоим часами. Так привыкли стоять, что, когда вагон начинал колыхаться и грохотать колесами, являлось ощущение чего-то необычного; спохватишься,— уж опять стоим. Впереди, около станции Карымской, произошло три обвала пути, и дорога оказалась загражденною.

Было по-прежнему студено, солдаты мерзли в холодных вагонах. На станциях ничего нельзя было достать,— ни мяса, ни яиц, ни молока. От одного продовольствен-

ного пункта до другого ехали в течение трех-четырех суток. Эшелоны по два, по три дня оставались совсем без пищи. Солдаты из своих денег платили на станциях за фунт черного хлеба по девять, по десять копеек.

Но хлеба не хватало даже на больших станциях. Пекарни, распродав товар, закрывались одна за другою. Солдаты рыскали по местечку и *Христа-ради* просили жителей *продать* им хлеба.

На одной станции мы нагнали шедший перед нами эшелон с строевыми солдатами. В проходе между их и нашим поездом толпа солдат окружила подполковника, начальника эшелона. Подполковник был слегка бледен, видимо, подбадривал себя изнутри, говорил громким, командующим голосом. Перед ним стоял молодой солдат, тоже бледный.

— Как тебя звать? — угрожающе спросил подполковник.

— Лебедев.

— Второй роты?

— Так точно!

— Хорошо, ты у меня узнаешь. На каждой остановке галдеж! Я вам вчера говорил, берегите хлеб, а вы, что не доели, в окошко кидали... Где ж я вам возьму?

— Это мы понимаем, что тут хлеба нельзя достать,— возразил солдат.— А мы вчера ваше высокоблагородие просили, можно было на два дня взять... Ведь знали, сколько на каждом разъезде стоим.

— Молчать! — гаркнул подполковник.— Еще слово скажешь, велю тебя арестовать!.. По вагонам! Марш!

И он ушел. Солдаты угрюмо полезли в вагоны.

— Издыхай, значит, с голоду! — весело сказал один.

Их поезд тронулся. Замелькали лица солдат,— бледные, озлобленно-задумчивые.

Чаще стали встречные санитарные поезда. На остановках все жадно обступали раненых, расспрашивали их. В окна виднелись лежавшие на койках тяжелораненые,— с восковыми лицами, покрытые повязками. Ощущалось веяние того ужасного и грозного, что творилось там.

Спросил я одного раненого офицера,— правда ли, что японцы добивают наших раненых? Офицер удивленно вскинул на меня глаза и пожал плечами.

— А наши не добивают? Сколько угодно! Особенно ка-

заки. Попадись им японец,— по волоску всю голову выщиплют.

На приступочке солдатского вагона сидел сибирский казак с отрезанною ногою, с Георгием на халате. У него было широкое добродушное мужицкое лицо. Он участвовал в знаменитой стычке у Юдзятуня, под Вафангоу, когда две сотни сибирских казаков обрушились лавою на японский эскадрон и весь его перекололи пиками.

— Кони у них добрые,— рассказывал казак.— А вооружение плохое, никуда не гоже, одни шашки да револьверы. Как налетели мы с пиками,— они все равно, что безоружные, ничего с нами не могли поделать.

— Ты скольких заколол?

— Троих.

Он, с его славным, добродушным лицом,— он был участником этой чудовищной битвы кентавров!.. Я спросил:

— Ну, а как, когда колол,— ничего в душе не чувствовал?

— Первого неловко как-то было. Боязно было в живого человека колоть. А как проколол его, он свалился,— распалилась душа, еще бы рад десяток заколоть.

— А небось жалеешь, что ранен? Рад бы еще с япошкою подраться, а? — спросил наш письмоводитель, зауряд-чиновник.

— Нет, теперь о том думать, как ребятишек прокормить...

И мужицкое лицо казака омрачилось, глаза покраснели и налились слезами.

На одной из следующих станций, когда отходил шедший перед нами эшелон, солдаты, на команду «по вагонам!», остались стоять.

— По вагонам, слышите?! — грозно крикнул дежурный по эшелону.

Солдаты стояли. Некоторые полезли было в вагон, но товарищи стащили их назад.

— Не поедем дальше. Будет!

Явился начальник эшелона, комендант. Сначала они стали кричать, потом начали расспрашивать, в чем дело, почему солдаты не хотят ехать. Солдаты никаких претензий не предъявили, а твердили одно:

— Не желаем дальше ехать! — Их увещевали, говорили о послушании, о начальстве. Солдаты отвечали: — С начальством нашим, дай срок, мы еще разделаемся!

Восьмерых арестовали. Остальные сели в вагоны и поехали дальше.

Поезд шел мимо диких, угрюмых гор, пробираясь вдоль русла реки. Над поездом нависали огромные глыбы, тянулись вверх зыбкие откосы из мелкого щебня. Казалось, кашляни,— и все это рухнет на поезд. Лунною ночью мы проехали за станцией Карымскою мимо обвала. Поезд шел по наскоро сделанному новому пути. Он шел тихо-тихо, словно крадучись, словно боясь задеть за нависшие сверху глыбы, почти касавшиеся поезда. Ветхие вагоны поскрипывали, паровоз пыхтел редко, как будто задерживая дыхание. По правую сторону из холодной, быстрой реки торчали свалившиеся каменные глыбы и кучи щебня.

Здесь подряд произошло три обвала. Почему три, почему не десять, не двадцать? Смотрел я на этот наскоро, кое-как пробитый в горах путь, сравнивал его с железными дорогами в Швейцарии, Тироле, Италии, и становилось понятным, что будет и десять, и двадцать обвалов. И вспоминались колоссальные цифры стоимости этой первобытно-убогой, как будто дикарями проложенной дороги.

Вечером на небольшой станции опять скопилось много эшелонов. Я ходил по платформе. В голове стояли рассказы встречных раненых, оживали и одевались плотью кровавые ужасы, творившиеся *там*. Было темно, по небу шли высокие тучи, порывами дул сильный, сухой ветер. Огромные сосны на откосе глухо шумели под ветром, их стволы поскрипывали. Меж сосен горел костер, и пламя металось в черной тьме.

Вытянувшись друг возле друга, стояли эшелоны. Под тусклым светом фонарей на нарах двигались и копошились стриженые головы солдат. В вагонах пели. С разных сторон неслись разные песни, голоса сливались, в воздухе дрожало что-то могучее и широкое.

Вы спите, милые герои,
Друзья, под бурею ревущей,
Вас завтра глас разбудит мой,
На славу и на смерть зовущий...

Я ходил по платформе. Протяжные, мужественные звуки «Ермака» слабели, их покрыла однообразная, тягуче-унылая арестантская песня из другого вагона.

Взгляну, взгляну в эту миску,
Две капустинки плывут,

А за ними почередно
Плывет стадо черваков...

Из оставшегося назади вагона протяжно и грустно донеслось

За Русь святую погибая...

А тягучая арестантская песенка рубила свое:

Брошу ложку, сам заплачу,
Стану хлеба хоть глодать.
Арестант ведь не собака,
Он такой же человек.

Через два вагона вперед вдруг как будто кто-то крякнул от сильного удара в спину, и с удалым вскриком в тьму рванулись буйно-веселящие «Сени». Звуки крутились, свивались с уханьями и присвистами; в могучих мужских голосах, как быстрая змейка, бился частый, дробный, серебристо-стеклянный звон,— кто-то аккомпанировал на стакане. Притоптывали ноги, и песня бешено-веселым вихрем неслась навстречу суровому ветру.

Шел я назад,— и опять, как медленные волны, вздымались протяжные, мрачно-величественные звуки «Ермака». Пришел встречный товарный поезд, остановился. Эшелон с певцами двинулся. Гулко отдаваясь в промежутке между поездами, песня звучала могуче и сильно как гимн.

Сибирь царю покорена,
И мы не даром в свете жили...

Поезда остались назади,— и вдруг словно что-то надломилось в могучем гимне, песня зазвучала тускло и развеялась в холодной, ветряной тьме.

Утром просыпаюсь,— слышу за окном вагона детски-радостный голос солдата:

— Тепло!

Небо ясно, солнце печет. Во все стороны тускнеет просторная степь, под теплым ветерком колышется сухая, порыжелая трава. Вдали отлогие холмы, по степи маячат одинокие всадники-буряты, виднеются стада овец и двугорбых верблюдов. Денщик смотрителя, башкир Мохамедка, жадно смотрит в окно с улыбкою, расплывшеюся по плоскому лицу с приплюснутым носом.

— Мохамед, чего это ты?

— Вэрблуд! — радостно и конфузливо отвечает он, охваченный родными воспоминаниями.

И тепло, тепло. Не верится, что все эти дни было так тяжело, и холодно, и мрачно. Везде слышны веселые голоса. Везде звучат песни...

Все обвалы мы миновали, но ехали так же медленно, с такими же долгими остановками. По маршруту мы давно должны были быть в Харбине, но все еще ехали по Забайкалью.

Китайская граница была уже недалеко. И в памяти оживало то, что мы читали в газетах о хунхузах, об их зверино-холодной жестокости, о невероятных муках, которым они подвергают захваченных русских. Вообще, с самого моего призыва, наиболее страшное, что мне представлялось впереди, были эти хунхузы. При мысли о них по душе проходил холодный ужас.

На одном разъезде наш поезд стоял очень долго. Невдалеке виднелось бурятское кочевье. Мы пошли его посмотреть. Нас с любопытством обступили косоглазые люди с плоскими, коричневыми лицами. По земле ползали голые, бронзовые ребята, женщины в хитрых прическах курили длинные чубуки. У юрт была привязана к колышку грязно-белая овца с небольшим курдюком. Главный врач сторговал эту овцу у бурятов и велел им сейчас же ее зарезать.

Овцу отвязали, повалили на спину, на живот ей сел молодой бурят с одутловатым лицом и большим ртом. Кругом стояли другие буряты, но все мялись и застенчиво поглядывали на нас.

— Чего они ждут? Скажи, чтобы поскорее резали, а то наш поезд уйдет! — обратился главный врач к станционному сторожу, понимавшему по-бурятски.

— Они, ваше благородие, конфузятся. По-русски, говорят, не умеем резать, а по-бурятски конфузятся.

— Не все ли нам равно! Пусть режут, как хотят, только поскорее.

Буряты встрепенулись. Они прижали к земле ноги и голову овцы, молодой бурят разрезал ножом живой овце верхнюю часть брюха и запустил руку в разрез. Овца забилась, ее ясные, глупые глаза заворочались, мимо руки бурята ползли из живота вздутые белые внутренности. Бурят копался рукою под ребрами, пузыри внутренностей хлюпали от порывистого дыхания овцы, она задергалась

сильнее и хрипло заблеяла. Старый бурят с бесстрастным лицом, сидевший на корточках, покосился на нас и сжал рукою узкую, мягкую морду овцы. Молодой бурят сдавил сквозь грудобрюшную преграду сердце овцы, овца в последний раз дернулась, ее ворочавшиеся светлые глаза остановились. Буряты поспешно стали снимать шкуру.

Чуждые, плоские лица были глубоко бесстрастны и равнодушны, женщины смотрели и сосали чубуки, сплевывая наземь. И у меня мелькнула мысль: вот совсем так хунхузы будут вспарывать животы и нам, равнодушно попыхивая трубочками, даже не замечая наших страданий Я, улыбаясь, сказал это товарищам. Все нервно повели плечами, у всех как будто тоже уж мелькнула эта мысль.

Всего ужаснее казалось именно это глубокое безразличие. В свирепом сладострастии баши-бузука, упивающемся муками, все-таки есть что-то человеческое и понятное. Но эти маленькие, полусонные глаза, равнодушно смотрящие из косых расщелин на твои безмерные муки,— смотрящие и не видящие... Брр!..

Наконец мы прибыли на станцию Маньчжурия. Здесь была пересадка. Наш госпиталь соединили в один эшелон с султановским госпиталем, и дальше мы поехали вместе. В приказе по госпиталю было объявлено, что мы «перешли границу Российской империи и вступили в пределы империи Китайской».

Тянулись все те же сухие степи, то ровные, то холмистые, поросшие рыжею травою. Но на каждой станции высилась серая кирпичная башня с бойницами, рядом с нею длинный сигнальный шест, обвитый соломою; на пригорке — сторожевая вышка на высоких столбах. Эшелоны предупреждались относительно хунхузов. Команде были розданы боевые патроны, на паровозе и на платформах дежурили часовые.

В Маньчжурии нам дали новый маршрут, и теперь мы ехали точно по этому маршруту; поезд стоял на станциях положенное число минут и шел дальше. Мы уже совсем отвыкли от такой аккуратной езды.

Ехали мы теперь вместе с султановским госпиталем.

Один классный вагон занимали мы, врачи и сестры, другой — хозяйственный персонал. Врачи султановского госпиталя рассказывали нам про своего шефа, доктора Султанова. Он всех очаровывал своим остроумием и любезностью, а временами поражал наивно-циничною откро-

венностью. Сообщил он своим врачам, что на военную службу поступил совсем недавно, по предложению нашего корпусного командира; служба была удобная; он числился младшим врачом полка,— но то и дело получал продолжительные и очень выгодные командировки; исполнить поручение можно было в неделю, командировка же давалась на шесть недель; он получит прогоны, суточные, и живет себе на месте, не ходя на службу; а потом в неделю исполнит поручение. Воротится, несколько дней походит на службу,— и новая командировка. А другие врачи полка, значит, все время работали за него!

Султанов больше сидел в своем купе с племянницей Новицкой, высокой, стройной и молчаливой барышней. Она окружала Султанова восторженным обожанием и уходом, весь госпиталь в ее глазах как будто существовал только для того, чтобы заботиться об удобствах Алексея Леонидовича, чтобы ему вовремя поспело кофе и чтоб ему были к бульону пирожки. Когда Султанов выходил из купе, он сейчас же завладевал разговором, говорил ленивым, серьезным голосом, насмешливые глаза смеялись, и все вокруг смеялись от его острот и рассказов.

Две другие сестры султановского госпиталя сразу стали центрами, вокруг которых группировались мужчины. Одна из них, Зинаида Аркадьевна, была изящная и стройная барышня лет тридцати, приятельница султановской племянницы. Красиво-тягучим голосом она говорила о Баттистини, Собинове, о знакомых графах и баронах. Было совершенно непонятно, что понесло ее на войну. Про другую сестру, Веру Николаевну, говорили, что она невеста одного из офицеров нашей дивизии. От султановской компании она держалась в стороне. Была очень хороша, с глазами русалки, с двумя толстыми, близко друг к другу заплетенными косами. Видимо, она привыкла к постоянным ухаживаниям и привыкла смеяться над ухаживателями; в ней чувствовался бесенок. Солдаты ее очень любили, она всех их знала и в дороге ухаживала за заболевшими. Наши сестры совсем стушевались перед блестящими султановскими сестрами и поглядывали на них с скрытою враждою.

На станциях появились китайцы. В синих куртках и штанах, они сидели на корточках перед корзинами и продавали семечки, орехи, китайские печения и лепешки.

— Э, нада, капытан? Сьемячка нада?

— Липьёска, пьят копэк десьятка! Шибко саладка! — свирепо вопил бронзовый, голый по пояс китаец, выкатывая разбойничьи глаза.

Перед офицерскими вагонами плясали маленькие китайчата, потом прикладывали руку к виску, подражая нашему отданию «чести», кланялись и ждали подачки. Кучка китайцев, оскалив сверкающие зубы, неподвижно и пристально смотрела на румяную Веру Николаевну.

— Шанго́ (хорошо)? — с гордостью спрашивали мы, указывая на сестру.

— Эге! Шибко шанго!.. Карсиво! — поспешно отвечали китайцы, кивая головами.

Подходила Зинаида Аркадьевна. Своим кокетливым, красиво-тягучим голосом она, смеясь, начинала объяснять китайцу, что хотела бы выйти замуж за их дзянь-дзюня. Китаец вслушивался, долго не мог понять, только вежливо кивал головою и улыбался. Наконец понял.

— Дзянь-дзюнь?.. Дзянь-дзюнь?.. Твоя хо̀чу мадама дзянь-дзюнь?! Не-е, это дело не брыкается!

На одной станции я был свидетелем короткой, но очень изящной сцены. К вагону с строевыми солдатами ленивою походкою подошел офицер и крикнул:

— Эй, вы, черти! Пошлите ко мне взводного.

— Не черти, а люди! — сурово раздался из глубины вагона спокойный голос.

Стало тихо. Офицер остолбенел.

— Кто это сказал? — грозно крикнул он.

Из сумрака вагона выдвинулся молодой солдат. Приложив руку к околышу, глядя на офицера небоящимися глазами, он ответил медленно и спокойно:

— Виноват, ваше благородие! Я думал, что это солдат ругается, а не ваше благородие!

Офицер слегка покраснел; для поддержания престижа выругался и ушел, притворяясь, что не сконфужен.

Однажды вечером в наш поезд вошел подполковник пограничной стражи и попросил разрешения проехать в нашем вагоне несколько перегонов. Разумеется, разрешили. В узком купе с поднятыми верхними сиденьями, за маленьким столиком, играли в винт. Кругом стояли и смотрели.

Подполковник подсел и тоже стал смотреть.

— Скажите, пожалуйста,— в Харбин мы приедем вовремя, по маршруту? — спросил его д-р Шанцер.

Подполковник удивленно поднял брови.

— Вовремя?.. Нет! Дня на три, по крайней мере, запоздаете.

— Почему? Со станции Маньчжурия мы едем очень аккуратно.

— Ну, вот скоро сами увидите! Под Харбином и в Харбине стоит тридцать семь эшелонов и не могут ехать дальше. Два пути заняты поездами наместника Алексеева, да еще один — поездом Флуга. Маневрирование поездов совершенно невозможно. Кроме того, наместнику мешают спать свистки и грохот поездов, и их запрещено пропускать мимо. Все и стоит... Что там только делается! Лучше уж не говорить.

Он резко оборвал себя и стал крутить папиросу.

— Что же делается?

Подполковник помолчал и глубоко вздохнул.

— Видел на днях сам, собственными глазами: в маленьком, тесном зальце, как сельди в бочке, толкутся офицеры, врачи; истомленные сестры спят на своих чемоданах. А в большой, великолепный зал нового вокзала никого не пускают, потому что генерал-квартирмейстер Флуг совершает там свой послеобеденный моцион! Изволите видеть, наместнику понравился новый вокзал, и он поселил в нем свой штаб, и все приезжие жмутся в маленьком, грязном и вонючем старом вокзале!

Подполковник стал рассказывать. Видимо, у него много накипело в душе. Он рассказывал о глубоком равнодушии начальства к делу, о царящем повсюду хаосе, о бумаге, которая душит все живое, все, желающее работать. В его словах бурлило негодование и ненавидящая злоба.

— Есть у меня приятель, корнет приморского драгунского полка. Дельный, храбрый офицер, имеет Георгия за действительно лихое дело. Больше месяца пробыл он на разведках, приезжает в Ляоян, обращается в интендантство за ячменем для лошадей. «Без требовательной ведомости мы не можем выдать!» А требовательная ведомость должна быть за подписью командира полка! Он говорит: «Помилуйте, да я уж почти два месяца и полка своего не видел, у меня ни гроша нет, чтоб заплатить вам!» Так и не дали. А через неделю очищают Ляоян, и этот же корнет с своими драгунами жжет громадные за-

пасы ячменя!.. Или под Дашичао: солдаты три дня голодали, от интендантства на все запросы был один ответ: «Нет ничего!» А при отступлении раскрывают магазины и каждому солдату дают нести по ящику с консервами, сахаром, чаем! Озлобление у солдат страшное, ропот непрерывный. Ходят голодные, оборванные... Один мой приятель, ротный командир, глядя на свою роту, заплакал!.. Японцы прямо кричат: «Эй, вы, босяки! Удирайте!..» Что из всего этого выйдет, прямо подумать страшно. У Куропаткина одна только надежда,— чтоб восстал Китай.

— Китай? Что же это поможет?

— Как что? *Идея будет!..* Господа, ведь идеи у нас никакой нет в этой войне, вот в чем главный ужас! За что мы деремся, за что льем кровь? Ни я не понимаю, ни вы, ни тем более солдат. Как же при этом можно переносить все то, что солдат переносит?.. А восстанет Китай,— тогда все сразу станет понятно. Объявите, что армия обращается в казачество маньчжурской области, что каждый получит здесь надел,— и солдаты обратятся в львов. Идея появится!.. А теперь что? Полная душевная вялость, целые полки бегут... А мы — мы заранее торжественно объявили, что Маньчжурии мы не домогаемся, что делать нам в ней нечего!.. Влезли в чужую страну, неизвестно для чего, да еще миндальничаем. Раз уж начали подлость, то нужно делать ее вовсю, тогда в подлости будет хоть поэзия. Вот, как англичане: возьмутся за что,— все под ними запищит.

В узком купе одиноко горела свечка на карточном столике и освещала внимательные лица. Взлохмаченные усы подполковника, с торчащими кверху кончиками, сердито топорщились и шевелились. Наш смотритель опять коробился от этих громких небоящихся речей и опасливо косился по сторонам.

— Кто побеждает в бою? — продолжал подполковник.— Господа, ведь это азбука: побеждают сплоченные между собою люди, зажженные идеей. Идеи у нас нет и не может быть. А правительство с своей стороны сделало все, чтоб уничтожить и сплоченность. Как у нас составлены полки? Выхвачено из разных полков по пяти-шести офицеров, по сотне-другой солдат, и готово,— получилась «боевая единица». Мы, видите ли, хотели перед Европою яичницу сварить в цилиндре: вот, дескать, все корпуса на месте, а здесь сама собой выросла целая армия... А

как у нас раздаются здесь ордена! Все направлено к тому, чтоб убить всякое уважение к подвигу, чтоб вызвать к русским орденам полное презрение. Лежат в госпитале раненые офицеры, они прошли страду целого ряда боев. Среди них ходит ординарец наместника (их у него девяносто восемь человек!) и раздает белье. А в петлице у него — Владимир с мечами. Его спрашивают: «Вы за что это Владимира получили, за раздачу белья?»

Когда подполковник ушел, все долго молчали.

— Во всяком случае, характерно!—заметил Шанцер.

— И врал же он, боже ты мой! — с ленивою усмешкою сказал Султанов.— Всего вероятнее, наместник обошел его самого каким-нибудь орденом.

— Что много врал, это несомненно,— согласился Шанцер.— Хотя бы даже уж в этом: если в Харбине задерживаются десятки поездов, как бы мы могли ехать так аккуратно?

Назавтра проснулись мы,— наш поезд стоит. Давно стоит? Уж часа четыре. Стало смешно: неужели так быстро начинает сбываться предсказание пограничника?

Оно сбылось. Опять на каждой станции, на каждом разъезде пошли бесконечные остановки. Не хватало ни кипятку для людей, ни холодной воды для лошадей, негде было купить хлеба. Люди голодали, лошади стояли в душных вагонах не поенные... Когда по маршруту мы должны были быть уже в Харбине, мы еще не доехали до Цицикара.

Говорил я с машинистом нашего поезда. Он объяснил наше запоздание так же, как пограничник: поезда наместника загораживают в Харбине пути, наместник запретил свистеть по ночам паровозам, потому что свистки мешают ему спать. Машинист говорил о наместнике Алексееве тоже со злобою и насмешкою.

— Живет он в новом вокзале, поближе к своему поезду. Поезд его всегда наготове, чтоб в случае чего первым удрать.

Дни тянулись, мы медленно ползли вперед. Вечером поезд остановился на разъезде верст за шестьдесят от Харбина. Но машинист утверждал, что приедем мы в Харбин только послезавтра. Было тихо. Неподвижно покоилась ровная степь, почти пустыня. В небе стоял слегка мутный месяц, воздух сухо серебрился. Над Харбином громоздились темные тучи, поблескивали зарницы.

И тишина, тишина кругом... В поезде спят Кажется, и сам поезд спит в этом тусклом сумраке, и все, все спит спокойно и равнодушно. И хочется кому-то сказать: как можно спать, когда там тебя ждут так жадно и страстно!

Ночью я несколько раз просыпался. Изредка слышалось сквозь сон напряженное колыхание вагона, и опять все затихало. Как будто поезд судорожно корчился, старался прорваться вперед и не мог.

Назавтра в полдень мы были еще за сорок верст от Харбина.

Наконец приехали в Харбин. Наш главный врач справился у коменданта, сколько времени мы простоим.

— Не больше двух часов! Вы без пересадки едете прямо в Мукден.

А мы собирались кое-что закупить в Харбине, справиться о письмах и телеграммах, съездить в баню... Через два часа нам сказали, что мы поедем около двенадцати часов ночи, потом,— что не раньше шести часов утра. Встретили мы адъютанта из штаба нашего корпуса. Он сообщил, что все пути сильно загромождены эшелонами, и мы выедем не раньше, как послезавтра.

И почти везде в дороге коменданты поступали точно так же, как в Харбине. Решительнейшим и точнейшим образом они определяли самый короткий срок до отхода поезда, а мы после этого срока стояли на месте десятками часов и сутками. Как будто, за невозможностью проявить хоть какой-нибудь порядок на деле, им нравилось ослеплять проезжих строгою, несомневающеюся в себе сказкою о том, что все идет, как нужно.

Просторный новый вокзал бледно-зеленого цвета, в стиле модерн, был, действительно, занят наместником и его штабом. В маленьком, грязном, старом вокзале стояла толчея. Трудно было пробраться сквозь густую толпу офицеров, врачей, инженеров, подрядчиков. Цены на все были бешеные, стол отвратительный. Мы хотели отдать выстирать белье, сходить в баню,— обратиться за справками было не к кому. При любом научном съезде, где собираются всего одна-две тысячи людей, обязательно устраивается справочное бюро, дающее приезжему какие угодно указания и справки. Здесь же, в тыловом центре полумиллионной армии, приезжим предоставлялось наво-

дить справки у станционных сторожей, жандармов и извозчиков.

Поражало отсутствие элементарной заботливости власти об этой массе людей, заброшенных сюда этою же властью. Если не ошибаюсь, даже «офицерские этапы», лишенные самых простых удобств, всегда переполненные, были учреждены уже много позднее. В гостиницах за жалкий чулан платили в сутки по 4—5 рублей, и далеко не всегда можно было раздобыть номер; по рублю, по два платили за право переночевать в коридоре. В Телине находилось главное полевое военно-медицинское управление. Приезжало много врачей, вызванных из запаса «в распоряжение полевого военно-медицинского инспектора». Врачи являлись, подавали рапорт о прибытии,— и девайся, куда знаешь. Приходилось ночевать на полу в госпиталях, между койками больных.

В Харбине мне пришлось беседовать со многими офицерами разного рода оружия. О Куропаткине отзывались хорошо. Он импонировал. Говорили только, что он связан по рукам и по ногам, что у него нет свободы действий. Было непонятно, как сколько-нибудь самостоятельный и сильный человек может позволить связать себя и продолжать руководить делом. О наместнике все отзывались с удивительно единодушным негодованием. Ни от кого я не слышал доброго слова о нем. Среди неслыханно-тяжкой страды русской армии он заботился лишь об одном,— о собственных удобствах. К Куропаткину, по общим отзывам, он питал сильнейшую вражду, во всем ставил ему препятствия, во всем действовал наперекор. Эта вражда сказывалась даже в самых ничтожных мелочах. Куропаткин ввел для лета рубашки и кители цвета хаки,— наместник преследовал их и требовал, чтоб в Харбине офицеры ходили в белых кителях.

Особенно же все возмущались Штакельбергом. Рассказывали о его знаменитой корове и спарже, о том, как в бою под Вафангоу массу раненых пришлось бросить на поле сражения, потому что Штакельберг загородил своим поездом дорогу санитарным поездам; две роты солдат заняты были в бою тем, что непрерывно поливали брезент, натянутый над генеральским поездом,— в поезде находилась супруга барона Штакельберга, и ей было жарко.

— В конце концов, какие же у нас тут есть талантливые вожди? — спрашивал я офицеров.

— Какие... Вот, Мищенко разве... Да нет, что он! Кавалерист по недоразумению... А вот, вот: Стессель! Говорят, львом держится в Артуре.

Шли слухи, что готовится новый бой. В Харбине стоял тяжелый, чадный разгул; шампанское лилось реками, кокотки делали великолепные дела. Процент выбывавших в бою офицеров был так велик, что каждый ждал почти верной смерти. И в дико-пиршественном размахе они прощались с жизнью.

Через двое суток мы двинулись дальше на юг.

Кругом тянулись тщательно обработанные поля с каоляном и чумизою. Шла жатва. Везде виднелись синие фигуры работающих китайцев. У деревень на перекрестках дорог серели кумирни-часовенки, издали похожие на ульи.

Была вероятность, что нас прямо из вагонов двинут в бой. Офицеры и солдаты становились серьезнее. Все как будто подтянулись, проводить дисциплину стало легче. То грозное и зловещее, что издали охватывало душу трепетом ужаса, теперь сделалось близким, поэтому менее ужасным, несущим строгое, торжественное настроение.

III

В МУКДЕНЕ

Приехали. Конец пути!.. По маршруту мы должны были прибыть в десять утра, но приехали во втором часу дня. Поезд наш поставили на запасный путь, станционное начальство стало торопить с разгрузкой.

Застоявшиеся, исхудалые лошади выходили из вагонов, боязливо ступая на шаткие сходни. Команда копошилась на платформах, скатывая на руках фуры и двуколки. Разгружались часа три. Мы тем временем пообедали на станции, в тесном, людном и грязном буфетном зале. Невиданно-густые тучи мух шумели в воздухе, мухи сыпались в щи, попадали в рот. На них с веселым щебетаньем охотились ласточки, носившиеся вдоль стен зала.

За оградою перрона наши солдаты складывали на землю мешки с овсом; главный врач стоял около и считал мешки. К нему быстро подошел офицер, ординарец штаба нашей дивизии.

— Здравствуйте, доктор!.. Приехали?

— Приехали. Где нам прикажете стать?

— А вот я вас поведу. Для этого и выехал.

Часам к пяти все было выгружено, налажено, лошади впряжены в повозки, и мы двинулись в путь. Объехали вокзал и повернули вправо. Повсюду проходили пехотные колонны, тяжело громыхала артиллерия. Вдали синел город, кругом на биваках курились дымки.

Мы проехали версты три.

Навстречу, в сопровождении вестового, скакал смотритель султановского госпиталя.

— Господа, назад!

— Как назад? Что за пустяки! Нам ординарец из штаба сказал,— сюда.

Подъехали наш смотритель и ординарец.

— В чем дело?.. Сюда, сюда, господа,— успокоительно произнес ординарец.

— Мне в штабе старший адъютант сказал,— назад, к вокзалу,— возразил смотритель султановского госпиталя.

— Что за черт! Не может быть!

Ординарец с нашим смотрителем поскакали вперед, в штаб. Наши обозы остановились. Солдаты, не евшие со вчерашнего вечера, угрюмо сидели на краю дороги и курили. Дул сильный, холодный ветер.

Смотритель воротился один.

— Да, говорит: назад, в Мукден,— сообщил он.— Там полевой медицинский инспектор укажет, где стать.

— Может быть, опять придется возвращаться. Подождем тут,— решил главный врач.— А вы съездите к медицинскому инспектору, спросите,— обратился он к помощнику смотрителя.

Тот помчался в город.

— Начинается бестолочь... Что? Я вам не говорил? — зловеще произнес товарищ Селюков, и он как будто даже был рад, что его предсказание сбывается.

Длинный, тощий и близорукий, он сидел на вислоухом коне, сгорбившись и держа в воздухе повода обеими руками. Смирная животина завидела на повозке охапку сена и потянулась к ней. Селюков испуганно и неумело натянул поводья.

— Тпру-у-у!! — угрожающе протянул он, тараща чрез очки близорукие глаза. Но лошадь все-таки подошла к повозке, отдернула поводья и стала есть.

Шанцер, вечно веселый и оживленный, рассмеялся.

— Смотрю я на вас, Алексей Иванович... Что вы будете делать, когда нам придется удирать от японцев? — спросил он Селюкова.

— Черт ее, не слушается почему-то лошадь,— в недоумении сказал Селюков. Потом его губы, обнажая десны, изогнулись в сконфуженную улыбку.— Что буду делать! Как увижу, что близко японцы,— слезу с лошади и побегу, больше ничего.

Солнце садилось, мы всё стояли. Вдали, на железнодорожной ветке, темнел роскошный поезд Куропаткина, по платформе у вагонов расхаживали часовые. Наши солдаты, злые и иззябшие, сидели у дороги и, у кого был, жевали хлеб.

Наконец, помощник смотрителя приехал.

— Медицинский инспектор говорит, что ничего не знает.

— А черти бы их всех взяли!—сердито выругался главный врач.— Пойдем назад к вокзалу и станем там биваком. Что нам, всю ночь здесь в поле мерзнуть?

Обозы двинулись назад. Навстречу нам в широкой коляске ехал с адъютантом начальник нашей дивизии. Прищурив старческие глаза, генерал сквозь очки оглядел команду.

— Здорово, детки! — весело крикнул он.

— Здра... жла... ваш... сди...ство!!! — гаркнула команда.

Коляска, мягко качаясь на рессорах, покатила дальше. Селюков вздохнул.

— «Детки»... Лучше бы позаботился, чтобы деткам не мотаться без толку целый день.

Вдоль прямой дороги, шедшей от вокзала к городу, тянулись серые каменные здания казенного вида. Перед ними, по эту сторону дороги, было большое поле. На утоптанных бороздах валялись сухие стебли каоляна, под развесистыми ветлами чернела вокруг колодца мокрая, развороченная копытами земля. Наш обоз остановился близ колодца. Отпрягали лошадей, солдаты разводили костры и кипятили в котелках воду. Главный врач поехал разузнавать сам, куда нам двигаться или что делать.

Темнело, было холодно и неприютно. Солдаты разбивали палатки. Селюков, иззябший, с красным носом и щеками, неподвижно стоял, засунув руки в рукава шинели.

— Эх, хорошо бы теперь в Москве быть,— вздохнул он.— Напиться бы чайку, поехать на «Евгения Онегина».

Главный врач воротился.

— Завтра мы развертываемся,— объявил он.— Вот за дорогою два каменных барака. Сейчас там стоят госпитали 56 дивизии, завтра они снимаются, а мы становимся на их место.

И он пошел к обозу.

— Что нам здесь делать? Пойдемте, господа, туда, познакомимся с врачами,— предложил Шанцер.

Мы пошли к баракам. В небольшом каменном флигельке сидело за чаем человек восемь врачей. Познакомились. Сообщили им, между прочим, что завтра сменяем их.

У них вытянулись лица.

— Вот так-так!.. А мы только что начали устраиваться, думали, останемся надолго.

— А вы давно здесь?

— Как давно! Всего четыре дня назад приняли бараки.

Высокий и плотный врач, в кожаной куртке с погонами, разочарованно свистнул.

— Нет, господа, позвольте, а мы-то теперь как же?— спросил он.— Вы понимаете, при нас это будет уж пятая смена за месяц!

— Вы, товарищ, разве не этого госпиталя?

Он поднял ладонь и пожал плечами.

— Какое там! Это бы счастье было! Мы,— я и вот трое товарищей,— мы занимаем идеальнейше собачью должность. «Командированные в распоряжение полевого военно-медицинского инспектора». Вот нами и распоряжаются. Работал я в сводном госпитале в Харбине, заведывал палатою в девяносто коек. Вдруг, с месяц назад, получаю от полевого медицинского инспектора Горбацевича предписание,— немедленно ехать в Янтай. Говорит мне: «Возьмите с собою всего одну смену белья, вы едете только на четыре, на пять дней». Поехал, приезжаю в Мукден,—оказывается, Янтай уж отдан японцам. Оставили здесь, в Мукдене, при этом здании, тоже вот и трех товарищей,— и делаем мы ввосьмером работу, для которой довольно трех-четырех врачей. Госпитали каждую неделю сменяются, а мы остаемся; так что, можно сказать, прикомандированы к этому *зданию*,— засмеялся он.

— Но что же вы, заявляли о вашем положении?

— Конечно, заявляли. И инспектору госпиталей, и Гор-

бацевичу. «Вы здесь нужны, подождите!» А у меня одна смена белья; вот кожаная куртка, и даже шинели нет: месяц назад какие жары стояли! А теперь по ночам мороз! Просился у Горбацевича хоть съездить в Харбин за своими вещами, напоминал ему, что из-за него же сижу здесь раздетый. «Нет, нет, нельзя! Вы здесь нужны!» Заставил бы я его самого пощеголять в одной куртке!

Ночь мы промерзли в палатках. Дул сильный ветер, из-под полотнищ несло холодом и пылью. Утром напились чаю и пошли к баракам.

Возле бараков уж расхаживали, в сопровождении главных врачей, два генерала; один, военный, был начальник санитарной части Ф. Ф. Трепов, другой генерал, врач,— полевой военно-медицинский инспектор Горбацевич.

— Чтоб сегодня же оба госпиталя были сданы, слышите? — властно и настойчиво сказал военный генерал.

— Слушаю-с, ваше превосходительство!

Я вошел в барак. В нем все стояло вверх дном. Госпитальные солдаты увязывали вещи в тюки и выносили их к повозкам, от бивака подъезжал наш обоз.

— А вы теперь куда? — спросил я врачей, которых мы сменяли.

— Где-то за городом, в трех верстах, приказано стать в фанзах.

Огромный каменный барак с большими окнами был густо уставлен деревянными койками, и на всех лежали больные солдаты. И вот при таком-то положении дела происходила смена. И какая смена! Смена *всего*, кроме стен, коек и... больных! С больных снимали белье, из-под них вытаскивали матрацы; сняли со стен рукомойники, забрали полотенца, всю посуду, ложки. Мы одновременно доставали свои мешки для матрацев, но набить их было нечем. Послали помощника смотрителя купить чумизной соломы, а больные остались пока лежать на голых досках. Обед для больных варился,— этот обед мы *купили* у уходящего госпиталя.

Вошел один из врачей, «прикомандированных к зданию», и озабоченно сказал:

— Господа, вы торопите с обедом, к часу эвакуируемые больные должны быть на вокзале.

— Скажите, в чем тут вообще будет заключаться наше дело?

— Видите, с позиций и из окрестных частей сюда направляют больных и раненых, вы их осматриваете. Очень легких, которые выздоровеют в один-два дня, оставляете, а остальных эвакуируете на санитарные поезда вот с такими билетиками. Тут имя, звание больного, диагноз... Да, господа, самое важное! — спохватился он, и его глаза юмористически засмеялись.— Предупреждаю вас, начальство терпеть не может, когда врачи ставят диагноз «легкомысленно». По своему легкомыслию вы, наверно, большинству больных будете ставить диагнозы «дизентерия» и «брюшной тиф». Имейте в виду, что «санитарное состояние армии великолепно», что дизентерии у нас совсем нет, а есть «энтероколит», брюшной тиф возможен, как исключение, а вообще все — «инфлуэнца».

— Хорошая эта болезнь — инфлуэнца,— весело засмеялся Шанцер.— Памятник бы нужно поставить тому, кто ее изобрел!

— Спасительная болезнь... Вначале совестно было перед врачами санитарных поездов; ну, потом мы им объяснили, чтобы они всерьез наших диагнозов не принимали, что брюшной тиф мы распознать умеем, а только...

Пришли другие прикомандированные врачи. Было половина первого.

— Что же вы, господа, не собираете больных для эвакуации? К часу они обязательно должны быть на вокзале.

— Запоздали с обедом. Когда поезд уходит?

— Уходит-то он в шесть вечера, а только Трепов сердится, если опоздают хоть на четверть часа... Скорей, скорей, ребята, кончай обед! Кто пешком на вокзал назначен, собирайся к выходу!

Больные жадно доедали обед, а врач усиленно торопил их. Наши солдаты выносили на носилках слабых больных.

Наконец, эвакуируемая партия была отправлена. Привезли солому, начали набивать матрацы. В двери постоянно ходили, окна плохо закрывались; по огромной палате носился холодный сквозняк. На койках без матрацев лежали худые, изможденные солдаты и кутались в шинели.

Из угла с злобною, сосредоточенною ненавистью на меня смотрели из-под шинели черные, блестящие глаза.

Я подошел. На койке у стены лежал солдат с черною бородою и глубоко ввалившимися щеками.

— Тебе нужно что-нибудь? — спросил я.

— Час целый прошу воды попить! — ожесточенно ответил он.

Я сказал проходившей сестре милосердия. Она развела руками.

— Он уже давно просит. Я и главному врачу говорила, и смотрителю. Сырой воды нельзя давать,— кругом дизентерия, а кипяченой нету. В кухне были вмазаны котлы, но они принадлежали тому госпиталю, он их вынул и увез. А у нас еще не купили.

В приемную прибывали все новые партии больных. Солдаты были изможденные, оборванные, во вшах; некоторые заявляли, что не ели несколько дней. Шла непрерывная толчея, некогда и негде было присесть.

Пообедал я на вокзале. Воротился, прохожу через приемную мимо перевязочной. Там лежит на носилках охающий солдат-артиллерист. Одна нога в сапоге, другая — в шерстяном чулке, напитанном черной кровью; разрезанный сапог лежит рядом.

— Ваше благородие, явите милость, перевяжите!.. Полчаса здесь лежу.

— А что с тобой?

— Ногу переехало зарядным ящиком, как раз на камне.

Вошел наш старший ординатор Гречихин с сестрою милосердия, которая несла перевязочные материалы. Он был невысокий и полный, с медленною, добродушною улыбкою, и военная тужурка странно сидела на его сутулой фигуре земского врача.

— Вот, придется пока хоть так перевязать,— вполголоса обратился он ко мне, беспомощно пожав плечами.— Обмыть нечем: аптекарь не может приготовить раствора сулемы,— воды нет кипяченой... Черт знает, что такое!..

Я вышел. Навстречу мне шли два прикомандированных врача.

— Сегодня вы дежурите? — спросил меня один.

— Я.

Он, подняв брови, с улыбкою оглядел меня и покачал головою.

— Ну, смотрите! Налетите на Трепова, может выйти неприятность. Как же это вы без шашки?

Что такое? Без шашки? Ребяческим шутовством пахнуло от вопроса о какой-то шашке среди всей этой бестолочи и неурядицы.

— А как же! Вы находитесь при исполнении обязанностей, должны быть при шашке.

— Ну, нет, он теперь этого уж не требует,— примирительно заметил другой.— Понял, что врачу шашка мешает при перевязках.

— Не знаю... Меня он пригрозил посадить под арест за то, что я был без шашки.

А кругом шло все то же. Приходили сестры, заявляли, что нет мыла, нет подкладных суден для слабых больных.

— Так скажите же смотрителю.

— Говорили несколько раз. Но ведь вы знаете, какой он. «Спросите у аптекаря, а если у него нет,— у каптенармуса». Аптекарь говорит,— у него нет, каптенармус — тоже.

Отыскал я смотрителя. Он стоял у входа в барак с главным врачом. Главный врач только что воротился откуда-то и с оживленным, довольным лицом говорил смотрителю:

— Сейчас узнал,— справочная цена на овес—1 р. 85 к.

Увидев меня, главный врач замолчал. Но мы все давно уже знали его историю с овсом. По дороге, в Сибири, он купил около тысячи пудов овса по сорок пять копеек, привез их в своем эшелоне сюда и теперь собирается пометить этот овес купленным для госпиталя здесь, в Мукдене. Таким образом он сразу наживал больше тысячи рублей.

Я сказал смотрителю о мыле и об остальном.

— Я не знаю, спросите у аптекаря,— ответил он равнодушно и даже как будто удивляясь.

— У аптекаря нету, это должно быть у вас.

— Нет, у меня нету.

— Слушайте, Аркадий Николаевич, я не раз убеждался,— аптекарь прекрасно знает все, что у него есть, а вы о своем ничего не знаете.

Смотритель вспыхнул и заволновался.

— Может быть!.. Но, господа, я не могу. Откровенно сознаюсь,— не могу и не знаю!

— Как же это узнать?

— Нужно пересмотреть все укладочные книжки, найти, в какой повозке что лежит... Идите, посмотрите, если угодно!

Я взглянул на главного врача. Он притворялся, что не слышит нашего разговора.

— Григорий Яковлевич! Скажите, пожалуйста, чье это дело? — обратился я к нему.

Главный врач забегал глазами.

— В чем дело?.. Конечно, у врача своей работы много. Вы, Аркадий Николаевич, пойдите там, распорядитесь.

Вечерело. Сестры, в белых фартуках с красными крестами, раздавали больным чай. Они заботливо подкладывали им хлеба, мягко и любовно поили слабых. И казалось, эти славные девушки — совсем не те скучные, неинтересные сестры, какими они были в дороге.

— Викентий Викентьевич, вы одного сейчас черкеса приняли? — спросила меня сестра

— Одного.

— А с ним лег его товарищ и не уходит.

На койке лежали рядом два дагестанца. Один из них, втянув голову в плечи, черными, горящими глазами смотрел на меня.

— Ты болен? — спросил я его.

— Нэ болэн! — вызывающе ответил он, сверкнув белками.

— Тогда тебе нельзя тут лежать, уходи.

— Нэ пайду!

Я пожал плечами.

— Чего это он? Ну, пускай пока полежит... Ложись на эту койку, пока она не занята, а тут ты мешаешь своему товарищу.

Сестра подала ему кружку с чаем и большой ломоть белого хлеба. Дагестанец совершенно растерялся и неуверенно протянул руку. Он жадно выпил чай, до последней крошки съел хлеб. Потом вдруг встал и низко поклонился сестре.

— Спасыбо тэбе, сестрыца! Два дня ничево нэ ел!

Накинул на плечи свой алый башлык и ушел.

Кончился день. В огромном темном бараке тускло светилось несколько фонарей, от плохо запиравшихся огромных окон тянуло холодным сквозняком. Больные солдаты спали, закутавшись в шинели. В углу барака, где лежали больные офицеры, горели у изголовья свечки; одни офицеры лежа читали, другие разговаривали и играли в карты.

В боковой комнате наши пили чай. Я сказал главному врачу, что необходимо исправить в бараке незакрывающиеся окна. Он засмеялся.

— А вы думаете, это так легко сделать? Эх, не военный вы человек! У нас нет сумм на ремонт помещений, нам полагаются шатры. Можно было бы взять из экономических сумм, но их у нас нет, госпиталь только что сформирован. Надо подавать рапорт по начальству о разрешении ассигновки...

И он стал рассказывать о волоките, с какою связано всякое требование денег, о постоянно висящей грозе «начетов», сообщал прямо невероятные по своей нелепости случаи, но здесь всему приходилось верить...

В одиннадцатом часу ночи в барак зашел командир нашего корпуса. Весь вечер он просидел в султановском госпитале, который развернулся в соседнем бараке. Видимо, корпусный счел нужным для приличия заглянуть кстати и в наш барак.

Генерал прошелся по бараку, останавливался перед неспящими больными и равнодушно спрашивал: «Чем болен?» Главный врач и смотритель почтительно следовали за ним. Уходя, генерал сказал:

— Очень холодно в бараке и сквозняк.

— Ни двери, ни окна плотно не закрываются, ваше высокопревосходительство! — ответил главный врач.

— Велите исправить.

— Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!

Когда генерал ушел, главный врач рассмеялся.

— А если начет сделают, он, что ли, будет за меня платить?

Следующие дни была все та же неурядица. Дизентерики ходили под себя, пачкали матрацы, а приспособлений для стирки не было. Шагов за пятьдесят от барака стояло четыре отхожих места, они обслуживали все окрестные здания, в том числе и наше. (До Лаоянского боя оно служило, кажется, казармою для пограничников). Внутри отхожих мест была грязь, стульчаки сплошь были загажены кровавою слизью дизентериков, а сюда ходили и больные, и здоровые. Никто этих отхожих мест не чистил: они обслуживали все окружающие здания, и заведующие никак не могли столковаться, кто их обязан чистить.

Прибывали новые больные, прежних мы эвакуировали

на санитарные поезда. Много являлось офицеров; жалобы большинства их были странны и неопределенны, объективных симптомов установить не удавалось. В бараке они держались весело, и никто бы не подумал, что это больные. И все настойчиво просили эвакуировать их в Харбин. Ходили слухи, что на днях предстоит новый бой, и становилось понятным, чем именно больны эти воины. И еще более это становилось понятным, когда они много и скромно начинали рассказывать нам и друг другу о своих подвигах в минувших боях.

А рядом — совсем противоположное. Пришел один сотник уссуриец, молодой, загорелый красавец с черными усиками. У него была сильная дизентерия, нужно было его эвакуировать.

— Ни за что!.. Нет, доктор, вы уж, пожалуйста, как-нибудь подправьте меня здесь.

— Здесь неудобно,— ни диэты нельзя провести подходящей, и помещение неважное.

— Ну, уж я как-нибудь. А то скоро бой, товарищи идут в дело, а я вдруг уеду... Нет, лучше я уж здесь.

Был вечер. В барак быстро вошел сухощавый генерал с рыжею бородкою. Дежурил доктор Селюков. Пуча близорукие глаза в очках, он медленно расхаживал по бараку своими журавлиными ногами.

— Сколько у вас больных? — сухо и резко спросил его генерал.

— Сейчас около девяноста.

— Скажите, вы не знаете, что раз я здесь без фуражки, то вы не смеете быть в ней?

— Не знал... Я из запаса.

— Ах, вы из запаса! Вот я засажу вас на неделю под арест, тогда не будете из запаса! Вы знаете, кто я?

— Нет.

— Я инспектор госпиталей. Где ваш главный врач?

— Он уехал в город.

— Ну, так старший ординатор, что ли... Кто тут его заменяет?

Сестры побежали за Гречихиным и шепнули ему, чтоб он снял фуражку. К генералу подлетел один из прикомандированных и, вытянувшись в струнку, отрапортовал:

— Ваше превосходительство! В 38 полевом подвижном госпитале состоит 98 больных, из них 14 офицеров, 84 нижних чина!..

Генерал удовлетворенно кивнул головою и обратился к подходящему Гречихину:

— Что у вас тут за безобразие! Больные лежат в шапках, сами врачи в шапках разгуливают... Не видите, что тут иконы?

Гречихин огляделся и кротко возразил:

— Икон нет.

— Как нет? — возмутился генерал.— Почему нет? Что это за беспорядок!.. И вы тоже, подполковник! — обратился он к одному из больных офицеров.— Вы должны бы показывать пример солдатам, а сами тоже лежите в фуражке!.. Почему ружья и мешки солдат при них? — снова накинулся он на Гречихина.

— Нет цейхгауза.

— Это беспорядок!.. Вещи везде навалены, винтовки,— не госпиталь, а толкучка какая-то!

Генерал шел дальше, сопровождаемый врачами, и гневные, бестолково-распекающие речи сыпались непрерывно.

При выходе он встретился с входившим к нам корпусным командиром.

— Завтра я беру у вас оба мои госпиталя,— сообщил корпусный, здороваясь с ним.

— Как же, ваше высокопревосходительство, мы здесь останемся без них? — совсем новым, скромным и мягким голосом возразил инспектор: он был только генерал-майор, а корпусный — полный генерал.

— Я уж не знаю. Но полевые госпитали должны быть с нами, а мы завтра уходим на позиции.

После долгих переговоров корпусный согласился дать инспектору подвижные госпитали другой своей дивизии, которые должны были приехать в Мукден завтра.

Генералы ушли. Мы стояли возмущенные: как все было бестолково и нелепо, как все направлялось не туда, куда нужно! В важном, серьезном деле помощи больным как будто намеренно отбрасывалась суть дела, и все внимание обращалось на выдержанность и стильность бутафорской обстановки... Прикомандированные, глядя на нас, посмеивались.

— Странные вы люди! Ведь на то и начальство, чтоб кричать. Что же ему без этого делать, в чем другом проявлять свою деятельность?

— В чем? Чтоб больные не мерзли под сквозняками,

чтобы не было того, что позавчера творилось здесь целый день.

— Вы слышали? Завтра будет то же самое! — вздохнул прикомандированный.

Пришли два врача из султановского госпиталя. Один был сконфужен и зол, другой посмеивался. Оказывается, и там инспектор распек всех, и там пригрозил дежурному врачу арестом. Дежурный стал ему рапортовать: «Имею честь сообщить вашему превосходительству...» — Что?! Какое вы мне имеете право сообщать? Вы мне должны рапортовать, а не «сообщать»! Я вас на неделю под арест!

Налетевший на наши госпитали инспектор госпиталей был генерал-майор Езерский. До войны он служил при московском интендантстве, а раньше был... иркутским полицмейстером! В той мрачной, трагической юмористике, которою насквозь была пропитана минувшая война, черным бриллиантом сиял состав высшего медицинского управления армии. Мне много еще придется говорить о нем, теперь же отмечу только: главное руководство всем санитарным делом в нашей огромной армии принадлежало бывшему губернатору,— человеку, совершенно невежественному в медицине и на редкость нераспорядительному; инспектором госпиталей был бывший полицмейстер,— и что удивительного, если врачебные учреждения он инспектировал так же, как, вероятно, раньше «инспектировал» улицы и трактиры города Иркутска?

Назавтра утром сижу у себя, слышу снаружи высокомерный голос:

— Послушайте, вы! Передайте вашему смотрителю, чтобы перед госпиталем были вывешены флаги. Сегодня приезжает наместник.

Мимо окон суетливо промелькнуло генеральское пальто с красными отворотами. Я высунулся из окна: к соседнему бараку взволнованно шел медицинский инспектор Горбацевич. Селюков стоял у крыльца и растерянно оглядывался.

— Это он к вам так обращался? — удивился я.

— Ко мне... Черт ее, так был поражен, даже не нашелся, что ответить.

Селюков хмуро пошел к приемной.

Вокруг барака закипела работа. Солдаты мели улицу перед зданием, посыпали ее песком, у подъезда водружали шест с флагами красного креста и национальным. Смот-

ритель находился здесь, он был теперь деятелен, энергичен и отлично знал, где что достать.

В комнату вошел Селюков и сел на свою кровать.

— Ну, и начальства же тут,—как нерезаных собак! Чуть выйдешь, сейчас налетишь на кого-нибудь... И не различишь их. Вхожу в приемную, вижу, какой-то ферт стоит в красных лампасах, я было хотел к нему с рапортом, смотрю, он передо мной вытягивается, честь отдает... Казак, что ли, какой-то...

Он тяжко вздохнул.

— Нет, я лучше уж согласен мерзнуть в палатках. А тут, видно, начальства больше, чем нас.

Вошел Шанцер, немножко сконфуженный, задумчивый. Он был сегодня дежурным.

— Не знаю, как поступить... Я велел убрать с коек два матраца, совсем загажены, на них лежали дизентерики. Пришел главный врач: «Оставить, не сменять! Других матрацев нет». Я ему говорю: все равно, пусть новый больной уж лучше ляжет на доски; придет, может быть, просто истомленный голодом и усталостью, а у нас заразится дизентерией. Главный врач отвернулся от меня, обращается к палатным служителям: «Не сметь матрацев сменять, поняли?» — и ушел... Боится,— придет наместник, вдруг увидит, что двое больных лежат без матрацев.

А вокруг барака и в бараке все шла усиленная чистка. Мерзко было в душе. Вышел я наружу, пошел в поле. Вдали серел наш барак,— чистенький, принарядившийся, с развевающимися флагами; а внутри — дрожащие под сквозняком больные, загаженные, пропитанные заразою матрацы... Скверная, нарумяненная мещанка в нарядном платье и в грязном, вонючем белье.

Второй день у нас не было эвакуации, так как санитарные поезда не ходили. Наместник ехал из Харбина, как царь, больше, чем как царь; все движение на железной дороге было для него остановлено; стояли санитарные поезда с больными, стояли поезда с войсками и снарядами, спешившие на юг к предстоявшему бою. Больные прибывали к нам без конца; заняты были все койки, все носилки, не хватало и носилок; больных стали класть на пол.

Вечером привезли с позиции 15 раненых дагестанцев. Это были первые раненые, которых мы принимали. В бурках и алых башлыках, они сидели и лежали с смотрящими исподлобья, горящими черными глазами. И среди на-

полнявших приемную больных солдат,— серых, скучных и унылых,— ярким, тянущим к себе пятном выделялась эта кучка окровавленных людей, обвеянных воздухом боя и опасности.

Привезли и их офицера, сотника, раненного в руку. Оживленный, с нервно блестящими глазами сотник рассказывал, как они приняли японцев за своих, подъехали близко и попали под пулеметы, потеряли семнадцать людей и тридцать лошадей. «Но мы им за это тоже лихо отплатили!» — прибавил он с гордою усмешкой.

Все толпились вокруг и расспрашивали,— врачи, сестры, больные офицеры. Расспрашивали любовно, с жадным интересом, и опять все кругом, все эти *больные*, казались такими тусклыми рядом с ним, окруженным ореолом борьбы и опасности. И вдруг мне стал понятен красавец уссуриец, так упорно не хотевший уезжать с дизентерией.

Пришел от наместника адъютант справиться о здоровье раненого. Пришли из госпиталя Красного Креста и усиленно стали предлагать офицеру перейти к ним. Офицер согласился, и его унесли от нас в Красный Крест, который все время брезгливо отказывал нам в приеме *больных*.

Больные... В армии больные — это парии. Так же они несли тяжелую службу, так же пострадали,— может быть, гораздо тяжелее и непоправимее, чем иной раненый. Но все относятся к ним пренебрежительно и даже как будто свысока: они такие неинтересные, закулисные, так мало подходят к ярким декорациям войны. Когда госпиталь полон ранеными, высшее начальство очень усердно посещает его; когда в госпитале больные, оно почти совсем не заглядывает. Санитарные поезда, принадлежащие не военному ведомству, всеми силами отбояриваются от больных; нередко бывали случаи, стоит такой поезд неделю, другую и все ждет раненых; раненых нет, и он стоит, занимая путь; а принять больных, хотя бы даже и незаразных, упорно отказывается.

Рядом с нами, в соседнем бараке, работал султановский госпиталь. Старшею сестрою Султанов назначил свою племянницу, Новицкую. Врачам он сказал:

— Вы господа, Аглаю Алексеевну не назначайте на дежурство. Пусть дежурят три младшие сестры.

Работы сестрам было очень много; с утра до вечера они возились с больными. Новицкая лишь изредка появлялась

в бараке: изящная, хрупкая, она безучастно проходила по палатам и возвращалась назад в свою комнату.

Зинаида Аркадьевна сначала очень рьяно взялась за дело. Щеголяя красным крестом и белизною своего фартука, она обходила больных, поила их чаем, оправляла подушки. Но скоро остыла. Как-то вечером зашел я к ним в барак. Зинаида Аркадьевна сидела на табуретке у стола, уронив руки на колени, и красиво-усталым голосом говорила:

— Измаялась я!.. Весь-то день на ногах!.. А температура у меня повышенная, сейчас мерила — тридцать восемь. Боюсь, не тиф ли начинается. А я сегодня дежурная. Старший ординатор решительно запретил мне дежурить, такой строгий! Придется за меня подежурить бедненькой Настасье Петровне.

Настасья Петровна была четвертая сестра их госпиталя, смирная и простая девушка, взятая из общины Красного Креста. Она осталась дежурить, а Зинаида Аркадьевна поехала с Султановым и Новицкою на ужин к корпусному командиру.

Красавица-русалка Вера Николаевна работала молодцом. Вся работа по госпиталю легла на нее и смирную Настасью Петровну. Больные офицеры удивлялись, почему в этом госпитале всего две сестры. Вскоре Вера Николаевна захворала, несколько дней перемогалась, но, наконец, слегла с температурою в 40. Осталась работать одна Настасья Петровна. Она было запротестовала и заявила старшему ординатору, что не в силах одна справиться. Старший ординатор был тот самый д-р Васильев, который еще в России чуть не засадил под арест офицера-смотрителя и который на днях так «строго» запретил дежурить Зинаиде Аркадьевне. На Настасью Петровну он раскричался, как на горничную, и сказал ей, что, если она хочет бить баклуши, то незачем было сюда ехать.

В нашем госпитале к четырем штатным сестрам прибавилось еще две сверхштатных. Одна была жена офицера нашей дивизии. Она села в наш эшелон в Харбине, все время плакала, была полна горем и думала о своем муже. Другая работала в одном из тыловых госпиталей и перевелась к нам, узнав, что мы идем на передовые позиции. Ее тянуло побывать под огнем, для этого она отказалась от жалованья, перешла в сверхштатные сестры, хлопотала долго и настойчиво, пока не добилась своего.

Была она широкоплечая девушка лет двадцати пяти, стриженая, с низким голосом, с большим мужским шагом. Когда она шла, серая юбка некрасиво и чуждо трепалась вокруг ее сильных, широко шагающих ног.

Из штаба нашего корпуса пришел приказ: обоим госпиталям немедленно свернуться и завтра утром идти в деревню Сахотаза, где ждать дальнейших приказаний. А как же быть с больными, на кого их бросить? На смену нам должны были прийти госпитали другой дивизии нашего корпуса, но поезд наместника остановил на железной дороге все движение, и было неизвестно, когда они придут. А нам приказано завтра уходить!

Опять все в бараке стало вверх дном. Снимали умывальники, упаковывали аптеку, собирались выламывать в кухне котлы.

— Позвольте, как же это? — удивился Гречихин.— Мы не можем бросить больных на произвол судьбы.

— Я должен исполнить приказание своего непосредственного начальства,— возразил главный врач, глядя в сторону.

— Обязательно! Какой тут даже может быть разговор! — пылко вмешался смотритель.— Мы приданы к дивизии, все учреждения дивизии уже ушли. Как мы смеем не исполнить приказания корпусного командира? Он наш главный начальник.

— А больных так прямо и бросить?

— Мы за это не отвечаем. Это дело здешнего начальства. У нас вот приказ, и в нем ясно сказано, что завтра утром мы должны выступить.

— Ну, как бы там ни было, а мы больных здесь не бросим,— заявили мы.

Главный врач долго колебался, но, наконец, решил остаться и ждать прихода госпиталей; к тому же Езерский решительно заявил, что не выпустит нас, пока нас кто-нибудь не сменит.

Возникал вопрос: для чего опять пойдет вся эта ломка, выламливание котлов, вытаскивание матрацев из-под больных? Раз наш корпус может обойтись двумя госпиталями вместо четырех, то разве не проще нам остаться здесь, а прибывающим госпиталям прямо идти с корпусом на юг? Но все понимали, что этого сделать невозмож-

но: в соседнем госпитале был доктор Султанов, была сестра Новицкая; с ними наш корпусный командир вовсе не желал расставаться; пусть уж лучше больная «святая скотинка» поваляется сутки на голых досках, не пивши, без врачебной помощи.

Но вот чего совершенно было невозможно понять: уже в течение месяца Мукден был центром всей нашей армии; госпиталями и врачами армия была снабжена даже в чрезмерном изобилии; и тем не менее санитарное начальство никак не умело или не хотело устроить в Мукдене постоянного госпиталя; оно довольствовалось тем, что хватало за полы проезжие госпитали и водворяло их в свои бараки впредь до случайного появления в его кругозоре новых госпиталей. Неужели все это нельзя было устроить иначе?

Через двое суток пришли в Мукден ожидаемые госпитали, мы сдали им бараки, а сами двинулись на юг. На душе было странно и смутно. Перед нами работала огромная, сложная машина; в ней открылась щелочка; мы заглянули в нее и увидели: колесики, валики, шестерни, все деятельно и сердито суетится, но друг за друга не цепляется, а вертится без толку и без цели. Что это — случайная порча механизма в том месте, где мы в него заглянули, или... или и вся эта громоздкая машина шумит и стучит только для видимости, а на работу неспособна?

На юге тяжелыми раскатами непрерывно грохотали пушки. Начинался бой на Шахе.

IV

БОЙ НА ШАХЕ

Из Мукдена мы выступили рано утром походным порядком. Вечером шел дождь, дороги блестели легкою, скользкою грязью, солнце светило сквозь прозрачно-мутное небо. Была теплынь и тишина. Далеко на юге глухо и непрерывно перекатывался гром пушек.

Мы ехали верхом, команда шла пешком. Скрипели зеленые фуры и двуколки. В неуклюжей четырехконной лазаретной фуре белели апостольники и фартуки сестер. Стриженая сверхштатная сестра ехала не с сестрами, а также верхом. Она была одета по-мужски, в серых брюках и высоких сапогах, в барашковой шапке. В юбке она производила отвратительное впечатление,— в мужском ко-

стюме выглядела прелестным мальчиком; теперь были хороши и ее широкие плечи, и большой мужской шаг. Верхом она ездила прекрасно. Солдаты прозвали ее «сестра-мальчик».

Главный врач спросил встречного казака, как проехать в деревню Сахотаза, тот показал. Мы добрались до реки Хуньхе, перешли через мост, пошли влево. Было странно: по плану наша деревня лежала на юго-запад от Мукдена, а мы шли на юго-восток. Сказали мы это главному врачу, стали убеждать его взять китайца-проводника. Упрямый, самоуверенный и скупой, Давыдов ответил, что доведет нас сам лучше всякого китайца. Прошли мы три версты по берегу реки на восток; наконец Давыдов и сам сообразил, что идет не туда, и по другому мосту перешел через реку обратно.

Всем уж стало ясно, что заехали мы черт знает куда. Главный врач величественно и угрюмо сидел на своем коне, отрывисто отдавал приказания и ни с кем не разговаривал. Солдаты вяло тащили ноги по грязи и враждебно посмеивались. Вдали снова показался мост, по которому мы два часа назад перешли на ту сторону.

— Теперь как, ваше благородие, опять на энтот мост своротим? — иронически спрашивали нас солдаты.

Главный врач подумал над планом и решительно повел нас на запад.

То и дело происходили остановки. Несъезженные лошади рвались в стороны, опрокидывали повозки; в одной фуре переломилось дышло, в другой сломался валек. Останавливались, чинили.

А на юге непрерывно все грохотали пушки, как будто вдали вяло и лениво перекатывался глухой гром; странно было думать, что там теперь ад и смерть. На душе щемило, было одиноко и стыдно; там кипит бой; валятся раненые, там такая в нас нужда, а мы вяло и без толку кружимся здесь по полям.

Посмотрел я на свой браслет-компас,— мы шли на северо-запад. Все знали, что идут не туда, куда нужно, и все-таки должны были идти, потому что упрямый старик не хотел показать, что видит свою неправоту.

К вечеру вдали показались очертания китайского города, изогнутые крыши башен и кумирен. Влево виднелся ряд казенных зданий, белели дымки поездов. Среди солдат раздался сдержанный враждебный смех: это был

Мукден!.. После целого дня пути мы воротились опять к нашим каменным баракам.

Главный врач обогнул их и остановился на ночевку в подгородной китайской деревне.

Солдаты разбивали палатки, жгли костры из каоляна и кипятили в котелках воду. Мы поместились в просторной и чистой каменной фанзе. Вежливо улыбающийся хозяин-китаец в шелковой юбке водил нас по своей усадьбе, показывал хозяйство. Усадьба была обнесена высоким глиняным забором и обсажена развесистыми тополями; желтели скирды каоляна, чумизы и риса, на гладком току шла молотьба. Хозяин рассказывал, что в Мукдене у него есть лавка, что свою семью — жену и дочерей — он увез туда: здесь они в постоянной опасности от проходящих солдат и казаков...

На створках дверей пестрели две ярко раскрашенные фигуры в фантастических одеждах, с косыми глазами. Тянулась длинная вертикальная полоска с китайскими иероглифами. Я спросил, что на ней написано. Хозяин ответил:

— «Хорошо говорить».

«Хорошо говорить»... Надпись на входных дверях с дверными богами. Было странно, и, глядя на тихо-вежливого хозяина, становилось понятно.

Мы поднялись с зарею. На востоке тянулись мутно-красные полосы, деревья туманились. Вдали уж грохотали пушки. Солдаты с озябшими лицами угрюмо запрягали лошадей: был мороз, они под холодными шинелями ночевали в палатках и всю ночь бегали, чтобы согреться.

Главный врач встретил знакомого офицера, расспросил его насчет пути и опять повел нас сам, не беря проводника. Опять мы сбивались с дороги, ехали бог весть куда. Опять ломались дышла, и несъезженные лошади опрокидывали возы. Подходя к Сахотазе, мы нагнали наш дивизионный обоз. Начальник обоза показал нам новый приказ, по которому мы должны были идти на станцию Суятунь.

Двинулись разыскивать станцию. Переехали по понтонному мосту реку, проезжали деревни, переходили вброд вздувшиеся от дождя речки. Солдаты, по пояс в воде, помогали лошадям вытаскивать увязшие возы.

Потянулись поля. На жнивьях по обе стороны темнели

густые копны каоляна и чумизы. Я ехал верхом позади обоза. И видно было, как от повозок отбегали в поле солдаты, хватали снопы и бежали назад к повозкам. И еще бежали, и еще, на глазах у всех. Меня нагнал главный врач. Я угрюмо спросил его:

— Скажите, пожалуйста, это делается с вашего разрешения?

Он как будто не понял.

— То есть, что именно?

— Вот это таскание снопов с китайских полей.

— Ишь, подлецы! — равнодушно возмутился Давыдов и лениво сказал фельдфебелю:—Нежданов, скажи им, чтоб перестали!.. Вы, пожалуйста, Викентий Викентьевич, следите, чтоб этого мародерства не было,— обратился он ко мне тоном плохого актера.

Впереди все выбегали в поле солдаты и хватали снопы. Главный врач тихою рысцою поехал прочь.

Воротился посланный вперед фельдфебель.

— Что раньше забрали, то был комплект, а это уж сверх комплекта! — улыбаясь, объяснил он запрещение главного врача. На верху каждого воза светлело по кучке золотистых снопов чумизы...

К вечеру мы пришли к станции Суятунь и стали биваком по восточную сторону от полотна. Пушки гремели теперь близко, слышен был свист снарядов. На север проходили санитарные поезда. В сумерках на юге замелькали вдали огоньки рвавшихся шрапнелей. С жутким, поднимающим чувством мы вглядывались в вспыхивавшие огоньки и думали: вот, теперь начинается настоящее...

Назавтра нам приказано было перейти на другую сторону железной дороги и стать в деревне Сяо-Кии-Шинпу, за полверсты от станции...

Наш обоз стал на большом квадратном огороде, обсаженном высокими ветлами. Разбили палатки. Госпиталь д-ра Султанова находился в той же деревне; они пришли еще вчера и стали биваком недалеко от того места, где устраивались мы.

При выезде из Мукдена у доктора Султанова произошло жестокое столкновение с его врачами. Для вещей четырех младших врачей и смотрителя с его помощником полагается отдельная казенная повозка; главному же врачу выдаются деньги на приобретение собственной повозки и двух упряжных лошадей. Повозки и лошадей Султанов

себе не купил, деньги положил в карман, а вещи свои велел уложить на повозку врачей. Врачи запротестовали и заставили смотрителя снять с повозки вещи главного врача. Доложили Султанову. Он вышел из себя, кричал на врачей и смотрителя, как на денщиков, топал ногами, грозил посадить всех под арест и велел сейчас же положить свои вещи обратно на повозку. Врачи были страшно возмущены, собирались писать на главного врача рапорт. Но к кому он пойдет, этот рапорт? Сначала — к начальнику дивизии, покладистому старику, не желающему ссориться с сильными, а дальше — к командиру корпуса, покровителю Султанова. И — русские люди — врачи удовольствовались тем, что поворчали и повозмущались «промеж себя».

Вообще Султанов резко изменился. В вагоне он был неизменно мил, остроумен и весел; теперь, в походе, был зол и свиреп. Он ехал на своем коне, сердито глядя по сторонам, и никто не смел с ним заговаривать. Так тянулось до вечера. Приходили на стоянку. Первым долгом отыскивалась удобная, чистая фанза для главного врача и сестер, ставился самовар, готовился обед. Султанов обедал, пил чай и опять становился милым, изящным и остроумным.

Наш главный врач и смотритель как-никак заботились о команде. Правда, солдаты ночевали на морозе под летними шинелями, но полушубков нигде еще в армии не было. Солдаты наши, по крайней мере, были сыты, и для этого делалось все. В султановском же госпитале о команде никто не заботился. Весь состав как будто существовал только для того, чтобы холить и лелеять д-ра Султанова с сестрами. Команда зябла, голодала; ей предоставлялось жить как угодно. Она роптала, но Султанов относился к этому с наивно-циничным добродушием. Однажды старший ординатор Васильев обратился к нему с жалобою на одного солдата команды; он, Васильев, отдал какое-то распоряжение, а солдат в лицо ему ответил:

— Только распоряжаться умеют! Кормить не кормят, ночь дрожи на морозе, а распоряжение исполняй!

Султанов брезгливо поморщился. Дело случилось вечером, когда он пообедал и был в хорошем расположении духа.

— Э, оставьте вы их, бог с ними!.. Ведь, в сущности, они совершенно правы. Мы едем верхом, они идут пешком. Приедем,— первым делом отыщем *себе* фанзу, закажем себе обед и самовар. А они устали и голодны. Вот послал им

мяса искать,— не нашли ничего, а нам на бифштексы удалось достать... Если бы мы вместе с ними шли пешком, голодали и зябли, тогда бы они и приказания наши исполняли...

Прошел день, другой, третий. Мы были в полном недоумении. По всему фронту бешено грохотали пушки, мимо нас проходили транспорты с ранеными. А приказа развернуться наши госпитали не получали; шатры, инструменты и перевязочные материалы мирно лежали, упакованные в повозках. На железнодорожных разъездах стояли другие госпитали, большею частью тоже неразвернутые. Что все это значит? Шли слухи, что из строя выбыло уж двадцать тысяч человек, что речка Шахе алеет от крови, а мы кругом, десятки врачей, сидели сложа руки, без всякого дела.

Бой был в разгаре и шел очень недалеко от нас. То и дело доносилась спешная ружейная трескотня. По дорогам двигались пехотные части и артиллерийские парки, сновали запыленные казаки. Делалось какое-то огромное, общее, близкое всем дело, все были заняты, торопились, только мы одни были бездеятельны и чужды всему. Мы ездили на позиции, наблюдали вблизи бой, испытывали острое ощущение пребывания под огнем; но и это ощущение несло с собой оскоминный, противный привкус, потому что глупо было лезть в опасность из-за ничего.

Наша команда недоумевала. Как и мы, она испытывала то же сиротливое ощущение вынужденного бездельничества. Солдаты ходили за околицу смотреть на бой, жадно расспрашивали проезжих казаков, оживленно и взволнованно сообщали нам слухи о ходе боя.

Однажды к смотрителю пришли три солдата из нашей команды и заявили, что желают перейти в строй. Главный врач и смотритель изумились: они нередко грозили в дороге провинившимся солдатам переводом в строй, они видели в этом ужаснейшую угрозу,— и вдруг солдаты просятся сами!..

Все трое были молодые, бравые молодцы. Как я писал, в полках нашего корпуса находилось очень много пожилых людей, удрученных старческими немощами и думами о своих многочисленных семьях. Наши же госпитальные команды больше, чем наполовину, состояли из молодых, крепких и бодрых солдат, исполнявших сравнительно далеко не тяжкие обязанности конюхов, палатных надзирателей

и денщиков. Распределение шло на бумаге, а на бумаге все эти Ивановы, Петровы и Антоновы были совсем одинаковы.

Смотритель пробовал отговорить солдат, потом сказал, что передаст их просьбу в штаб. Особенно изумлялся их желанию наш письмоводитель, военный зауряд-чиновник Брук, хорошенький и поразительно-трусливый мальчик.

— Ведь тут же гораздо спокойнее! — доказывал он.—А там что? Убьют тебя, семья останется.

— Чего там! У меня всего жена только. Убьют—за другого выйдет.

Говорил стройный парень с сиплым, застуженным голосом, бывший гренадер. Лицо у него было строгое и ушедшее в себя, как будто он вглядывался во что-то в своей душе,— во что-то большое и важное.

— А если ранят тебя? Оторвет тебе обе ноги, останешься на всю жизнь калекою?

— Ну, что ж!..— Он помолчал и медленно прибавил:— Может быть, я желаю пострадать.

Брук с недоумением взглянул на него.

— Строй — святое дело! — заметил другой солдат.

— А наше дело еще святее! — фальшивым голосом возразил Брук.— Помогать раненым братьям, облегчать уходом и лаской их ужасные страдания...

— Нет, тут что! Одна канитель! Вон, там стрельба, другие дерутся, а мы что? Никому на нас и смотреть неохота. Даже на смотрах,—генерал какой, али и сам царь: «ну, это нестроевщина!» — и едут мимо.

---

29 сентября пальба особенно усилилась. Пушки гремели непрерывно, вдоль позиций как будто с грохотом валились друг на друга огромные шкапы. Снаряды со свистом уносились вдаль, свисты сливались и выли, как вьюга. Непрерывно трещал ружейный огонь. Шли слухи, что японцы обошли наше правое крыло и готовы прорвать центр. К нам подъезжали конные солдаты-ординарцы, спрашивали, не знаем ли мы, где такой-то штаб. Мы не знали. Солдат в унылой задумчивости пожимал плечами.

— Как же быть теперь? С спешным донесением послан от командира, с утра езжу, и никто не может сказать.

И он вяло ехал дальше, не зная куда.

Под вечер мы получили из штаба корпуса приказ: обоим госпиталям *немедленно* двинуться на юг, стать и развернуть-

ся у станции Шахе. Спешно увязывались фуры, запрягались лошади. Солнце садилось; на юге, всего за версту от нас, роями вспыхивали в воздухе огоньки японских шрапнелей, перекатывалась ружейная трескотня. Нам предстояло идти прямо туда.

Султанов, сердитый и растерянный, сидел у себя в фанзе и искал на карте станцию Шахе; это была следующая станция по линии железной дороги, но от волнения Султанов не мог ее найти. Он злобно ругался на начальство.

— Это черт знает, что такое. По закону полевые подвижные госпитали должны стоять за восемь верст от позиций, а нас посылают в самый огонь!

Было, действительно, непонятно, что могут делать наши госпитали в том аду, который сверкал и грохотал вдали. Мы, врачи, дали друг другу свои домашние адреса, чтобы, в случае смерти, известить близких.

Рвались снаряды, трещала ружейная перестрелка. На душе было жутко и радостно, как будто вырастали крылья, и вдруг стали близко понятны солдаты, просившиеся в строй. «Сестра-мальчик» сидела верхом на лошади, с одеялом вместо седла, и жадными, хищными глазами вглядывалась в меркнувшую даль, где все ярче вспыхивали шрапнели.

— Неужели мы опять будем плутать и не попадем, куда нужно? — волновалась она.— Господа, убедите главного врача, чтобы он нанял проводника.

— Днем плутали,— то ли еще будет ночью! — зловеще произнес Селюков и вздохнул.— А лошади несъезженные, пугливые. Первый снаряд упадет, они весь обоз разнесут вдребезги.

Мы двинулись к железной дороге и пошли вдоль пути на юг. Валялись разбитые в щепы телеграфные столбы, по земле тянулась исковерканная проволока. Нас нагнал казак и вручил обоим главным врачам по пакету. Это был приказ из корпуса. В нем госпиталям предписывалось немедленно свернуться, уйти со станции Шахе (предполагалось, что мы уж там) и воротиться на прежнее место стоянки к станции Суятунь.

Оживленно и весело все поворотили назад. Только сестра-мальчик была огорчена и готова плакать от досады; она все обертывалась назад и горящими, жалеющими глазами поглядывала в шумевшую боем даль.

Мы разбили палатки, поужинали. Вечер был теплый и

тихий-тихий. Темная дымка окутывала небосклон, звезды мутно светились. Бой не замолкал. Ночью разразилась гроза. Яростно гремел гром, воздух резали молнии. А снаряды по-прежнему со свистом неслись в темную даль; грохотали пушки, перебиваясь с грохотом грома; лихорадочно трещал ружейный огонь пачками. Небо и земля свились и крутились в грохочущем, сверкающем безумии. Под проливным дождем по дороге шли вперед темные колонны солдат, и штыки струистыми огнями вспыхивали под молниями.

И опять прошел день, и другой, и третий. Бой продолжался, а мы все стояли неразвернутыми. Что же это, наконец, забыли о нас, что ли? Но нет. На станции Угольной, на разъездах,— везде стояли полевые госпитали и тоже не развертывались. Врачи зевали, изнывали от скуки, играли в винт...

Пошли дожди, мы перебрались из палаток в китайскую фанзу. Жили тесно и неуютно. Здесь же в уголке помещались сестры; на ночь они завешивались от нас платками. Заходили из султановского госпиталя врачи и сестры, кроме племянницы Султанова Новицкой; она безвыходно сидела в своей фанзе. Зато очень часто забегала Зинаида Аркадьевна. Изящно одетая, кокетничая своим белоснежным фартуком с красным крестом, она рассказывала, что тогда-то у них обедал начальник такой-то дивизии, тогда-то заезжал «наш милый Леонид Николаевич (корпусный командир)». Зинаида Аркадьевна вспоминала о Москве и глубоко вздыхала.

— Господи, с каким бы я сейчас удовольствием поела паштета из кур! — говорила она своим изученно-красивым, протяжным голосом.— Так безумно хочется есть!

Селюков мрачно возражал:

— Ну, это пока не так страшно. Вот когда вам безумно захочется черного хлеба, это так.

— Да, паштета. Паштета и шампанского,— мечтательно говорила Зинаида Аркадьевна.

Заходил разговор, что, по слухам, госпитальных врачей и сестер собираются командировать на перевязочные пункты.

— Ну, вы меня не испугаете: я фаталистка! — замечала Зинаида Аркадьевна. Но еще вчера наши сестры со

смехом рассказывали, как разволновалась при этих слухах Зинаида Аркадьевна и Новицкая, как заявили, что пусть не воображают,— с какой стати они поедут под снаряды?

Зинаида Аркадьевна прощается и уходит. В уголке, в полумраке, сидит наша старшая сестра.

— Ах, я с вами и не здоровалась, здравствуйте! — любезно восклицает Зинаида Аркадьевна.

— Мы люди маленькие, нас можно не заметить,— сдержанно отвечает сестра.

— Напротив! Вы так всегда одеты по форме, в апостольниках, в форменных платьях, вас сразу можно заметить. Не то, что мы, революционерки,— мило возражает Зинаида Аркадьевна...

Однажды утром, проснувшись, я услышал за окнами русские и китайские крики, главный врач торопливо кричал:

— Держи, держи их!

Я выскочил наружу. Смотритель стоял у ворот и возмущенно повторял:

— Черт знает, черт знает, что такое!

Наискосок, по грядам каоляна, бежали куда-то главный врач, несколько наших солдат, китайцы и старая китаянка, хозяйка нашей фанзы. Я пошел за ними.

От китайских могил скакали прочь два казака, вкладывая на скаку шашки в ножны. Наши солдаты держали за руки бледного артиллериста, перед ним стоял главный врач. У конической могилы тяжело хрипела худая, черная свинья; из-под левой лопатки текла чернеющая кровь.

— Ах-х ты, с-сукин сын! — возмущенно говорил главный врач.— Арестовать его!

Двинулись назад. Китайцы понесли издыхающую свинью. Подошел смотритель, столпилась наша команда.

— Ты какой части? — строго спросил главный врач.

— 12 артиллерийской бригады,— ответил арестованный. На испуганном, побледневшем лице рыжели усики и обильные веснушки, пола шинели была в крови.— Ваше высокоблагородие, позвольте вам доложить: это не я, я только мимо шел... Вот, извольте посмотреть! — Он вынул из ножен и показал свою шашку.— Изволите видеть, крови нету.

— А откуда на ней глина? Ты зачем шашку вынимал?

— Они просили подсобить.

— Кто они такие?

— Не могу знать.

— Ну, один под суд и пойдешь... Арестовать его! Аркадий Николаевич, напишите о нем бумагу,— обратился Давыдов к смотрителю.

— Ваше высокоблагородие, прикажите идти, меня их благородие капитан Веревкин ждут.

— Подождет. Это он, что ли, воровать тебя посылал?.. Подлецы этакие! Хуже разбойников! Не знаете, что китайцы мирное население, что их запрещено грабить?

Зарезанная свинья лежала у ворот, вокруг толпились наши солдаты.

— Э, сухая какая. Стоило возиться! — протянул Кучеренко.— Кабы сытая была!

Все с сочувствием поглядывали на арестованного. Его увели. Солдаты расходились.

— Великолепно, так и надо! — нарочно громко говорил я.— Другим наука будет!

— «Наука»... А как нам не воровать? — угрюмо возразил солдат-конюх.— Все бы лошади с голоду подохли, костра бы не из чего было развести. Ведь вон лошади рисовую солому едят,— все это ворованное. Лошадям по два гарнца овса выдают, разве лошадь с этого будет сыта? Все передохнут.

— И пускай передохнут! — сказал я.— Вам-то что? Это — дело начальства. Ваше дело только кормить лошадей, а не добывать фураж.

Солдат усмехнулся.

— Да-а!.. А вон, когда в походе возы в реке застряли, нас всех в воду погнали лошадям подсоблять. Сколько народу лихорадку получили! Почему? Силы у лошадей не было!.. Нет, ваше благородие, это вы все неправильно. Не побреешь,— не поешь.

— Вон, старший врач антилеристу грозится, под суд отдам,— заметил другой.— А нам что говорил? Тащите, говорит, ребята, что хотите, только чтобы я не видел. Почему же он нас не грозится под суд отдать?

— Ему прямой расчет, чтоб мы воровали... А попадись-ка я, например, вон тому капитану, который антилериста послал. Тоже сейчас скажет: ах ты, разбойник, сукин сын! Не знаешь, что это мирные жители?.. Под суд!

Солдаты засмеялись, а я молчал, потому что они были правы.

Наш хозяин, молодой китаец с красивым, загорелым ли-

цом, горячо благодарил главного врача за заступничество, принес ему в подарок пару роскошно вышитых китайских туфлей. Давыдов смеялся, хлопал китайца по плечу, говорил: «шанго» (хорошо), а вечером, как нам рассказал письмоводитель, попросил хозяина подписать свою фамилию под одною бумажкою; в бумажке было написано, что нижеподписавшийся продал нашему госпиталю столько-то пудов каолянового зерна и рисовой соломы, деньги, такую-то сумму, получил сполна. Китаец побоялся и стал отказываться.

— Ну, ты не свою фамилию напиши, а какую-нибудь другую, это все равно,— сказал главный врач.

На это китаец согласился и получил в награду рубль, а канцелярия наша обогатилась «оправдательным документом» на 617 р. 35 коп. (круглых цифр фальшивые документы не любят)...

Первого октября мы получили приказ спешно развернуться и приготовиться к приему раненых. Весь день шла работа. Устанавливались три огромных шатра, набивались соломою матрацы, устраивалась операционная, аптека.

Назавтра под вечер, под проливным дождем, привезли первый транспорт раненых. Промокших, дрожащих и окровавленных, их вынимали из тряских двуколок и переносили в шатры. Наши солдаты, истомившиеся бездельем, работали горячо и радостно. Они любовно поднимали раненых, укладывали в носилки и переносили в шатры.

Внесли солдата, раненного шимозою; его лицо было, как маска из кровавого мяса, были раздроблены обе руки, обожжено все тело. Стонали раненые в живот. Лежал на соломе молодой солдатик с детским лицом, с перебитою голенью; когда его трогали, он начинал жалобно и капризно плакать, как маленький ребенок. В углу сидел пробитый тремя пулями унтер-офицер; он три дня провалялся в поле, и его только сегодня подобрали. Блестя глазами, унтер-офицер оживленно рассказывал, как их полк шел в атаку на японскую деревню.

— Из деревни стрельбы не слыхать. Командир полка говорит: «Ну, ребята, струсил япошка, удрал из деревни! Идем ее занимать». Пошли цепями, командиры матюкаются,— «Равняйся, подлецы! Не забегай вперед!» Ученье устроили; крик, шум, на нас холоду нагнали. А *он* подпустил на постоянный прицел да как пошел жарить... Пыль

кругом забила, народ валится. Полковник поднял голову, этак водит очками, а оттуда сыплют! «Ну, ребята, в атаку!», а сам повернул коня и ускакал...

Наши солдаты жадно слушали и ахали.

— Бегут все кругом, я упал... Рядом земляк лежит. Попробует подняться,— опять падает... «Брат,— говорит,— подними меня!» — «Что же мне делать? Я и сам валяюсь»...

В шатрах стоял полумрак, тускло горели фонари. Отовсюду шли стоны и оханья. Сестры поили раненых чаем. Мы подбинтовывали промокшие кровью повязки; где было нужно, накладывали новые. Бинты вышли. Я послал за бинтами в аптеку палатного надзирателя; он воротился и доложил, что аптекарь без требования не отпускает. Я попросил сходить в аптеку сестру и сказать, что требование я напишу потом, а чтоб сейчас поскорее отпустили бинтов. Сестра сходила и, удивленно пожав плечами, сообщила, что без требования аптекарь отказывается выдать.

Что такое?.. Наш аптекарь был человек редко-неинтеллигентный, пьянчужка, но производил впечатление очень милого и добродушного парня. Что с ним такое случилось?.. Впоследствии мы узнали его ближе: аптека была для него как будто центральным механизмом мира, в ее священнсм ходе ничего нельзя было изменить ни на волос. Обыкновенно смирный и угодливый, в аптеке Михаил Михайлович пьянел от высоты своего положения; а когда он был пьяный — все равно, от водки или от сознания важности своей аптеки — он становился заносчив и величествен. Я пошел к нему сам.

— Михаил Михайлович, голубчик, что это вы тут бунтуете? Пожалуйста, отпустите скорей бинтов, там раненые истекают кровью.

— Потрудитесь написать требование,— сухо ответил он, поджав губы.

— Да что вам, не все равно, когда требование будет написано, сейчас или потом? Третий раз к вам приходится обращаться за одним и тем же!

— Я ничего не знаю. Я могу что-либо отпускать из аптеки только по требованию.— И в его голосе звучало холодное злорадство русского чиновника, чувствующего за собой право сделать пакость.

— Тьфу ты, черт! Ну, дайте поскорее бумаги, я сейчас напишу.

— Лишней бумаги у меня нет, возьмите у старшего ор-

динатора. Я сам получаю бумагу по требованию, я обязан давать в ней отчет... Да-с, теперь шутки кончены!..

Пришлось прибегнуть к помощи главного врача, чтоб умерить его слишком серьезное отношение к делу.

До поздней ночи мы возились с ранеными. Сделали две ампутации. У одного артиллериста извлекли из крестца дистанционную трубку шрапнели — широкий медный конус, разбивший крестец и разорвавший прямую кишку. Ночью подошел новый транспорт раненых. Вдали грохотали пушки, темное небо, как зарницами, вспыхивало отсветами от выстрелов. Везде кругом стонали окровавленные, иззябшие люди. Солдат, которому пуля пробила щеки и челюсти, сидел с черною от крови бородой и отхаркивал тянущуюся кровавую слюну. Над головой наклонившегося врача равномерно тряслись скрюченные пальцы дрожащих от боли рук, слышались протяжные всхлипывания.

— Ой, кормильцы мои!..

А вдали все блистали отсветы грохочущих выстрелов, и странно было вспомнить, как тянулась душа к грозной красоте того, что творилось там. Не было там красоты, все было мерзко, кроваво-грязно и преступно.

Утром пришло распоряжение,— всех раненых немедленно эвакуировать на санитарные поезда. Для чего это? Мы недоумевали. Немало было раненых в живот, в голову, для них самое важное, самое необходимое — покой. Пришлось их поднимать, нагружать на тряские двуколки, везти полгоры версты до станции, там опять разгружать, переносить на санитарный поезд...

Наши госпитали начали работать. И была наша работа еще бессмысленнее, чем прежнее безделье.

С перевязочных пунктов привозили раненых. Мы клали их в шатры, подбинтовывали тех, у кого повязки промокли; смотря по времени дня, кормили обедом или поили чаем, к вечеру нагружали всех на двуколки и отвозили на станцию. Для чего была нужна эта остановка у нас за полверсты от станции для раненых, уже проехавших пять-шесть верст? Часто бывало, что мы только осматривали привезенных раненых в их двуколках и своею властью в тех же двуколках отправляли дальше на станцию. Главный врач не возражал против этого, только усиленно требовал,

чтоб провозимые раненые записывались у нас в книги и отправлялись дальше с нашими билетиками.

На станции мы грузили раненых в санитарные поезда.

Подходил поезд, сверкавший царским великолепием. Длинные белые вагоны, зеркальные стекла; внутри весело, чисто и уютно; раненые, в белоснежном белье, лежат на мягких пружинных матрацах; везде сестры, врачи; в отдельных вагонах — операционная, кухня, прачечная... Отходил этот поезд, бесшумно качаясь на мягких рессорах,— и ему на смену с неуклюжим грохотом становился другой, сплошь состоявший из простых товарных вагонов. Откатывались двери, раненых с трудом втаскивали в высокие, без всяких лестничек, вагоны и клали на пол, только что очищенный от навоза. Не было печей, не было отхожих мест; в вагонах стояли холод и вонь. Тяжелые больные ходили под себя; те, кто мог, вылезал из вагона и ковылял к отхожему месту станции. Поезд давал свисток и, дернув изо всей силы вагоны, начинал двигаться. Раненые тряслись на полу, корчились, стонали и проклинали. Сообщения между вагонами не было; если открывалось кровотечение, раненый истекал кровью, раньше чем на остановке к нему мог попасть врач поезда [1].

Вот что рассказывает в «Русском Враче» (1905, № 5) д-р Б. Козловский об эвакуации раненых во время боя на Шахе:

Эвакуируемые жестоко страдали от холода, тем более, что они также не были еще снабжены никакой теплой одеждой, и только некоторые из них могли получить в Мукдене теплые китайские одеяла и халаты, далеко, впрочем, недостаточные. Чтобы согреться, эвакуируемые в некоторых вагонах раскладывали костры (подложив кирпичи и т. п.); но это, разумеется, было исключением. Поезда большею частью отправлялись совершенно необорудованные, без кухонь, без свечей, без всякой сортировки больных и почти без медицинского персонала. Так, один поезд пришел в Харбин только с комендантом (офицером) и *одной сестрой*. Были поезда, шедшие все ночи во мраке вследствие недостатка свечей и следовавшие несколько станций без всякого медицинского персонала, который назначен был только в Телине. Не лучше было и с питанием больных. Приходилось кормить эвакуируемых в пути на военно-продовольственных пунктах, но здесь происходил целый ряд недоразумений: то неопытный комендант не отправлял вовремя телеграммы, то поезд опаздывал на много часов, а в результате больные нередко по двое суток не получали

---

[1] По произведенным подсчетам, во время боя на Шахе в санитарных поездах было перевезено около *трех* тысяч раненых, в теплушках около *тридцати* тысяч.

горячей пищи и голодали в холодных, нетопленных вагонах. Чем ближе к Харбину, тем больше усиливалась закупорка пути и тем больше мерзли и голодали эвакуируемые.

В том же «Русском Враче» (№ 14) приведен рассказ одного врача, относящийся ко времени Ляоянского боя:

Ночью он услыхал раздавшиеся из одного закрытого наглухо вагона стоны. Открыв вагон, он увидел там раненного в голову (в бессознательном состоянии), сорвавшего с себя повязку; раненый стоял у форточки товарного вагона, доставал из раны пальцами кусочки размозженного мозга и рассматривал их при свете луны, а на полу в темноте лежали раненные в живот с начавшимся уже воспалением брюшины и на каждый толчок вагона отвечали громкими стонами и проклятиями. От испражнений, делаемых под себя, в вагоне стояла вонь; духота и жажда усиливали страдания несчастных. По-видимому, стоны эвакуируемых донеслись и до Петербурга: в двадцатых числах августа проехали лица, собиравшие материал об эвакуации, *и в результате явились доклад и попытки улучшить эвакуацию.*

Ко времени боя на Шахе, как мы видели, «попытки» эти еще не увенчались успехом, все шло по-прежнему. А вот что происходило в заседании Телинского медицинского общества уже в январе 1905 года, незадолго до Мукденского боя.

Было выслушано сообщение Н. В. Рено о перевозке раненых и больных в теплушечных поездах. Докладчица в ярких красках описала мытарства, испытываемые перевозимыми в этих поездах больными, и указала на угнетающее положение сопровождающего эти поезда медицинского персонала, почти бессильного в борьбе с той массой неудобств, которые представляют эти поезда в настоящем своем виде. — При обмене мнений, в котором приняли участие и инженеры, выяснилось, что, несмотря на год войны, для улучшения этих поездов почти ничего не сделано, *хотя улучшения эти возможны при не особенно больших затратах и местными средствами железнодорожных мастерских.* Для всестороннего обсуждения мероприятий, необходимых в целях удовлетворительного оборудования приспособлений теплушечных санитарных поездов, общество избрало комиссию, в работах которой любезно согласились принять участие и инженеры. Собранный комиссией фактический материал, а также составленный инж. Савкевичем проект переделки вагона были, по постановлению общества, пересланы главному начальнику санитарной части армии. *На неожиданных результатах этого представления,* — добавляет референт, — *я нахожу неудобным здесь останавливаться* («Русский Врач», 1905 г. № 25).

Результат же был очень простой. От начальника санитарной части, генерала Ф. Ф. Трепова, в ответ пришел запрос: *на каком основании существует Телинское медицинское общество?* Ответили, что на основании устава, утвержденного начальником тыла, генералом Надаровым, для Харбинского медицинского общества, Телинское же

представляет собою его филиальное отделение. (Замечу, что о существовании Телинского общества Трепову было известно давно: Общество уже раньше писало ему о необходимости устроить в Телине изоляционное помещение для заразных больных, но ответа не удостоилось.) Последовала вторая бумага от начальника санитарной части: *власть генерала Надарова на Телин не распространяется*. Этим дело и закончилось.

Вокруг нас,— у станций, у разъездов,— везде стояли полевые госпитали. Одни из них все еще не получали приказа развернуться. Другие, как и наши, были развернуты. Издалека белелись огромные парусиновые шатры с светло-зелеными гребнями, флаги с красным крестом призывно трепыхались под ветром.

— Вы что, собственно, делаете? — спрашивал я врачей этих госпиталей.

— Что делаем? *Записываем проезжающих раненых*,— с усмешкою отвечали врачи.— То и дело телеграммы: «Немедленно всех эвакуировать»... Записанные ставятся на довольствие. А на довольствие каждого нижнего чина полагается шестьдесят копеек в сутки, на довольствие офицера — рубль двадцать копеек. Смотрители ходят и потирают руки.

Так работали госпитали в нашей местности. А в мукденских каменных бараках, которые мы сдали госпиталям другой дивизии нашего корпуса, в это время происходило вот что.

В бараки непрерывно прибывали раненые. Как будто прорвало какую-то плотину. Везли. Шли пешком. Приходили пешком раненные в живот. Во все двери валили люди в окровавленных повязках. В одном из бараков было триста мест, в другом — сто восемьдесят. Теперь в каждый из них набилось больше тысячи раненых. Не хватало не только коек,— давно уж не хватало соломы и циновок, не хватало места под кровлею. Раненые лежали на полу между коек, лежали в проходах и сенях бараков, наполняли разбитые около бараков госпитальные шатры. И все-таки места всем не хватало. Они лежали под открытым небом, под дождем и холодным ветром, окровавленные, трясущиеся и промокшие, и в воздухе стоял какой-то дрожащий, сплошной стон от холода.

«Прикомандированные» врачи, которые при нас без дела толклись в бараках, теперь все были разосланы Горбацевичем по полкам; они уехали в одних шведских куртках, без шинелей: Горбацевич так и не позволил им съездить в Харбин за их вещами. Всю громадную работу в обоих мукденских бараках делали теперь восемь штатных ординаторов. Они бессменно работали день и ночь, еле стоя на ногах. А раненых все подносили и подвозили.

На кухнях не хватало котлов. Сколько их было, во всех наварили супу, рассчитывая, что проголодавшиеся раненые будут хотеть есть. Но большинство прибывших просило пить, а не есть; они отворачивались от теплого, соленого супа и просили воды. Воды не было: кипяченой негде было приготовить, а сырой не решались давать, потому что кругом свирепствовала дизентерия и брюшной тиф.

Что же делали эти мукденские бараки?

Они — они тоже «эвакуировали», и только. И было это еще курьезнее, чем у нас. Эвакуировали они не только раненых, привезенных непосредственно с позиций. Шедшие с юга санитарные теплушечные поезда останавливались в Мукдене, раненых выгружали, переносили в бараки, а назавтра снова тащили на вокзал, грузили в теплушки и отправляли дальше на север. Можно было думать, что какой-то злобный дьявол нарочно устраивает все это, чтобы повеселиться на безмерные людские муки. Но нет, дьявол был не злобный и не имел охоты веселиться; был он с сухою, бесстрастною бумажною душою, с деловито-суетливым взглядом и полагал, что делает самое настоящее дело.

То и дело в бараки приходили телеграммы от военно-медицинского начальства: немедленно эвакуировать четыреста человек, немедленно эвакуировать семьсот человек... Охваченное каким-то непонятным, безумным бредом, начальство думало только об одном: поскорее забросить раненых как можно дальше от позиций. Бой на Шахе не кончился отступлением армий,— все равно! Он мог кончиться отступлением,—и вот тяжко раненных, которым нужнее всего был покой, целыми днями нагружали, выгружали, таскали с места на место, трясли и перетряхивали в двуколках и теплушках.

По окончании боя Куропаткин с чувством большого удовлетворения телеграфировал военному министру для доклада царю:

Во время боев с 25 сентября по 8 октября из района боевых действий маньчжурской армии вывезено в Мукден, а отсюда эвакуировано в тыл: раненых и больных офицеров — 945, нижних чинов — 31 111. Эвакуация столь значительного числа раненых исполнена в такой короткий срок, благодаря энергии, распорядительности и совместной дружной работе чинов санитарного и медицинского ведомства.

Все раненые в один голос заявляли, что ужасны не столько раны, сколько перевозка в этих адских двуколках и теплушках. Больные с полостными ранами гибли от них, как мухи. Счастлив был тот раненный в живот, который дня три-четыре провалялся на поле сражения неподобранным: он лежал там беспомощный и одинокий, жаждал и мерзнул, его каждую минуту могли загрызть стаи голодных собак,— но у него был столь нужный для него покой; когда его подобрали, брюшные раны до известной степени уже склеились, и он был вне опасности.

Нарушая прямые приказы начальства, врачи мукденских бараков на свой риск отделили часть барака под полостных раненых и не эвакуировали их. Результат получился поразительный: *все они*, двадцать четыре человека, выздоровели, только один получил ограниченный перитонит, один — гнойный плеврит, и оба поправились.

Под конец боя бараки посетил наместник и раздавал раненым солдатам георгиев. По уходе наместника все хохотали, а его адъютанты сконфуженно разводили руками и признавались, что, собственно говоря, всех этих георгиев следовало бы отобрать обратно.

Идет наместник, за ним свита. На койке лежит бледный солдат, над его животом огромный обруч, на животе лед.

— Ты как ранен?

— Значит, иду я, ваше высокопревосходительство, вдруг ка-ак *она* меня саданет, прямо в живот! Не помню, как, не помню, что...

Наместник вешает ему георгия. Но кто же была эта *она*? Шимоза? О, нет: обозная фура. Она опрокинулась на косогоре и придавила солдата-конюха. Порохового дыма он и не нюхал.

Получили георгия солдаты, раненные в спину и в зад во время бегства. Получили больше те, которые лежали на виду, у прохода. Лежавшие дальше к стенам остались

ненагражденными. Впрочем, один из них нашелся; он уже поправлялся, и ему сказали, что на днях его выпишут в часть. Солдат пробрался меж раненых к проходу, вытянулся перед наместником и заявил:

— Ваше высокопревосходительство! Прикажите выписать меня в строй. Желаю еще послужить царю и отечеству.

Наместник благосклонно оглядел его.

— Это пусть доктора решают, когда тебя выписать. А пока — вот тебе.

И повесил ему на халат георгия.

Теперь пришлось поверить и слышанным мною раньше рассказам о том, как раздавал наместник георгиев; получил георгия солдат, который в пьяном виде упал под поезд и потерял обе ноги; получил солдат, которому его товарищ разбил в драке голову бутылкою. И многие в таком роде.

В течение боя, как я уж говорил, в каждом из бараков работало всего по четыре штатных ординатора. Кончился бой, схлынула волна раненых,— и из Харбина на помощь врачам прибыло *пятнадцать* врачей из резерва. Делать теперь им было решительно нечего.

Начальство за время боя в бараки не заглядывало,— теперь снова оно зачастило. Снова пошли распекания, угрозы арестом и бестолковые, противоречащие друг другу приказания.

Является Горбацевич.

— Что это такое?! Шинели больных валяются на кроватях!

— Нет цейхгауза, ваше превосходительство.

— Так вбейте гвоздики над каждою кроватью, пусть висят на гвоздиках.

Вбили. Является Трепов.

— Что это тут за цейхгауз? Чего вы этих шинелей понавешали? Загородили весь свет, набиваете пыль и заразу!

— Так приказал г. полевой медицинский инспектор.

— Сейчас же убрать!

Инспектор госпиталей Езерский — у этого было свое дело. Дежурит только что призванный из запаса молодой врач. Он сидит в приемной за столом и читает газету. Вошел Езерский, прошелся по палатам раз, другой. Врач посмотрел на него и продолжает читать. Езерский подходит и спрашивает:

— Сколько у вас больных?

— Больных?.. Можно сейчас посмотреть,— благодушно заявляет врач и тянется к книге, куда записывают больных.

— Скажите, пожалуйста: вы вот видите, по палатам ходит совсем чужой человек. А вы на это даже не обращаете внимания и продолжаете читать газету. Может быть, я сумасшедший?

Врач поднял брови, оглядел генерала и чуть пожал плечом: дескать, на вид как будто незаметно.

Генерал рассвирепел, стал кричать. Врач сообразил, что перед ним какое-то начальство, встал и вытянулся.

— Под арест на семь суток!

Вошел ординатор; с рукою к козырьку, говорит генералу:

— Простите, ваше превосходительство, в этом виноваты мы. Товарищ только что прибыл из запаса, военных правил не знает, а мы его не обучили.

— Что? Заступаться? Под арест на трое суток!

В Мукдене шла описанная толчея. А мы в своей деревне не спеша принимали и отправляли транспорты с ранеными. К счастью раненых, транспорты заезжали к нам все реже. Опять все бездельничали и изнывали от скуки. На юге по-прежнему гремели пушки, часто доносилась ружейная трескотня. Несколько раз японские снаряды начинали ложиться и рваться близ самой нашей деревни.

У нас расхворалась одна из штатных сестер, за нею следом — сверхштатная, жена офицера. В султановском госпитале заболела красавица Вера Николаевна. У всех трех оказался брюшной тиф; они захватили его в Мукдене, ухаживая за больными. Заболевших сестер эвакуировали на санитарном поезде в Харбин...

Наша деревня с каждым днем разрушалась. Фанзы стояли без дверей и оконных рам, со многих уже сняты были крыши; глиняные стены поднимались среди опустошенных дворов, усеянных осколками битой посуды. Китайцев в деревне уже не было. Собаки уходили со дворов, где жили теперь чужие люди, и — голодные, одичалые — большими стаями бегали по полям.

В соседней деревушке, в убогой глиняной лачуге, лежала больная старуха-китаянка; при ней остался ее сын. Увезти ее он не мог: казаки угнали мулов. Окна были выломаны на костры, двери сняты, мебель пожжена, все запасы

отобраны. Голодные, они мерзли в разрушенной фанзе. И вдруг до нас дошла страшная весть: сын своими руками зарезал больную мать и ушел из деревни.

Воротился из Мукдена наш хозяин. Увидел свою разграбленную фанзу, ахнул, покачал головою. С своею ужасною, любезно-вежливою улыбкою подошел к вывороченной двери погреба, спустился, посмотрел и вылез обратно. Неподвижное лицо не выражало ничего.

Под вечер китаец сидел с фельдшером на стволе дерева, срубленного нами на его огороде. Любопытствующим голосом он спрашивал фельдшера:

— Ходя (приятель), твоя мадама ю (у тебя жена есть)?

— Ю (есть), — отвечает фельдшер.

— Маленька ю? — спрашивал китаец и показывал рукою на пол-аршина от земли.

— И ребята есть.

Фельдшер вздохнул и задумался. А китаец тихим, бесстрастным голосом рассказывал, что у него тоже есть «мадама» и трое ребят, что все они живут в Мукдене. А Мукден, как мухами, набит китайцами, бежавшими и выселенными из занятых русскими деревень. Все очень вздорожало, за угол фанзы требуют по десять рублей в месяц, «палка» луку стоит копейку, пуд каоляна — полтора рубля. А денег взять негде.

Он сидел понурившись, исхудалый, с ровно-смуглым, молодым цветом кожи на красивом лице. Фельдшер дал ему кусок черного хлеба. Китаец жадно закусил хлеб своими кривыми зубами.

От колодца прошел наш кашевар с четырехугольным черным ведром в руках.

— А, ходя! Здравствуй! — весело крикнул он китайцу.

Китаец приветливо кивнул в ответ.

— Длиаст! — И с вежливо-любезною улыбкою указал рукою на ведро.

— Что? Твое ведро?

— Моя! — улыбнулся китаец.

— Как это ты, ходя, сюда в деревню пробрался? — спросил фельдшер. — У нас тут всех китаев выселили. Пойдешь назад, попадешься казакам, — кантрами тебе сделают.

— Моя не боиса! — равнодушно ответил китаец.

На вечерней заре он ушел из деревни, и больше мы его уж не видели.

За ужином главный врач, вздыхая, ораторствовал:

— Да! Если мы на том свете будем гореть, то мне придется попасть на очень горячую сковородку. Вот приходил сегодня наш хозяин. Должно быть, он хотел взять три мешка рису, которые зарыл в погребе; а их уж раньше откопала наша команда. Он, может быть, только на них и рассчитывал, чтобы не помереть с голоду, а поели рис наши солдаты.

— Позвольте! Вы это знали, как же вы это могли допустить? — спросили мы.

Главный врач забегал глазами.

— Я это только что сам узнал.

— Только вы один во всем этом и виноваты,— резко сказал Селюков.— Вот, недалеко от нас дивизионный лазарет: смотритель собрал команду и объявил, что первого же, кто попадется в мародерстве, он отдаст под суд. И мародерства нет. Но, конечно, он при этом покупает солдатам и припасы и дрова.

Воцарилось «неловкое молчание». Денщики с неподвижными лицами стояли у дверей, но глаза их смеялись.

— Вообще нет ничего более позорного и безобразного, чем война! — вздохнул главный врач.

Все молчали.

— Я верю, что со временем Европа получит от Востока жестокое возмездие,— продолжал главный врач.

Деликатный Шанцер не выдержал и заговорил о желтой опасности, об известной картине германского императора.

После ужина денщики, посмеиваясь, сообщили нам, что про мешки с рисом главный врач знал с самого начала; солдатам, откопавшим рис, он дал по двугривенному, а рисом этим кормит теперь команду.

Тот дивизионный лазарет, о котором упомянул Селюков, представлял собою какой-то удивительный, светлый оазис среди бездушно черной пустыни нашего хозяйничания в Маньчжурии. И причиною этого чрезвычайного явления было только то, что начальник лазарета и смотритель были элементарно честными людьми и не хотели наживаться на счет китайцев. Мне пришлось быть в деревне, где стоял этот лазарет. Деревня имела необычайный, невероятный вид: фанзы и дворы стояли нетронутые, с цельными дверями и окнами, со скирдами хлеба на гумнах; по улицам резвились китайские ребятишки, без страха ходили женщины, у мужчин были веселые лица. Кумирня охранялась часовым. По

улицам днем и ночью расхаживали патрули и, к великому изумлению забиравшихся в деревню чужих солдат и казаков, беспощадно арестовывали мародеров.

И какое же зато было там у китайцев отношение к русским! Мы часто целыми днями сидели без самого необходимого,— там был полный избыток во всем: китайцы, как из-под земли, доставали русским решительно все, что они спрашивали. Никто там не боялся хунхузов, глухою ночью все ходили по деревне безоружные.

О, эти хунхузы, шпионы, сигнальщики! Как бы их было ничтожно мало, как бы легко было с ними справляться, если бы русская армия хоть в отдаленной мере была тою внешне и морально дисциплинированной армией, какою ее изображали в газетах лживые корреспонденты-патриоты.

Бой постепенно, незаметно затихал. Две огромные волны раскатились, сшиблись и теперь медленно оттекали обратно. Обе армии за небольшими изменениями остались на своих местах. Реже и глуше грохотали пушки, все меньше шло раненых. Русские и японцы сидели друг против друга в залитых дождями окопах, шагах в трехстах расстояния, и стыли по колено в воде, скорчившись за брустверами. Кто неосторожно выглядывал, сейчас же получал в голову пулю. В госпитали теперь повалили больные с бронхитами, ревматизмами и лихорадками.

К нам забежала оживленная Зинаида Аркадьевна и сообщила, что отобрание у японцев шестнадцати орудий и взятие «сопки с деревом» решено раздуть в грандиозную победу и приступить к переговорам о мире. Слух этот стал распространяться. Некоторые офицеры сдержанно замечали:

— Самый благоприятный момент для мира. Позиции мы удержали, к переговорам приступим не как побежденные...

Другие возмущались.

— Как? Вполне ясно, в войне наступает перелом. До сих пор мы всё отступали, теперь удержались на месте. В следующий бой разобьем япошек. А их только раз разбить,— тогда так и побегут до самого моря. Главная работа будет уж казакам... Войск у них больше нет, а к нам подходят все новые... Наступает зима, а японцы привыкли к жаркому климату. Вот увидите, как они у нас тут зимою запищат!

Большинство офицеров насчет зимы соглашалось, но в общем молчало и не высказывалось.

От бывших на войне с самого ее начала я не раз впоследствии слышал, что наибольшей высоты всеобщее настроение достигло во время Ляоянского боя. Тогда у всех была вера в победу, и все верили, не обманывая себя; тогда «рвались в бой» даже те офицеры, которые через несколько месяцев толпами устремлялись в госпитали при первых слухах о бое. Я этого подъема уже не застал. При мне все время, из месяца в месяц, настроение медленно и непрерывно падало. Люди хватались за первый намек, чтобы удержать остаток веры.

Раньше говорили, что японцы — природные моряки, что мы их будем бить на суше; потом стали говорить, что японцы привыкли к горам, что мы их будем бить на равнине. Теперь говорили, что японцы привыкли к лету и мы будем их бить зимою. И все старались верить в зиму.

V

ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ: ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ

Однажды вечером оба наши госпиталя получили из штаба корпуса приказ: немедленно передвинуться из деревни Сяо-Кии-Шинпу на запад, в деревню Бейтайцзеин. Когда этот приказ был получен, племянница Султанова, Новицкая, почему-то чрезвычайно обрадовалась. У них сидел адъютант из штаба корпуса; провожая его, она вся сияла и просила передать корпусному командиру ее «большое, большое спасибо».

Деревня Бейтайцзеин была всего за две версты от деревни, где мы стояли. Наутро наш госпиталь двинулся. В султановском госпитале только еще начинали укладываться; Султанов пил в постели кофе.

Наш главный врач забрал с собою из фанзы все, что можно было уложить на возы,— два стола, табуретки, четыре изящных красных шкапчика; в сенях велел выломать из печки большой котел. На наши протесты он заявил:

— Здесь все равно все разграбят. А я им потом возвращу.

Приехали мы в Бейтайцзеин. Деревня была большая, в две длинных улицы, но совершенно опустошенные. Фанзы стояли без крыш, глиняные стены зияли черными квадратами выломанных на топку окон и дверей. Только на одной

из улиц тянулся ряд больших богатых каменных фанз, совершенно нетронутых. У ворот каждой фанзы стояло по часовому.

— Эти фанзы заняты кем-нибудь? — спросил часового главный врач.

— Так точно!

— Кто в них стоит?

— Штаб корпуса стоял. Вчера он перешел вон в ту деревню, теперь будет стоять 39 полевой подвижной госпиталь (султановский).

— А от кого же этот караул поставлен?

— От штаба корпуса.

Так... дело начинало выясняться. Мы обошли всю деревню. После долгих поисков помощник смотрителя нашел на одном дворе, рядом с султановскими фанзами, две убогих, тесных и грязных лачуги. Больше поместиться было негде. Солдаты располагались биваком на огородах, наши денщики чистили и выметали лачуги, заклеивали бумагою прорванные окна.

Мы пошли посмотреть фанзы, охранявшиеся для Султанова. Помещения были чистые, просторные и роскошные. Караульные рассказали нам, что перед въездом сюда корпусного командира целая рота саперов три дня отделывала эти помещения. Теперь стало понятно, почему так обрадовалась Новицкая полученному приказу, за что передавала она благодарность командиру корпуса; и стало также понятно это бессмысленное передвижение госпиталей всего за две версты. В прежней деревне весь персонал султановского госпиталя теснился, как и мы, в одной фанзе, и это, конечно, не могло нравиться Новицкой. Возникал невероятный вопрос: неужели сотни людей так легко перебрасываются с места на место по мановению одного тонкого белого пальчика сестры Новицкой? Впоследствии мы не раз имели случаи убедиться, какая волшебно-огромная сила заключалась в этом пальчике.

Денщики ввели воз с нашими вещами во дворик и стали вносить в вычищенные ими фанзы вещи. К соседним фанзам подъехал султановский обоз. В воротах нашего двора показалась стройная фигура Султанова верхом на белой лошади.

— Послушайте, это чьи тут вещи, ваши? — крикнул он д-ру Гречихину.

— Да.

— Потрудитесь убрать их. Это все наши фанзы.

— Ваши вон они, фанзы. Нам никто не говорил, что эти заняты.

— Ну, вот я вам и говорю... Эй, вы! Не вносить вещей! — крикнул Султанов нашим денщикам.

Мы с Шанцером стояли у ворот. Шанцер, всегда удивительно равнодушный к тому, как устроиться, с веселым любопытством оглядывал Султанова. К воротам поспешно подошли Новицкая и Зинаида Аркадьевна.

Новицкая, злая и взволнованная, накинулась на Шанцера:

— Это наши фанзы, вы не имели права их занимать; генерал нам их оставил, тут стоял наш караул... Вы думали, что раньше приехали, так все можете захватить!..

Она взволнованно сыпала словами; слышалось только быстрое, злобное: «те-те-те-те-те!» И вдруг в ней исчезла вся ее изящная медленность, перед глазами суетливо металось противное, вульгарное существо, с маленькою головкою и злобным, индюшечьим лицом.

— Что вы ко мне обращаетесь? Мне до всего этого нет решительно никакого дела,— брезгливо ответил Шанцер, пожав плечами.

— Ведь правда, Лапочка, при чем же тут Моисей Григорьевич? — сдержанно заметила Зинаида Аркадьевна.

Новицкая осеклась, и обе они поспешили к своим фанзам.

Пришел наш главный врач. Он приказал денщикам продолжать вносить вещи в фанзу. Султанов своим ленивым, небрежным голосом обратился к нему:

— Гораздо лучше, поделим деревню пополам. Нам эта улица, вам — та.

— Покорно вас благодарю! Не хотите ли наоборот? — ответил Давыдов, еле сдерживая негодование.— В тех фанзах я бы, по крайней мере, постеснялся поместить даже собак.

Наконец, все как будто уладилось. Мы устраивались в своей фанзе, распаковывали вещи. Вдруг на нашем дворе появилась Зинаида Аркадьевна с унтер-офицером, начальником караула. Она суетливо ходила по двору и все осматривала.

— Здесь был полевой телеграф? Так эта фанза тоже наша! Как же ты им не сказал?

— Мне, барышня, было приказано охранять только те фанзы.

— Нет, и эту, не выдумывай, пожалуйста! Мне сам генерал сказал, сам все показывал... Какой же ты начальник караула? Я на тебя пожалуюсь корпусному командиру!

Она ушла с ним в калитку к своим фанзам. Через минуту унтер-офицер, приложив руку к козырьку, подошел к Давыдову, следившему за водружением госпитальных шатров.

— Ваше высокоблагородие, прикажите очистить ваши фанзы,— почтительно сказал он.— А то я буду отвечать перед их высокопревосходительством.

Главный врач вспыхнул.

— Скажи твоему высокопревосходительству,— произнес он резко и раздельно,— что я насильно занял эти фанзы. Пошел прочь!

От Султанова прибежал другой солдат и заявил, что вышло недоразумение, что Султанову довольно его фанз. Шанцер был в восхищении от ответа нашего главного врача.

— Великолепно! Великолепно! — повторял он.— За этот ответ ему можно многое простить!

Султановцы устроились с полным комфортом. Сам Султанов, Новицкая и Зинаида Аркадьевна взяли себе по отдельному просторному помещению, отдельное помещение получили четыре младших врача, отдельное — хозяйственный персонал. Мы все вповалку разместились на глиняных лежанках двух наших тесных, грязных фанз.

Вечером перед султановскими воротами стояла коляска корпусного командира и шарабан его адъютанта, привезшего Султанову приглашение на ужин к корпусному. Вышел Султанов, вышли разрядившиеся, надушенные Новицкая и Зинаида Аркадьевна; они сели в коляску и покатили в соседнюю деревню.

На дворе стоял под ружьем солдат-повар, испортивший к султановскому обеду пирожное.

Для больных у нас разбили шатры. Но по ночам бывало уж очень холодно. Главный врач отыскал несколько фанз, попорченных меньше, чем другие, и стал отделывать их под больных. Три дня над фанзами работали плотники и штукатуры нашей команды.

Помещения были готовы, мы собирались перевести в них больных из шатров. Вдруг новый приказ: всех больных немедленно эвакуировать на санитарный поезд, госпиталям свернуться и идти — нам в деревню Суятунь, султановскому госпиталю — в другую деревню. Все мы облегченно вздохнули: слава богу! будем стоять отдельно от Султанова!

Утром на заре мы двинулись. Весь наш корпус переводился с правого фланга в центр. По дорогам сплошными массами тянулись пехотные колонны, обозы, батареи и парки. То и дело происходили остановки...

Мы пришли в деревню Суятунь. Она лежала за четверть версты на восток от станции. Деревня, по-обычному, была полуразрушена, но китайцев еще не выселили. Над низкими глиняными заборами повсюду мельками плоские цепы и обмотанные черными косами головы: китайцы спешно обмолачивали каолян и чумизу.

Нам, младшим врачам, удалось найти маленькую, брошенную китайцами фанзу, где мы поселились отдельно. Это было, как светлое избавление,— не видеть перед собою постоянно главного врача и смотрителя...

К ночи пошел дождь, стало очень холодно. Мы попробовали затопить *кханы* — широкие лежанки, тянувшиеся вдоль стен фанзы. Едкий дым каоляновых стеблей валил из трещин лежанок, валил назад из топки; от вмазанного в сенях котла шел жирный чад и мешался с дымом. Болела голова. Дождь хлестал в рваные бумажные окна, лужи собирались на грязных подоконниках и стекали на кханы.

У нас сидел заблудившийся офицер-стрелок, застигнутый ночью и непогодою. Он пил чай с ромом и рассказывал, что слухи о мире оказались неверными, что решено воевать дальше. А идет суровая зима, а полушубков все не высылают. Стрелки у них рады уж тому, что недавно получили назад шинели: летом, ввиду их тяжести и стоявших жаров, шинели были отобраны. В армии нет ни снарядов, ни припасов. Харбинский склад снарядов весь исчерпан, приходится рассчитывать только на подвоз из России. Страна опустошена, фанзы разрушены; через два-три месяца не будет ни жилищ, ни дров, ни фуражу. Повторится двенадцатый год, только мы будем в роли французов.

Ветер бил дождем в рваные бумажные окна, было холодно, сыро и угарно.

Наш главный врач, смотритель со своим помощником и письмоводитель целыми днями сидели теперь в канцелярии. Считали деньги, щелкали на счетах, писали и подписывали. В отчетности оказалось что-то неладное, концы с концами не сходились.

К нам иногда забегали помощник смотрителя Давид Соломонович Брук и письмоводитель Иван Александрович Брук. Они были родные братья, евреи, оба зауряд-чиновники. Младший, Иван, очень хорошенький и очень трусливый мальчик, был крещеный. Спать он всегда ложился с револьвером, ужасно боялся хунхузов, больше же всего боялся попасть в строй.

— То есть, вы понимаете! Ведь у нас там форменный грабеж! — взволнованно рассказывал он нам.— Фальшивые счета, воровство, подложные ведомости... И представьте себе, они меня от всего хотят устранить! Я — делопроизводитель, а составить отчетную ведомость на фураж главный врач приглашает делопроизводителя соседнего полка!

И он сидел, бледный, с бегающими глазами, с злобно-унылою складкою на губах.

— Но только пусть попробуют. У меня на них есть один документик. Давыдов дал китайцу три рубля, чтобы он подписался под счетом в 180 рублей, а тот по-китайски написал: «три рубля получил»; мне это другой китаец перевел... Пусть попробуют! Но только вы понимаете, какие они подлецы! Сейчас в строй меня переведут! И они отлично знают, что я этого боюсь...

С позиций в нашу деревню пришел на стоянку пехотный полк, давно уже бывший на войне. Главный врач пригласил к себе на ужин делопроизводителя полка. Это был толстый и плотный чинуша, как будто вытесанный из дуба; он дослужился до титулярного советника из писарей. Наш главный врач, всегда очень скупой, тут не пожалел денег и усердно угощал гостя вином и ликерами. Подвыпивший гость рассказывал, как у них в полку ведется хозяйство,— рассказывал откровенно, с снисходительною гордостью опытного мастера.

— Из обозных лошадей двадцать две самых лучших мы продали и показали, что пять сбежало, а семнадцать подохло от непривычного корма. Пометили: «протоколов составлено не было». Подпись командира полка... А сейчас у нас числится на довольствии восемнадцать несуществующих быков.

Главный врач враждебно покосился на смотрителя.

— Видите? — раздраженно сказал он.— А наши существовавшие три быка не были записаны на довольствие!

Делопроизводитель рассказывал долго. Главный врач и смотритель жадно слушали его, как ученики — талантливого, увлекательного учителя. После ужина главный врач велел обоим Брукам уйти. Он и смотритель остались с гостем наедине.

Младший Брук зашел к нам, унылый и злой, с серо-зеленым лицом.

— Пусть теперь пришлют за мною, ни за что не приду!— повторял он, в задумчивости бегая глазами.

Он взял фонарик и ушел на другой конец деревни, в гости к сестрам.

— Дурень этакий! — смеялся Шанцер.— Он думает, его устраняют, прячутся от него, чтобы с ним не делиться. А не сообразит, что делиться с ним все равно не станут; боятся они его, фитюльку! А устраняют просто потому, что не нужен: что он понимает в этом серьезном деле?..

Часа через два главный врач, смотритель и гость перешли пить чай из фанзы главного врача в помещение хозяйственного персонала; оно было в той же фанзе, где жили мы, врачи, и отделялось от нас сенями. За чаем пошли уже общие разговоры. Слышался громкий, полный голос смотрителя, сиплый и как будто придушенный голос главного врача.

— Порт-Артур во всяком случае продержится еще с полгода. Скоро прибудет шестнадцатый корпус, тогда, бог даст, маньчжурская армия перейдет в наступление.

Мы прислушивались и посмеивались. Шанцер возмущался прямо эстетически.

— И что им, ворам, до наступления маньчжурской армии?! Как они могут об этом говорить и смотреть друг другу в глаза?.. И я не понимаю: ведь вот Давыдов каждый месяц посылает жене по полторы, по две тысячи рублей: она же знает, что жалованья он получает рублей пятьсот. Что он ей скажет, если жена спросит, откуда эти деньги? Что будет делать, если об этом случайно узнают его дети?

— Наивный вы человек! — вздохнул Селюков и стал раздеваться.

В первом часу ночи, когда мы уже были в постелях, к нам зашел старший Брук, помощник смотрителя. Только Шанцер сидел за столом и писал письма. Часа полтора Брук

рассказывал Шанцеру о сегодняшних беседах, и оба они хохотали, сдерживаясь, чтобы не разбудить Селюкова и Гречихина.

— Но вы понимаете! — рассказывал Брук.— Слушаю я их — форменное сборище каких-то темных личностей, мошенников! За каждый из их поступков полагается по нескольку лет Сибири! И этот делопроизводитель — опытнейший жулик, и важный такой! Не зауряд-чиновник, как мы, а титулярный советник.

— Ха-ха-ха!.. *Восемнадцать несуществующих быков на довольствии!* — покатывался Шанцер.

— Вчера мне Давыдов говорит: «Вы слышали про госпитали, которые сменили нас в Мукдене? За время боя через них прошло десять тысяч раненых. Если бы нас тогда оставили в Мукдене, мы с вами были бы теперь богатыми людьми»... Я ему говорю: да-а, *мы* с вами...

Шанцер хохотал.

— Нет, батенька, в самом деле, чего же вы-то смотрите? Они себе набивают карманы, а вы зеваете?

— А сегодня мне Давыдов говорит: плохо дело, во всем у нас перерасход, как-то мы сведем концы с концами!

И оба они хохотали, сдерживали хохот и говорили друг другу: «тише, разбудим!»

— Мне жинка моя перед отъездом говорила,— юмористически задумчиво сказал Брук: — смотри, Давид, не подписывай фальшивых счетов, не попади под суд. Только воротись цел, а деньги на хлеб всегда заработаешь.

— Вы еще ни одного фальшивого счета не написали?

Брук с плутовато-огорченным видом вздохнул.

— Один заставили написать. В Мукдене уж очень много говорили про овес главного врача. Чтоб зажать рот Султанову, он продал ему триста пудов по 1 р. 40 к., а мне велел написать счет на 1 р. 80 к. Я было отказался, мне Давыдов сказал: «Ну что вам стоит! Не все равно? Отчего не оказать любезность Султанову?..» А Султанов тоже мошенник порядочный. Штабу нашей дивизии очень был нужен овес, Султанов ему перепродал сто пудов. «Давыдов,— говорит,— вы знаете, какой гешефтмахер, содрал с меня по 1 р. 80 к.— ну, а я вам, себе в убыток, уступлю по 1 р. 60 к.».

— Да, батенька, въехали вы в грязную историю!

— Но вы понимаете, я не думал, что братишка мой такой жулик! Он всем этим возмущен только потому, что его отстраняют от дележки!..

Брук скорбно задумался. Шанцер хохотал, сдерживаясь, чтобы не было слышно.

С позиций то и дело доносилась пушечная канонада. Происходили частичные наступления, ночные атаки, иногда разносилась весть, что начинается новый бой. Солдаты мерзли в окопах. По ночам морозы доходили до 8—9°. Лужи замерзали. Полушубков все еще не было, хотя по приказу главнокомандующего они должны были быть доставлены к 1 октября. Солдаты поверх шинелей надевали китайские ватные халаты светло-серого цвета: вид солдат был смешон и странен, японцы из своих окопов издевались над ними. Офицеры с завистью рассказывали, какие хорошие полушубки и фуфайки у японцев, как тепло и практично одеты захватываемые пленные.

В конце октября полушубки, наконец, пришли. Интенданты были очень горды, что опоздали с ними всего на месяц: в русско-турецкую войну полушубки прибыли в армию только в мае [1].

Дней через пять после прихода в Суятунь нам приказано было развернуться. Поставили мы три наших госпитальных шатра, но в них было холодно, как в леднике, больные и раненые зябли. Опять принялись за отделку фанз.

Раненых привозили мало, прибывали больше больные. Прибывали они с сильно запущенными ревматизмами, бронхитами, дизентерией, ноги у всех были опухшие от долгого и неподвижного сидения в окопах. Больных отправляли в госпитали с большою неохотою; солдаты рассказывали: все сплошь страдают у них поносами, ломотою в суставах, кашель бьет непрерывно; просится солдат в госпиталь, полковой врач говорит: «Ты притворяешься, хочешь удрать с позиций». И отправляли больного в госпиталь только тогда, когда больного приходилось нести уже на носилках.

Однажды вечером в нашу деревню пришел с позиций на отдых пехотный полк. Солнце село, запад был ярко-

---

[1] Впрочем, как впоследствии выяснилось, особенно гордиться было нечего: большое количество полушубков пришло в армию даже не в мае, а *через год после заключения мира*. «Новое Время» сообщало *в ноябре 1906 года:* «В Харбин за последнее время продолжают прибывать как отдельные вагоны, так и целые поезда грузов интендантского ведомства, состоящих главным образом из теплой одежды. Грузы эти были отправлены из России в действующую армию еще во время стояния последней на Шахе, но до сих пор где-то блуждали».

оранжевый, на мокрой земле уже лежала темнота. Ряды черных фигур в косматых папахах, с иглами штыков, появлялись на невысоком холме, вырезывались на огне зари, спускались вниз и тонули во мраке; над черным горизонтом двигались дальше только черные папахи и острый лес винтовок. Солдаты шли странным, шатающимся шагом, и непрерывный кашель вился над полком. Это был сплошной сухо-прыгающий шум, никогда я не слышал ничего подобного! И мне стало понятно: ведь всех этих солдат, *всех сплошь*, нужно положить в госпиталь; если отправлять заболевающих, то от полка останется лишь несколько человек. И вот, значит, сиди в окопах больной, стынь, мокни, пока хватает сил, а там уходи калекою на всю жизнь. И в этом чувствовалась жуткая, но железно-последовательная логика: если людей бросают под вихрь буравящих насквозь пуль, под снаряды, рвущие тело в куски, то почему же останавливаться перед безвозвратно ломающею болезнью? Мерка только одна,— годен ли еще человек в дело. А дальше все равно.

И вот, постепенно и у врача создавалось совсем особенное отношение к больному. Врач сливался с целым, переставал быть врачом и начинал смотреть на больного с точки зрения его дальнейшей пригодности к «делу». Скользкий путь. И с этого пути врачебная совесть срывалась в обрывы самого голого военно-полицейского сыска и поразительного бездушия.

Армия стала наводняться выписанными из госпиталей солдатами, совершенно негодными к службе. Возвращали в строй солдат, еле еще ходивших после перенесенного тифа; возвращали хромых, задыхающихся, с простреленною навылет грудью, могущих с трудом поднять сведенную от раны руку до уровня плеча. Наконец, на это обратило внимание даже военное начальство. В декабре месяце Военно-Полевому Медицинскому Управлению пришлось выпустить циркуляр (№ 9060) такого содержания:

«Главнокомандующий изволил заметить, что в части войск в большом количестве возвращаются из госпиталей нижние чины, либо совершенно негодные к службе, либо еще не оправившиеся от болезней». Ввиду этого врачебным учреждениям рекомендовалось быть впредь более осмотрительными при выписке больных.

Главнокомандующий изволил заметить... Но как же этого не «изволило заметить» военно-медицинское начальство?

Как этого не «изволили заметить» сами врачи? Военным генералам приходилось обучать врачей внимательному отношению к больным!

В нашей канцелярии, под руководством полкового делопроизводителя, с утра до ночи кипела темная работа. Составлялись отчетные ведомости, фабриковались счета. Если для подписания счета не находили китайца, то поручали сделать это старшему писарю; он скопировывал несколько китайских букв с длинных красных полосок, в обилии украшавших стены любой китайской фанзы.

Смотритель нервничал. Он задумывался; в разговоре часто терял нить; старался показать, что редко заглядывает в канцелярию.

— Состояние, как у только что павшей девицы,— объяснял Селюков.— С одной стороны, ей приятно, она и завтра пойдет на свидание; с другой стороны, неловко как-то на душе, тоже и за последствия страшно.

Младший Брук был уныл, зол, дулся на главного врача и смотрителя. Он всячески старался им показать, что «знает их проделки». Занося в книгу какой-нибудь фальшивый счет, Брук вдруг заявлял:

— Да этот счет подписывал наш старший писарь!

Главный врач равнодушно брал в руки счет и рассматривал его.

— Разве?.. Как искусно подписался, совсем, как китаец!

Вечером, лежа в кровати рядом с смотрителем, Брук говорил:

— Главный врач уверяет, что у нас в госпитале совсем нет экономических сумм. А почему их нет? Недавно главный врач положил себе в карман две тысячи рублей.

— Что-о?..— Смотритель удивленно выкатывал глаза и садился на своей кровати.— Откуда вы это знаете? Такие обвинения можно высказывать, только имея доказательства. Я завтра спрошу Григория Яковлевича, правда это или нет.

Душа Брука уходила в пятки. Он бледнел и начинал объяснять, что, может быть, ему это только так показалось.

В конце октября мы получили приказ сняться и передвинуться верст на восемь на восток, в деревню Мизантунь. Бросили отделанные для больных фанзы, бросили вырытые

для себя солдатами землянки. Перешли в Мизантунь. Больных теперь прямо уж немыслимо было держать в шатрах: стояла глубокая, холодная осень. Принялись за отделку фанз, солдаты нарыли себе землянок. Вдруг новый приказ — перейти в деревню Ченгоузу Западную, версты четыре на северо-запад. Опять все бросили и пошли. Солдаты были злы и раздраженно говорили:

— Рука не заносится, чтоб работать!

Раньше они работали дружно и весело, теперь копали, рубили и мазали вяло, сонно, вполне убежденные в бессмысленности своей работы.

К каждой дивизии придается в военное время по два полевых подвижных госпиталя. Они должны обслуживать свою дивизию и повсюду следовать за нею. Наша армия стояла под Мукденом с августа до февраля на одном месте. Но отдельные войсковые части то и дело передвигались и менялись своими местами. А следом за ними передвигались и госпитали. Мы передвигались, вновь и вновь отделывали фанзы под больных, наконец, развертывались; новый приказ,— опять свертываемся, и опять идем за своею частью. У нас был не полевой подвижной *госпиталь,*— было, как острили врачи, просто нечто «полевое-подвижное». Учреждение, несомненно, было полевым, несомненно, было подвижным — слишком даже подвижным! — но госпиталем оно не было. Без всякой пользы и толку, оно моталось вслед за дивизией, исполняя свое никому не нужное бумажное назначение.

Армия все время стояла на одном месте. Казалось бы, для чего было двигать постоянно вдоль фронта бесчисленные полевые госпитали вслед за их частями? Что мешало расставить их неподвижно в нужных местах? Разве было не все равно, попадет ли больной солдат единой русской армии в госпиталь своей или чужой дивизии? Между тем, стоя на месте, госпиталь мог бы устроить многочисленные, просторные и теплые помещения для больных, с изоляционными палатами для заразных, с банями, с удобной кухней.

В том сложном, большом деле, которое творилось вокруг, всего настоятельнее требовалась живая эластичность организации, умение и желание приноровить данные формы ко всякому содержанию. Но огромное, властное бумажное чудовище опутывало своими сухими щупальцами всю армию, лю-

ди осторожными, робкими зигзагами ползали среди этих щупальцев и думали не о деле, а только о том, как бы не задеть щупальца.

Переехали мы в Чентоузу Западную. В деревне шел обычный грабеж китайцев. Здесь же стояли два артиллерийских парка. Между госпиталем и парками происходили своеобразные столкновения. Артиллеристы снимают с фанзы крышу; на дворе из груд соломы торчат бревна переметов. Является наш главный врач или смотритель.

— Вы что это тут, фанзы разорять?.. Не знаете приказа главнокомандующего? Вот я вас сейчас же под суд!

Артиллеристы скрываются, а наши солдаты получают приказание подобрать бревна и тащить их в госпиталь. Офицеры-артиллеристы проделывали то же самое с нашими солдатами.

Холода становились сильнее. Временами выпадал снег. В Мукдене кубическая сажень дров стоила семьдесят-восемьдесят рублей, вскоре дошла уже до ста. Разорение фанз приняло грандиозный характер. Целые деревни представляли из себя лишь кучи полуразрушенных глиняных стен. Каждый думал только о себе. Если воинская часть занимала в деревне десять фанз, то все остальные она пожирала на дрова. Уходя из деревни, она разоряла последние фанзы и увозила с собою деревянные части. А впереди еще была суровая маньчжурская зима...

В наш госпиталь приехал корпусный контролер с своими помощниками и приступил к ревизии.

С утра до позднего вечера они просидели в канцелярии с главным врачом и смотрителем. Щелкали счеты, слышались слова: «из авансовой суммы», «на счет хозяйственных сумм», «фуражный лист», «приварочное довольствие». Сверяли документы, подсчитывали, следили, чтоб копейка не разошлась с копейкою. Главный врач и смотритель деловито давали объяснения. Все было сбалансировано верно, точно и аккуратно.

Все в армии прекрасно знали, что фураж, дрова и многое другое забирается войсковыми частями на месте даром, что в Мукдене китайские лавочки совершенно открыто торгуют фальшивыми китайскими расписками в получении какой угодно суммы. Однако контролеры добросовестно рас-

сматривали каждый китайский счет, тщательно подсчитывали, сходятся ли израсходованные суммы с суммами в фальшивых счетах. Целью такого контроля могло быть только одно,— приучить армию мошенничать аккуратно. И часы напролет люди с деловитым, серьезным видом сидели, щелкали счетами, над ними реял на своих сухих крыльях безликий бумажный бог и кивал им с ласковым видом сообщника.

Контролеры уехали. Главный врач и смотритель ходили довольные и веселые. Младший Брук корчился от зависти, худел и задумывался.

Любопытно было наблюдать этого юношу. Чтоб иметь отдельный угол, нам, врачам, пришлось поселиться на другом конце деревни. Ходить оттуда в палаты было далеко, и дежурный врач свои сутки дежурства проводил в канцелярии, где жил Иван Брук. Времени наблюдать его было достаточно.

Стройный и хорошенький, очень любивший свою красоту, он охотно рассказывал, как женился на пожилой дочери статского советника, как крестился для этого.

— И представьте себе,— с недоумением и укором говорил он,— мой старший брат из-за этого порвал со мною всякие сношения! Ну, почему? Когда я так хорошо устроился! За женой мне дали в приданое домик, посмотрели бы вы, какой при нем сад, какие в саду фрукты! Выхлопотали мне место в банке, получаю восемьдесят рублей жалованья...

Он показывал нам все фальшивые документы, рассказывал о мошеннических проделках главного врача.

— Вот недавно Давыдов привез из Мукдена документик. Посмотрите!

На тонкой китайской бумаге было написано: «за проданного быка 85 рублей получил сполна»,— и следовала китайская подпись.

— Что ж, восемьдесят пять рублей — это по-божески,— заметил я.

Глаза Брука заблестели весело и лукаво.

— Да, только никакого быка не покупали. Это тот бык, который уже был куплен раньше. Сначала мы провели его по авансовым суммам (довольствие команды), а теперь проводим по суточному окладу (довольствие больных)...

Брук весь сиял от удовольствия, но вдруг глаза его потухали, и он становился злым.

— Но вы понимаете, какие подлецы! Я знаю все их

проделки, а мне ничего от них не перепадает! Помните, в Суятуни у нас бывал делопроизводитель полка: ему заведующий хозяйственной частью полка платит за молчание сто рублей в месяц, да еще есть другие доходы...

— Ваня, будет тебе! — брезгливо говорил его брат Давид.

— Но я свое возьму, пусть они не думают! Я все намекаю главному врачу, что мне его шашни известны. Я нарочно *одолжил* у него пятьдесят рублей, не отдаю и несколько раз намекал, что не считаю себя его должником.

— Вот жулье! — заметил Давид.

— Кто! Я? — удивился Иван.

Давид вздохнул.

— Да-а, и ты, между прочим!

— Нет, вы поймите: я все их фальшивые счета провожу по книгам, а они со мною не делятся!

И Иван задумался.

— Да! Если бы они иначе поставили дело, то я воротился бы с войны богатым человеком.

В его голове мало-помалу зрел план.

— Вы знаете, я думаю, главный врач стесняется, не знает, в какой форме мне предложить! — догадывался он.— На днях я буду иметь с ним объяснение.

Наконец, план созрел. Однажды вечером Брук послал с солдатом-писарем письмо главному врачу такого содержания:

«Многоуважаемый Григорий Яковлевич! Вы не можете не знать, что Вы зарабатываете деньги отчасти благодаря и моей помощи, я был бы Вам очень признателен, если бы Вы хоть часть барышей уделили и мне».

В конверт, вместе с этим письмом, Брук предусмотрительно вложил еще пустой конверт,— «может быть, у Давыдова не окажется под рукою конверта». Солдат отнес письмо главному врачу, тот сказал, что ответа не будет.

Брук прождал в канцелярии два часа, потом пошел к Давыдову. У него сидели сестры, смотритель. Главный врач шутил с сестрами, смеялся, на Брука не смотрел. Письмо, разорванное в клочки, валялось на полу. Брук посидел, подобрал клочки своего письма и удалился.

На следующий день главный врач в канцелярию не пришел, на третий, четвертый день — тоже. Брук подробно рассказывал нам всю историю, замирал и волновался.

— Ужасно я боюсь, вдруг он переведет меня в строй.

— Батенька мой, да ведь вы сами же прямо на это идете! — засмеялся Шанцер.

Глаза Брука забегали, на побелевших губах мелькнула подленькая улыбка.

— Тогда я на всех их донесу! — быстро произнес он.

Воротился старший Брук, ездивший в командировку в Харбин. Главный врач призвал его, рассказал о письме, которое написал его брат, и сказал:

— Я разорвал письмо, жалея вас. Этот мальчишка даже не понимает, что ему грозило за такое письмо. Поговорите с ним и объясните... Что касается «барышей»,— я, действительно, часть сумм не показываю в отчетах, а держу их про запас, на случай, если на меня окажется начет. Вы знаете, как неясны и запутанны военные законы, контроль каждую минуту может признать ту или другую трату незаконной,— и деньги будут взысканы с меня. Если же начета не окажется, и все кончится благополучно, то после войны я эти суммы поделю между всеми.

Давид Брук собирался вечером поговорить с братом, но после обеда Иван уехал с главным врачом в корпусное казначейство. Давид ужасно волновался,— вдруг Иван в дороге опять заговорит с главным врачом о дележке.

Иван вернулся поздно вечером.

— Ты знаешь, я в дороге поговорил с главным врачом,— объявил он брату.

Давид в ужасе всплеснул руками.

— Дурак ты, дурак!

— Ничего не дурак,— спокойно возразил Иван.— Будь покоен, я его лучше знаю. К рождеству мне будет награда, каждый месяц, за усиленные труды по канцелярии, я буду получать добавочных двадцать пять рублей, и, кроме того, он дал мне понять, что пятьдесят рублей, которые я у него одолжил, он считает моими.

По дороге в Маньчжурию и здесь, в самой Маньчжурии, всех нас очень удивляло одно обстоятельство. Армия испытывала большой недостаток в офицерском составе; раненых офицеров, чуть оправившихся, снова возвращали в строй; эвакуационные комиссии, по предписанию свыше, с каждым месяцем становились все строже, эвакуировали офицеров все с большими трудностями. Здесь к нам то и дело обращались за врачебными советами строевые офицеры,—

хворые, часто совсем больные. Из прибывших сюда к началу войны многие были до того переутомлены, что, как счастья, ждали раны или смерти.

А рядом с этим масса здоровых, цветущих офицеров занимала покойные и безопасные должности в тылу армии. И что особенно удивительно,— на этих тыловых должностях офицеры и жалованье получали гораздо большее, чем в строю. Офицеры наполняли интендантства, были смотрителями госпиталей и лазаретов, комендантами станций, этапов, санитарных поездов, заведовали всевозможными складами, транспортами, обозами, хлебопекарнями. Здесь, где их дело легко могли исполнять и чиновники, наличность офицеров считалась необходимой. А в боях ротами командовали зауряд-прапорщики, т. е. нижние чины, только на время войны произведенные в офицеры; для боя специально-военные познания офицеров как будто не признавались важными. Роты шли в бой с культурным, образованным врагом под предводительством нижних чинов, а в это время пышащие здоровьем офицеры, специально обучавшиеся для войны, считали госпитальные халаты и торговали в вагонах офицерских экономических обществ конфетами и чайными печеньями.

Однажды к нам в госпиталь приехал начальник нашей дивизии. Он осмотрел палаты, потом пошел пить чай к главному врачу.

— Да, поручик, вот что! — обратился генерал к смотрителю. — Вы переводитесь в строй. Главнокомандующий приказал на покойные тыловые места назначать оправившихся от ран строевых офицеров, а здоровых офицеров переводить в строй. Можете выбрать, в какой из наших полков вы хотите перейти.

Смотритель побелел, как снег, коленки его задрожали, он сразу осунулся и сгорбился.

— Слушаю-с! — упавшим голосом отозвался он.

— Ваше превосходительство! Ну куда ему в строй? — вмешался главный врач.— Офицер он никуда не годный, строевую службу совсем забыл, притом трус отчаянный. А смотритель прекрасный... Уверяю вас, в строю он будет только вреден.

Генерал сквозь очки мельком взглянул на смотрителя, и в его глазах промелькнула усмешка: смотритель сидел сгорбившись, с неподвижным взглядом и, видимо, нисколько не был задет указанием на его трусость.

— Офицер не может быть трусом,— резко сказал генерал. — И приказа главнокомандующего я нарушить не могу. Подумайте и дайте знать в штаб, какой вы полк выбираете.

— Слушаю-с! — еще раз отозвался смотритель.

Генерал уехал.

Смотритель резко изменился. Прежде самодовольный, наглый и веселый, он теперь молчаливо сидел и сосредоточенно думал. Приходил за распоряжением фельдфебель,— смотритель вяло махал рукой и отвечал:

— Делайте как хотите!

Шел к сестрам и, стесняя их, целыми часами сидел у них на теплом кхане (лежанке). Сидел, поджав по-турецки ноги, мягкий, толстый, и молчал. Если начинал говорить, то в таком роде:

— Когда меня, раненого, принесут к вам в госпиталь...

Ходил он теперь сильно сгорбившись, и, как паралитичный старик, волочил по земле свои толстые ноги в валеных сапогах.

Приказ главнокомандующего был передан и во все другие учреждения. Повсюду разлилось беспокойство и уныние.

Главный врач все дни проводил в разъездах и усиленно хлопотал за смотрителя. Раньше Давыдов постоянно высказывал недовольство его леностью и нераспорядительностью, да и теперь отзывался о нем так: «На что этот увалень нужен в строю? И тут-то, как смотритель, он никуда не годится!» Однако хлопотал за него дни напролет. «По доброте душевной. Жалко человека»,— объяснял сам Давыдов. Но все кругом ясно видели причину этой доброты. Смотритель был бездеятелен и ленив; юркому, деловитому главному врачу это было только выгодно, всю хозяйственную часть он забрал в свои руки. С другой стороны, смотритель был, по-видимому, человек «честный», т. е. себе в карман ничего не клал и притворялся, что не видит воровства главного врача. С ним, значит, не приходилось делиться. Человек был самый подходящий.

Шли дни. Случилось как-то так, что назначение смотрителя в полк замедлилось, явились какие-то препятствия, оказалось возможным сделать это только через месяц; через месяц сделать это забыли. Смотритель остался в гос-

питале, а раненый офицер, намеченный на его место, пошел опять в строй.

И так же незаметно, совсем случайно, вследствие непредотвратимого стечения обстоятельств, сложились дела и повсюду кругом. Все остались на своих местах. Для каждого оказалось возможным сделать исключение из правила. В строй попал только смотритель султановского госпиталя. Султанову, конечно, ничего не стоило устроить так, чтобы он остался, но у Султанова не было обычая хлопотать за других, а связи он имел такие высокие, что никакой другой смотритель ему не был страшен или неудобен.

И опять по-прежнему на этапах, на станциях, в лазаретах и обозах,— всюду бросались в глаза те же пышащие здоровьем, упитанные офицерские физиономии. Приказ главнокомандующего, как и другие его приказы, бессильною бумажкою несколько времени потрепался в воздухе, пугая простаков, и юркнул под сукно.

В наш госпиталь шли больные, изредка попадали и раненые. Лечить ли их на месте или эвакуировать в тыл? Это был вопрос чрезвычайно сложный, насчет которого начальство никак не могло столковаться. Приезжал корпусный врач, узнавал, что мы эвакуируем больных,— и разносил. «У вас госпиталь, а вы его обращаете в какой-то этапный пункт! Для чего же у вас врачи, сестры, аптека?!» Приезжал начальник санитарной части Трепов, узнавал, что больные лежат у нас пять-шесть дней,— и разносил. «Почему больные лежат у вас так долго, почему вы их не эвакуируете?» На эвакуации он был положительно помешан.

Генерал Трепов был главным начальником всей санитарной части армии. Какими он обладал данными для заведывания этою ответственною частью, навряд ли мог бы сказать хоть кто-нибудь. В начальники санитарной части он попал не то из сенаторов, не то из губернаторов, отличался разве только своею поразительною нераспорядительностью, в деле же медицины был круглый невежда. Тем не менее генерал вмешивался в чисто медицинские вопросы и щедро рассыпал выговоры врачам за то, в чем был совершенно некомпетентен.

Однажды, обходя наш госпиталь, он остановил внимание на одном больном, лежащем в палате хроников.

— Чем он болен?

— Сифилисом.

— Что-о?.. С сифилисом вы кладете в общую палату?!

— Ваше превосходительство, у него третичная стадия, она не заразительна. А отдельной сифилитической палаты у нас нет. Он к нам положен сегодня, завтра мы его эвакуируем.

— Это все равно! Это все равно! *Сифилитика* класть вместе с другими больными! Чтоб этого у меня никогда больше не было!

Другой раз, тоже в палате хроников, Трепов увидел солдата с хроническою экземою лица. Вид у больного был пугающий: красное, раздувшееся лицо с шелушащеюся, покрытою желтоватыми корками кожею. Генерал пришел в негодование и гневно спросил главного врача, почему такой больной не изолирован. Главный врач почтительно объяснил, что эта болезнь незаразная. Генерал замолчал, пошел дальше. Уезжая, он поблагодарил главного врача за порядок в госпитале.

После каждого посещения высшего начальства представитель военного учреждения обязан извещать свое непосредственное начальство о состоявшемся посещении, с сообщением всех замечаний, одобрений и порицаний, высказанных осматривавшим начальством. Главный врач телеграфировал корпусному врачу, что был начальник санитарной части, осмотрел госпиталь и остался доволен порядком. На следующий день прискакал корпусный врач и накинулся на главного врача:

— Вы мне телеграфировали, что Трепов нашел все в порядке, а у меня был сам Трепов и сообщил, что сделал вам выговор: вы держите заразных больных вместе с незаразными!

Главный врач в недоумении развел руками, объяснил корпусному врачу, в чем дело, и сказал, что не считает генерала Трепова компетентным делать врачам выговоры в области медицины; не телеграфировал он о полученном выговоре из чувства деликатности, не желая в официальной бумаге ставить начальника санитарной части в смешное положение. Корпусному врачу только и осталось, что перевести разговор на другое.

Чтобы быть даже фельдшером или сестрою милосердия, чтоб нести в врачебном деле даже чисто исполнительные обязанности, требуются специальные знания. Для несения

же самых важных и ответственных врачебных функций в полумиллионной русской армии никаких специальных знаний не требовалось; для этого нужно было иметь только соответственный чин. Вот документ,— и я совершенно серьезно уверяю читателя, он взят мною не из юмористического журнала, он помещен в приложении к Приказу главнокомандующего от 18 ноября 1904 г. за № 130.

ВРЕМЕННЫЙ ШТАТ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО НАЧАЛЬНИКА САНИТАРНОЙ ЧАСТИ ПРИ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ

Главный начальник санитарной части *(генерал-лейтенант)* — 1. Генерал для поручений *(генерал-майор)* — 1. Состав управления. Начальник госпитального отделения *(может быть из врачей)* — 1. Начальник эвакуационного отделения *(может быть из врачей)* — 1. Для поручений: штаб-офицеров — 2, врачей — 3.

Санитарно-статистическое бюро: Заведующий бюро, *полковник, может быть генерал-майор (может быть из врачей)* — 1. Помощников: *врачей* — 2.

Управление Главного Полевого Военно-Медицинского Инспектора: Главный полевой военно-медицинский инспектор — 1. *Главный полевой хирург* — 1. Правитель канцелярии *(из врачей)* — 1. Чины для поручений: *врачей 3-го медицинского разряда* — 2, *4-го разряда* — 2.

Главная полевая эвакуационная комиссия армии: Председатель комиссии, *генерал-майор (может быть полковник)* — 1. Помощников председателя — 2. *Главный врач комиссии* — 1. Для поручений — обер-офицеров — 6, *врачей* — 10.

У японцев врачебно-санитарным делом армии заведывали известные профессора-медики. У нас, как видно из приводимого документа, кроме поста военно-медицинского инспектора, *ни одно* сколько-нибудь ответственное место с руководящею ролью не было предоставлено врачу. Просмотрите первый отдел документа, где определяются штаты центрального врачебно-санитарного управления всей армии: генерал-лейтенант, генерал-майор... На второстепенных должностях *могут быть* врачи, а могут быть и полковники... Обязательно же врачами замещены только три должности — *для поручений!*

И во всем документе тот же стиль выдержан весьма строго. Кое-где относительно второстепенных должностей снисходительно помечено: «может быть из врачей», вообще же врачам предоставлены лишь самые низшие, чисто исполнительные должности правителей канцелярий, «для поручений» и т. д. И только одно исключение, портящее стиль: относительно главного полевого хирурга не прибав-

лено, что он только *может быть* из врачей. Почему? Если начальником санитарной части мог быть бывший губернатор, инспектором госпиталей — бывший полицмейстер, то почему главным полевым хирургом не мог быть, напр., бывший полицейский пристав?

Но все это слишком печально, чтобы смеяться... И если бы еще, рядом с невежественными генералами и полковниками, хоть роли их помощников несли талантливые, знающие врачи! Но этого не было. В управлении армии мы не находим ни одного врача, сколько-нибудь авторитетного в научном или моральном отношении. Везде сидели бездарные врачи-чиновники с бумажными душами, прошедшие путь военной муштровки до полного обезличения. Ждать от них таланта, самостоятельного творчества, горячей любви к делу было бы то же самое, что искать теплой крови и живых нервов в стопе канцелярской бумаги. А что такое представляли из себя военные носители высших врачебных должностей,— генералы Трепов, Езерский, Четыркин и др. — это читатель уже отчасти видел, отчасти еще увидит.

Последствия такого состава высшего врачебного управления несла на себе многострадальная русская армия. В первом из боев, при Тюренчене, раненые шли и ползли без помощи десятки верст, а в это время сотни врачей и десятки госпиталей стояли без дела. И то же самое повторялось во всех следующих боях, вплоть до великого мукденского боя включительно. Громадный запас врачебных сил с роковою правильностью каждый раз оказывался совершенно неиспользованным, и дело ухода за ранеными обставлялось так, как будто на всю нашу армию было всего несколько десятков врачей.

Наши начальники-врачи на свежую душу производили впечатление поражающее. Я бы не взялся изобразить их в беллетристической форме. Как бы ни смягчать действительность, как бы ни затемнять краски,— всякий бы, прочитав, сказал: это злобный шарж, пересоленная карикатура, таких людей в настоящее время быть не может.

И сами мы, врачи из запаса, думали, что таких людей, тем более среди врачей, давно уже не существует. В изумлении смотрели мы на распоряжавшихся нами начальников-врачей, «старших товарищей»... Как будто из седой старины поднялись тусклые, жуткие призраки с высокомерно-

бесстрастными лицами, с гусиным пером за ухом, с чернильными мыслями и бумажною душою. Въявь вставали перед нами уродливые образы «Ревизора», «Мертвых душ» и «Губернских очерков».

Иметь собственное мнение даже в вопросах чисто медицинских подчиненным не полагалось. Нельзя было возражать против диагноза, поставленного начальством, как бы этот диагноз ни был легкомыслен или намеренно недобросовестен. На моих глазах полевой медицинский инспектор третьей армии Евдокимов делал обход госпиталя. Взял листок одного больного, посмотрел диагноз,— «тиф». Подошел к больному, ткнул его рукою через халат в левое подреберье и заявил:

— Это не тиф, а инфлуэнца!

И велел непременно переменить диагноз. Военно-медицинский инспектор тыла, при посещении подведомственных ему госпиталей, если слышал от ординатора диагноз «тиф», хмурился и спрашивал:

— А какие вы знаете симптомы тифа?

Один из врачей ответил:

— Я, ваше превосходительство, экзамены уже сдал и вторично сдавать их вам не обязан.

Дерзкий был за это переведен в полк. Для побывавшего на войне врача не анекдотом, а вполне вероятным фактом, вытекающим из самой сути царивших отношений, представляется случай, о котором рассказывает д-р М. Л. Хейсин в «Мире Божьем» (1906, № 6); инспектор В., обходя госпиталь, спросил у ординатора:

— Увеличена ли у больного селезенка?

— Как прикажете, ваше превосходительство? — ответил «находчивый» ординатор.

Грубость и невоспитанность военно-медицинского начальства превосходила всякую меру. Печально, но это так: военные генералы в обращении с своими подчиненными были по большей части грубы и некультурны; но по сравнению с генералами-*врачами* они могли служить образцами джентльменства. Я рассказывал, как в Мукдене окликал д-р Горбацевич врачей: «Послушайте, вы!» На обходе нашего госпиталя, инспектор нашей армии спрашивает дежурного товарища:

— Когда положен этот больной?

— Сегодня.

— Когда ты сюда положен? — обращается он к самому больному.

— Сегодня!

И подобного рода «проверка», которую иной постеснялся бы применить к своему лакею, здесь так беззаботно-просто делалась по отношению к врачу!

Рядом с этим высокомерием, пьянившимся своим чином и положением, шло удивительное бездушие по отношению к подчиненным врачам. Эвакуационная комиссия, прозванная за строгость и придирчивость «драконовскою», назначает на эвакуацию врача, перенесшего очень тяжелый тиф. Д-р Горбацевич, не осматривая больного товарища, ни разу не видев его, отменяет постановление комиссии, и изнуренный болезнью врач водворяется на место его служения. То, что в бытность нашу в Мукдене д-р Горбацевич проделывал с прикомандированными врачами, повторялось не раз. Был я как-то в Мукдене в середине ноября: опять тридцать врачей бегают, не зная, где приютиться,— Горбацевич выписал их из Харбина на случай боя и опять предупредил, чтобы они не брали с собой никаких вещей. И они ночевали при управлении инспектора на голом полу, на циновках.

Одно, только одно горячее, захватывающее чувство можно было усмотреть в бесстрастных душах врачебных начальников,— это благоговейно-трепетную любовь к бумаге. Бумага была все, в бумаге была жизнь, правда, дело... Передо мною, как живая, стоит тощая, лысая фигура одного дивизионного врача, с унылым, сухим лицом. Дело было в Сыпингае, после мукденского разгрома.

— У вас что-нибудь утеряно из обоза? — осведомился начальник санитарной части нашей армии.

— Все утеряно, ваше превосходительство! — уныло ответил дивизионный врач.

— Все? И шатры, и перевязочный материал, и инструменты?

— Нет, это-то уцелело... Канцелярия вся утеряна.

— Так это еще не все.

Генерал пренебрежительно отвернулся, а лицо дивизионного врача стало еще унылее, голова еще лысее...

Наш дивизионный врач выговаривал полковым врачам, что у них заполнены не все графы ведомостей.

— Да у нас для этих граф нет данных.

— Ну... ну... Все равно, пишите фиктивные цифры, а чтоб графы все были заполнены.

В одном из наших полков открылся брюшной тиф. Корпусной врач спросил полкового:

— Дезинфекцию произвели?

— Какая же у нас дезинфекция? У нас нет никаких дезинфекционных средств.

— *Произвели вы дезинфекцию?* — выразительно повторил корпусной врач.

— Я же вам говорю...

— Надеюсь, вы дезинфекцию *произвели?*

— Д-да... Но...

— Прекрасно! Пожалуйста, подайте мне рапорт, что дезинфекция произведена.

Когда, в начале ноября, в армию, наконец, были привезены полушубки, солдаты стали заражаться от них сибирскою язвою. Появились случаи заражения и в нашей команде. Заработала бумажная машина, от нас во все стороны полетели телеграммы, в ответ полетели к нам телеграммы с строгими приказами: «изолировать», «подвергнуть тщательнейшей дезинфекции», «о сделанном донести»... Мы все сделали, сообщили рапортом. Дивизионного врача не было дома, принял рапорт его помощник, с которым мы были приятели. С серьезным, деловым лицом он принял рапорт, записал, что-то пометил, куда-то что-то отправил. Потом сели пить чай. За чаем он с лукавою усмешкою вдруг спрашивает нас:

— Между нами! А вправду, производили вы дезинфекцию или нет?

Этот приятельский вопрос был моментальным просветом во что-то большое и зловещее; он во всей обнаженности раскрыл перед нами суть дела. Пишут лживые бумаги, начальство читает и притворяется, что верит, потому что над каждым начальством есть высшее начальство, и оно, все надеются, уж взаправду поверит.

Как важна была для врачебного начальства бумага, и как глубоко-безразлично было для него здоровье живого солдата, показывает один невероятный циркуляр временно и. д. военно-медицинского инспектора армии, д-ра Вредена:

В деле снабжения войск и военно-учебных заведений в военное время предметами медицинского довольствия,— пишет доктор Вреден,— имеет важное значение правильное расходование этих предме

тов. Со стороны врача требуется обстоятельное знакомство как с характером военных больных, так и с имеющимися в распоряжении армии средствами к удовлетворению нужд этих больных, что приобретается только более или менее продолжительной службой в военном ведомстве, между тем почти половина врачей маньчжурской армии принадлежит к числу призванных из запаса, не служивших вовсе в военно-врачебных заведениях. Прямым следствием их незнания условий военного быта и военно-медицинской службы может быть быстрое израсходование наиболее употребительных средств *на таких больных, которые представляя одни только жалобы на болезненные явления вместо действительных страданий, подтверждаемых объективными данными, не нуждались вовсе в лечении.* В результате получатся жалобы на недостаток медикаментов вследствие скупости военно-медицинского снабжения, тогда как в действительности будет незнакомство врачей с военными больными и неумение пользоваться предоставленными в их распоряжение средствами. Обращая внимание подведомственных мне врачей на это нежелательное явление в расходовании предметов медицинского довольствия, прошу более опытных военных врачей ознакомить своих младших, только что призванных из запаса товарищей с особенностями военно-медицинской службы в деле лечения больных.

Рекомендуя, впрочем, соблюдение экономии в расходовании предметов медицинского довольствия, я имею в виду, главным образом, устранение недостатка в медикаментах для больных, действительно в них нуждающихся, а вовсе не экономию ради экономии. Хотя *в районе маньчжурской армии и в тылу имеются большие запасы медицинского имущества, высланного в потребность армии обществом Красного Креста,* но возможность воспользоваться ими во всякое время не может служить оправданием к легкомысленному расходованию медикаментов и перевязочных средств. Кроме того, необходимо иметь в виду, что *обращение к помощи Красного Креста может подать повод и к обвинению военно-медицинского ведомства в скудости снабжения армии предметами медицинского довольствия.* Нисколько не ограничивая позаимствования означенных предметов из запасов Красного Креста, Полевое Военно-Медицинское Управление считает только нужным напомнить врачам, чтоб эти позаимствования имели место лишь в случаях действительной необходимости. (Циркуляр Полевого В.-Медиц. Упр-ния, отдел фармацевтический, № 1156).

Я не знаю, возможно ли полнее, чем в этом циркуляре, обнажить всю опустошенность русской военно-врачебной совести. Действительно, военная медицина — это какая-то совсем особенная медицина. Наша обычная, человеческая, научная медицина только ахнет от противопоставления «одних только жалоб на болезненные явления» «*действительным* страданиям, подтверждаемым объективными данными»: многие болезни не представляют объективных данных и тем не менее, вопреки поучениям доктора Вредена, очень и очень «нуждаются в лечении». И дело здесь идет даже не о том, чтобы с большею строгостью освобождать больных

солдат от работ или эвакуировать их,— нет, дело идет просто о даче лекарств. Сделаем невероятное предположение, что половина больных без «объективных данных» — притворщики, не нуждающиеся в лечении. Казалось бы, что уж для другой половины действительных больных, действительно нуждающихся в лечении,— потому что ведь не вправду же убежден д-р Вреден, будто каждая болезнь выражается объективными симптомами! — казалось бы, для этих действительно больных можно бы рискнуть понапрасну дать лекарство притворщикам. Но нет, пусть лучше уж все останутся без лечения, это не так важно; зато не будет *«жалоб* на недостаток медикаментов, вследствие скупости военно-медицинского снабжения». Вот это много важнее. И заметьте,— именно *жалоб* на недостаток боится медицинское управление, а не самого недостатка. Недостатка не будет. Из того же циркуляра мы узнаем, что лекарства и перевязочный материал можно легко достать в Красном Кресте, имеющем их «большие запасы», которыми можно воспользоваться «во всякое время». Но мало ли что! Зато «обращение к помощи Красного Креста может подать *повод к обвинению военно-медицинского ведомства* в скудости снабжения армии предметами медицинского довольствия»...

В своем циркуляре д-р Вреден с большим одобрением отзывается об «опытных военных врачах» и не выказывает никакого сомнения, что они вполне считаются с указанными в циркуляре «особенностями военно-медицинской службы». Клевещет ли доктор Вреден на военных врачей, или они действительно заслуживали его одобрения?

В одном из наших полков появился сильный брюшной тиф. Околоток был битком набит тифозными. Младшие врачи указали на это старшему полковому врачу, военному.

— Да нет, что вы? Это не тиф! Зачем в госпиталь отправлять? Отлежатся и здесь.

Показали ему розеолы,— «неясны»; увеличенную селезенку,— «неясна»... А больные переполняли околоток. Тут же происходил амбулаторный прием. Тифозные, выходя из фанзы за нуждою, падали в обморок. Младшие врачи возмутились и налегли на старшего. Тот, наконец, подался пошел к командиру полка. Полковник заволновался.

— Нет, нет! В госпиталь отправлять не надо. Зачем?

Ведь, бывает, тиф переносят на ногах, это болезнь вовсе не такая опасная... Да и тиф ли еще это?

Но больные все прибывали, места не хватало. Волей-неволей пришлось отправить десяток самых тяжелых в наш госпиталь. Отправили их без диагноза. У дверей госпиталя, выходя из повозки, один из больных упал в обморок на глазах бывшего у нас корпусного врача. Корпусный врач осмотрел привезенных, всполошился, покатил в полк,— и околоток, наконец, очистился от тифозных.

В другом полку нашей дивизии у старшего врача по отношению к больным солдатам было только два выражения: «лодыря играть», «миндаль разводить». В каждом солдате он видел притворщика. Я об этом враче уже рассказывал в первой главе «Записок», как он признал притворщиками двух солдат, которые, по исследовании их младшим врачом, оказались совершенно негодными к службе. У врача этого было положение,— не помечать в отчетах больше двадцати амбулаторных больных в день. В действительности бывало человек по 70—80, но это какое же было бы санитарное состояние полка!

Однажды на моем дежурстве в госпиталь привезли несколько больных солдат. Один бросился мне в глаза своим лицом: молодой парень с низким, отлогим лбом, в глазах — тупое, ушедшее в себя страдание, углы губ сильно опущены.

— Что болит?

— Ваше благородие, он глух, не слышит! — предупредил меня полковой офицер.

Я стал громко кричать солдату на ухо свои вопросы. Он как будто очнется от глубокой задумчивости, повторит вопрос и ответит.

В октябрьских боях он был ранен пулею в бедро навылет; недавно его выписали из харбинского госпиталя назад в строй; на правую ногу он заметно хромал.

Я его спросил, давно ли он оглох. Солдат рассказал, что года три назад, еще до службы, он возил с братом снопы, упал с воза и ударился головою оземь! С тех пор пошел шум в ушах, головокружение, постепенно развилась глухота.

— Взяли на службу, не поверили, что плохо слышу! — апатично рассказывал он.— В роте сильно обижали по голове,— и фельдфебель, и отделенные. Совсем оглох. Жало-

ваться побоялся: и вовсе забьют. Пошел в околоток, доктор сказал: «притворяешься! Я тебя под суд отдам!..» Я бросил в околоток ходить.

Весь вечер передо мною стояло лицо этого парня, на душе было горько и жутко.

Рассказал я о нем главному врачу. Утром мы исследовали комиссией одного солдата с грыжею для эвакуации в Россию. Я предложил главному врачу исследовать кстати и глухого. Мы подошли к его койке.

— Надень халат! — обычным голосом сказал главный врач, украдкою следя за больным.

Тот не двигался. Главный врач крикнул громче,— солдат заторопился и надел халат.

Принесли инструменты. Шанцер, специалист по ушным болезням, стал отоскопировать больного. Задняя часть одной из барабанных перепонок оказалась утолщенной. Шанцер беспомощно повел плечами.

— Доказать что-нибудь тут очень трудно,— сказал он.— У науки нет средства узнать, симулирует ли больной глухоту на *оба* уха.

— Ничего, исследуйте! Я узнаю! — с хитрою усмешкою шепнул главный врач.

Он беззаботно разговаривал с солдатом и исподтишка пристально следил за ним. Говорил то громче, то тише, задавал неожиданные вопросы, со всех сторон подступал к нему,—насторожившийся, с предательски смотрящими глазами. У меня вдруг мелькнул вопрос: где я? В палате больных с врачами, или в охранном отделении, среди жандармов и сыщиков?

— Симулирует! — решительно и торжественно объявил главный врач.— Обратите внимание: на вопросы доктора Шанцера он отвечает немедленно, а моих как будто совсем не слышит.

— Вполне понятно,— возразил я.— У Шанцера голос звонкий, а у вас низкий и глухой.

— Нет, нет, вы уж со мною не спорьте, у меня на этот счет есть нюх. Сразу вижу, что симулянт... Ты какой губернии?

Больной вслушался.

— Губернии?.. Пермской губернии! — выкрикнул он.

— Пермской? — значительно протянул главный врач.— Ну, вот видите! Это важное подтверждение: по статистике, жители Пермской губернии стоят на первом

месте по вызыванию ушных болезней для избавления от военной службы.

— Не знаю, но, судя по его рассказам, он, несомненно, не симулирует,— возразил Шанцер.— Была течь? Не было. Глухота развилась не сейчас после падения, а постепенно, сначала был только шум в ушах. Так симулировать мог бы только специалист по ушным болезням, но не мужик.

— Нет, нет, нет! Симулянт несомненный! — решил главный врач.— Вы, штатские врачи, не знаете условий военной службы, вы, естественно, привыкли верить каждому больному. А они этим пользуются. Тут гуманничанье не у места.

Мы возражали яро. Глухота больного несомненна. Но допустим даже, что она лишь в известной степени вероятна,— какое преступление главный врач берет на душу, отправляя на боевую службу, может быть, глухого, да к тому еще хромого солдата. Но чем больше мы настаивали, тем упорнее стоял главный врач на своем: у него было «внутреннее убеждение»,— то непоколебимое, не нуждающееся в фактах, опирающееся на нюх «внутреннее убеждение», которым так сильны люди сыска.

Солдата выписали в полк.

Чем больше я приглядывался к «особенностям военно-медицинской службы», тем яснее становилось, что эти особенности,— отчасти путем отбора, отчасти путем пересоздания человеческой души, должны были выработать, действительно, совсем особый тип врача.

Солдат взят на службу силою, с делом своим никакими интересами не связан,— естественно, он охотно будет притворяться больным. И вот врач подходит к больному не с мыслью, как ему помочь, а с вопросом, не притворяется ли он. Одна необходимость этого постоянного сыска мало-помалу меняет душу врача, развивает в ней подозрительность, желание «поймать», «поддеть» больного. Вырабатывается глубокое, враждебное недоверие к больному солдату вообще. «Лодырь» — это постоянное слово в лексиконе военного врача, для него его пациент *прежде всего* — лодырь, обратное должно быть доказано. Д-р Хейсин в упомянутой выше статье сообщает про одного военного врача: врач этот давал больным солдатам свою «смесь», состоявшую из таких доз рвотного, чтоб не рвало, а только тянуло к рвоте. «Если больной — лодырь, то в другой раз не

придет, и другим закажет!» Я уже рассказывал, как наша армия наводнилась выписанными из госпиталей солдатами,— по свидетельству главнокомандующего, «либо совершенно негодными в службе, либо еще не оправившимися от болезней». Профаны видели, что перед ними — больные люди, а для врачей, затемненных их вытравляющею душу «опытностью», все это были только лодыри и лодыри. Очевидно, та же предпосылка о лодырнической сущности русского солдата была в голове и д-ра Вредена, когда он сочинял свой бесстыдный циркуляр.

Другая «особенность военно-медицинской службы» заключалась в том, что между врачом и больным существовали самые противоестественные отношения. Врач являлся «начальством», был обязан говорить больному «ты», в ответ слышать нелепые «так точно», «никак нет», «рад стараться». Врача окружала ненужная, бессмысленная атмосфера того почтительного, специфически военного трепета, которая так портит офицеров и заставляет их смотреть на солдат, как на низшие существа.

Мы были для наших больных «их благородиями», и от желающего требовались большие усилия, чтобы заставить больных не замечать назойливо сверкавшего перед ними, совершенно ненужного для дела, мундира врача.

VI

ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ: ДЕКАБРЬ — ФЕВРАЛЬ

В конце ноября мы получили новый приказ — передвинуться за две версты на юг, в деревню Мозысань, где уж почти два .месяца спокойно, никем не тревожимый, стоял султановский госпиталь. Мы опять эвакуировали всех больных, свернули госпиталь и перешли в Мозысань. Опять началась отделка фанз под больных. Но теперь она шла на широкую ногу.

Незадолго до нашего приезда в султановском госпитале произошло событие.

Султанов на военной слубже был недавно, никаких знаков отличия не имел; за бой на Шахе его представили к первой награде,— Станиславу третьей степени, которого имеет всякий, самый маленький чиновник. А командиру корпуса очень хотелось выдвинуть и выделить Султанова. Для этого он все время держал теперь султановский госпиталь впереди других, чтобы в случае боя он оказался как

бы «на передовых позициях», и чтобы Султанова можно было представить к Владимиру. Госпиталь был поставлен в богатую, не занятую воинскими частями деревню; в многочисленных, просторных фанзах можно было с удобством устроиться и самим, и устроить палаты для больных. Госпиталь вышел хорошенький и чистенький, как игрушка, с ним смешно было и сравнивать другие госпитали, ютившиеся в двух-трех убогих, грязных фанзах.

Когда все было готово, командир корпуса устроил так, что главнокомандующий выразил желание осмотреть султановский госпиталь. В ожидании Куропаткина, в госпитале каждый день чистили, мыли, мели, у входа в палату Новицкая и Зинаида Аркадьевна соорудили два больших букета из хвойной зелени.

Куропаткин приехал. Но приехал он не по той дороге, по которой его ждали. Он вышел из коляски сердитый, рапорта главного врача не принял.

— Скажите, пожалуйста, что у вас тут за дороги к госпиталю! Я сейчас чуть не вывалился на косогоре. Как же к вам по таким дорогам будут возить раненых?

Он прошел в палату, не обратив внимания на букеты. Подошел к сиявшему рукомойнику, поднял крышку,— внутри рукомойника была грязь. Велел затопить печку,— печка дымила. Осмотрел он все палаты и спросил Султанова:

— Сколько у вас тут мест?

— Сто двадцать, ваше высокопревосходительство!

— Сто двадцать? А сколько штатных мест полагается в подвижном госпитале?

— Мм... Двести, ваше высокопревосходительство,— ответил бледный Султанов.

— Так... Приготовьте *шестьсот* мест. Обратите внимание на подъездные дороги, печи и рукомойники.

Куропаткин уехал, очень мало восхищенный. Султанов лениво потирал руки и говорил своим небрежным, насмешливым голосом:

— Беда с этим начальством! Чего его к нам понесло? Его высокопревосходительству захотелось совершить легкую послеобеденную прогулку, а мы за это страдай!

Через два дня приехали какие-то полковник и врач, спросили Султанова. Он вышел.

— Мы от главнокомандующего,— вежливо заявил врач.— Исполнены его указания?

Султанов растерялся.

— Когда же я мог успеть?

— То есть, как это? — удивился врач.— А меня главнокомандующий еще вчера посылал, да я не успел... Приступлено ли, по крайней мере, к началу работ?

— Д-да... Мы написали в штаб дивизии...

— Полноте, это не дело, а бумагомарание. А сделали-то вы что?

— Что же я могу сделать? У меня на это и средств нет.

Врач задумчиво покручивал бородку.

— Значит, так и доложить главнокомандующему?..

И они уехали.

Куропаткин телеграммою известил корпусного командира, что нашел госпиталь в полном хаосе, относит это всецело к нераспорядительности начальствующих лиц и приказывает принять самые энергичные меры к приведению госпиталя в порядок.

Султанов притворялся беззаботным, посмеивался и говорил:

— Мне что! Только бы не повесили, а на остальное наплевать! Ведь все мы ехали сюда исключительно затем, чтоб получать неприятности. Ну, а одною больше или меньше,— не все равно?

Работа в деревне закипела. Корпусный командир прислал роту саперов для исправления дорог и отделки фанз. Было решено обратить деревню в целый госпитальный городок, в нее перевели наш госпиталь и дивизионный лазарет. Командир корпуса выхлопотал на оборудование госпиталей три тысячи рублей и заведующим работами назначил Султанова.

В ожидании, пока будут отделаны фанзы для нашего госпиталя, мы сидели без дела. Работы вскоре пошли вяло и медленно. Зато помещения Султанова и Новицкой отделывались на диво. Саперный офицер, заведывавший работами, целые дни сидел у Султанова, у него же и обедал.

В султановском госпитале шли непрерывные праздники. То и дело приезжал корпусный командир, приезжали разные генералы и штабные офицеры. Часто Султанов с Новицкою и Зинаидой Аркадьевной уезжали на обеды к корпусному.

В госпитале полною, бесконтрольною хозяйкою была Новицкая. Солдаты команды обязаны были вытягиваться

перед нею во фронт. Врачам смешно было и подумать, чтобы Новицкая стала исполнять их приказы: она их совершенно игнорировала. То и дело происходили столкновения.

Новицкая была в госпитале старшею сестрою, за больными не ухаживала, а заведывала хозяйством. Порции для больных обыкновенно выписывались с вечера. Однажды врач забыл вечером выписать порции; палатная сестра пришла к Новицкой утром за яйцами и молоком.

— У вас не выписано, я не выдам!

Врач написал требование, сестра с этим требованием пришла к Новицкой вторично.

— Скажите вашему доктору, что не будет ему ни молока, ни яиц! Пусть пишут вовремя! — объявила Новицкая.

Сестра воротилась в палату, сообщила врачу. Врач в недоумении опустил голову. Вошел в палату старший ординатор, д-р Васильев. Врач сообщил ему о последовавшем «высочайшем отказе»,— как же теперь быть? Значит, голодать больным? В это время в палату вошла Новицкая.

— А, вот она и сестра! — сказал Васильев.— Потрудитесь сейчас же отпустить для больных молока и яиц!

— Я сказала, не будет вам ничего! Вперед будете выписывать с вечера!

Маленькие, черные глаза Васильева свирепо выкатились и заворочались.

— Вы, барышня, понимаете, что вы такое говорите?.. Сестра! Я, старший ординатор, *приказываю* вам немедленно отпустить для больных молоко и яйца!

— Ни молока, ни яиц вам не будет! — отрезала Новицкая и вышла, хлопнув дверью.

Больные солдаты в недоумении смотрели. Васильев пошел к главному врачу. Султанов пил кофе с каким-то полковником.

— Господин главный врач! Позвольте узнать, это по вашему приказанию решено проморить сегодня слабых больных голодом?

— Что такое? В чем дело? — поморщился Султанов.— Что за вздор вы говорите?

Он распорядился выдать молоко и яйца.

Команда султановского госпиталя голодала. Наш главный врач крал вовсю, но он и смотритель заботились как о команде, так и о лошадях. Султанов крал так же, так же фабриковал фальшивые документы, но не заботился реши-

тельно ни о ком. Пища у солдат была отвратительная, жили они в холоде. Обозные лошади казались скелетами, обтянутыми кожей. Офицер-смотритель бил солдат беспощадно. Они пожаловались Султанову. Султанов затопал ногами и накричал на солдат.

— Не знаете порядка? Вы должны передавать мне ваши претензии через смотрителя!

По удивительным военным правилам, если я жалуюсь на своего начальника, то жалобу свою я обязан подавать ему же. Наиболее смелые солдаты отправились к смотрителю, изложили свои претензии на него и попросили передать эти претензии дальше.

— Вот вам претензии! Вот вам «дальше»! — ответил смотритель и нагайкою избил жалобщиков.

Солдаты видели постоянно пирующих в их госпитале генералов и понимали, как бессмысленно ждать от них заступничества. И ходили они,— угрюмые, молчаливые, вечно какие-то взъерошенные, и на них было тяжело смотреть.

Султановский госпиталь начинал входить в славу не только в корпусе, но и во всей нашей армии. Повсюду рассказывали о выходках Султанова и Новицкой, об их всемогуществе. За глаза ругали, в глаза были вежливы и предупредительны. Никаких законов, никаких приказов для Султанова не существовало. Из штаба корпуса то и дело приходили в наши учреждения приказы,— то прислать в штаб по десяти повозок для перевозки в штаб фуража и дров, то передать в штаб из хозяйственных сумм по нескольку сот рублей на приобретение для штаба стерео-трубы или экипажей-американок. Все учреждения, разумеется, немедленно исполняли приказы, Султанов же оставлял их даже без ответа.

Персонал дивизионного лазарета, тоже переведенного в нашу деревню, великолепно отделал фанзу для своего помещения: сложили хорошо и ровно греющую печку, потолок оклеили белыми обоями, стены обили золотистыми циновками, в окна вставили стекла. Зашли к ним Султанов с Новицкою. Они загадочно-внимательно оглядывали фанзу, любовались ею и восхищались. А через два дня вдруг из корпуса пришел приказ,— дивизионному лазарету передвинуться из Мозысани в деревню Ченгоузу Восточную. Передвижение ненужное, бессмысленное,—всего на

версту на север. Всем было ясно, что это — дело Султанова и Новицкой, которым приглянулась фанза.

— И чего ей еще? И так чуть не во дворце живет! — возмущались изгоняемые врачи.

Однажды дивизионный врач получил от Султанова бумагу. В этой бумаге Султанов писал, что «по личному приказанию командира корпуса» он представляет сестер милосердия своего госпиталя к наградам: сестер Новицкую и Буланину (Зинаиду Аркадьевну) — к золотым медалям на анненской ленте «за усердный и самоотверженный уход за раненными в бою на р. Шахе»; двух других сестер, как раз, действительно, работавших с самоотвержением, Султанов представлял к серебряным медалям на станиславской ленте просто «за уход за ранеными».

Это представление возмутило даже нашего дивизионного врача,— дряхлого, себялюбивого чинушу, полного только думами о себе. Он сделал на бумаге приписку, что, по его мнению, золотой медали заслуживает также и сестра Валежникова (Вера Николаевна), тем более, что, ухаживая за больными, она заразилась тифом.

— А Новицкую к золотой медали представлять не за что,— заметил ему его помощник.— Все ведь знают, что она больных даже и не видит, а только ездит на обеды в штаб... Довольно с нее и серебряной медали.

Помощник дивизионного врача был человек с живою душою. Своим дряхлым и туповатым патроном он вертел, как хотел. Но тут, в первый раз за всю их совместную службу, дивизионный врач сверкнул глазами и рявкнул на него:

— Это не ваше дело! Прошу молчать!

Узнав о представлении Султанова, наш главный врач поспешил представить к медалям и своих сестер,— старшую, имевшую уже серебряную медаль за свою службу в России, к золотой, остальных — к серебряным.

Представления прошли очень скоро. Только Вера Николаевна получила-таки, кажется, серебряную медаль. Новицкая, жившая все время «в высших сферах», высокомерно игнорировала мнение других сестер, но Зинаиде Аркадьевне было неловко. Она забежала к нашим сестрам, сообщила, что ей пожалована золотая медаль. Сама сияя от радости, Зинаида Аркадьевна возмущалась, почему нашим сестрам даны серебряные медали, «когда все одинако-

во работали». Объясняла она это тем, что, будто бы, дворянкам полагается давать золотые медали, а недворянкам — серебряные.

— Ведь это просто возмутительно!..— либеральничала она.— Ну, да это уж пускай бы. Раз такой закон, то ничего не поделаешь. А почему о нас с Новицкой Султанов написал лучшие реляции, чем о других сестрах? Ведь все мы работали совсем одинаково. Я положительно не могу выносить таких несправедливостей!..— И сейчас же, охваченная своею радостью, прибавляла: — Теперь обязательно нужно будет еще устроить, чтоб получить медаль на георгиевской ленте, иначе не стоило сюда и ехать.

Наступил канун Рождества. Японцы перебросили в наши окопы записочки, в которых извещали, что русские спокойно могут встречать свой праздник: японцы мешать им не станут и тревожить не будут. Разумеется, коварным азиатам никто не верил. Все ждали внезапного ночного нападения.

В сочельник под вечер к нам пришел телеграфный приказ: в виду ожидающегося боя, немедленно выехать в дивизионный лазарет обоим главным врачам госпиталей, захватив с собой по два младших врача и по две сестры. Наш дивизионный лазарет уже несколько дней назад был передвинут из Ченгоузы версты на четыре к югу, к самым позициям.

Приказ представлял собою вопиющее беззаконие: главного врача госпиталя *ни в коем случае* нельзя откомандировывать от его госпиталя, раз госпиталь открыт. При данных же обстоятельствах эта командировка главных врачей на позиции была прямою нелепостью; если предстоит жестокий бой, то работы будет много не только в дивизионном лазарете, но и в госпиталях; как же можно было оставлять госпитали без главных врачей? К тому же было совершенно неизвестно, понадобятся ли еще лишние врачи в лазарете, даже будет ли вообще бой.

Дело не оставляло никаких сомнений: Султанову нужен Владимир с мечами, Новицкой и Зинаиде Аркадьевне нужны медали на георгиевских лентах. Если командировать одного Султанова с обеими девицами, то это слишком бы бросилось всем в глаза. И вот, «на позиции» было дви-

нуто по половине наличного врачебного состава обоих госпиталей.

Стемнело уже давно, мы выехали с фонарями. Ночь стояла тихая, темная и весенне-теплая; снегу не было. Приехали мы в дивизионный лазарет, стали пить чай. Все смеялись и острили по поводу этой фантастической командировки. Приехал Султанов с двумя своими врачами — и без сестер.

— А что же ваши сестры?

— Они поехали на елку к корпусному командиру, — ответил Султанов.

Поехали, конечно, Новицкая и Зинаида Аркадьевна,— почему же Султанов не взял двух других сестер? Но никому и в голову не пришло спрашивать, все понимали, что, если было сюда ехать, то именно Новицкой и Зинаиде Аркадьевне... А был дан совершенно определенный приказ приехать с сестрами.

Часу в девятом раздался один ружейный выстрел, другой,— и вскоре на наших позициях затрещал бешеный пачечный огонь. Тяжело загрохотали пушки. Все примолкли. Творилось что-то жуткое. Ружейная стрельба распространялась все шире, бухали пушки, и снаряды с завыванием уносились вдаль.

Мы приготовились к приему раненых. Раненых не привозили. А пальба перекатывалась бешено и лихорадочно, мимо скакали в темноте взволнованные ординарцы... На японских позициях засветился прожектор, голубоватый луч медленно пополз по нашим позициям.

Раненых мы так и не дождались. К полуночи пальба смолкла. Мы легли спать, а утром воротились домой. Необычная мобилизация госпитального персонала «на позиции» оказалась совершенно излишнею.

Расскажу кстати, что это была за пальба.

Разыгралась одна из самых смехотворных историй за всю эту войну, вообще столь богатую юмористикою. Царило глубокое убеждение, что японцы в эту ночь что-то нам готовят, нервы у всех были напряжены. Охотники одного из наших полков услышали в темноте быстро приближавшийся со стороны японцев широкий, легкий, частый топот. Охотники открыли огонь. Уверяют, что это было стадо китайских свиней; оно вырвалось откуда-то из закуты и бежало по полю. Огонь охотников был подхвачен сидевшим в окопах батальоном, оттуда огонь передался

в соседние части, дали знать в батареи,—и пошла канонада. Офицеры, бывшие в это время на сопках, рассказывали мне: сверху вдоль русских окопов были видны сплошные, мерцающие огненные линии от ружейных выстрелов. Командир батальона, обнаружившего наступление свиней, послал командиру полка телеграмму: «дольше держаться не могу, пришлите подкрепление». (Многие офицеры честным словом заверяли меня, что это факт). Стали рвать фугасы. Взорвали один фугас, другой взорвался сам собою...

И тут все сгорели со стыда: огонь взрывов осветил вокруг полнейшую пустыню. Нигде ни одного врага. Между тем начали, наконец, отвечать из своих окопов и японцы, засветился их прожектор и с недоумением стал шарить по нашим позициям, бешено трещавшим выстрелами.

Во всеподданнейшей телеграмме Куропаткина событие это было изложено так:

> В ночь на 25 декабря японцы начали было тревожить нас на фронте центральной части нашего расположения. Своевременно обнаруженные нашим сторожевым охранением, они встречены были артиллерийским и ружейным огнем и после перестрелки отошли назад. У нас ранен зауряд-прапорщик, убито 3 и ранено 17 нижних чинов.

Куропаткин только не прибавил, что они были убиты и ранены *русскими* пулями; пострадавшие находились впереди окопов, в дозорах и секретах, и на них обрушился весь вихрь пуль.

Впрочем, как уверял один шутник-офицер, были и японцы, пострадавшие в эту достопримечательную ночь: разведчики нашли во вражеских окопах трупы нескольких японцев, лопнувших от смеха.

Однажды в наш госпиталь принесли из соседней деревни несколько тяжело раненных солдат. Раны были ужасны: одному оторвало обе руки, другому разорвало живот, у остальных были перебиты руки и ноги, проломлены головы. Ранены были они вот как: полк пришел с позиции на отдых в деревню; один солдат захватил с собою подобранную на позициях неразорвавшуюся японскую шрапнель; солдаты столпились на дворе фанзы и стали рассматривать снаряд: вертели его, щелкали, начали отвертывать дистанционную трубку. Разумеется,

произошел взрыв. Троих убило наповал, одиннадцать тяжело ранило. Пострадало три-четыре солдата, просто шедшие мимо получать у каптенармуса валенки... Погибло полтора десятка человек. Из-за чего? Из-за «несчастной случайности»?

Нет, это не была несчастная случайность. Если заставить слепых людей бежать по полю, изрытому ямами, то не будет несчастною случайностью, что люди то и дело станут попадать в ямы. Русский же солдат находился именно в подобном положении, и катастрофы были неизбежны.

Вся война была одним сплошным рядом такого рода катастроф. Выяснялось с полною очевидностью, что для победы в современной войне от солдата прежде всего требуется не сила быка, не храбрость льва, а развитый, дисциплинированный разум человека. Этого-то у русского солдата и не оказалось. Поразительно прекрасный в своем беззаветном мужестве, в железной выносливости,— он был жалок и раздражающ своей некультурностью и умственною мешковатостью.

Если бы даже вся организация нашей армии представляла собою на диво стройную, прекрасно налаженную машину,— а в действительности и машина-то была на диво неуклюжая и неслаженная,— то и тогда это невежество солдата было бы песком, тершимся между всех колесиков машины.

— Как эта деревня называется?

— Не могим знать!

— А вы здесь давно стоите?

— Четвертый месяц.

Китайцы выселены, спросить некого, дело спешное,— и беспомощно смотрит посланный на свой план, и не может узнать, так ли он едет, как нужно.

— Где-то тут неподалеку должна быть деревня Людогоу, не знаете вы ее?

— Никак нет!

Посланный едет дальше, блуждает. Наконец оказывается,— деревня, где он спрашивал солдат, и была как раз Людогоу!

Сами солдаты беспомощно блуждали по местности, не умея ни пользоваться компасом, ни читать карт. В боях, где прежняя стадная колонна теперь рассыпается в широкие цепи самостоятельно действующих и отдельно чув-

ствующих людей, наш солдат терялся и падал духом; выбивали из строя офицера,— и сотня людей обращалась в ничто, не знала, куда двинуться, что делать.

Между позициями, позади позиций,— везде шла предательская, неуловимая разрушительная работа. В нужный момент самые необходимые приспособления оказывались испорченными... Пусть за меня рассказывают официальные приказы:

Проводимые в районе действия наших войск линии военного телеграфа, шестовые и кабельные, нередко подвергаются порче самими же войсками и обозами. Так, напр., замечены случаи, что войска располагались биваками под самыми линиями телеграфа, и однажды костер был разведен на телеграфном кабеле; к телеграфным шестам привязывали лошадей; едущие казаки пиками обрывали проволоку; при прогоне порционного скота по полям, без дорог, скот валит и ломает шесты и рвет провод; при осмотре кабеля, подвешенного к деревьям, случалось, что находили не только срубленные ветки, на которых висел кабель, но и разрубленный кабель; также при осмотре кабеля оказывались надрезы изолировки, а иногда зачистки ее с оголением жилы, что делается, вероятно, из любопытства. Главнокомандующий изволил приказать обратить внимание и т. д. (*Приказания главнокомандующего*, 14 ноября 1904 г., № 69).

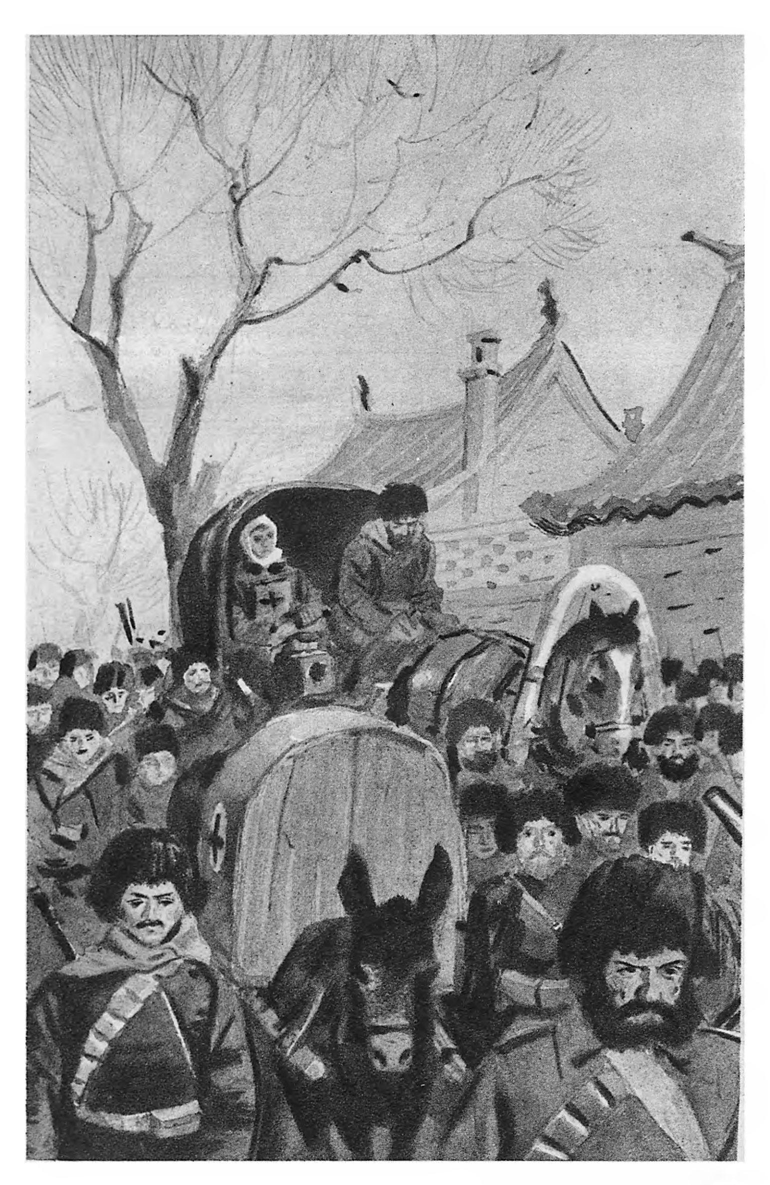
Обращено внимание, что поломка телеграфных шестов войсковыми обозами и конными фуражирами, несмотря на неоднократные приказания о принятии против сего войсковым начальством надлежащих строгих мер, все еще продолжается. *Ежедневно* (!) поступают жалобы на перерыв телеграфных сообщений вследствие небрежного обращения войск с телеграфными линиями. Повозки, транспорты и вьюки следуют часто по сторонам проезжих дорог, задевают и ломают шесты Главнокомандующий приказал вновь обратить внимание и т. д. (*Приказ главнокомандующего*, 5 декабря 1904 г., № 168).

Замечено, что на участке, находящемся в наших руках к югу от станции Суятунь, *полотно железной дороги постепенно разрушается нашими же нижними чинами, которые растаскивают шпалы на протяжении целых звеньев*. То же небрежное отношение и отсутствие сознания причиняемого вреда проявляется среди нижних чинов *и в отношениях их к линиям полевого телеграфа, мостам, гатям и другим техническим сооружениям*, устройство и поддержание в исправности которых стоит огромных затрат и усилий. (Приказ войскам 3-й Маньчжурской армии 1 янв. 1905 г., № 15).

Медленно и тягуче месяц шел за месяцем. Две огромные армии неподвижно стояли друг против друга; обе усиленно укреплялись и окапывались. Постепенно выросли одна против другой как бы две длинные, в десятки верст, крепости, неприступно укрепленные, снабженные тяжелыми осадными орудиями. Повсюду тянулись окопы, редуты, люнеты, друг с другом они соединялись земляны-



«НА ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ».



«НА ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ».

ми ходами. Обе армии, как кроты, закопались в землю, тысячи глаз пристально глядели из рвов, и в каждого неосторожного сейчас же летели пули. Было холодно, люди стыли в окопах, от неподвижного стояния опухали ноги и атрофировались ножные мышцы, выходя из окопов, солдаты шатались и шли, как пьяные.

На позициях были холод, лишения, праздное стояние с постоянным нервным напряжением от стерегущей опасности. За позициями, на отдыхе, шло беспробудное пьянство и отчаянная карточная игра. То же самое происходило и в убогих мукденских ресторанах. На улицах Мукдена китайские ребята зазывали офицеров к «китайска мадама», которые, как уверяли дети, «шибко шанго». И кандидаты на дворе фанзы часами ждали своей очереди, чтоб лечь на лежанку с грязной и накрашенной четырнадцатилетней китаянкой.

Настроение армии было мрачное и угрюмое. В победу мало кто верил. Офицеры бодрились, высчитывали, на сколько тысяч штыков увеличивается в месяц наша армия, надеялись на балтийскую эскадру, на Порт-Артур... Порт-Артур сдался. Освободившаяся армия Ноги двинулась на соединение с Оямой. Настроение падало все больше, хотелось мира, но офицеры говорили:

— Как тогда воротиться? Хоть снимай мундир, совестно будет показаться на улице.

Было немало офицеров, которые о мире не хотели и слышать. У них была своеобразная военная «честь», требовавшая продолжения войны.

У солдата никакой такой «чести» не было, войны он совершенно не понимал и напрасно добивался от кого-нибудь разъяснений.

— Ваше благородие, из-за чего эта война? — спрашивал он офицера.

— Японец виноват, мы не хотели. Он на нас первый напал.

— Точно так... А только ведь без причины чего ж ему нападать?

Молчание.

— Вот, говорят, из-за Маньчжурии этой война. Да на что она нам? Мы бы тут и задаром не стали жить. А через Сибирь ехали,— вон сколько везде земли, конца нет...

Положение желавших «поддержать дух армии» было

чрезвычайно затруднительное. Нельзя было и намека найти на что-нибудь, что зажигало бы душу желанием подвига, желанием борьбы во имя чего-то высокого и светлого.

При штабе главнокомандующего издавалась специальная газетка «Вестник Маньчжурских Армий». Газетка эта, имевшая задачею играть роль Тиртея русской армии, представляла из себя нечто поразительное по своей бездарности, лживости, отсутствию огня и вдохновения. Казенно-слащавые фразы о вере, царе и отечестве, о чести родины, бахвальство без меры и без оглядки — вот что должно было питать дух участников титанической борьбы, где от канонады в потрясенном насквозь воздухе сгущались грозы, и целые равнины устилались кровавыми коврами трупов. Мне не раз еще придется цитировать эту поистине замечательную газетку.

А вот в каком роде писали патриотические авторы брошюрок, в большом количестве распространявшихся среди солдат. Передо мною изящно изданная книжка, с прекрасными иллюстрациями, под заглавием: «В осажденном Порт-Артуре, или геройская смерть рядового Дмитрия Фомина». Начинается рассказ так:

— Нет, брат-япоша, моих рук тебе не миновать, отведаешь теперь русских щей да каши, блюда-с — за первый сорт...

Так думал рядовой Дмитрий Фомин, находясь в засаде с ружьем наготове и зорко следя за японским разведчиком.

Японец ползет по скалам, рискуя каждую минуту свалиться.

«И японцу тоже не легко, думал Фомин, *он тоже ведь исполняет приказания своего начальства».* И ему даже жаль стало японца. В другое время Фомин наверно помог бы ему вскарабкаться, но теперь, *полный готовности исполнить приказания своего собственного начальства и угодить ему,* он ждал, не мог дождаться, пока японец не приблизится к нему настолько, чтоб наброситься на него неожиданно и схватить его...

Бедная русская армия, бедный, бедный русский народ! Вот что должно было зажечь его огнем борьбы и одушевления,— желание *угодить начальству!..* Но напрасно автор-патриот думает, будто и японцы только «исполняли приказания своего начальства». Нет, *этот* огонь не греет души и не зажигает сердца. А души японцев горели сверкающим огнем, они рвались к смерти и умирали улыбаясь, счастливые и гордые.

Немирович-Данченко сообщает, что однажды, в част-

ной беседе, Куропаткин сказал: «Да, приходится признать, что в настоящее время войны ведутся не правительствами, а народами». Признать это приходилось всякому, имеющему глаза и уши. Времена, когда русская «святая скотинка» карабкалась вслед за Суворовым на Альпы, изумляя мир своим бессмысленным геройством,— времена эти прошли безвозвратно.

Каждый день в наш госпиталь привозили с позиций раненых. Поражало, какая масса их ранена в кисти рук, особенно правой. Сначала мы принимали это за случайность, но чрезмерное постоянство таких ран вскоре бросилось в глаза. Приходит дежурный фельдшер, докладывает:

— Ваше благородие, пять раненых привезли.

— В руки ранены?

— Так точно! — сдерживая улыбку, отвечает фельдшер.

Расспрашиваешь солдата, при каких обстоятельствах он ранен. Раненый путается, сбивается. «Протянул руку за ковыльяном», «потянулся на бруствер за патронами»... Сестрам, с которыми солдаты меньше стеснялись, они прямо рассказывали.

— Как случилось! Высунешь одни руки и стреляешь. Ведь вот, в руку попало. А высунь-ка я голову,— прямо бы в голову и угодило.

Главный начальник тыла в одном из своих приказов пишет:

В госпитали тыла поступило большое число нижних чинов с поранениями пальцев на руках. Из них с пораненными только указательными пальцами — 1 200. Отсутствие указательного пальца на правой руке освобождает от военной службы. Поэтому, а также принимая во внимание, что пальцы хорошо защищаются при стрельбе ружейной скобкой, есть основание предполагать умышленное членовредительство. В виду вышеизложенного главнокомандующий приказал назначить следствие для привлечения виновных к законной ответственности.

Солдаты только и жили, что ожиданием мира. Ожидание было страстное, напряженное, с какою-то почти мистическою верою в близость этого желанного, все не приходящего «замирения». Чуть где на стоянке раздастся «ура!» — солдаты всех окрестных частей встрепенутся и взволнованно спрашивают:

— Что это? Не замирение ли?

Однажды утром, в середине января, мой денщик говорит мне:

— 27-то числа война кончится.— И загадочно улыбается.

— Через год? — усмехнулся я.

— Никак нет, в этом месяце,— ответил он уверенно.

И рассказал мне историю. В Кромском полку есть солдат-провидец. Он сообщил товарищам, что война кончится ровно через год после ее начала, 27 января 1905 года. Ротный узнал про это предсказание и поставил провидца на три часа под ружье. Идет мимо командир полка, спрашивает: — «За что стоишь?» — За правду, ваше высокородие! — «За какую правду?» — Солдат рассказал.— «Ну, передай твоему ротному, чтоб он тебе от меня еще три часа набавил».— Нет, ваше высокородие, вы меня не обижайте, а вот послушайте, что я скажу! Вам на почте письмо лежит, а в том письме прописано, что у вас братец в России помер.— Оказалось верно. Полковник пошел и все рассказал Куропаткину. Куропаткин вызвал солдата, стал на него кричать и топать ногами, а солдат говорит: «Ваше высокопревосходительство! У вас в правом кармане коробка спичек, а спичек в ней сорок две штуки». Куропаткин пересчитал спички,— верно. Он оставил солдата при себе. «Если,— говорит,— сбудется, как ты сказал, произведу тебя в офицеры, не сбудется,— расстреляю».

Пошел я в палату. Раненые оживленно говорили и расспрашивали о предсказании кромца. Быстрее света, ворвавшегося в тьму, предсказание распространилось по всей нашей армии. В окопах, в землянках, на биваках у костров,— везде солдаты с радостными лицами говорили о возвещенной близости замирения. Начальство всполошилось. Прошел слух, что тех, кто станет разговаривать о мире, будут вешать.

— Ну-у!.. Веревок не хватит! — с усмешкою возражали солдаты.

Мы посмеивались над предсказанием, но,— человеческая натура! — так хотелось мира, что, вопреки очевидности, в глубине души все-таки жило какое-то глупое, радостное ожидание. И слухи шли, подкреплявшие это ожидание. Рассказывали, что интендантство распорядилось представить ему требовательные ведомости только на три месяца вперед, а не на шесть, как было раньше; войскам велено не запасать провианту, а потреблять уже заготовленные консервы; германский император каждый день, будто бы, бывает то у русского посла, то у японского, войск

из России больше уже не отправляют... Рассказывали, что январский фланговой бой у Сандепу был предпринят по приказанию из Петербурга, чтобы в последний раз попытать счастья. Уложили пятнадцать тысяч человек и не могли взять одной деревни. Рассчитали, что если начать бой по всему фронту, то придется уложить сотни тысяч людей без всякого результата,— и начали переговоры о мире. В апреле месяце, сообщали слухи, мы уже поедем домой.

Пришло 27 января. Мира, конечно, нет. Мы смеемся, напоминаем солдатам об их вещем кромце. Они конфузятся и чешут за ухом.

— Значит, ошибся...

Было горькое разочарование. И слухи пошли уж совсем другие: решено сформировать новую трехсоттысячную армию для Кореи, построить новый огромный флот; Япония рассчитывает воевать еще в течение всего 1905 года...

На душе у всех было тяжело и смутно.

В большом количестве в госпитали шли офицеры. В одном из наших полков, еще не участвовавшем ни в одном бою, выбыло «по болезни» двадцать процентов офицерского состава. С наивным цинизмом к нам заходили офицеры посоветоваться частным образом, нельзя ли эвакуироваться вследствие той или другой венерической болезни.

— Знаете, с сентября уж месяца здесь, надоело, хочется в Россию.

Эвакуировался один из адъютантов штаба нашей дивизии, по доброй воле поехавший на войну.

— Зачем же вы ехали?

— Мы все были убеждены, что в октябре война кончится, что будет она вроде китайской. А для движения по службе поехать было выгодно.

На моем дежурстве явился в наш госпиталь один высокий, бравый капитан.

— Здравствуйте, доктор! — сказал он солидным, барским басом, протягивая руку.— Вот, приехал лечь к вам в госпиталь.

— Что у вас болит?

— Видите ли, в чем дело. Я человек уж не молодой, притом женатый, избалованный. Имею в Москве собственность. Оставаться здесь я решительно больше не в состоянии. В этих окопах и землянках такие антисанитарные усло-

вия, что прямо невозможно! Я начал кашлять, в ногах ломота... Пули, снаряды,— этого я, разумеется, не боюсь; но, знаете, ревматизм захватить на всю жизнь — приятного мало... Вы меня будьте добры только эвакуировать в Харбин, у меня там в эвакуационной комиссии есть один хороший приятель-москвич, там я уж устроюсь...

Когда появлялся слух о готовящемся бое, волна офицеров, стремившихся в госпитали, сильно увеличивалась. Про этих «героев мирного времени» в армии сложилась целая песенка.

Пришел приказ идти вперед,
В госпиталя валит народ,—
Вот так кампания!
Вот так кампания!..
Шимоза мимо пролетела,
Меня нисколько не задела,
Но я контужен!
Но я контужен!
Свидетельство я получу
И вмиг на север укачу.
Ведь юг так вреден!
Ведь юг так вреден!..

Командиры рвали и метали, глядя на бегство своих офицеров. Приехал к нам в госпиталь один штабс-капитан с хроническим желудочно-кишечным катаром. К его санитарному листку была приложена четвертушка бумаги с следующими строками командира полка:

«По глубокому моему убеждению штабс-капитан N. страдает *тыломанией,*— болезнью, к сожалению, очень распространенною, среди гг. офицеров. Прошу это мое заявление приложить к санитарному листку».

Заведывать офицерскою палатою было мучительно. Больные изводили своими мелочными, пустяковыми жалобами.

— Ах, да, доктор! Я вам забыл сказать! — басил московский собственник.— Я замечаю еще, что за последние два месяца у меня сильно похудели руки и ноги.

Другой сообщал:

— Прошлою весною я лечился в Крыму кактусом. Как, по-вашему, не следует ли мне еще раз повторить курс этого лечения?

— Доктор, у меня еще вот что бывает,— заявлял третий.— Когда жарко, то у меня кружится голова и появляется тошнота.

— Да это у всех так.

— Нет, у меня как-то особенно.

Иногда хотелось остановиться посреди палаты и хохотать без удержу. Это — *воины!* Всю жизнь они прожили на хлебах народа, и единственным оправданием их жизни могло быть только то, от чего они теперь так старательно увертывались. Теперь, впрочем, смеяться мне уж не хочется...

Однажды в наш госпиталь неожиданно приехал Куропаткин. Черные с сединою волосы, умный и твердый взгляд на серьезном, сумрачном лице, простой в обращении, без тени бурбонства и генеральства. Единственный из всех здешних генералов, он безусловно импонировал. Замечания его были дельны и лишены самодурства.

Между прочим, Куропаткин зашел и в офицерскую палату.

— Вы чем больны? — обратился он к одному офицеру.

— Общее нервное расстройство, ваше высокопревосходительство! — ответил офицер и, спеша воспользоваться случаем, прибавил: — за меня хлопочет начальник дивизии, чтобы перевести на нестроевую должность.

— Кто хлопочет? — спросил Куропаткин, слегка подняв брови.

— Начальник ** дивизии, ваше высокопревосходительство!

— А вы чем больны? — обратился Куропаткин к другому офицеру.

— Простуда, ломота в суставах, кашель,— поспешно перечислял тот свои болезни.

Куропаткин слегка вздохнул, спросил третьего, четвертого, и молча, не прощаясь, вышел.

Видимо, впечатление было для него старое и знакомое. Еще месяц назад он издал следующий, полный насмешки и яду, приказ:

Из полученных от санитарно-статистического бюро сведений оказывается, что болезненность на тысячу списочного состава среди нижних чинов армии лишь немногим превышает болезненность мирного времени; болезненность *же* среди офицеров превышает более, чем вдвое, болезненность нижних чинов. Обращаю на это внимание всех начальствующих лиц. Обращаю внимание также на то, что именно офицеры, находясь в лучших санитарных условиях, должны показывать нижним чинам пример сознательного отношения к условиям сохранения здоровья. При этом надо помнить, что болеть от собственной неосторожности в военное время предосудительно (*Приказ* 17 декабря 1904 г. № 305).

А рядом с подобными господами в госпиталь прибывали из строя такие давнишние, застарелые калеки, что мы разводили руками. Прибыл один подполковник, только месяц назад присланный из России «на пополнение»; глухой на одно ухо, с сильнейшею одышкою, с застарелым ревматизмом, во рту всего пять зубов... Было удивительно смотреть на этого строевого офицера-развалину и вспоминать здоровенных молодцов, сидевших в тылу на должностях комендантов и смотрителей.

Другой такой же, тоже подполковник. Ему 58 лет, хронический ревматизм, катар желудка, одышка, сердце плохое, на обоих глазах два раза делали какие-то операции. Славный старик, какие бывают среди старичков-офицеров, скромный и ненавязчивый.

— Как вы с таким здоровьем служите? — изумился я.

— Что ж поделаешь. Жена и то убеждала выйти в отставку, да как выйдешь? До эмеритуры осталось всего два года. А у меня четверо детей, да еще трое сирот-племянников. Всех нужно накормить, одеть... А хвораю-то я уж давно. Комиссия два раза выдавала удостоверения, что мне необходимо лечиться водами в Старой Руссе, там есть для офицеров казенные места. Но ведь знаете сами, нашему брату-армейцу трудно чего-нибудь добиться, протекции нет. Казенные места всегда заняты штабными, а нам и доступу нет...

И этот старый старик три месяца стыл в окопах!..

Выписку и перевод из госпиталя больных офицеров взял у нас на себя сам главный врач. Он ужасно возмущался «трусостью и недобросовестностью» русских офицеров, говорил:

— Это насмешка над нами! Стану я эвакуировать этих лодырей, как же! Всех назад в строй выпишу!

Но постоянно выходило как-то так: смирные, ненавязчивые выписывались обратно в строй, люди же с апломбом и со связями эвакуировались. Между прочим, был эвакуирован в Харбин к своему приятелю из эвакуационной комиссии также и наглый московский собственник.

Однажды на моем дежурстве поздно вечером зовут меня в приемную. Прихожу. У стола стоял в меховой николаевской шинели ротмистр граф Зарайский, адъютант

командира нашего корпуса, а рядом с ним — высокая стройная дама в шубке и белой меховой шапочке.

— Здравствуйте, доктор,— сказал граф.— Приехал лечь к вам в госпиталь: ездил в Харбин, продуло меня, в ухе образовался нарыв. А еще привез вам вот новую сестру.

И он познакомил меня с дамой.

Новую сестру?.. По штату на госпиталь полагается четыре сестры, у нас их было уже шесть: кроме четырех штатных, еще «сестра-мальчик» и жена офицера, недавно воротившаяся из Харбина после перенесенного тифа. И этим-то сестрам делать было решительно нечего, они хандрили, жаловались на скуку и безделье. А тут еще седьмая!

Графа проводили в офицерскую палату, дама отправилась ночевать к нашим сестрам.

У всех было негодующее изумление,— зачем эта сестра, кому она нужна? Утром, когда главный врач зашел в офицерскую палату, граф Зарайский попросил его принять в госпиталь сверхштатною сестрою привезенную им даму.

— Это моя добрая знакомая, я ездил в Харбин встречать ее.

Главный врач ответил неопределенно, воротился к себе. Как раз в это время заехал к нему дивизионный врач. Узнал он о просьбе графа и вышел из себя.

— Это уж седьмая сестра будет в госпитале! Ни за что не позволю! — горячился он.

— И главное, на что, на что она мне? — вторил главный врач.— Я и с своими-то сестрами не знаю, что делать, и они-то мне совсем не нужны!

Смотритель еще подливал масла в огонь.

— А как мы их всех будем перевозить? Особые экипажи для них заказывать, что ли?

Дивизионный врач, весь кипя гневом, пошел в палату к графу. Одна из наших сестер лукаво обратилась к смотрителю.

— Давайте на пари, что эта сестра останется у нас!

— Как это может быть, что вы говорите! Смеяться они над нами, что ли, хотят!

Дивизионный врач воротился от графа. Теперь он молчал и на вопросы главного врача отвечал уклончиво. Приехав к себе, он написал начальнику дивизии письмо, где сообщал о желании новой сестры поступить в наш госпиталь и спрашивал, принять ли ее. Начальник дивизии ответил,

что удивляется его письму: по закону, подобного рода вопросы дивизионный врач решает собственною властью, и ему лучше знать, нужны ли в госпитале сестры. Тогда дивизионный врач предоставил решение нашему главному врачу. Главный врач сестру принял.

— Вот еще новая обуза свалилась на плечи! — раздраженно говорил он нашим сестрам.— Как я теперь всех вас буду перевозить?

Сестры передали это новой сестре. Она при встрече сказала главному врачу:

— Я слышала, я вас буду сильно стеснять при переездах?

— Ну, что там! — добродушно ответил Давыдов.— Ведь мы обыкновенно передвигаемся не больше, как на пять, на шесть верст. В крайнем случае можно будет всех вас перевезти в два раза.

Помещение сестер было очень небольшое. Новая сестра сильно стеснила всех своими сундуками и чемоданами. Наши сестры дулись. Но новая сестра как будто этого не замечала, держалась мило и добродушно. Она сообщила сестрам, что ужасно боится больных, что вида крови совсем не выносит.

— Лучше я буду у вас в качестве горничной, буду убирать и подметать нашу фанзу,— смеясь, говорила она.

Целые дни новая сестра проводила в офицерской палате при графе.

А от графа охал и морщился весь госпиталь. Однажды ему не понравился поданный бульон; граф велел передать, что если ему еще раз подадут такой бульон, то он набьет морду повару. Смотритель ежечасно бегал к графу справляться, хорошо ли ему. Однажды граф сказал: «Не дурно бы выпить вина!» Смотритель тотчас же прислал бутылку прекрасной мадеры, пожертвованной для больных. Но у графа был нарыв в наружном слуховом проходе, и, конечно, никаких показаний к вину не существовало.

Граф посмеивался над этими ухаживаниями и говорил:

— Хорошо, что я нетребователен, а то бы они мне каждый день и шампанского давали!

Кстати о пожертвованиях. Больных у нас обыкновенно было немного, но из склада пожертвованных вещей при Красном Кресте главный врач постоянно получал разные хорошие вещи: теплую одежду, вина, готовые папиросы. Давали там без счета и без контроля, больше даже, чем

спрашивалось: «там кому-нибудь раздадите!» И делалась мелкая, противная гнусность: скупой главный врач щедро угощал приезжавших знакомых жертвованным коньяком и мадерой, курил жертвованные папиросы и даровою водкою поил команду, приходившую поздравлять его со днем ангела или рождения.

Вскоре главный врач отдал в распоряжение вновь приехавшей сестры небольшую, стоявшую в стороне, фанзу, отделанную под больных. Он назначил сестре отдельного денщика. По закону, сестрам денщиков не полагается, наши сестры, конечно, их не имели: они сами убирали свое помещение, стирали себе белье и т. п. Давыдов дал новой сестре казенную лампу, отпускал казенный керосин, убеждал ее не жалеть дров, чтобы в фанзе было тепло. Другие же сестры дров никогда не видели: им выдавали для топки перемешанный с навозом каолян, служивший подстилкою лошадям.

Сестры всем этим, конечно, страшно возмущались, указывали, в какой они живут тесноте и как просторно помещена приехавшая сестра. Мы советовали им:

— Заявите главному врачу, чтоб часть из вас перевели к ней.

— Ах, боже мой! Как вы не понимаете? Ей необходимо жить *одной!..*

Граф вскоре выздоровел и выписался из госпиталя. И каждый вечер у одинокой фанзочки, где жила новая сестра, до поздней ночи стояла корпусная «американка» или дремал солдат-вестовой, держа в поводу двух лошадей, графскую и свою.

Красавица-русалка Вера Николаевна, отболевшая в Харбине тифом, не захотела вернуться в султановский госпиталь и осталась сестрою в Харбине. Тогда на ее место перевелась в султановский госпиталь штатной сестрою жилица одинокой фанзочки, «графская сестра», как ее прозвали солдаты. В качестве штатной сестры она стала получать жалованье, около 80 руб. в месяц. Жить она осталась в той же фанзе, только вместо нашего солдата ей теперь прислуживал солдат из султановского госпиталя.

В нашем госпитале лежал один раненый офицер из соседнего корпуса. Офицер был знатный, с большими связями. Его приехал проведать его корпусный командир. Ста-

рый, старый старик,— как говорили, с громадным влиянием при дворе.

У нас же в госпитале лежал солдат из его корпуса, с правою рукою, вдребезги разбитою осколками снаряда. Мы уговаривали солдата согласиться на ампутацию, но он отказывался:

— Что я без руки делать буду? Может, как-нибудь заживет... У меня трое ребят.

Но в руке уж начиналась гангрена. Когда генерал вышел из офицерской палаты, наш главный врач сказал ему:

— Ваше высокопревосходительство! У нас лежит один солдат из вашего корпуса, ему необходимо ампутировать руку, а он не соглашается. Может быть, вам удастся его уговорить.

— А... Да-да-да, хорошо!.. Проведите меня к нему. Я с ним поговорю.

Генерала ввели в солдатскую палату, подвели к раненому.

— Ты знаешь, кто я? — спросил генерал.

— Так точно, ваше высокопревосходительство!

— Ну, так вот. Доктора тебе говорят, и я тебе то же самое говорю: нужно тебе отрезать руку, а то помрешь.

Солдат молчал и грустно смотрел на генерала.

— Понял меня?

— Так точно!

— Ну, вот... И ты не печалься. В Петербурге у государыни-императрицы есть великолепные искусственные руки и ноги. Такую тебе дадут руку,— никто и не узнает, что не настоящая.

Солдат молчал.

— Так, значит, вот что я тебе советую. Ты так и сделай. Понял меня? Ну, прощай!.. Ты грамотный?

— Так точно!

Генерал двинулся к выходу и сказал, обращаясь к нам:

— Ведь и писать он может научиться и левой рукой.

Отгремел январский бой под Сандепу. Несколько дней студеный воздух дрожал от непрерывной канонады, на вечерней заре виднелись на западе огоньки вспыхивающих шрапнелей. Было так холодно, что в топленных фанзах, укутавшись всем, чем возможно, мы не могли спать от холода. А там на этом морозе шли бои.

Потом канонада прекратилась, стало тихо, как будто все звуки замерзли. Пошли вести о происшедшем деле. Русские заняли было Сандепу и окрестные деревни, но затем отступили обратно, потеряв около пятнадцати тысяч человек. Уборка и перевозка раненых были поставлены еще небрежнее, чем во все предыдущие бои. Спаслись только те, которые собственными силами могли добраться до перевязочных пунктов, остальные замерзли. Не хватало ни арб, ни носилок. Раненых везли в холодных товарных вагонах. В Мукдене мне рассказывали, что в одном пришедшем с юга санитарном поезде оказалось тридцать трупов замерзших в дороге раненых. Инспектор госпиталей второй армии, Солнцев, застрелился. Рассказывали об оставленной им записке, где он винил себя, что из-за его нераспорядительности померзли тысячи раненых. Другие рассказывали, что Солнцев сошел с ума в самом начале боя и покончил с собою в припадке сумасшествия.

В неудаче дела одни винили Куропаткина, другие — командовавшего второй армией Гриппенберга. На глазах всей армии происходила их ссора. Рассказывали о письмах Куропаткина, оставленных Гриппенбергом без ответа, об отъезде Гриппенберга из армии без ведома главнокомандующего. Передавали слова, громко сказанные Гриппенбергом на харбинском вокзале, что Куропаткин — государственный преступник, которого следует предать суду. С изумлением следили все, как Гриппенберг, чтобы доказать свою правоту, выбалтывал иностранным корреспондентам военные тайны о количестве и распределении наших войск на театре войны...

Чем больше у тебя есть, тем больше тебе дастся,— вот было у нас основное руководящее правило. Чем выше по своему положению стоял русский начальник, тем больше была для него война средством к обогащению: прогоны, пособия, склады,— все было сказочно щедро. Для солдат же война являлась полным разорением, семьи их голодали, пособия из казны и от земств были до смешного нищенские и те выдавались очень неаккуратно,— об этом из дому то и дело писали солдатам.

Наш главнокомандующий получал в год 144 тысячи рублей, каждый из командующих армией — по сто тысяч с чем-то. Командир корпуса получал 28—30 тысяч. Лейб-акушер проф. Отт, как сообщали «Новости», был командирован на несколько месяцев на Дальний Восток для

осмотра врачебных учреждений с окладом в 20 тыс. руб. в месяц! С изумлением читали мы в иностранных газетах, что у японцев маршалы и адмиралы получают в год всего по шесть тысяч рублей, что месячное жалованье японских офицеров — около тридцати рублей. Один русский корпусный командир получал больше, чем Того, Ноги, Куроки и Нодзу, взятые вместе. Зато солдатам своим японская казна платила по пять рублей в месяц, наш же солдат получал в месяц «по усиленному окладу»... *сорок три с половиной копейки!..*

В конце января я получил из Гунчжулина телеграмму от приятеля унтер-офицера, раненного под Сандепу и лежавшего в одном из гунчжулинских госпиталей. Я поехал его проведать.

В мукденском вокзале подхожу я к кассе, спрашиваю билет. Оказывается, билета нельзя получить без записки коменданта станции. Я отправился к коменданту.

— Теперь уже поздно, приходите до половины двенадцатого. Сейчас выдать записку не могу.

— Но позвольте, поезд отходит еще через сорок минут!

— Все равно, приходили бы вовремя!

— Скажите, пожалуйста, откуда я могу знать, что у вас значит «вовремя». В официальном «Вестнике Маньчжурских Армий» публикуются часы отхода поездов, и вы там не заявляете, что нужно приезжать за час до отхода. А я двенадцать верст протрясся на морозе, спешно вызван телеграммой к раненому знакомому.

— Это до меня не касается! — невозмутимо возразил комендант.

— Тогда скажите, пожалуйста, к кому мне здесь обратиться выше вас?

— Не знаю.— И комендант отвернулся.

Мы препирались еще минут пять,— за это время можно было выдать несколько десятков удостоверений. Наконец, комендант смилостивился и выдал записку.

Я получил билет. Поезд состоял из ряда теплушек, среди них темнел своими трубами один классный вагон. Он был полон офицерами и военными чиновниками. С трудом отыскал я себе место.

Разговорился с соседями, изумляюсь порядкам, царящим на вокзале.

— А вы зачем же билет брали? — удивился сосед офицер.

— А как же иначе?

— Неужели вы не знаете, что у нас все законное обставляется всяческими трудностями специально для того, чтобы люди действовали незаконно?

— Как же, однако, без билета? Спросит кондуктор...

— Что-о?.. Пошлите его к черту, больше ничего! А станет приставать,— дайте в морду.

Оказалось, большинство в вагоне ехало без билетов. С этой поры и я стал ездить без билета и сам просвещал неопытных новичков. Получить билет было трудно и хлопотливо, нужно было проходить целый ряд инстанций: в одном помещении выдавали удостоверение, в другом прикладывали печать, в третьем снабжали билетом; коменданты держались надменно и грубо. Ехать же без билета было удивительно легко и просто.

От Мукдена до Гунчжулина около двухсот верст. Эти двести верст мы ехали трое суток. Поезд долгими часами стоял на каждом разъезде. Рассказывали, что где-то к северу произошло крушение санитарного поезда, много раненых перебито и вновь переранено и путь спешно очищается.

В вагоне шли непрерывные рассказы и споры. Ехало много участников последнего боя. Озлобленно ругали Куропаткина, смеялись над «гениальностью» его всегдашних отступлений. Один офицер ужасно удивился, как это я не знаю, что Куропаткин давно уже сошел с ума.

Куропаткина ругали. Действительно, непригодность его была слишком очевидна. Но я спрашивал:

— Ну, хорошо, а кого же, по-вашему, следовало бы назначить на его место?

И сколько раз за всю войну я ни задавал этот вопрос, всегда я получал один ответ:

— Кого?.. — Офицер задумывался, пожимал плечами.— Да назначить-то, собственно, некого, это правда!

Подполковник, участвовавший в последнем бою, раздраженно рассказывал:

— Пусть история решает, почему мы проигрывали другие бои, а насчет этого боя я вам ручаюсь, что проиграли мы его исключительно благодаря бестолковости и неумелости наших начальников. Помилуйте, с самого начала выводят на полном виду целый корпус, словно на высо-

чайший смотр. Японцы видят и, конечно, стягивают подкрепления...

Он рассказывал, как при атаках систематически не поспевали вовремя резервы, рассказывал о непостижимом доверии начальства к заведомо плохим картам: Сандепу обстреливали по «карте № 6», взяли, послали в Петербург ликующую телеграмму,— и вдруг неожиданность: сейчас же за разрушенною частью деревни стоит другая, никем не подозревавшаяся, с девственно-нетронутыми укреплениями, пулеметы из редюитов пошли косить ворвавшиеся полки,— и мы отступили. Зато теперь, на «карту № 8», эта другая часть деревни нанесена весьма точно...

— Но я вас спрашиваю: ведь до Ляояна вся эта местность была в наших руках,— как же мы не удосужились снять точно планов?

— А у нас вот что было,— рассказывал другой офицер.— Восемнадцать наших охотников заняли деревню Бейтадзы,— великолепный наблюдательный пункт, можно сказать, почти ключ к Сандепу. Неподалеку стоит полк; начальник охотничьей команды посылает к командиру, просит прислать две роты. «Не могу. Полк в резерве, без разрешения своего начальства не имею права». Пришли японцы, прогнали охотников и заняли деревню. Чтоб отбить ее обратно, пришлось уложить три батальона...

— Да, хоть миллион войска сюда привези, победы все равно не будет,— вздохнул подполковник.

Через двое суток к ночи мы были за тридцать верст от Гунчжулина. Спать я не ложился,— каждую минуту ждал, что приедем. Но приехали мы в Гунчжун только *через сутки* в два часа ночи.

Вышел я на перрон. Пустынно. Справляюсь, где стоят госпитали,— за несколько верст от станции. Спрашиваю, где бы тут переночевать. Сторож сказал мне, что в Гунчжулине есть офицерский этап. Далеко от станции? «Да вот, сейчас направо от вокзала, всего два шага». Другой сказал — полверсты, третий — версты полторы. Ночь была темная и мутная, играла метель.

Я пошел ходить по платформе. Стоит что-то вроде барака, я зашел в него. Оказывается, фельдшерский пункт для приемки больных с санитарных поездов. Дежурит фельдшер и два солдата. Я попросился у них посидеть и обогреться. Но обогреться было трудно, в бараке градусник показывал 3° мороза, отовсюду дуло. Солдат устро-

ил мне из двух скамеек кровать, я постелил бурку, покрылся полушубком. Все-таки было так холодно, что за всю ночь только раза два я забылся на полчаса.

В седьмом часу утра я услышал кругом шум и ходьбу. Это сажали в санитарный поезд больных из гунчжулинских госпиталей. Я вышел на платформу. В подходившей к вокзалу новой партии больных я увидел своего приятеля с ампутированной рукой. Вместе с другими его отправляли в Харбин. Мы проговорили с ним часа полтора, пока стоял санитарный поезд.

Поезд ушел. Я отправился разузнавать, когда отходит поезд на Мукден.

— В четыре часа дня. Но вчера, впрочем, он не шел.

— Может быть, и сегодня не пойдет?

— Может быть.

Кто-то сообщил мне, что на пятом пути стоит воинский поезд, который сейчас отправляется на юг. Я спросил разрешения у начальника эшелона, поехал с воинским. Тут же ехало еще несколько офицеров со стороны.

К вечеру поезд остановился на подъеме,— у паровоза не хватило сил втащить вагоны. Воротились к разъезду, отцепили часть вагонов, поехали дальше. Ночью, на другом подъеме, четыре задних вагона оторвались и побежали назад. Отправились их ловить. Проводник вагона рассказывал нам: в движении происходят постоянные задержки, их стараются наверстать, для этого гонят скорее, чем можно, вместо тридцати вагонов прицепляют сорок. Из-за этого новые неожиданности. Вагоны плохи и стары; в оторвавшемся вагоне крюк выскочил вместе с деревом брусьев.

Утром мы пересели в другой поезд, обгонявший наш эшелон. Дряхлый, облезлый вагон третьего класса подозрительно трещал и качался, по временам под грязным полом что-то оглушительно грохотало, вагон начинал подпрыгивать. В клозете стояли грязные лужи, кран не действовал.

Ночью, когда все уже спали, нас вдруг разбудил проводник и попросил всех выйти из вагона: вагон дальше не пойдет.

— Почему?

— Износился.

— Попортилось что? В ремонт пойдет?

— Нет, совсем износился. Выбросят.

Мы, смеясь, выходили из вагона. «Совсем износился!»

Ночью, на полпути, не поломка какая-нибудь произошла, а просто вагон *совсем износился!* Можно сказать, был он использован дотла, до дыр!.. Но тут нам стали понятны и причины частых крушений.

До шести утра мы ждали на станции: поезд маневрировал, для нас прицепили вагон-теплушку. Вошли мы в нее,— холод невообразимый, в одном из окон нет рамы. Чугунная печка холодная. Некоторые из офицеров ехали с денщиками,— денщики ухитрились чем-то заделать выбитое окно, сбегали за истопником.

— Топи печку!

Истопник принес дров, растапливал, растапливал. Дрова сырые, не загораются. Офицеры ругались.

— Я, ваше благородие, сбегаю сейчас, сухой ящик принесу для растопки,— сказал истопник и поспешно ушел.

Второй звонок. Офицеры не закрывали отдвижной двери, чтоб истопник успел вскочить в вагон. Денщики смеялись.

— Воротится он теперь, жди! Рад, что удрал!

Так и оказалось. Поезд двинулся, истопник не явился. Было ужасно холодно, пальцы ног зябли и немели. Денщики возились у печки, сжигали коробку спичек за коробкою. Дрова шипели, фыркали и загораться не хотели.

Все были злы и ругались. На станциях, кроме самых крупных, ничего нельзя было найти поесть, нельзя было даже купить хлеба. Офицеры, ехавшие из командировок, рассказывали о повсеместной бесприютности,— негде поесть, негде переночевать, указывают на какой-то этап, а он за пять верст от станции.

— Скажите, пожалуйста, где мы? В тылу полумиллионной армии или на острове Робинзона Крузо?.. Ну и государство российское!..

А в вагоне становилось все холоднее. Начинала болеть голова, мороз пробирался в самую сердцевину костей. Блестяще-пушистый иней белел на стенах. Никто уж не ругался, все свирепо молчали, сидели на деревянных нарах и кутались в полушубки.

На одной из остановок двое денщиков выскочили из вагона, пропадали минут пять и воротились с плутовато-смеющимися лицами. Они тщательно задвинули за собой дверь. Один расстегнул на груди полушубок и вынул из-за пазухи стащенный где-то топор.

— Ну-ка, ваше благородие, подвиньтесь маленько!

Денщик засунул топор за перекладину и выломал из нар доску.

— Этот товар будет сухой! — сказал он, положил доску на пол и стал ее рубить.

Печка запылала, по вагону пошло тепло. При общем смехе в печку полетела вторая доска, третья... Нары исчезали, но печка накалялась. Мы толпились вокруг, оттирали застывшие руки, распахивали навстречу теплу полушубки.

— Ну, и ш-шельма же народ!..— восхищенно говорили офицеры.

Денщики копошились среди развороченных нар, с треском отдирали и выламывали доски. Печка пылала, заиндевевшие стены отмокали, становилось все теплее.

В начале февраля пошли слухи, что 12-го числа начнется генеральный бой. К нему готовились сосредоточенно, с непроявлявшимися чувствами. Что будет?.. Рассказывали, будто Куропаткин сказал одному близкому лицу, что, по его мнению, кампания уже проиграна безвозвратно. И это казалось вполне очевидным. Но у офицеров лица были непроницаемы, они говорили, что позиции наши прямо неприступны, что обход положительно невозможен, и трудно было понять, вправду ли они убеждены в этом или стараются обмануть себя...

VII

МУКДЕНСКИЙ БОЙ

С утра по всему фронту бешено загрохотали орудия. Был теплый, совсем весенний день, с юга дуло бодрящим теплом. Тонкий слой снега таял под солнцем, голуби суетились под карнизами фанз и начинали вить гнезда; стрекотали сороки и воробьи. Пушки гремели, завывали летящие снаряды; у всех была одна серьезная, жуткая и торжественная мысль: «Началось...»

С заходом солнца канонада замолкла. Всю ночь по колонным дорогам передвигались с запада на восток пехотные части, батареи, парки. Под небом с мутными звездами далеко разносился в темноте шум колес по твердой, мерзлой земле. В третьем часу ночи взошла убывающая луна,— желтая, в мутной дымке, как будто размазанная. Части всё передвигались, и в воздухе стоял непрерывный, ровно-рокочущий шум колес.

Медленно и грозно потянулся день за днем. Поднимались метели, сухой, сыпучий снег тучами несся в воздухе. Затихало. Трещали морозы. Падал снег. Грело солнце, становилось тепло. На позициях все грохотали пушки, и спешно ухали ружейные залпы, короткие, сухие и отрывистые, как будто кто-то колол там дрова. По ночам вдали сверкали огоньки рвущихся снарядов; на темном небе мигали слабые отсветы орудийных выстрелов, сторожко ползали лучи прожекторов.

Наши госпитали стояли за Путиловскою сопкою. На сопке творилось что-то ужасное. С утра до вечера японцы осыпали ее снарядами из одиннадцатидюймовых гаубиц. Стальные чудовища, фыркая, мчались из невидимой дали, били в окопы, в заграждения и волчьи ямы; серо-желтые и черноватые клубы взрывов выносились на высоту, ширились и разветвлялись, как невиданно-огромные кусты; отрывались от сопки и таяли, грязня небо, а снизу выносились все новые и новые дымовые столбы. Так было днем. Ночью же происходили непрерывные штурмы сопки. Ее скаты были устланы японскими трупами. Шли слухи, что японцы во что бы то ни стало решили овладеть сопкою, и было похоже на то,— такая масса все новых и новых полков шла каждую ночь на штурм. Только много позднее мы узнали, в чем тут было дело. Стремительные атаки японцев на наш левый фланг и центр заставили думать Куропаткина, что именно тут они и готовят свой удар; сюда Куропаткин и стянул главные силы. Между тем японцы постепенно переводили свои войска на противоположный фланг, где обходная армия Ноги заходила нам в тыл. Путиловская сопка была в центре. Каждую ночь проходившие мимо японские полки штурмовали сопку, а утром уходили дальше на запад; с востока же подходили новые полки. И получалось впечатление, что на наш центр брошена чуть не вся японская армия.

Воздух был насыщен слухами. Одни рассказывали, что станция Шахе в наших руках, что у японцев отнято семнадцать орудий, что на левом нашем фланге Линевич опрокинул японцев и гонит их к Ляояну. Другие сообщали, что на обоих фронтах японцы продвинулись вперед.

В султановском госпитале уже месяца полтора была еще новая сверхштатная сестра, Варвара Федоровна Ка-

менева. Ее муж, артиллерийский офицер из запаса, служил в нашем корпусе. Она оставила дома ребенка и приехала сюда, чтоб быть недалеко от мужа. Вся ее душа как будто была из туго натянутых струн, трепетно дрожавших скрытою тоскою, ожиданием и ужасом. Ее родственники имели крупные связи, ей предложили перевести ее мужа в тыл. С отчаянием сжимая руки, она отвечала:

— Если он на это пойдет, я перестану его уважать!

И теперь, когда мы все, давно привыкшие к канонаде, разговаривали и смеялись, почти не слыша ее, сестра Каменева сидела с бледной, рассеянной улыбкой, прислушивалась и слабо вздрагивала при каждом пушечном выстреле.

Офицерские палаты наших госпиталей были битком набиты офицерами. У одного охрипло горло, у другого покалывало в боку, третий жаловался на «боли в голове, и в плече, и в заднем проходе». До поздней ночи они играли в преферанс и в винт, вставали часов в одиннадцать дня. Лежал там и ординарец из штаба нашей дивизии, поручик Шестов. Как раз перед началом боя под ним споткнулась лошадь, он ушиб себе большой палец руки. И вот уже шестой день поручик лежал у нас. Держа руку на черной перевязи, он ходил в гости к нам, в султановский госпиталь, в земский отряд, с месяц назад основавшийся тоже в нашей деревне.

Ему массировала руку хорошенькая сестра Леонова.

— Что, вы уж кончаете? Пожалуйста, помассируйте еще! — просил поручик и, как кот, щурился, нежась от поглаживаний маленьких и мягких рук девушки.

По вечерам поручик старался встретиться с Леоновой на улице, шел рядом, улыбаясь остренькою улыбкою сатира, тянул ее гулять в уединенные места. Леонова, наконец, взмолилась доктору, чтоб он освободил ее от массирования поручика.

Канонада с каждым днем усиливалась. Робко и осторожно, как будто сама себе не доверяя, по армии стала распространяться волнующая весть: японцы обходят наш правый фланг.

— Что за пустяки! — смеялись офицеры.

А слух расползался и креп. Смутная тревога росла. Однажды вечером сидели за чаем в земском отряде. Тут же был и поручик Шестов, с правою рукою на черной перевязи.

— А об обходе-то говорят все настойчивее! — заметил я.

Шестов оглядел меня и снисходительно улыбнулся.

— Эх, доктор! И как можете вы этому верить? *Это невозможно!*

Забыв, что он не может владеть правою рукою, поручик взял клочок бумаги и стал мне чертить на нем расположение наших и японских войск. Из чертежа этого с полною, очевидною наглядностью вытекало, что обойти японцам нашу армию невозможно в такой же мере, как перебросить свою армию на луну.

Назавтра, около пяти часов вечера, японские орудия загремели прямо за Мукденом...

Но что поручик! По-видимому, и у всех военачальников было непоколебимое убеждение в полнейшей невозможности обхода. В самом начале боя один офицер был послан на фуражировку на крайний правый фланг. Воротившись, он донес по начальству, что видел движущиеся на север густые колонны японцев. Командир корпуса написал на донесении: «дурак!», а начальник дивизии сказал: «Следовало бы этого господина за распространение ложных слухов отдать под суд!» Рассказывал мне врач, сам слышавший эти слова генерала. Врач спросил:

— Ваше превосходительство, разве обход так уж невозможен?

Генерал в изумлении вытаращил на него глаза.

— Обход?! Ах, да! Ведь вы, впрочем, не военный...— Он обратился к начальнику штаба:— Полковник, пожалуйста, объясните доктору всю нелепость этого предположения!

Орудия гремели за Мукденом и бешено гремели по всему фронту. Никогда я еще не слышал такой канонады: в минуту было от сорока до пятидесяти выстрелов. Воздух дрожал, выл и свистел. Повар земского отряда Ферапонт Бубенчиков сокрушенно прислушивался к завыванию резавших воздух снарядов, ложился на землю и повторял:

— Прощай, Москва! Не видать тебе больше Ферапонта Бубенчикова!

Рассказывали, что на Мукден идут с запада двадцать пять тысяч японцев, что бой кипит уже у императорских могил близ Мукдена; что другие двадцать пять тысяч идут глубоким обходом прямо на Гунчжулин.

Земский отряд получил от начальника санитарной ча-

сти телеграмму: по приказанию главнокомандующего, всем учреждениям земским и Красного Креста, не имеющим собственных перевозочных средств, немедленно свернуться, идти в Мукден, а оттуда по железной дороге уезжать на север. Но палаты земского отряда, как и наших госпиталей, были полны ранеными. Земцы прочли телеграмму, посмеялись — и остались.

Передо мною сидел на табуретке пожилой солдат с простреленною мякотью бедра. Солдат был в серой, неуклюжей шинели, лицо заросло лохматою бородою. Когда я обращался к нему с вопросом, он почтительно вытягивался и пытался встать.

— Сколько тебе лет?

— Сорок, говорят... А там кто его знает.

— Давно на войне?

— С Покрова. Нас в Красноярск пригнали на обмундирование, там стояли. Значит, стали вызывать охотников на войну, я пошел.

Посмотрел я на него,— совсем старик, с смирными мужицкими глазами.

— Не жалеешь, что пошел?

— Не... Вот ногу бы залечить, опять бы пойти,— задумчиво ответил он.

Шершавый какой-то, понуренный... Что у него в душе? Чуялось смутное проникновение большим, общим делом, сознание властной связи с чем-то важным. Было непонятно, и чувствовалось, что этого не поймешь.

В палату ввели невысокого человека в чуждой, странной форме. Раненые зашевелились, взгляды направились на вошедшего.

— Японец!.. Японец!..

Невысокий человек медленно подвигался, опираясь на плечо санитара и волоча левую ногу; он внимательно смотрел вокруг исподлобья блестящими, черными глазами. Увидел мои офицерские погоны, вытянулся и приложил руку к козырьку,— ладонью вперед, как у нас козыряют играющие в солдаты мальчики. Побледневшее лицо было покрыто слоем пыли, губы потрескались и запеклись, но глаза смотрели бойко и быстро.

Пуля засела у японца в пояснице. Я показал знаком, чтоб он разделся. Солдаты молчали и следили за японцем с пристальною, любопытствующею неприязнью.

Я спросил его, какой он армии,— Оку? Японец быстро улыбнулся и предупредительно закивал головою:

— Оку! Оку!

— Оку?..— Я сомнительно поглядел на японца.— Не Нодзу ли? Ходя (приятель),— Нодзу?

Его быстрые, шельмовские глаза засмеялись, он опять закивал головою:

— Нодзу! Нодзу!

Японец раздевался. Снял широкую верблюжью шинель с козьим воротником, под нею был меховой полушубок-безрукавка. Солдаты засмеялись. Японец взглянул на них и тоже засмеялся. За полушубком следовал черный мундир с сорванными погонами (чтоб не узнали, какого полка), за мундиром — жилетка, за жилеткою — еще жилетка. Смех усиливался, перешел в хохот. Хохотали солдаты, хохотал японец. И оттого, что он так весело и добродушно хохотал со всеми, в смехе солдат пропала враждебность, и милый, дружный, соединяющий смех стоял в фанзе.

Японец снял еще фуфайку и коленкоровую рубаху. Пулевая ранка в пояснице уже запеклась. Японец вопросительно кивнул мне головою, потер руки и потом стал тереть свою круглую, стриженую голову с жесткими черными волосами.

— Помыться просит! — догадался фельдшер.

Я велел принести таз теплой воды и мыла. Глаза японца радостно заблестели. Он стал мыться. Боже мой, как он мылся! С блаженством, с вдохновением... Он вымыл голову, шею, туловище; разулся и стал мыть ноги. Капли сверкали на крепком, бронзовом теле, тело сверкало и молодело от охватывавшей его чистоты. Всех кругом захватило это умывание. Палатный служитель сбегал к баку и принес еще воды.

Японец благодарно взглянул на него и радостно засмеялся. Служитель поглядел вокруг и тоже засмеялся. Японец опять принялся тереть мылом грудь, шею и щетинистую голову. Скатывалась мыльная пена, брызгала вода, японец фыркал и встряхивался.

В углу на нарах лежал раненный в бедро солдат, которого я только что перевязал. Смотрел он, смотрел на японца; смотрел, как тепло сверкало под водою его чистое, крепкое тело. Вдруг вздохнул, почесал в голове и решительно приподнялся.

— Ну-ка! Дайко-ся, и я помоюсь!..

С позиций сестре Каменевой передали известие, что ее муж, артиллерийский офицер, смертельно ранен: он поднялся на наблюдательную вышку, его пенсне сверкнуло на солнце, и меткая пуля пробила ему голову. У Каменевой имелся собственный шарабан и лошадь. Она поспешно уехала на позиции.

Орудия за Мукденом гремели по-прежнему, но вести пошли хорошие. Рассказывали, что сам Куропаткин во главе шестнадцатого корпуса ударил на обходный отряд, окружил его и разбил; три тысячи японцев побросали ружья и сдались. Наш артельщик, ездивший в Мукден, видел на вокзале толпы пленных.

К вечеру в нашу деревню привезли огромный транспорт раненых. Часть их приняли мы, часть — султановский госпиталь и земский отряд.

Раненые были с Путиловской сопки и ее окрестностей. К западу от сопки лежали два сильно блиндированных окопа, в них сидело две роты; над головами — толстые балки, на аршин засыпанные землею, впереди — узкие бойницы, заложенные мешками с песком. В последние ночи из этих окопов уложили массу японцев, шедших на штурм сопки. И вот сегодня днем японцы направили на окопы осадные орудия. Один снаряд за другим бил рядом, прямо в окопы, огромные блиндажные балки разлетались в щепы. Через полчаса вместо двух грозных окопов была каша из земли, обломков бревен и окровавленных, изувеченных людей.

Раненых вносили в палаты, клали на кханы, устланные соломою. Они лежали и сидели — обожженные, с пробитыми головами и раздробленными конечностями. Многие были оглушены, на вопросы не отвечали и сидели, неподвижно вытаращив глаза.

— Отчего они не говорят? — в удивлении спрашивала сестра.

— Вероятно, разрыв барабанной перепонки, оглохли... А может быть, сотрясение мозга.

— Смотрите, заговорил!..

Бородатый солдат с синим, раздувшимся лицом опирался локтем здоровой руки о подушку и необычно громко, как говорят глухие, рассказывал соседу:

— Я ему говорю: «не выглядывай без дела», а он глянул... Товарищу моему голову расколола, татарчика всего в клочья разорвала, а меня вот только чуть помяла...

Его сосед чуждо смотрел на него, молчал и медленно мигал.

— Ваше благородие! Правду говорят,— опять нас японец обошел? — таинственно обратился ко мне другой раненый.

— Говорят, обошел.

Солдат помолчал и недоумевающим полушепотом спросил:

— Что это, ваше благородие, никак у нас удачи не выходит?

Восточно-сибирского стрелка, с разбитою вдребезги ногою, понесли в операционную для ампутации. Желто-восковое лицо все было в черных пятнышках от ожогов, на опаленной бороде кончики волос закрутились. Когда его хлороформировали, стрелок, забываясь, плакал и ругался. И, как из темной, недоступной глубины, поднимались слова, выдававшие тайные думы солдатского моря:

— Обгадилась Россия!.. Что народу даром губят! Бьют, уродуют, а толку нету!..

И опять рвались ругательства, и глухо звучало пение, похожее на плач.

В палатах укладывали раненых, кормили ужином и поили чаем. Они не спали трое суток, почти не ели и даже не пили,— некогда было, и негде было взять воды. И теперь их мягко охватывало покоем, тишиною, сознанием безопасности. В фанзе было тепло, уютно от ярких ламп. Пили чай, шли оживленные разговоры и рассказы. В чистом белье, раздетые, солдаты укладывались спать и с наслаждением завертывались в одеяла.

Вдруг, в девять часов вечера, телеграмма от корпусного врача по приказанию командира корпуса: немедленно эвакуировать из госпиталей всех раненых, лишнее казенное имущество уложить и отвезти на север, в деревню Хуньхепу.

Поднялась суета. Спешно запрягались повозки. Расталкивали только что заснувших раненых, снимали с них госпитальное белье, облекали в прежнюю рвань, напяливали полушубки. В смертельной усталости раненые сидели на койках, качались и, сидя, засыпали. Одну бы ночь, одну бы только ночь отдыха,— и как бы она подкрепила их силы, как бы стоила всех лекарств и даже перевязок!

Подали двенадцать повозок. Лошади фыркали и ржали, мелькали фонари. Офицеры в своей палате играли

в преферанс; поручик Шестов, с рукою на черной перевязи, лежал в постели и читал при свечке переводный роман Онэ. Главный врач сказал офицерам, чтоб они не беспокоились и спали ночь спокойно,— их он успеет отправить завтра утром.

На дворе при фонарях выносили и укладывали в повозки раненых солдат. Было морозно, мерцали звезды, на юге гремели орудия и вспыхивали бесшумные отсветы. Ползал по небу широкий луч прожектора. Справа колебалось далекое, огромное зарево.

Раненых предстояло везти за пять верст, на Фушунскую ветку. А многие были ранены в живот, в голову, у многих были раздроблены конечности... Из-за этих раненых у нас вышло столкновение с главным врачом, и все-таки не удалось оставить их хоть до утра.

Ко мне взволнованно подошел фельдшер Пастухов.

— Ваше благородие, раненым уже роздали билетики, я не успел с них диагнозов списать в книгу. Позвольте отобрать билетики.

— Вот еще! Уж уложили больных в повозки,— полчаса им ждать на морозе, пока вы будете вписывать диагнозы! Не надо.

— Главный врач приказали.

— Трогай! —свирепо крикнул я кучерам.

Транспорт двинулся. Раненые были укутаны всем, что только нашлось у нас под рукою, но все-таки они сильно мерзли в дороге. Одни просили ехать поскорее,— очень холодно; другие просили ехать потише,— очень трясет.

Приехали наконец на Фушунскую ветку, в Гудядзы. Там уж скопилась масса транспортов из окрестных госпиталей, шла суетливая толчея, долго распределяли больных по госпиталям. Принятые раненые сейчас же засыпали мертвым сном. Их опять будили, чтобы переодеть в госпитальное белье...

Врачи сообщили мне, что, по слухам, японцы сильно теснят нас на правом фланге, берут деревню за деревнею, стремясь соединиться с обходной армией. На левом фланге наши тоже подались на шесть верст.

Ехал я назад. Была уже глубокая ночь, а вдали повсюду бешено работали пушки, и, как зарницы, вспыхивали отсветы взрывов. Звезды смотрели не мигая, окаймленные мутными венчиками.

Во втором часу ночи к нам в фанзу вошли два взволнованных казака с винтовками за плечами.

— Ваше благородие, из вас никто сейчас от Юзантуня не проезжал верхом?

— Я сейчас с севера приехал, из Гудядз.

— Нет, от Юзантуня?

Казаки разыскивали японского шпиона, одетого русским военным врачом. Около Байтапу он спросил пехотинцев, куда ушла 25 дивизия, те сказали. Потом раздумались: лицо с косыми глазами, русский выговор плохой. Сообщили казакам. Казаки бросились вдогонку. Подозрительный врач расспрашивал у Юзантуня артиллеристов, потом обозных. Обозные почувствовали сомнение, хотели задержать врача, он повернул лошадь и ускакал. а солдаты были без винтовок. Дальше след японца терялся. Кто-то видел какого-то военного врача, направлявшегося к нашей деревне...

— Это, значит, не вы были?

Казаки вышли из фанзы и поскакали дальше.

— Да, не дремлют японцы, работают,— вздохнул Селюков.

Шанцер задумчиво прислушивался к грохоту орудий. Он нервно и брезгливо повел плечами.

— Господи! Кажется, и сами-то пушки русские стреляют совсем иначе, чем японские! Что-то такое тупое в их звуке, вялое...

Утром встречаемся мы с врачами-земцами.

— Вы не уехали? — удивились мы.

— С какой стати?

— Ведь вы же получили приказ уехать.

— Эка! Станем мы исполнять их приказы. Мы сюда приехали работать, а не кататься по железным дорогам.

Оказывается, и вчерашнего приказания эвакуировать раненых они тоже не исполнили, а всю ночь оперировали. У одного солдата, раненного в голову, осколок височной кости повернулся ребром и врезался в мозг; больной рвался, бился, сломал под собою носилки. Ему сделали трепанацию, вынули осколок,— больной сразу успокоился; может быть, был спасен. Если бы он попал к нам, его с врезавшимся в мозг осколком повезли бы в тряской по-

возке на Фушунскую ветку, кость врезывалась бы в мозг все глубже...

— Мы ведь Треповых хорошо знаем,— смеялись земцы.— Они люди военные, для них самое главное — телеграфировать в Петербург: «все раненые вывезены». А что половина их от этого перемрет,— «на то и война». Чем мы рискуем? Везти тяжелых раненых, перетряхивать их, перегружать — верная для них смерть. Когда придется отступать, тогда и обсудим, что делать... А Трепова нам чего бояться? Ну, обругает,— что ж такое!

В тот же день, 19-го февраля, мы получили приказ: раненых больше не принимать, госпиталь свернуть, уложиться и быть готовыми выступить по первому извещению. Пришел вечер, все у нас было разорено и уложено, мы не ужинали. Рассказывали, что на правом фланге японцы продолжают нас теснить. Куропаткин окружил и разбил обходный отряд, но сзади, уступами, появляются все новые и новые обходные колонны.

— Прут без числа, как свиньи, как саранча! — в трепетном недоумении и ужасе рассказывали проезжие казаки.— Раздемшись на штурм бегут, в однех гимнастерках. Тысячами их кладут, а они еще грубее вперед прут, словно пьяные...

В два часа ночи из штаба корпуса пришла телеграмма,— обоим госпиталям немедленно выступить в деревню Хуньхепу, верст за семь на северо-запад. Через четверть часа пришла новая телеграмма: командир корпуса разрешил нам переночевать на месте и выступить утром.

— Очевидно, вспомнил, что Новицкой нужно поспать ночь,— догадывались мы.

Утром мы выехали. Земцы прощались с нами и посмеивались.

— А вы остаетесь? — спрашивали мы с смутным стыдом и завистью.

— Остаемся. Удрать всегда поспеем. Дело немудрое.

Было тихое солнечное утро. Наш обоз, поднимая пыль, медленно двигался по дороге. Мы ехали верхом. Сзади, слева, спереди гремели пушки. Среди приглядевшихся очертаний ехавших с обозом всадников одна фигура была новая. Это был поручик Шестов. Рука его окончательно поправилась, и вчера его выписали из госпиталя. Но поручик «не знал, где теперь находится штаб», и поехал вместе с нами.

Хуньхепу было битком набито обозами и артиллерийскими парками. Все фанзы были переполнены. Мы приютились в убогом глиняном сарайчике. Пошли пить чай к знакомым врачам стоявшего в Хуньхепу госпиталя.

Там рассказывали, что от царя получена телеграмма, поздравляющая армию с победой.

— Какая же победа?

— Говорят, обходная армия разбита в пух, мы переходим в наступление.

— А сколько в нашем корпусе потерь! В Куликовском полку легло полторы тысячи человек, Кирсановский полк уничтожен почти целиком, командир полка убит...

— Черт возьми, масленица наступает!.. Вот так масленица.

— А вы слышали, господа? Японцы перебросили в наши окопы записку, в ней они 25 февраля приглашают русских в Мукден на блины.

— Вот нахалы!..

Приехал в Хуньхепу и султановский госпиталь. Фанз для него тоже, конечно, не оказалось. Султанов, как всегда в походе, был раздражителен и неистово зол. С трудом нашел он себе на краю деревни грязную, вонючую фанзу. Первым делом велено было печникам-солдатам вмазать в печь плиту и повару — готовить для Султанова обед. Новицкая оглядывала грязную, закоптелую фанзу, пахнувшую чесноком и бобовым маслом, и печально говорила:

— А в Мозысани потолок и стены были у нас оклеены розовыми обоями, на полу были циновки...

Султанов, желтый и сердитый, послал командиру корпуса телеграмму:

«Не нашел ни одной свободной фанзы; где прикажете поместиться?»

Мне представился наш корпусный, читающий приходящие телеграммы: в таком-то полку легло полторы тысячи человек, такой-то полк уничтожен целиком, там-то появились с фланга японцы,— д-р Султанов не может себе найти удобного помещения...

А поручику Шестову все никак не удавалось узнать, где находится штаб дивизии. Поэтому он снова лег в здешний госпиталь. Когда мы пили у врачей чай, он зашел к ним. Неожиданно увидев нас, поручик напряженно нахмурился, молчаливо сел в уголок и стал перелистывать истрепанный том «Нивы».

Пришел наш главный врач, хмурый и расстроенный.

— Получена новая телеграмма,— перейти мост через реку Хуньхе и там ждать дальнейших приказаний.

— А как дела, не знаете?

— Что! Японцы прорвали центр, Суятунь горит. Здесь велено заготовить керосину, чтоб при первом приказе зажечь все склады. Контроль, казначейство и обозы второго разряда переводятся на север...

К вечеру мы получили вторую телеграмму,— немедленно идти в деревню Палинпу, к востоку от Мукдена.

Мы выступили, когда солнце садилось. Ветер чуть веял, горизонт был мутный — от дыма? от пыли? Бесконечные обозы столпились у узкого, ветхого и истоптанного понтонного моста через реку Хуньхе. Мы томительно долго ждали своей очереди.

С той стороны шла рота борисоглебцев.

— Откуда, братцы?

— Провожали мортиры в Телин.

Наконец перешли мы мост, пошли ровнее. Стемнело, было тихо, звездно и очень холодно. Мы дошли до южных ворот Мукдена и повернули направо вдоль городской стены. Над обозом неподвижно стояла очень мелкая густая пыль; она забивалась в глаза, в нос, трудно было дышать. Становилось все холоднее, ноги в стременах стыли.

— Да, «ночь повеяла томной прохладой!» — вздохнул Селюков, ежась от холода.

Мы шли, шли... Никто из встречных не знал, где деревня Палинпу. На нашей карте ее тоже не было. Ломалась фура, мы останавливались, стояли, потом двигались дальше. Останавливались над провалившимся мостом, искали в темноте проезда по льду и двигались опять. Все больше охватывала усталость, кружилась голова. Светлела в темноте ровно-серая дорога, слева непрерывно тянулась высокая городская стена, за нею мелькали вершины деревьев, гребни изогнутых крыш,— тихие, таинственно чуждые в своей, особой от нас жизни.

Стена осталась назади, пошли поля и рощи. Было уж очень поздно, царственно сиявший Юпитер склонялся к западу. Никто не знал, где Палинпу и когда мы туда придем.

— Хорошо еще, что идем мы туда на обычное безделье,— мрачно философствовал Селюков.— А если бы мы там были нужны?

Озябший аптекарь, сильно подвыпивший, вылез из своей повозки. В полушубке и папахе, он шагал по пыльной дороге и заплетающимся языком говорил:

— Приятно этак ехать на холоде, когда знаешь, что впереди тебя ждет чаек, ужин, постель теплая... А так неприятно!

Палинпу мы не нашли и заночевали в встречной деревне, битком набитой войсками. Офицеры рассказывали, что дела наши очень хороши, что центр вовсе не прорван; обходная армия Ноги с огромными потерями отброшена назад; почта, контроль и казначейство переводятся обратно в Хуньхепу.

Утром оказалось, что мы находимся всего в полуверсте от Палинпу. Мы перешли туда.

Медленно тянулся день за днем. С свернутыми шатрами и упакованным в повозки перевязочным материалом, мы без дела стояли в Палинпу. В голубой дымке рисовались стены и башни Мукдена, невдалеке высилась большая, прекрасная кумирня...

Пушки гремели за Мукденом и оттуда широким полукругом к югу, загибаясь за нами на восток. Мимо нас непрерывною вереницею тянулись на север обозы. К нам подъезжали конные солдаты-ординарцы.

— Ваше благородие, как тут проехать в Сандиазу?

— Не знаю. Она в каких местах?

— Не могу знать. Велено только поскорее донесение доставить в Сандиазу...

И солдат ехал дальше.

Мимо нас проходили на север госпитали. Другие, подобно нашему, стояли свернутыми по окрестным деревням и тоже не работали. А шел ужасающий бой, каждый день давал тысячи раненых. Завидев флаг госпиталя, к нам подъезжали повозки с будочками, украшенными красным крестом.

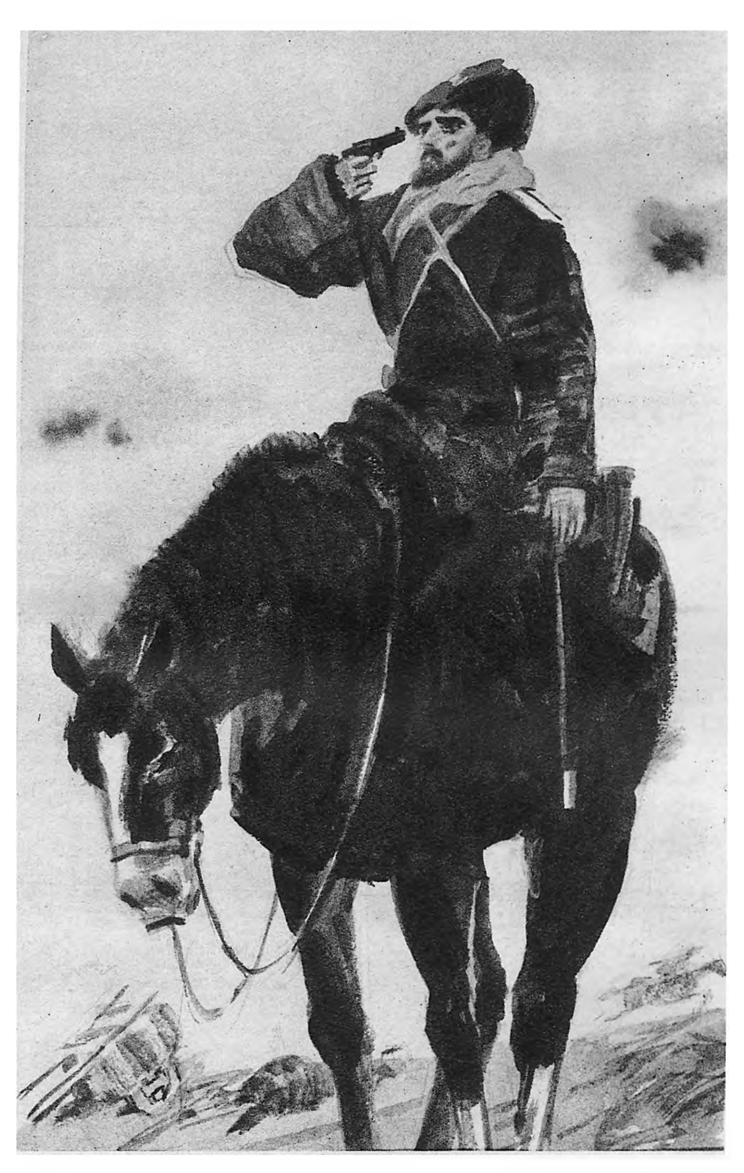
— Ваше благородие, тут у вас госпиталь? раненых мы привезли.

— Не принимаем. Госпиталь свернут.

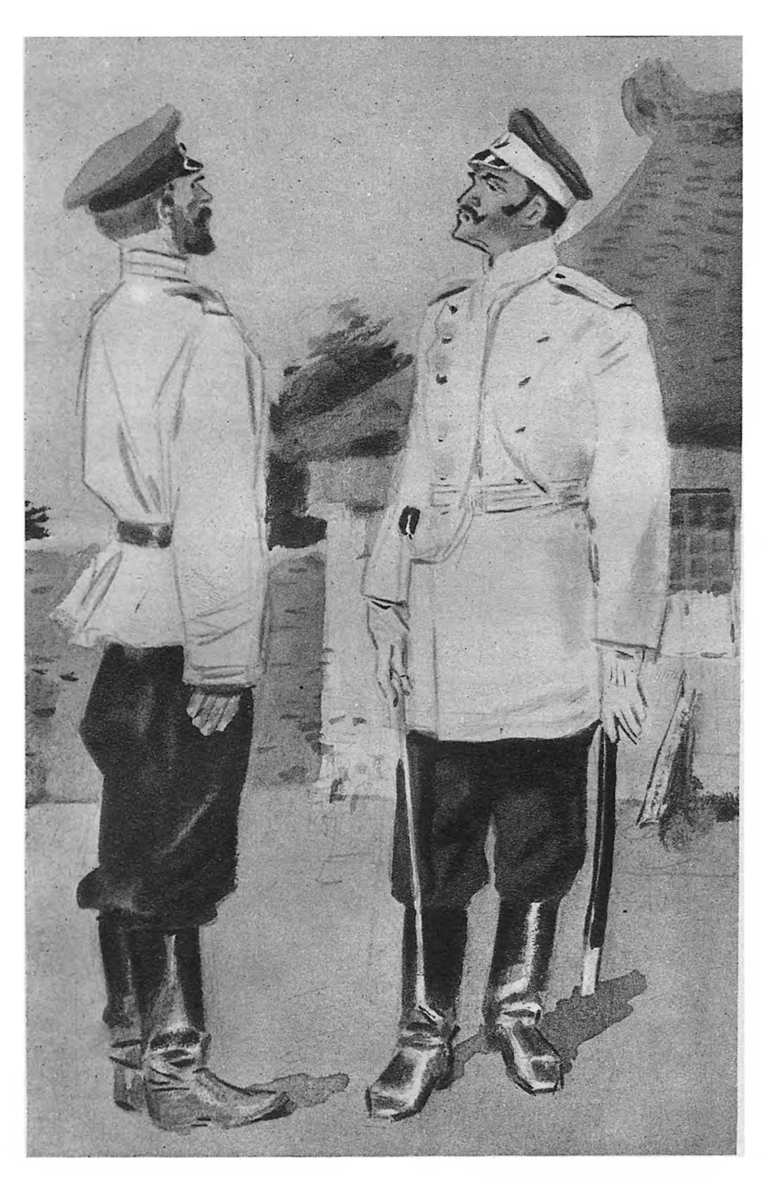
— Ну, что же нам делать? Ах-х ты, боже мой!.. С утра ездим, нигде не можем сдать.

— А вы откуда?

— Из Суятуня выехали...



«НА ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ».



«НА ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ».

Из Суятуня? Это двадцать верст!.. Из будочек неслись стоны и оханья. Транспорт, потряхивая изувеченных людей, вяло двигался дальше искать пристанища

Как-то прошел мимо нас и транспорт носилок на мулах. Спереди и сзади в бамбуковые ручки носилок было впряжено по мулу, на носилках под парусиновыми будочками лежали раненые. Идея прекрасная: мулы идут, бойко и ровно перебирая тонкими ногами, носилки плавно колышутся, как лодочка на ленивых волнах. Идея прекрасная. Но на моих глазах пара мулов заартачилась, стала биться, сломала ручку носилок и вывалила на землю солдата с раздробленным пулею коленным суставом. Солдаты-погонщики рассказывали, что мулы совсем не съезжены, из двухсот мулов только десять пар «идут ладно», а остальные то-и-дело артачатся, ломают и опрокидывают носилки. К тому же, погонщики наши совсем не умели управлять мулами, привыкшими к китайским понуканиям; погонщики постоянно путали эти понукания, командовали «вправо», когда хотели повернуть влево. В довершение всего, по курьезной иронии гения языка, китайское «тпру» или «тпруе» обозначает как раз обратное тому, что у нас: наше «но»! По забывчивости, погонщики кричали: «Тпру!.. Стой, дьявол!.. Тпру!..» А мулы добросовестно пускались вскачь.

Заходили к нам в фанзу продрогшие офицеры, просили обогреться, пили чай

— Как дела?

— Плохи! Все наши чудно укрепленные позиции приказано бросить и отойти за Хуньхе.

— Но скажите,— как все это случилось? Ведь войск у нас больше, чем у японцев.

— Больше! — задумчиво отзывался казачий есаул.— Больше. И артиллерия теперь лучше.

— Пехота наша стреляет куда метче японской. Японцы только тем берут, что не жалеют патронов.

— Да... О кавалерии уж и говорить нечего.

— А нас все-таки бьют...

— Почему?

— Да, почему?..

А обозы и войска все двигались мимо. Где штаб нашего корпуса, никто не знал. Подъезжали к нам казаки-забайкальцы, подъезжали саперы почтово-телеграфной роты, ординарцы,— все спрашивали, где штаб корпуса.

— Не знаем! Сами очень этим интересуемся!

Мы были в недоумении,— уходить ли нам или ждать приказаний. Может быть, об нас просто забыли, а может быть, и нет никакой нужды уходить. Воротился ездивший в Мукден каптенармус и сообщил, что на вокзале сняты все почтовые ящики, телеграмм не принимают; на платформе лежат груды прибывших из России частных посылок, их раздают желающим направо и налево: «все равно, сейчас все будем жечь».

На юге поднимались густые клубы дыма от подожженных нами складов на Фушунской ветке. Пушки гремели. Прошел мимо Каспийский полк. Прошли, шатаясь, два пьяных, исхудалых солдата, с глазами, красными от водки, пыли и усталости.

— Ваше благородие, куда тут Петровский полк прошел? — спрашивали они неслушающимися языками.

— Не знаю... Где это вы выпили?

— Мимо складов шли, через ветку. Все раздают, сколько хочешь, бери,— спирт, коньяк, сахар... Одежу всякую...

Прошли обозы 19 и 20 восточно-сибирских полков. Обозы сопровождал офицер. Мы спросили его, в каком положении дела.

— Сзади только наши два полка, больше никого нет. За ними японцы. Ваш госпиталь зачем здесь?

— Мы не получали приказа двигаться.

— Я бы вам советовал сняться и уйти. А то с нами под Ляояном было: замешались госпитали, нашим полкам пришлось их прикрывать, из-за этого мы массу понесли потерь.

— А скажите, пожалуйста,— правда, мы отдаем Мукден?

— Мукден?! — изумился офицер.— Что вы такое говорите! Не-ет!.. Ведь армия только меняет фронт, больше ничего.

Настал вечер — тихий, безветренный. Солнце село, запад был красновато-мутный от пыли и дыма. Засветился тонкий серп молодого месяца, под ним зеленоватым светом мерцала вечерняя звезда. Черные клубы пожарного дыма стали окрашиваться заревом. В соседней деревне, на берегу реки Хуньхе, стали восточно-сибирские стрелки 19 и 20 полков. Главный врач поехал туда посоветоваться, что нам делать. Начальник бригады, генерал Путилов, предложил оставить у него одного нашего солдата; через этого солдата он даст нам знать, когда уходить.

Всю ночь на юге, над подожженными складами, колыхались огромные клубы огненного дыма. На западе вздымалось и быстро росло новое зарево. В роще близ соседней деревни часто стучали в темноте топоры: стрелки готовили засеки.

Назавтра, 24 февраля, с раннего утра кругом загремели пушки. Они гремели близко и со всех сторон, было впечатление, что мы уж целиком охвачены одним огромным гремящим огненным кольцом. В соседней деревне тучами рвались шрапнели, ахали шимозы, трещали ружейные пачки: японцы, под огнем наших стрелков, переправлялись через реку Хуньхе.

Все кругом были заняты огромным, важным, смертно-серьезным делом. А мы стояли — без дела, без цели, без смысла, как незваные гости, пришедшие не вовремя.

В одиннадцатом часу из соседней деревни прибежал дежуривший там наш солдат. Он принес нам приказание генерала Путилова немедленно сняться и уходить на север, к Хоулину.

У нас все было готово, лошади стояли в хомутах. Через четверть часа мы выехали. Поспешно подошла рота солдат и залегла за глиняные ограды наших дворов. Из соседней деревни показались медленно отступавшие стрелки. Над ними зарождались круглые комочки дыма; с завивающимся треском рвались в воздухе шрапнели; казалось, стрелков гонит перед собою злобная стая каких-то невиданных воздушных существ.

Мы ехали на север. С юга дул бешеный ветер, в тусклом воздухе метались тучи серо-желтой пыли, в десяти шагах ничего не было видно. По краям дороги валялись издыхающие волы, сломанные повозки, брошенные полушубки и валенки. Отставшие солдаты вяло брели по тропинкам или лежали на китайских могилках. Было удивительно, как много среди них пьяных.

Шагали по дороге три солдата. Они были трезвы и изнурены.

— Какого полка?

— Иркутского.

— Где же ваш полк?

— Не можем знать, ищем его.

Их полк стоял около Ердагоуской сопки. Эти трое на-

ходились впереди окопов, в секрете. Ночью полк отвели от позиций, а о них забыли. Хватились они,— окопы пусты, войска ушли...

Обозов на дороге скоплялось все больше, то-и-дело приходилось останавливаться. Наискосок по грядам поля шел навстречу батальон пехоты. Верховой офицер хриплым озлобленным голосом кричал встречному офицеру:

— Александр Петрович, где полковник Панов?

— Не знаю, я его два дня не видал.

— Черт их всех удави! Это не порядок у нас, а б...к какой-то!.. Куда батальон вести?

Как будто в самом воздухе начинала чувствоваться беспомощная, недоумевающая растерянность. Видно было, никто кругом ничего не знает и не понимает. Обозы окончательно остановились. По поперечной дороге непрерывною вереницею мчались к западу орудия забайкальской казачьей батареи. Мелькали в пыли черные тонкодулые пушки, морды лошадей, желтые околыши, бронзовые, косоглазые лица бурятов-ездовых. Мы стояли. Меж орудий проскочил на нашу сторону запыленный верховой офицер-ординарец. У него было молодое, измученное и растерянное лицо.

— Не знаете, где тут деревня Юншинпу? — торопливо спросил он нас.

— Не знаем.

— Эй, ты, ходя (приятель)! Где тут Юншинпу?—крикнул он проходившему китайцу.

Китаец, не поднимая головы, молча шел по дороге. Офицер наскакал на него и бешено замахнулся нагайкою. Китаец что-то стал говорить, разводил руками. Офицер помчался в сторону. Из-под копыт его лошади ветер срывал гигантские клубы желтоватой пыли.

Вдруг мчавшаяся батарея стала задерживаться. Казаки-буряты натягивали поводья, лошади заезжали в сторону, орудия остановились. Громко ругаясь, проехал офицер-артиллерист.

— Опять велено назад повернуть! — обратился он к нам, незнакомым, и в бешенстве разводил руками.— Поверите ли, с утра все время только и делаем, что мотаемся с одного конца на другой; то к Мукдену пошлют, то поворачивают назад!..

И в обратную сторону опять замелькали в пыли

орудия, и запрыгали темные лица бурятов с приплюснутыми носами.

Дорога очистилась, мы двинулись дальше. Шли, шли Со всех сторон гремели пушки, сзади и справа трещал частый ружейный огонь.

Часам к двум мы пришли в Хоулин. Но останавливаться здесь нечего было и думать. Все поспешно снимались и уходили на север. На откосе горы, заросшей громадными кедрами и соснами, мы только сделали привал на полчаса, чтоб поесть. С дороги сквозь деревья мчались клубящиеся тучи пыли, пламя наших костров пригибалось к песку. Выше нас, под соснами, трепыхали белые флаги с красным крестом, там работал перевязочный пункт Новочеркасского полка и какой-то дивизионный лазарет. Окровавленные раненые шевелились, стонали, умирали. Увезти их было не на чем, и они лежали рядами. За горою лихорадочно трещала ружейная стрельба, пули жужжали в соснах. С вершины горы видны были перебегавшие назад новочеркассцы, падали убитые и раненые, следом наступали растянутыми цепями японцы.

Ехать, ехать!.. Как вечные жиды, бездельные, никому не нужные, мы двинулись дальше с десятками повозок, нагруженных ненужным «казенным имуществом». Выбросить вон всю эту кладь, наложить в повозки изувеченных людей, на которых сейчас посыплются шрапнели... Как можно! Придется отвечать за утерянное имущество. Ружейная пальба становилась ближе, громче. Раненые волновались, поднимались на руках, в ужасе прислушивались...

И мы уехали.

Шла широкая китайская дорога, с обеих сторон заросшая кустами. В клубах пыли густо двигались обозы. На краю дороги, у трех фанз, толпился народ; подъезжали и отъезжали повозки. Это был интендантский склад. Его не успели вывезти, и прежде, чем зажечь, раздавали все направо и налево проходившим войскам. Подъехал наш главный врач со смотрителем, взяли ячменю, консервов.

— Хотите бочку спирта? — предложил интендантский чиновник.

У Давыдова жадно загорелись глаза; он колебался. Но смотритель решительно воспротивился: недостает, чтоб команда еще перепилась в дороге.

Наш обоз двинулся дальше. Солдаты втихомолку озлобленно ругали смотрителя за отказ от спирта.

А у огромной спиртовой бочки с выбитым дном стоял интендантский зауряд-чиновник и черпаком наливал спирту всем желающим.

— Бери, ребята, больше! Все равно жечь!

Кругом толпились солдаты с запыленными, измученными лицами. Они подставляли папахи, чиновник доверху наливал папаху спиртом, и солдат отходил, бережно держа ее за края. Тут же он припадал губами к папахе, жадно, не отрываясь, пил, отряхивал папаху и весело шел дальше.

Все больше мы обгоняли шатающихся, глубоко пьяных солдат. Они теряли винтовки, горланили песни, падали. Неподвижные тела валялись у краев дороги в кустах. Три артиллериста, размахивая руками, шли куда-то в сторону по грядам со срезанным каоляном.

Но кто же были эти интендантские чиновники? Предатели, подкупленные японцами? Негодяи, желавшие порадоваться на полный позор русской армии? О, нет! Это были только добродушные российские люди, они только не могли принять душою мысли,— как можно собственною рукою поджечь такую драгоценную жидкость, как спирт?! И во все последующие дни, во все время тяжелого отступления, армия наша кишела пьяными. Как будто праздновался какой-то радостный, всеобщий праздник. Рассказывали, что в Мукдене и в деревнях китайцы, подкупленные японскими эмиссарами, напаивали наших измученных боем отступавших солдат дьявольскою китайскою сивухою — ханьшином. Может быть, это и было. Но все пьяные солдаты, которых я расспрашивал, сообщали, что они получили водку, спирт или коньяк из разного рода русских складов, обреченных на сожжение. Зачем было японцам тратиться на китайцев! У них был более страшный для нас, более верный и бескорыстный союзник. Это — тот самый черный союзник, с которым тщетно боролся главнокомандующий своими бумажками; союзник, неуловимо перерывавший наши телеграфные и телефонные сообщения, разворачивавший самые нужные участки нашего железнодорожного пути и систематически сеявший неистовую к нам ненависть среди мирных местных жителей.

Мы шли по песчаным, лесистым холмам до наступления темноты. Грохот пушек чуть доносился теперь из глухой дали.

У дороги, в лесу, стоял на горке богатый китайский

хутор, обнесенный каменною стеною. Мы остановились в нем на ночевку. Все фанзы были уже битком набиты офицерами и солдатами. Нам пришлось поместиться в холодном сарае с сорванными дверями.

Знакомые лица,— осунувшиеся, зеленовато-серые от пыли,— казались новыми и чужими. Плечи вяло свисали, не хотелось шевелиться. Воды не было, не было не только, чтобы умыться, но даже для чаю; весь ручей вычерпали до дна раньше пришедшие части. С большим трудом мы добыли четверть ведра какой-то жидкой грязи, вскипятили ее и, засыпав чаем, выпили. Подошли два знакомых офицера.

— Как дела?

Они безнадежно махнули рукою.

— Везде войска бегут, японцы напирают отовсюду... Сегодня заняли Мукден...

— Сегодня... Позвольте, ведь сегодня — 24-е февраля!..— воскликнул я.

Мы переглянулись пораженные; еще неделю назад японцы приглашали русских на 25-е февраля к себе в Мукден «на блины»... Конечно, это было только случайное совпадение, но какой-то суеверный трепет пробежал по душе.

Быстро вошел помощник смотрителя Брук, держа над головою белый листок.

— Господа! Сегодняшний номер «Вестника Маньчжурских Армий»!

Мы жадно схватились за листок...

Вот он и теперь лежит передо мною,— я сохранил его,— этот исторический листок, вышедший из-под типографского станка во время всеобщего бегства русской армии. Номер от 24 февраля 1905 г. (№ 201—202).

Сегодня были отбиты атаки японцев на Нюсинтунь, причем наши войска сами перешли в наступление... На Саньтайцзы было отбито пять атак... Потери неприятеля очень велики, и сегодня к вечеру он заметно подался назад... Сегодня утром выбита последняя партия японцев из дер. Юнхуантунь. Командир корпуса именем Главнокомандующего благодарил войска... По наблюдению нашего охотника, японские обозы отступают на юг... Войска бодры, готовят чай (!), ожидая атаку... Японцы, расстреливаемые почти в упор, отступили... С утра идет упорный бой на позициях в окрестностях Фанцзятуня. На этом участке в резервах боевых позиций играет музыка некоторых наших полковых оркестров... Настроение войск — спокойное, веселое...

Следующий номер «Вестника» уже не вышел,— типография была брошена, и редакторам пришлось спасаться по-

спешным бегством. Но до последней минуты, до последнего номера они твердили, что все у нас идет великолепно, и ни словом не обмолвились о том, что наши позиции уже отданы японцам, что склады подожжены, Мукден бросается...

Лучше же всего окончание номера. Виньетка, а за нею с буквальною точностью следует:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы; —
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Эти стихи, в переводе, великого русского писателя-поэта поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Юрьевича Лермонтова, убитого в 1841 году, участника сражений,— человека воинской доблести, с истинно-русской душой.

Точка. Все.. Что это? К чему? В чем смысл?

Все хохотали. А назавтра, во время отступления, повсюду уже повторялось стихотворение, в pendant к вышеприведенному импровизированное одним молодым казаком-хорунжим:

Тихо на дороге
Сладким сном все спит,
Только грозный Ноги
На Харбин спешит.
Нас уже немножко,
Все бегут в кусты...
Подожди, япошка!
Отдохни ж и ты!

Всю ночь мы промерзли в холодном сарае. Я совсем почти не спал от холода, забывался только на несколько минут. Чуть забрезжил рассвет, все поднялись и стали собираться. На хуторе набилась масса обозов. Чтоб при выезде не было толкотни, старший по чину офицер распределил порядок выступления частей. Наш обоз был назначен в самый конец очереди.

В серых сумерках повозка за повозкою выезжали на дорогу. До нас было еще далеко. Мы напились чаю и зашли с Шанцером в фанзу, где спали офицеры. Она была уже пуста. Мы присели на кхан (лежанку). Постланные на

нем золотистые циновки были теплы, и тепло было в фанзе. Я прилег на циновку, положил под голову папаху; мысли в голове замешались и медленно стали опускаться в теплую, мягкую мглу.

Шанцер будил меня. Я ответил, что посплю, пока придет время ехать, пусть он тогда пришлет за мною. Через полчаса я проснулся, освежившийся, бодрый. Вышел на двор. За раскидистыми соснами пылала красная заря, было совсем светло. По пустынным дворам хутора тихо и неслышно ходил старый китаец-хозяин.

— Ваше благородие! Ваше благородие! — услышал я задыхающийся от волнения голос моего денщика.

Я откликнулся. Он подбежал.

— Идите скорее, все уезжают!.. Сзади японская кавалерия напала...

Мы побежали за хутор, где ночевал наш обоз. В воздухе стояла близкая и частая ружейная трескотня. Привыкший к ней, я раньше совсем не обратил на нее внимания... Что такое? Как тут успели появиться японцы?

Наши повозки одна за другою быстро выкатывались на дорогу. Шанцер и главный врач, верхами, стояли на вершине горки и смотрели. Я сел на лошадь и подскакал к ним. Только что поднявшееся солнце косыми лучами освещало желтовато-серую равнину, по ней мчались всадники чуждого вида, с желтыми околышами фуражек; они мчались наперерез дороге, по которой мы вчера подъехали к хутору. На дороге видны были сквозь пыль русские обозы; солдаты с безумными лицами нахлестывали лошадей. За горою трещали частые ружейные выстрелы и бухали пушки.

Мы повернули и поскакали следом за нашим обозом Дорога шла вдоль подножия горы, заросшей густым лесом. Над деревьями зародился беловатый комочек дыма, и донесся звук разорвавшейся шрапнели. Другой, третий дымки,— и шрапнели ровно и часто пошли лопаться над лесом.

По дороге бешено мчались обозы, пешие солдаты бежали кустами. На дворе придорожной фанзы суетились бледные пехотинцы, дрожащими руками поспешно надевали вещевые мешки и прицепляли котелки. Из фанзы вышел офицер с фуражкою на затылке.

— Это что такое?! — грозно крикнул он на своих солдат.

— Вот, ваше благородие!.. Все уезжают...

— Уезжают?.. Пусть уезжают!.. А мы будем драться... Смирно!

Обозы мчались... На дороге было тесно, часть повозок свернула в сторону и скакала прямо по полю, через грядки. Из лесу вылетел на нашу дорогу артиллерийский парк. Двойные зеленые ящики были запряжены каждый в три пары лошадей, ездовые яростно хлестали лошадей по взмылившимся бокам. Ящики мчались, гремя огромными коваными колесами. Артиллеристы скакали, как будто перед ними была пустая дорога, а она вся была полна обозами.

— Стойте вы, дьяволы!! Куда прете? — озлобленно кричали на артиллеристов.

Но те мчались, опрокидывая повозки. Над крутившимися обозами пронесся отчаянный крик и вдруг оборвался: дышло зарядного ящика на всем скаку ударило в голову солдата, поддерживавшего на косогоре свою повозку, он с расколотым черепом повалился под колеса. Парк промчался дальше.

То там, то здесь опрокидывалась повозка. Солдаты обрубали постромки, садились на лошадей и скакали прочь. Глаза на бледных лицах были огромные, безумные, невидящие.

А справа от нас, по широкой, отлогой лощине, навстречу лопавшимся шрапнелям шла в контратаку рассыпанная цепь. Косые лучи утреннего солнца скользили по лощине, солдаты шли в вывернутых наизнанку папахах, с винтовками в руках, с строгими, серьезными лицами. Сзади, из канавы, выглядывали штыки резервов.

Значит, есть защитники! И у всех стало легче на душе. Паника утихала. Обозы спешили, но безумие исчезло с лиц, глаза становились человеческими. Дорога повернула направо, прошла сквозь большую китайскую деревню. Лесистые горы, трещавшие выстрелами, остались назади.

Вдруг остановка. Наезжавшие сзади обозы один за другим остановились. Что такое?

Мы проехали вперед. Прямо поперек дороги стояла артиллерия.

— Нельзя ли вам немножко отъехать в сторону, чтобы пройти обозам? — просили обозные офицеры.

Артиллерийский подполковник равнодушно и высокомерно оглядывал их.

— Не могу. Жду приказа.

С десять минут все стояли. За орудиями тянулась пустынная дорога.

— А вы слышали? Обозы, которые шли за нами, все перехвачены японцами.

Опять по обозам пронеслось что-то нервное. Артиллеристы стояли неподвижно и молчаливо-насмешливыми глазами смотрели на волновавшиеся обозы. Наконец, подполковник что-то скомандовал. Батарея взъехала на горку и стала устанавливать орудия. Обозы двинулись.

Орудия постояли на горке,— вдруг видим, их снова прицепили к передкам, батарея спустилась с горки и влилась в гущу обозов.

— Повоевали! Будет! — смеялись обозные.

Вдали над полями тянулась с юга на север густая серо-желтая полоса пыли, уходившая под небо. Это была Мандаринская дорога, сплошь запруженная отступавшими.

VIII

НА МАНДАРИНСКОЙ ДОРОГЕ

По широкой дороге сплошным потоком медленно двигались обозы. Повозки, арбы, орудия и зарядные ящики, как льдины во время ледохода, теснились, жали друг друга, медленно останавливались и медленно двигались дальше. Клубилась едкая серо-желтая пыль, слышались хриплые крики и ругательства.

Наш обоз стоял на краю дороги, но въехать на дорогу не мог. Повозки непрерывно двигались одна за другою, задняя спешила не отстать от передней, чтоб не дать нам врезаться.

— Эй, придержи лошадей! — грозно-начальническим голосом крикнул наш смотритель обозному солдату.

Солдат взглянул, засмеялся и хлестнул лошадей. Повозка прокатилась, следом за нею все катились новые повозки, спешили и ревниво жались друг к другу. Но одна зазевалась и отстала на аршин от передней. Кучер нашей повозки встрепенулся, яростно ударил по лошадям и вкатился на дорогу. Его кнут со свистом захлестал по мордам наседавших сзади лошадей. Наши повозки одна за другою быстро вкатывались на дорогу, кучера-солдаты с злыми и торжествующими лицами хлестали кнутами морды

подгоняемых наперерез, встававших на дыбы чужих лошадей. Все кричали, ругались.

И повсюду слышны были крики и ругательства.

Был ясный, теплый, слегка ветреный день. В стороны тянулись серо-желтые поля с грядами. Обозы в десять-двадцать рядов медленно двигались по дороге. По тропинкам вдоль края дороги брели беспорядочные толпы строевых солдат, ехали верховые офицеры, казаки, обозные солдаты, на лошадях, с обрубленными постромками. В гуще повозок наш обоз постепенно разрывался, он шел теперь уже в трех разных местах. Было удивительно, как легко он и все кругом терялись из виду. На минуту заговоришься с кем-нибудь, оглянешься,— и нет уж знакомых повозок. Тянутся на шестерочных фурах гигантские черные понтоны, трясутся китайские арбы с флагами красного креста... Скачешь вперед, скачешь назад,— нигде ни одного знакомого лица, ни одной знакомой повозки. Едешь один, бросив надежду кого-нибудь отыскать,— вдруг совсем рядом замечаешь повозку своего госпиталя, вдруг окликает чей-нибудь знакомый голос.

Поток обозов, окутанный пылью, медленно двигался, останавливался, стоял, опять начинал двигаться. В узких местах дороги,— у въездов в деревни, у мостов,— шумела и крутилась свалка. Десять рядов повозок не могли проехать зараз, и они мчались, старались перерезать друг другу путь, сталкивались, мешали друг другу. В пыли мелькали красные, озверелые лица, слышался звук затрещин, свист кнутов, хриплые ругательства. Как всегда, начальство, такое надоедливое там, где оно не нужно, здесь отсутствовало; никто властный не распоряжался, повозки бились и загораживали путь в бессмысленной свалке. Сзади наседали другие обозы, получался огромный затор, и весь поток до самого горизонта останавливался.

С боковых дорог на Мандаринскую дорогу вливались все новые обозы. Назади широким полукольцом гремели пушки, перекатывалась ружейная трескотня. По каоляновым грядкам шел к дороге сибирский стрелок с окровавленной повязкой на руке.

— Из боя сейчас?

— Так точно!

— Ну, что японцы?

Он махнул рукою.

— Так и прут!.. Без числа.

Проехала крытая парусиною двуколка, в ней лежал раненый офицер. Его лицо сплошь было завязано бинтами, только чернело отверстие для рта; повязка промокла, она была, как кроваво-красная маска, и из нее сочилась кровь. Рядом сидел другой раненый офицер, бледный от потери крови. Грустный и слабый, он поддерживал на коленях кровавую голову товарища. Двуколка тряслась и колыхалась, кровавая голова моталась бессильно, как мертвая.

Среди пыли, в груде двигающихся обозов, мелькнуло знакомое женское лицо. Безмерно-измученное, бледное, с черными кругами вокруг глаз. Я узнал сестру Каменеву, жену артиллерийского офицера. Каменева ехала в своем шарабане одна, без кучера. Она сидела боком, а на дне шарабана лежало что-то большое, угловатое, прикрытое клеенкою.

Я пробрался меж повозок к Каменевой, поздоровался.

— Вы одни?

— Одна.— Она ответила голосом, как будто из другого мира. Глаза смотрели неподвижно,— огромные, темные, средь темных кругов.— Вы знаете, я заказала в Мукдене гроб и хотела сдать его на поезд, отвезти в Россию... Гроб не поспел, так на поезд не приняли... Не приняли..: Станцию уже бросали.

Вдруг я понял: то большое и угловатое, что лежало под клеенкою на дне шарабана, был труп ее мужа. Сквозь ветерок от шарабана прорывался удушливый запах гниющего мяса.

— Варвара Федоровна! Ну, что уж теперь делать! Похороните тело здесь, я вам это устрою... Где вам его с собою везти!

Она с чуждым удивлением взглянула на меня.

— Нет, я его довезу... Если тут брошу, все равно с ума сойду...

— Ваше благородие! Господин доктор! —кричал с той стороны дороги солдат, различивший сквозь пыль мою белую перевязь с красным крестом. Он махал мне рукою и подзывал к себе.

Я пробрался сквозь поток обозов. На откосе дороги лежал солдат с мутными глазами и бледным, скорбным лицом. Возле него стоял другой солдат с повязкою на голове.

— Господин доктор! Окажите ему какую помощь! Что

же это за безобразие! Человек пулею в живот ранен, а его никто и подобрать не хочет... Околевай, как собака?

Я слез с лошади, осмотрел раненого. Простреленный живот был покрыт повязкою, пульс едва прощупывался.

— Вон сколько повозок едет,— доверху гружены! Ишь, целый воз с валенками... А его тут бросить?.. Валенки дороже человека!

Что было делать? Мы останавливали повозки, просили скинуть часть груза и принять раненого. Кучера-солдаты отвечали: «не смеем», начальники обозов, офицеры, отвечали: «не имеем права». Они соглашались положить раненого поверх груза, но раненый так здесь и очутился: с раною в животе лежал на верхушке воза, цепляясь за веревки,— обессилел и свалился.

И ехали мимо повозки. И проезжали люди с виноватыми лицами, стараясь не смотреть на лежащего человека. Вспоминалось, как все жадно справлялись,— защищает ли нас кто сзади, есть ли за нами прикрытие? Там бились люди, спасая нас, тоже вот и этот умиравший. Теперь, ненужный, он валялся в пыли на откосе, и все старались поскорее проехать мимо, чтоб не обжег их скорбный упрек, глядевший из мутившихся глаз.

У меня было несколько порошков опия. Я дал раненому порошок, влил ему в рот из фляги коньяку. Что еще можно было сделать?

Тихонько, как вор, я сел на свою лошадь и поехал дальше.

Валялась опрокинутая двуколка, нагруженная винтовками. Валялись мешки с овсом и рисом. Издыхающие лошади широко вздували огромные животы, ерзая по земле вытянутыми мордами. Брели беспорядочные толпы пехотинцев с вяло болтающимися на плечах винтовками, ехали казаки. В сверкавшей под солнцем дали, как глухие раскаты грома, непрерывно гремели пушки.

Подъехал знакомый драгунский офицер.

— Ну, что, ротмистр, как там дела?

— Что! Полный разгром, полный! Наши бегут, как зайцы! Появится на горе кучка японцев, и целый полк удирает...

Ехали мимо молодцеватые казаки, с лихо заломленными набекрень шапками,— смешно было смотреть на эту мо-

лодцеватость. Стыдно было смотреть на сверкающие в пыли штыки пехоты, такие теперь негрозные и жалкие. И жалкими, никому никогда нестрашными казались вяло бредущие, мешковатые солдаты.

С пыльных лиц смотрели сконфуженные, недоумевающие глаза.

— Ваше благородие! Правда, против нас пять держав воюет?

Я вздохнул.

— Нет! Всего одна-единственная!

— Ни-икак нет! Пять держав! Верно знаем. Откуда у одной столько войсков? Прут отовсюду без числа... Пять держав, верно!

— Какие же пять?

— Япония, значит, Китай... Америка... Англия... Потом эта, как ее?.. За нашим левым флангом какая земля лежит, эта.

— Корея?

— Так точно! Пять держав...

У спуска к мосту теснились обозы. Артиллерийский парк расталкивал вокруг себя повозки, колеса повозок трещали. Ездовые-артиллеристы горячили лошадей, готовые ринуться наперерез.

— Земляки, потише! Задавите! — крикнул обозный солдат.

— Дави!! — гаркнул артиллерист, сидевший на козлах зарядного ящика.

К нему подскакал пехотный подполковник.

— Ах-х ты, с-сукин сын! Ты что тут командуешь?.. Стоять на месте! Куда прете?

Глаза артиллериста блеснули зловеще и нагло.

— «Куда»! Туда ж, куда и вы!

Грозные огоньки вспыхнули в глазах полковника. Но что-то еще более грозное и страшное мелькнуло в лице солдата. И я вдруг почувствовал,— теперь стало возможным и легким то, что еще два-три дня назад было бы трудно даже вообразить. Почувствовал это и подполковник.

— Вали, ребята! Не зевай!

Ездовые ударили по лошадям, и парк врезался в обозы. Свистели кнуты, зарядные ящики один за другим вкатывались на мост. Подполковник, бледный от гнева, молча смотрел вслед.

Все дальше, медленно и судорожно полз вперед беско-

нечный поток обозов. На краю дороги сидел усталый солдат, музыкант, с огромною, блестящею трубою через плечо. Ковыляла на поводу шершавая, белая китайская лошаденка, у нее была вывихнута задняя нога. Лошаденка, горбя спину, жалко прыгала боком на трех ногах. Спереди ее тянул за узду один солдат, сзади ехал другой и подгонял хворостиною. Лошаденка мало отзывалась на удары, поэтому солдат норовил попасть ей по больному месту ноги. Тогда, еще больше сгорбив спину, лошаденка начинала быстро прыгать.

— Чего вы ее не бросите? — сказал я солдату.

— Рады бы бросить. Вот уж как намучились с нею!.. Приказано вести.

Опять терялись из виду повозки и люди, опять неожиданно находились. И все, кого за эти полгода я встречал в Маньчжурии, все были здесь. Как будто тянулся какой-то бесконечный Невский проспект с огромно-незнакомою толпою, из которой каждую минуту выныривали знакомые лица.

Подъехали два саперных офицера нашего корпуса. Молодой поручик злорадно смеялся и весело потирал руки.

— Вы слышали? Весь обоз нашего корпусного командира попал в руки японцам! — сообщил он.— Ох, и рад же я! Сам, подлец, удрал, никого об отступлении не известил. Мы из-за него весь свой обоз потеряли. Вот только что на нас, то и осталось!

— И вас не известили? — засмеялся я.— Мы тоже ушли без извещения.

— Да это еще что!.. А что вчера было! Казак привез донесение, что в Фулине японцы. Корпусный засмеялся — «вздор»! — и велел нам проводить в Фулин телеграф. Там стоял штаб нашей армии. Пошли мы с нашей телеграфной ротой. Пальба адская. Посылает меня командир роты к корпусному, докладываю, что в Фулине японцы, что в нас оттуда стреляют. Корпусный выслушал.— «Стреляют?» — и ядовито смотрит на меня.— «На то, поручик, и война, чтоб стреляли! Ступайте и проводите телеграф!» Проводим, кругом обжаривают шрапнелью. Едет какой-то есаул с казаками. «Вы,— говорит,— чего здесь? Уходите скорей, японцы идут!» Помчался я в штаб,— там уж развороченный муравейник, все садятся на лошадей. Я к начальнику штаба: «Что прикажете делать с кабелем, снять его?» — «Не знаю, не знаю, как хотите! Только советую вам поскорее

уходить!» — «Не можете ли вы нам дать прикрытие?» — «Нет, нет, ничего не могу! Управляйтесь, как знаете!.. До свидания!» И поскакали все...

Спутник поручика, полный и усатый штабс-капитан, угрюмо молчал. Поручик оживленно вертелся на седле и все смеялся.

— У нас кабель, а вот у капитана все понтоны попали в гости к японцам. Понтонному батальону приказали идти в прикрытие на Хуньхе, как пехоте. Отступают они,— а понтоны все вот они! «Чего вы не уехали?» — «Да нам не было приказу». Так и бросили понтоны, еле успели увести лошадей!.. То есть, такая бестолочь!.. Вот едут. Все без голов, ей-богу! Это вам только так кажется, что с головами. Головы все назади потеряны.

По краям дороги валялись пьяные. Сидит на пригорке солдат, винтовка меж колен, голова свесилась: тронешь его за плечо, он, как мешок, валится на бок... Мертв? Непробудно спит от усталости? Пульс есть, от красного лица несет сивухою...

Другой идет шатаясь, винтовка болтается на плече.

— Где это ты, земляк, выпил?

— Казаки поднесли, дай им бог здоровья... Вижу, едут все пьяные... Говорю: дали бы солдату рюмочку! — «Зачем рюмочку? Вот тебе кружка, нам не жалко. Сейчас ханшинный завод у китайцев обчистили». Выпил кружку. Как пил,— скверно так, противно! А выпил,— теплота пошла по жилам, рука сама собой за другой кружкой потянулась. Главное дело, без денег, чудак человек.

На возу сидел унтер-офицер с смеющимся лицом и из большого деревянного ящика продавал по полтиннику бутылки коньяку, рома и портвейна. Он захватил ящик в складе Красного Креста, обреченном на сожжение.

Было жарко, голова кружилась от усталости. Обозы въехали в большую китайскую деревню. Китайцы стояли у фанз, щурясь от солнца и пыли, и смотрели на отступавших с бесстрастными, ничего не выражавшими лицами.

— Ваше благородие! Ваше благородие!

На пригорке солдат нашей команды махал мне рукою.

— Пожалуйте сюда в проулок, там наши стали.

На полянке за фанзами, на берегу речки, стояли биваком оба госпиталя, наш и султановский. Стояло еще несколько учреждений нашего корпуса, тут же был и корпусный комендант.

Дымились костры, солдаты кипятили воду для чая и грели консервы. От врачей султановского госпиталя мы узнали, что они со времени выхода из Мозысани тоже не работали и стояли, свернувшись, к югу от Мукдена. Но их, конечно, штаб корпуса не забыл известить об отступлении. Султанов, желтый, осунувшийся и угрюмый, сидел на складном стуле, и Новицкая клала сахар в его кофе.

Мы закусывали, пили чай. Над улицею клубилась пыль. Скрипели обозы, слышались ругательства. За деревнею через речку был узенький, ветхий мостик, и обозы приступом брали свою очередь попасть на ту сторону.

Проехал мимо разъезд казаков.

— Напрасно тут прохлаждаетесь, за горою японцы,— равнодушно сказали они.

Это было невероятно,— мы ушли слишком далеко. Но у всех появилась нервная торопливость. Спешно кончали поить лошадей и увязывали возы.

Комендант нашел около нашей полянки переезд через речку и определил порядок следования обозов. Первым был поставлен султановский госпиталь, хотя по нумерации он следовал за нашим.

Султановский обоз перебрался через речку и потянулся по пашням к Мандаринской дороге. Двинулся наш. Спуск к речке был крутой. Подъем еще круче. Лошади вытягивали зады и скользили ногами, свистели кнуты, солдаты, облепив повозки, тянули их в гору вместе с лошадьми.

Сзади нашего обоза уж скопилась масса подошедших новых обозов. Через узкий мостик тоже непрерывно лилась вереница повозок.

Вдруг за речкою, в поле около китайского кладбища, бесшумно взвился огромный столб желтовато-серого дыма, и потом донесся короткий, как будто пустой треск. Я в недоумении смотрел. Что такое? Новый столб дыма взвился средь деревьев кладбища, ветки летели в воздух, суки обламывались. Я не успел еще сознать, в чем дело, как мне все уже объяснил смерчем закрутившийся вокруг ужас.

Повозки за речкою, прыгая, мчались по грядам пашен, солдаты, наклонившись, бешено хлестали лошадей. Внизу у переправы в дикой сумятице бились люди, лошади и повозки. Все кругом рвалось и неслось куда-то.

Оглушительно ахнуло у спуска к мосту. Из дыма вылетела лошадь с сломанными оглоблями. Мчался артиллерийский парк, задевая и опрокидывая повозки. Мелькнул человек, сброшенный с козел на землю, вывернувшаяся рука замоталась под колесами, он кувыркнулся в пыли, поднялся на колени и, сбитый мчавшимися лошадьми, опять повалился под колеса.

Еще разорвался снаряд, и еще. Чей-то задыхающийся голос крикнул:

— Мишка! Руби постромки!

Голос врезался в смятенные души, как властное приказание, которого слушаются, не рассуждая. Солдаты поспешно рубили постромки у повозок, вскакивали верхом и в карьер выносились на ту сторону. Другие не догадывались сесть на лошадей. Выпускали их на волю, а сами бежали бегом.

— Мерзавцы! Вы куда? За обозною сволочью?.. По местам!! — донесся из сумятицы хриплый, отчаянный, плачущий голос.

Артиллерист-поручик с обнаженною шашкою крутился верхом среди пушек, застрявших в гуще обозов. Орудийная прислуга, не глядя на него, рубила постромки у орудий.

— Ты что?.. Ты что-о?!.

Поручик размахнулся шашкою и ударил солдата по плечу. Солдат отшатнулся, молча втянул голову и побежал вниз по откосу. Худой и длинный артиллерийский капитан, с бледным лицом, с огромными глазами, сидел верхом неподвижно. Он понял,— теперь уж ничего не поделаешь.

С грохотом блеснула на пригорке шимоза и осыпала нас глиною. Солдаты-артиллеристы поспешно садились на лошадей и скакали прочь. Я поскакал следом. Поручик выронил шашку и схватился за голову.

У спуска к переправе сбились брошенные повозки, люди, лошади. По высокому берегу промчался мимо артиллерийский поручик. Его лицо было красно, губы бессмысленно бормотали что-то, глаза горели сумасшедшим огнем. В безумной скачке он мчался куда-то вдоль речки, навстречу лопавшимся шрапнелям, и его ноги бешено рвали шпорами бока лошади.

Я выскакал на тот берег. За речкою, один среди брошенных орудий, неподвижно все сидел на своей лошади

худой артиллерийский капитан. У него что-то было в руке, он поднял руку, близко от головы сверкнул огонек, и капитан мешком повалился на землю с вдруг рванувшейся лошади.

В воздухе замелькали дымки шрапнелей. По пашне бежали, спотыкаясь, солдаты, другие скакали на лошадях с волочившимися по земле постромками. У всех были безумно-невидящие, прыгающие глаза. Мчались огромные повозки с черными понтонами. Мчалась тяжело нагруженная фура с красным крестом, бледный солдат на козлах сек кнутом лошадей, и было странно смотреть: он гнал их прямо на крутой косогор и обязательно должен был опрокинуться. И фура налетела на косогор, и легко, как будто уж заранее приготовившись, свалилась в овраг, и так должно было быть.

Но как же тут очутились японцы? Потом, уже много позже, мы узнали: два-три японских орудия с бешеною удалью проскакали в образовавшийся прорыв на несколько верст вперед, без всякого прикрытия стали на горке и открыли огонь по переправе. И побежали все эти массы вооруженных людей, и погибло имущества на сотни тысяч.

Давно уже назади осталась речка с рвавшимися снарядами, а обозы все мчались вскачь. С повозок сбрасывали тяжелые вещи, чтоб легче было ехать. Сразу что-то вдруг оборвалось, и отношение к «имуществу» странно изменилось. Раньше боялись сбросить с воза пару изношенных хомутов, чтоб положить раненого,— теперь легко выбрасывали целые тюки солдатских шинелей, мешки с фуражом и припасами, офицерские чемоданы и корзины. Выбрасывали часто без всякой нужды. Было в этом что-то тянущее к себе и безудержно-стихийное. Как будто брошенное назади имущество, неслышно для сознания, шептало душам: «больше или меньше,— теперь все равно. Никто не спросит!»

Мы уже были верст за пять от речки, обозы шли уже обычным ходом. Ехал отбившийся от своего парка зарядный ящик; вдруг сидевший на козлах ящика солдат крикнул ездовым:

— Стой!

Остановились. Солдат не спеша слез, выдвинул сзади

какой-то ящичек, достал деревянную ложку и осьмушку табаку.

— Довольно повозились, будя!.. Скидывай, ребята, постромки!

Постромки скинули, артиллеристы сели верхом на лошадей и, бросив ящик, поехали налегке.

Как будто нигде ни на что не стало хозяина. Мое сделалось чужим, чужое — моим. Чуть опрокидывалась повозка, солдаты бросались ее грабить. Повсюду появились люди-шакалы, вынюхивавшие добычу. Мне впоследствии рассказывали,— мародеры нарочно производили по ночам ложные тревоги и, пользуясь суматохою, грабили обозы. Во время обозной паники на реке Пухе два казака бросились ломать денежный ящик понтонного парка; фельдфебель застрелил из револьвера одного казака, ранил другого и вывез ящик...

Смеющийся солдат ехал, болтая ногами, на лошади с обрубленными постромками. Лихо сдвинув папаху на затылок, он рассказывал:

— Погнал нас японец с позиций, бежал я, бежал... Пристал к госпиталю, пошел с ним. Стали по госпиталю шрапнелями бить, я опять побежал. Вижу, фурманка стоит с лошадью. Отрезал постромки, сел и поехал. На дороге мешок с сухарями поднял, концертов (консервов), ячменю забрал для лошади — и еду вот... Расчудесно!..

Валялись надорвавшиеся лошади, сломанные повозки. Густо усеивали дорогу брошенные полушубки, тюки, винтовки. Брели беспорядочные, оборванные толпы солдат, и трудно было поверить, что так недавно это были стройные колонны войск.

— Ваше благородие, что же это такое? — спрашивали солдаты.— Совсем нас так гонят, как мы в двенадцатом году француза гнали.

— Я так думаю,— закатилась навеки счастливая звезда России! — сказал щеголеватый ефрейтор, по лицу и голосу — бывший приказчик.

Пожилой солдат с лохматою бородою мрачно отозвался:

— Превозмоглась силою матушка Рассея. Дошла до предела.

Он шагал, зловеще кивал головою и повторял непонятные слова:

— Превозмоглась силою... Превозмоглась...

И тянулась вперед бесконечная лента обозов. Опять неожиданно терялись из виду знакомые лица и повозки и снова находились. Опять сидел у дороги усталый солдат с большою, блестящею трубою через плечо. Проехала в шарабане полуобезумевшая Каменева с своим страшным грузом. Согнувшись горбом, мучительно прыгала шершавая белая лошаденка с вывихнутою ногою; ехавший сзади солдат старался ударить ее хворостиною по больному месту. Она здесь, эта лошаденка! Спаслась!.. Да, так и должно было быть. Бросались орудия и обозы, горели назади миллионные склады, а эту ненужную, увечную лошаденку тащили, спасали — и, конечно, спасут. Вдруг почуялся в этом какой-то огромный, болезненно-карикатурный символ.

Бледный казак с простреленною грудью трясся на верху нагруженной двуколки, цепляясь слабеющими руками за веревки поверх брезента. Два солдата несли на носилках офицера с оторванною ногою. Солдаты были угрюмы и смотрели в землю. Офицер, с безумными от ужаса глазами, обращался ко всем встречным офицерам и врачам:

— Ради бога, господа! Они хотят меня бросить, не позволяйте им!

Передавали слухи, что от второй и третьей армии не осталось ничего; войска без выстрела сдаются целыми батальонами; японцы несметными массами появляются всюду и бешено наседают на отступающих.

— Ну, теперь, несомненно, конец войне! — говорили откровенные.

То же самое тайною, невысказываемою мыслью сидело в головах солдат. Когда улеглась паника от обстрела переправы, откуда-то донеслось дружное, радостное «ура!». Оказалось, саперы под огнем навели обрушившийся мост, вывезли брошенные орудия, и командир благодарил их. А по толпам отступавших пронесся радостно-ожидающий трепет, и все жадно спрашивали друг друга:

— Что это? Замирение объявлено?

Медленно, медленно двигался поток обозов. Дороги были отвратительные, подъемы крутые, мосты узкие, полуобрушившиеся. Каждый думал только о себе.

Вот — узкая дорога, поперек глубокий ухаб, и в одну сторону он глубже, чем в другую. Каждая повозка застревает в этом ухабе. Свищут кнуты над выбивающимися из

сил лошадьми, надрываются от натуги помогающие солдаты,— выехала повозка! А в ухабе застревает следующая, и опять вокруг нее суета, крики и свист кнутов. Более высоко нагруженная повозка ухает в ухаб и опрокидывается набок. А взять бы пару лопат,— и в пять минут можно бы забросать ухаб землею, и тогда гони повозки хоть рысью. Но каждый думал только о себе и о своей повозке.

Но отчего же так ужасны, так непроездны были дороги? В течение всей войны мы отступали; ведь можно же было,— ну, хоть с маленькою вероятностью,— предположить, что опять придется отступать. В том-то и было проклятие: самым верным средством против отступления у нас признавалось одно — упорно заявлять, что отступления не будет, упорно действовать так, чтобы никому не могла прийти в голову даже мысль, будто возможно отступление.

Удивительное дело! Японцам за всю кампанию ни разу не пришлось отступать, но они каждый раз принимали самые заботливые и тщательные меры на случай отступления. Мы только и знали, что отступали,— и каждый раз отступление было для нас неожиданностью, и снова и снова мы отступали «неготовыми дорогами». За Телином через реку Ляохе вел всего только один железнодорожный мост. Наша (третья) армия перешла реку по трещавшему, заливавшемуся водою льду. Разыграйся бой всего на одну неделю позже,— и по льду уж нельзя было бы перейти, и всю нашу армию японцы взяли бы голыми руками.

Мне рассказывали, что еще под Дашичао Куропаткин, осматривая госпитали, спросил одного главного врача, почему при госпитале нет бани и хлебопекарни. Главный врач замялся и ответил, что они не знают, долго ли тут придется простоять. Куропаткин твердо и спокойно заявил:

— Видите, вот река? *Дальше этой реки японцы не пойдут*. Стройте каменную хлебопекарню, стройте баню. Пусть солдатики попарятся.

«Дальше этой реки» японцы отбросили нас за сотни верст. Но и под Мукденом опять все шло в прежнем духе. Склады боевых и хозяйственных принадлежностей были тонкою линией вытянуты параллельно фронту. Начальствующие лица только и говорили, что отступления

не будет. За неделю до мукденского боя нашим госпиталям было выражено начальством недовольство за небольшой запас дров и велено было запасти их по пять-шесть кубов. Куб в это время стоил около ста рублей. Закупили, а через две недели эти горы дров пылали перед наступавшими японцами. «Отступления не будет, отступления не будет»... Ляоян мы отдали в августе, до этого времени вся страна севернее Ляояна была в наших руках,— и мы не озаботились снять с нее хорошего плана. К чему?.. И вот в деле под Сандепу одною из причин нашей неудачи оказалось... отсутствие хороших карт, неправильное представление о местонахождении деревни Сандепу!

Слово — сила... Говорить побольше, как можно больше громких, грозных «поддерживающих дух» слов — это было самое главное. И не важно было, что дела все время жестоко насмехаются над словами,— ничего! Только еще суровее нахмурить брови, еще значительнее и зловещее произнести угрожающее слово... При самом своем приезде Куропаткин заявил, что мир будет заключен только в Токио,— а уж через несколько месяцев вся русская армия горько-насмешливо напевала:

Куропаткин горделивый
Прямо в Токио спешил! —
«Что ты ржешь, мой конь ретивый?
«Что ты шею опустил?»

Прибыв в армию, Гриппенберг в торжественной речи сказал солдатам: «Если кто из вас отступит, я его заколю; если я отступлю,— заколи меня!» Сказал — и отступил от Сандепу.

В начале мукденского боя госпитали, стоявшие на станции Суятунь, были отведены на север. По этому случаю, как мне рассказывали, Каульбарс издал приказ, где писал (сам я приказа не видел): госпитали отведены потому, что до Суятуни достигали снаряды японских осадных орудий, но это отнюдь не обозначает отступления: *отступления ни в коем случае не будет, будет только движение вперед*... А через неделю вся армия, как подхваченная ураганом, не отступала, а бежала на север.

И уже во время самого бегства, за несколько часов до потери своей типографии, официальный «Вестник Маньчжурских Армий», сладко пел о десятках отбитых атак, о готовящемся отступлении японцев и знакомил своих чи-

тателей с произведениями «поручика тенгинского полка» Лермонтова.

Рассказывают, что во время «опийной» англо-китайской войны китайцы, чтобы испугать англичан и «поддержать дух» своих, выставляли на видных местах огромные, ужасающего вида пушки, сделанные из глины. Китайцы шли в бой, делая страшные рожи, кривляясь и испуская дикие крики. Но все-таки победили англичане. Против глиняных пушек у них были не такие большие, но зато стальные, взаправду стрелявшие пушки. Против кривляний и страшных рож у них была организация, дисциплина и внимательный расчет.

Солнце садилось, небо стало ясным, тихим. Пахло весною, было тепло. Высоко в небе, беззаботные к тому, что творилось на земле, косяками летели на север гуси. А кругом в пыли все тянулись усталые обозы, мчались, ни на кого не глядя, проклятые парки и батареи, брели расстроенные толпы солдат.

Охватывала смертная усталость. Голова кружилась, туловище еле держалось в седле. Хотелось пить, но все колодцы по дороге были вычерпаны. Конца пути не было. Иногда казалось: еще одна минута, и свалишься с лошади. А тогда конец. Это было вполне ясно. Никому до тебя не будет дела, каждый думал о себе сам.

А там, в надвигавшемся сзади промежутке между отступавшими русскими и наступавшими японцами, ждало то, что было страшнее плена, страшнее смерти. В этом промежутке, как шакалы, отставших подстерегали жители опустошенной нами страны, эти зловеще молчаливые люди с загадочными, бесстрастными лицами. Всякий знал,— пощады от них не будет и не может быть, мы сами делали все, чтобы зажечь их души кровавою, неутолимою ненавистью к нам. Мне вспоминалось, как в забайкальской степи буряты резали для нас овцу, вспоминалось, что я тогда передумал...

И в холодном ужасе замирала душа. Изо всех сил напрягалась воля, чтоб удержать тело на седле, и рука нащупывала за поясом револьвер,— здесь ли он, избавитель на случай...

Солнце село, над зарею слабо блестел серп молодого месяца. Я съехался с Шанцером и Селюковым. Шанцер

по-обычному был возбужден и жизнерадостен. Селюков сидел на лошади, как живой труп. От них я узнал, что половина нашего обоза была брошена у переправы, где мы попали под огонь японцев.

Мы условились не разлучаться и зорко следить друг за другом в этом предательском обозном потоке, глотавшем и терявшем в себе людей, как песчинки.

Становилось темнее. Серп месяца зашел. Сзади и слева клубились огненные зарева. Мы пробирались по придорожным тропинкам. Смутно-серая земля показывала под ногами несуществующие провалы и скрывала настоящие ямы. Ехать без дороги было невозможно, а пуститься на дорогу нечего было и думать; она кишела копошащимися обозами, нашим лошадям сейчас же бы порвали и поломали ноги. Днем обозы шли медленно, теперь они почти все время стояли. Двинутся, проедут сотню сажен и опять станут. Наш обоз мы давно уже потеряли из виду.

Было холодно. По сторонам дороги всюду стояли биваки и горели костры, от огней кругом было еще темнее. Костров, разумеется, нельзя было разводить, но об этом никто не думал.

Нас приютили у своего костра офицеры нежинского полка, остановившиеся с своим батальоном на короткую ночевку. Они радушно угостили нас коньяком, сардинками, чаем. Была горячая благодарность к ним и радостное умиление, что есть на свете такие хорошие люди.

На юге медленно дрожало большое, сплошное зарево. На западе, вдоль железнодорожного пути, горели станции. Как будто ряд огромных, тихих факелов тянулся по горизонту. И эти факелы уходили далеко вперед нас. Казалось, все, кто знал, как спастись, давно уже там, на севере, за темным горизонтом, а мы здесь в каком-то кольце.

Сбившийся с дороги офицер-ординарец сидел рядом со мною, мешал ложечкою чай в железной кружке и рассказывал:

— Никто не знает, где полк. Куда ехать? Вдруг вижу,— штаб нашей армии. Стоит Каульбарс, допрашивает пленного японца. Я подошел, стою. Подъехал еще какой-то офицер, спрашивает вполголоса, где седьмой стрелковый полк. Каульбарс услышал, быстро обернулся. «Что? Что такое?» — «Мне, ваше высокопревосходительство, нужно знать, где седьмой стрелковый полк». Отвернулся

и пожал плечами. «*Я* не знаю, куда девалась вся моя армия, а он спрашивает, где седьмой полк!»

Я положил голову на ноги тяжело спавшего Селюкова, укрылся полушубком. Охватило тихим, теплым покоем. Один из офицеров озлобленно рассказывал ординарцу, его голос звучал быстро, прерывая самого себя.

— Мы стояли на фланге третьей армии, около второй. Сзади нас осадная батарея. 19-го числа вдруг узнаем, что ее увезли. Куда? Знаете, куда? *В Телин!..* Мы верить не хотели. Их спасали! В начале боя спасали пушки! Страшно,— вдруг достанутся японцам!.. Да что же это такое? Пушки существуют для армии, или армия для пушек?!

Я уже начинал забываться, вдруг сознание сразу воротилось. Мне вспомнилось,— как раз около того времени, при переходе через р. Хуньхе, мы встретили роту борисоглебцев: они провожали мортиры, тоже в Телин.

— Мы дрались три дня, и артиллерии у нас не было. Против японских орудий у нас были только винтовки. Не только осадную батарю, все орудия куда-то убрали!.. У нас считается лучше положить тысячу солдат, чем подвергнуть опасности одну пушку. Телеграфируй, что легла целая дивизия,— честь! Телеграфируй, что потеряли одно орудие,— позор! И все время у нас думали не о том, чтоб нанести пушками вред японцам, а только о том, как бы они не попали в руки японцев... Да разве позор отдать орудие, если оно сделало все, что можно?

— Да, вот японцы этого не боятся! — отозвался глухой бас.— Нахальнейшим образом вылетают с орудиями вперед без всякого прикрытия и жарят, куда нужно.

— И правильно! Пропала пушка,—черт с нею! Что нужно было, сделала!

Я слушал, и вдруг мне вспомнился один эпизод из итальянского похода Бонапарта. Он осаждал Мантую. Ей на выручку двинулась из Тироля огромная австрийская армия. Тогда Бонапарт бросил под Мантуей свои тяжелые осадные орудия, около двухсот пушек, ринулся навстречу австрийцам и разбил их наголову... Хотелось смеяться при одной мысли,— кто бы у нас посмел бросить двести осадных орудий! Всю бы армию погубили, а уж пушки бы постарались спасти.

Становилось понятным, почему и наши госпитали так поспешно отводились назад в самом начале боя. Везде была безмерная, ждущая самого худшего осторожность

Не осторожность холодной, все взвешивающей отваги. Осторожность трусости, боязнь риска, боязнь, что скажут *там...*

Я засыпал. Тот же озлобленный, сам себя прерывающий голос ругал артиллеристов:

— Это нарыв на теле армии, все равно, что генеральный штаб. Дворянчики, в моноклях, французят, в узких брючках и лакированных сапогах... Когда нам пришлось идти в контратаку, оказалось, никакой артиллерии нет, мы взяли деревню без артиллерийской подготовки... А они, голубчики, вот где! Удирают и всех топчут по дороге! Знают, что их орудия — самая большая драгоценность армии!

— Нет, господа, но что же это солдаты наши? —спрашивал другой голос, тихий и грустный.— Где эти прежние львы? Выглянет из-за могилок пара японцев, и целая рота бежит...

— Сволочь-солдат! — сердито прогудел глухой бас.— Эту всю армию только по госпиталям разложить, а чтобы Куропаткин их объезжал и раздавал теплые фуфайки.

— Доктор! Доктор! Проснитесь!

Рука мягко и осторожно трогала меня за плечо. Батальон уходил. Мы встали.

Было все так же темно, везде горели костры; внизу, на дороге, чернели кишевшие обозы. Наши голодные лошади грустно пощипывали по земле остатки прошлогодней травы. Со сна стало еще холоднее, спать хотелось безмерно.

Проходили мимо кучки солдат.

— Не слыхать, далеко японцы?

— За версту отсюда. Сейчас вон за той горой.

Кругом были крутые обрывы. Мы сели верхом, спустились на дорогу и поехали, пробираясь между стоявшими обозами. Проехали с версту. Обозы стояли, как остановившийся на бегу поток. Горели костры.

Загораживая проезд, темнели тяжело нагруженные фуры; дальше перед ними была ровная, пустая дорога. Солдаты дремали на повозках.

— Чего это вы стоите? Сломалось у вас что?

— Никак нет.

— Что ж вы других задерживаете?

Они помолчали.

— Лошадей кормим... Их благородие, господин капитан, легли спать, не велели себя будить.

— Вот негодяй!.. Чего же вы в сторону не съедете? Разве не видите, из-за вас все обозы стоят?!

— Приказано тут стоять, а то потом трудно будет въехать на дорогу.

Услышал наш разговор подъехавший сзади обозный подполковник. Шатаясь и задыхаясь от негодования, он пошел будить капитана.

Мы поехали дальше. Постепенно дорога снова заполнялась обозами, они теперь двигались, и пробираться среди них становилось все труднее. Мы чуть не потеряли Селюкова. А ехать по краю дороги было невозможно... Все равно! Дождемся здесь света, будь, что будет!

На пригорке сидели у костра три солдата-сапера, стояли обозные фурманки. Солдаты потеснились и пустили нас к костру.

— Что, ваше благородие, правду болтают, будто замирение объявлено? — спросил меня один.

— Ну, сейчас где же переговоры вести, не найдешь никого. А мир, конечно, близко. Продолжать войну невозможно, это совсем ясно.

— Где уж там! Пора бы кончать. Сколько времени воюем! — Он помолчал.— А как скажете, платить нам придется японцу?

— Да, вероятно, потребуют и контрибуции.

— Еще больше на крестьянство тягости наложут... Нет, тогда уж лучше дальше воевать.

Сзади раздался в темноте один ружейный выстрел, другой и затрещала пальба. Пальба была не дальше, как за версту. Все насторожились.

— Ого! Не дремлют японцы! — сказал Шанцер, нервно оживляясь.— Гонят без отдыху. Видно, решили действовать иначе, чем прежде. Послушались советов.

— И кто им эти советы дает! — удивился солдат.

— В иностранных газетах все время пишут, что главная ошибка японцев,— разобьют, а преследовать не преследуют.

Солдат почесал за ухом.

— И так разумен, а его еще со всех сторон учат!

Пальба разгоралась, становилась ближе. Внизу мча-

лись по дороге обозы, слышались крики и ругательства. Мимо костра пробегали кучки солдат.

— Что это там, земляки, за пальба?

— Что! Наседает японец, все обозы отбил!

— А прикрытие есть у нас?

— Какое прикрытие! Стрельнут наши раз и бегут...

Пробегали мимо солдаты, и мчались внизу обозы. Саперы поспешно сводили свои фурманки на дорогу.

— Поедем и мы? — спросил Шанцер.

Селюков сидел смертельно усталый, понурив голову.

— Я не поеду. Все равно с лошади свалюсь.

У меня на душе тоже была тупая, ни на что не отзывающаяся усталость. Ну, в плен возьмут, ну, застрелят,— это было так бесконечно безразлично! Спать, спать — одно лишь важно.

— Я тоже спать лягу,— сказал я.— Да и где тут ехать? Все равно обозы затопчут.

Мы стали укладываться у костра. Трещала и перекатывалась пальба, в воздухе осами жужжали пули,— это не волновало души. Занимались к северу пожаром все новые станции,— это были простые факелы, равнодушно и деловито горевшие на горизонте... Мелькнула мысль о далеких, милых людях. Мелькнула, вспыхнула и равнодушно погасла.

Я проснулся на рассвете. Костер давно потух, руки под мышками затекли от полушубка, холод пробирался до костей. У пепла костра, покрытые инеем, спали Шанцер и Селюков. Лошади наши уныло стояли, понурив головы.

На дороге по-прежнему медленно тянулись к северу бесконечные обозы. У края валялись стащенные с дороги два солдатских трупа, истоптанные колесами и копытами, покрытые пылью и кровью. А где же японцы? Их не было. Ночью произошла совершенно беспричинная паника. Кто-то завопил во сне: «Японцы! Пли!» — и взвился ужас. Повозки мчались в темноте, давили людей, сваливались с обрывов. Солдаты стреляли в темноту и били своих же.

Я разбудил Селюкова и Шанцера, мы сели верхом и поехали. Звезды гасли, разгоралась холодная заря. Мы напоили у реки лошадей.

Светлело все больше. Справа из-за сопок выплыло солн-

це, в воздухе потянуло теплом. Тело отдохнуло, на душе стало свежо и бодро. Впереди, в сверкающей голубой дымке, виднелся далекий город, изящно рисовались купола кумирен и изогнутые края крыш.

...город дальний утром,
Полный тайны, полный блеска...

Навстречу нам ехал по дороге офицер... Поручик Шестов! Тот ординарец из штаба, который во время боя ездил с нашими госпиталями, так как «не знал, где теперь штаб». Поручик иронически оглядел нас и с высокомерною усмешкою спросил:

— Удираете?

— Удираем.

— А я еду в Мукден.

— В Мукден?

— Да, в Мукден! — значительно подчеркивая, ответил поручик. Как будто в своей храбрости он знал что-то такое, чего мы в своей трусости не хотели знать.

— Счастливого пути!..

Мы въехали в город. Телин это? Нет, до Телина еще верст тридцать... По прямой, узкой улице двигались обозы и батареи, проходили толпы солдат. Под веселым утренним солнцем медленно лился чуждый поток через тихую, свою жизнь китайского городка. Из труб вились дымки, такие обычно-мирные. У харчевни, под серебряной рыбой на красном столбе, толпились китайцы. Перебегали через улицу ребята с черными косичками на темени. Сквозь разрывы бумажных окон любопытно блестели девичьи глаза.

Миновали город, местность становилась холмистее. Перед мостом столпилось море повозок. Казаки работали нагайками, расчищая путь какому-то обозу.

— Куда прете, сукины дети?! Ждите своей очереди!

— Станет тебе командующий армией ждать!.. Сворачивай!

Казаки, наклоняясь с седел, хватали обозных лошадей под уздцы. Свистели нагайки. Мимо проносился обоз штаба третьей армии. Проехал в коляске какой-то важный генерал. Солдаты, злобно посмеиваясь, смотрели вслед.

— Чтой-то в бой так они не спешили, не просили дороги! А теперь ишь как гонит!..

— Где ж ему ждать! У него большое дело назади!..

Местность делалась все выше, вокруг теснились тяже-

лые сопки. Стало холодно, ветер поднимал тучи пыли. Обозы по-прежнему ссорились и старались перерезать один другой у узких мест дороги. Дисциплина на глазах падала.

— Я тебя, мерзавец, шашкой! — кричал офицер.

— А я тебя штыком! — кричал в ответ солдат.—Храбер ныне стал! А где в бою был?.. За могилками лежали, а нас вперед посылали?..

Рассказывались страшные вещи про расправы солдат с офицерами. Рассказывали про какого-то полковника: вдали показались казаки-забайкальцы; по желтым околышам и лампасам их приняли за японцев; вспыхнула паника; солдаты рубили постромки, бестолково стреляли в своих. Полковник бросился к ним, стал грозно кричать, хотел припугнуть и два раза выстрелил на воздух из револьвера. Солдаты сомкнулись вокруг него.

— Ты кто такой? Как смеешь по своим стрелять?

Дали по нему несколько выстрелов из винтовок и подняли на штыки. Все это оказалось правдою. Фамилия полковника была Тимофеев. Он не был убит насмерть, а недели через три умер от ран в Гунчжулине.

Днем мы встретились с частью нашего обоза, при которой были д-р Гречихин и помощник смотрителя Брук. Дальше мы пошли вместе. Где главный врач и смотритель, никто не знал.

К вечеру вдали показалась огромная гора, увенчанная укреплениями. За горою лежал Телин. Дорога расходилась в две стороны. У ее разделения стоял офицер и кричал:

— Шестой и шестнадцатый корпусы — направо, первый и десятый — налево!

В первый раз за этот долгий путь, полный бестолочи и безначалия, кто-то распоряжался, кто-то хоть о чем-нибудь подумал... Мы подошли к подножию горы. Тянулись бывшие огороды, обнесенные невысокими глиняными оградами. Густо стояли биваки, равнина дымилась кострами. Мы тоже стали.

Здесь же были уже все три другие госпиталя нашего корпуса. Желтый и совершенно больной Султанов лежал в четырехконной повозке, предназначенной для сестер. Новицкая, с черными, запекшимися губами и пыльным лицом, сердито и звонко, как хозяйка-помещица, кричала

ка солдат. Прохожие солдаты с изумлением смотрели на этого невиданного командира.

— Что это над вами баба командует? — с усмешкою спрашивали они султановских солдат.

Султановцы угрюмо молчали и отворачивались.

Подошла к нам Зинаида Аркадьевна.

— Нет, будет, будет! — говорила она, в красивом изнеможении роняя руки.— Довольно ужасов насмотрелись, прощайте! Мы уезжаем в Харбин по железной дороге!.. А вы знаете, бедная Варвара Федоровна! Она отбилась от нас и всю дорогу ехала совсем одна в своем шарабане, а в ногах у нее — скорченный, полуразложившийся труп ее мужа... Приехала сюда, хотела на здешнем вокзале сдать на поезд труп,— не принимают. Наконец, в ней принял участие какой-то генерал,— такой милый! Велел труп зашить в рогожи и сдал на поезд как груз. Она поехала вместе с трупом...

Мы устроились в убогом глиняном сарайчике. Заходили знакомые офицеры, врачи.

— Нашему корпусному командиру приказано выставить дивизию на позиции перед Телином, а в штабе не знают, где полки. Все растеряли.

— Будет бой под Телином?

— Бог весть! Так, арьергардный пустячок какой-нибудь... Войск не соберешь, да и боевых припасов нет: все склады были сейчас за позициями,— часть расстреляли, часть взорвали на воздух, чтоб не достались японцам.

— Да, господи!.. Что же это такое вышло?..

Молодой ординарец с простреленною рукою рассказывал:

— С утра ищу штаб нашего корпуса, никто не знает, где он. Говорят мне: «Вон поезд главнокомандующего, спросите там». Пошел, спрашиваю. «Обратитесь в операционное отделение, вон в том вагоне». Вхожу. На столе разложены карты, полковник генерального штаба водит пальцем по карте и вполголоса говорит двум генералам: «У нас 360 батальонов, а у японцев только 270. И вот я вас спрашиваю: как же все это случилось?» Неловко,— как будто подслушиваю. Я кашлянул.— «Что вам угодно?» — «Мне нужно знать, где штаб десятого корпуса». Полковник юмористически посмотрел на меня. «Да-а. Где штаб десятого корпуса!» — рассмеялся и ушел...

На телинском вокзале была масса народу. Пили водку и чай, ужинали. Рядом со мною сидел сухой интендантский чиновник с погонами статского советника. Он рассказывал своему соседу, обозному подполковнику, как они нигде не могут найти перевозочных средств, как жгут склады. Интимно наклонившись к собеседнику, он громким полушепотом прибавлял:

— Теперь каждый день дает нам доходу по полторы, по две тысячи рубликов!..

Мы укладывались спать в нашем сарайчике. Из штаба принесли приказ: завтра на заре идти на станцию Каюань, в тридцати пяти верстах севернее Телина. Вернулся с вокзала засидевшийся там Брук и сообщил, что на вокзале паника: снимают почтовые ящики и телеграфные аппараты, все бегут; японцы подступают к Телину.

IX

СКИТАНИЯ

На рассвете мы поднялись и стали собираться. Все были возбуждены и нервны. Чувствовалась надвигающаяся с юга угроза. Проходили роты и батальоны.

— Откуда?

— С позиций.

— Давно пришли?

— Только сейчас.

— А японцы далеко?

— Верст десять.

Солнце встало и светило сквозь мутную дымку. Было тепло. Обоз за обозом снимался с места и вливался на дорогу в общий поток обозов. Опять ехавшие по дороге не пускали новых, опять повсюду свистели кнуты и слышались ругательства. Офицеры кричали на солдат, солдаты совсем так же кричали на офицеров.

Что-то все больше распадалось. Рушились преграды которые, казалось, были крепче стали. Толстый генерал, вышедши из коляски, сердито кричал на поручика. Поручик возражал. Спор разгорался. Вокруг стояла кучка офицеров. Я подъехал. Поручик, бледный и взволнованный, задыхаясь, говорил:

— Я вас не хочу и слушать! Я служу не вашему превосходительству, а России и государю!

И все офицеры кругом всколыхнулись и теснее сдвинулись вокруг генерала.

— А позвольте, ваше превосходительство, узнать, где вы были во время боя? — крикнул худой, загорелый капитан с блестящими глазами.— Я пять месяцев пробыл на позициях и не видел ни одного генерала. Где вы были при отступлении? Все красные штаны попрятались, как клопы в щели, мы пробивались одни! Каждый пробивался, как знал, а вы удирали!.. А теперь, назади, все повылезли из щелей! Все хотят командовать!

— Бегуны! Красноштанники! — кричали офицеры.

Побледневший генерал поспешно вышел из толпы, сел в свою коляску и покатил.

— Мер-рзавцы!.. Продали Россию!—неслось ему вслед.

Около вокзала, вокруг вагонов, кишели толпы пьяных солдат. Летели на землю какие-то картонки, тюки, деревянные ящики. Это были вагоны офицерского экономического общества. Солдаты грабили их на глазах у всех. Вскрывали ящики, насыпали в карманы сахар, разбирали бутылки с коньяком и ромом, пачки с дорогим табаком.

— Эй, ты, ваше благородие! Гляди! — кричал мне пьяный солдат, грозя бутылкою рома.— Попировал ваш брат, будет! Дай и нам!

Другой сыпал в грязь сверкавшие, как снег, куски сахару и исступленно топтал их сапогами.

— Вот тебе твой сахар!.. Сами по пятиалтынному покупали, а солдат плати сорок!.. Разбогател солдат, сорок три с половиною копейки жалованья ему идет!.. На, ешь сахар свой!

То, что он говорил про сахар, было верно. Я уж писал об этом; в офицерских экономических обществах товары отпускались только офицерам; солдатам приходилось платить за все двойную-тройную цену в вольных греческих и армянских лавочках.

— Вот! Выпиваю! — вызывающе говорил первый солдат. Он остановился перед мордою моей лошади и демонстративно стал пить из горлышка ром. Потом оторвался от бутылки, взглянул на меня.— Ставь под ружье, ну!.. С-сукины дети!.. Сами, как черти, пьяные. «Где водку достал? Не продавать нижнему чину водки!.. Под ружье на четыре часа!..» Ну, ставь под ружье! Ставь, что ли!

С налившимся кровью лицом солдат наступал на меня. Я поехал прочь. Он кричал мне вслед ругательства.

Наш обоз медленно двигался по узким улицам Телина. Пьяные солдаты грабили китайские, армянские и русские магазины, торговцы бегали, кричали и суетились. С трудом останавливали грабеж в одном месте, он вспыхивал в другом...

Застревая в узких улицах, беспорядочным потоком двигались обозы и батареи; брели толпы солдат с болтающимися на плечах винтовками...

Мы вышли из города. Дорогу пересекала широкая, замерзшая река Ляохе. Слева прозрачно серел над рекою чудный, ажурный, как будто сотканный из паутины железнодорожный мост. Через два-три дня он был взорван на воздух перед наступавшими японцами.

Обозы переходили реку по льду. Лед был уже очень плохой, он трещал и гнулся под тяжестью повозок; из дыр, бурля, выступала вода и растекалась мутными лужами. Слева от нас тянулась по льду грязная дорога, обрывавшаяся на большой полынье: утром здесь подломился лед под обозами.

Я ехал верхом. Лошадь по колена в воде боязливо ступала на потрескивавший лед. Жутко было подумать,— что, если бы бой разыгрался всего хоть на неделю позже? Тогда была бы Березина.

В сотне шагов от реки поднимался на той стороне крутой, высокий вал. Должно быть, китайская дамба, предохранявшая поля от разливов Ляохе. Лошади и люди выбивались из сил, втаскивая повозки на этот крутой вал. И опять странно было смотреть: два десятка солдат в полчаса проложили бы сквозь вал прекрасную, ровную дорогу. Но никто этого не делал, распорядиться было некому. В армии существовало целое ведомство «военных сообщений», но где теперь находились представители этого ведомства, что они делали,— знал только один Вездесущий.

Мы перебрались через дамбу, свернули влево и пошли по «колонной» дороге вдоль железнодорожного пути.

По рельсам, обгоняя нас, мчались на север поезда, груженные спасаемым добром. Картина была невиданная: каждый вагон, как кусок сахару — мухами, был густо облеплен беглыми солдатами. Солдаты сидели на крышах вагонов, на буферах, на приступочках, на тормозах, на тендере...

Обозы прежним густым потоком двигались по широ-

кой колонной дороге. Эта дорога была заблаговременно проложена русскими, но была проложена так заблаговременно, что ко дню отступления добрая половина мостов сгнила и провалилась; обозы шли *мимо* мостов, накатывая дороги прямо через русла замерзших ручьев. Если бы была грязь, если бы были дожди?..

То-и-дело от потока обозов отделялось несколько повозок и направлялось к лежавшим в стороне китайским деревням. Было видно, как солдаты стояли на скирдах и бросали в повозки снопы каоляна и чумизы...

А на станциях высились огромные склады фуража и провианта. Рядами тянулись огромные «бунты» чумизной и рисовой соломы, по тридцать тысяч пудов каждый; желтели горы жмыхов, блестели циновки зернохранилищ, доверху наполненных ячменем, каоляном и чумизою. Но получить оттуда что-нибудь было очень не легко. Мне рассказывал один офицер-стрелок. Он дрожал от бешенства и тряс сжатыми кулаками.

— Послал я в интендантство за консервами и ячменем,— не выдали, нужно требование. Написал требование, послал,— возвращаются люди ни с чем: *требование должно быть написано чернилами, а не карандашом!..* Ну, скажите, где тут достать чернил?! Слава богу, нашелся огрызок карандаша!.. Так и ушли без всего, а назавтра все склады пожгли!

До самого последнего часа выдача каждого пуда ячменя или соломы была обставлена неодолимыми формальностями. Когда указывалось на то, что ведь все же равно придется все сжигать, начальство грозно хмурило брови и в негодовании возражало:

— Что вы такое говорите?! Об этом не может быть и речи!

А уж вдалеке гремели пушки, и трещал пачечный огонь японцев. Тогда вдруг дело менялось. Бери всякий без всяких требований, сколько хочешь и можешь, склады поливались керосином и пылали.

— И везде, везде эта тайна, глупая, никому не нужная! — измученным голосом говорил седой артиллерийский полковник.— До последней минуты все от всех скрывают, а потом дымом пускают на воздух миллионы!

Какой-то встречный генерал отдал распоряжение: «Главнокомандующий приказал гнать подводы рысью. На ночевки не останавливаться!» Но вследствие плохих мостов

и тесноты происходили постоянные остановки, мы шли медленно. За день прошли всего четырнадцать верст и остановились на ночлег в китайской деревне.

При нас была только часть из нашего уцелевшего обоза. Не было также ни главного врача, ни смотрителя. Власть главного врача перешла к старшему ординатору Гречихину, власть смотрителя — к его помощнику Бруку. И только оттого, что не было с нами тех двух людей, кругом стало чистоплотно и просторно. Команде нашей мы объявили, что применим самые строгие меры к тому, кто стащит что-нибудь у китайцев. А чтоб им не было в этом нужды, мы купили им у китайцев для топлива каоляновой соломы, условились с хозяевами, сколько заплатим за ночевку в их фанзах. И угрюмые китайцы вдруг стали к нам предупредительны и радушны. Вошел в фанзу трясущийся от дряхлости старик с редкою бородою и, улыбаясь, поставил на стол две зажженных толстых красных свечки.

— Капитана шибко шанго! — говорили китайцы, кивали головами и в знак одобрения поднимали кверху большие пальцы...

Утром мы пошли дальше, к вечеру пришли в Каюань. Там скопилась масса обозов и войсковых частей. Мы ночевали в фанзе рядом с уральскими казаками. Они ругали пехоту, рассказывали, как дикими толпами пехотинцы бежали вдоль железной дороги; Куропаткин послал уральцев преградить им отступление,— солдаты стали стрелять в казаков.

Мы уж привыкли,— теперь все ругали друг друга. Кавалерия ругала пехоту и артиллерию, пехота — кавалерию и артиллерию и т. д. Солдаты ругали офицеров и генералов, офицеры — генералов и солдат, генералы — офицеров и солдат.

Об окончании войны уральцы не хотели и слышать.

— Как войну кончать! Никогда еще этого с Россией не было. Стыдно домой ворочаться, бабы засмеют, не будут слушаться.

На юге гремели пушки. Пришел новый приказ — идти дальше на север, в Чантафу. В дороге мы узнали, что Телин взят и японцы продолжают наседать.

При переезде через какую-то речку мы нагнали уцелевшую другую часть нашего обоза. При нем были главный врач и смотритель, были также две сестры (остальные сестры были с нами).

Главный врач охотно и долго рассказывал о своих скитаниях вместе с смотрителем, о лишениях, испытанных ими в дороге. А приехавшие с ними сестры сообщали о них странные вещи. После обстрела, которому подвергся наш обоз, главный врач и смотритель исчезли, и никто их уж не встречал. Сестры ехали с частью обоза, где был и денежный ящик. Офицерского чина не было, командовал обозом унтер-офицер Сметанников. Он распоряжался умело и энергично, сестры встретили с его стороны столько заботливости, сколько никогда не видели от главного врача и смотрителя. Приехали в Телин; стали биваком. Вдруг узнают, что главный врач и смотритель здесь же, в Телине, ужинают на вокзале. Команда ужасно обрадовалась, Сметанников поскакал на вокзал. Но главный врач к обозу не поехал; он только велел Сметанникову стоять и без его распоряжения не уходить, хотя бы всем грозил плен. Переночевал обоз. На юге гремели пушки, японцы наступали. Главный врач и смотритель опять исчезли.

Сметанников не знал, что делать. Солдаты угрожающе наседали на него.

— Душегуб! Чего нам тут стоять? Видишь, все уходят!.. Старшему-то врачу хорошо говорить, его в плен возьмут, а нас раньше плена всех перережут.

А тут еще подвернулся проезжий казак.

— Дурье, чего стоите? Уходите, сейчас тут японец будет.

Посоветовался Сметанников с сестрами и решил ехать. Через полтора суток к ним, наконец, присоединились главный врач и смотритель. Сестры боялись, как бы Сметанникову не пришлось отвечать за самовольный уход. Они сказали главному врачу:

— Это мы виноваты, что обоз ушел из Телина, мы велели Сметанникову.

Давыдов равнодушно ответил:

— Конечно, так и нужно было... Чего ж там было стоять?

Догадываясь и боясь верить своей догадке, сестры осторожно оглядывались и шепотом сообщали:

— Вы знаете, у нас получилось такое впечатление,— главному врачу очень хотелось, чтоб денежный ящик попал в руки японцев...

Пахнуло таким душевным смрадом, какого не хотелось ждать даже от Давыдова. И я вспомнил: еще в са-

мом начале отступления главный врач мельком сказал, что для верности переложит деньги из денежного ящика себе в карман... Уу, воронье!..

И сколько такого воронья,— наглого, хищного и тупожадного,— кружилось над отступавшею, измученною армией и над многострадальным маньчжурским краем!

Наш обоз остановился: впереди образовался обычный затор обозов. С главным врачом разговаривал чистенький артиллерийский подполковник, начальник парковой бригады. Он только неделю назад прибыл из России и ужасно огорчался, что, по общему мнению, войне конец. Расспрашивал Давыдова, давно ли он на войне, много ли «заработал».

— Хороша у вас пара лошадок,— говорил главный врач, большой любитель лошадей.

— А что, правда, недурненькие?

— Собственные?

— Да. Купил по сорок рублей пару бракованных лошадей, их отдал в часть, а оттуда выбрал вот эту парочку. Хороши?..

Мы простояли в Чантафу двое суток. Пришла весть, что Куропаткин смещен и отозван в Петербург. Вечером наши госпитали получили приказ от начальника санитарной части третьей армии, генерала Четыркина. Нашему госпиталю предписывалось идти на север, остановиться у разъезда № 86, раскинуть там шатер и стоять до 8 марта, а тогда, в двенадцать часов дня (вот как точно!), не ожидая приказания, идти в Гунчжулин.

Но мы при отступлении потеряли половину обоза, функционировать в качестве госпиталя не имели возможности, и об этом, конечно, своевременно было сообщено генералу. Однако, приказание нужно было исполнить.

Выступили мы. Опять по обеим сторонам железнодорожного пути тянулись на север бесконечные обозы и отступавшие части. Рассказывали, что японцы уже взяли Каюань, что уже подожжен разъезд за Каюанем. Опять нас обгоняли поезда, и опять все вагоны были густо облеплены беглыми солдатами. Передавали, что в Гунчжулине задержано больше сорока тысяч беглых, что пятьдесят офицеров отдано под суд, что идут беспощадные расстрелы.

Часа в четыре дня мы пришли на назначенный разъезд. Полная пустыня,— ни одной деревеньки вблизи, ни реки, ни деревьев; только один маленький колодезь, в котором воды хватало на десяток лошадей, не больше. Главный врач телеграфировал Четыркину, что на разъезде нет ни дров, ни фуража, ни воды, что госпиталь функционировать здесь не может, и просил разрешения стать где-нибудь на другом месте.

Переночевали. Ответа на телеграмму не было. Но теперь, с расшатавшеюся спайкою, все делалось очень легко и просто. Мы снялись без разрешения и пошли к Сыпингаю.

Сыпингай кишел войсками и учреждениями. У станции стоял роскошный поезд нового главнокомандующего, Леневича. Поезд сверкал зеркальными стеклами, в вагоне-кухне работали повара. По платформе расхаживали штабные,— чистенькие, нарядные, откормленные,— и странно было видеть их среди проходивших мимо изнуренных, покрытых пылью офицеров и солдат. Рождалась злоба и вражда.

Шли и расползались волнующие, зловещие слухи: японцы уже в двадцати верстах от Сыпингая; Ноги с шестидесятитысячною армиею подходит с тыла к Гирину; японцы захватили часть обоза Куропаткина, и в их руки попали планы обороны Владивостока. Общее впечатление было, что продолжать войну совершенно немыслимо, что войска деморализованы до крайней степени. У всех на устах было одно слово — «Седан». А между тем сообщали, что в Петербурге решено продолжать войну во что бы то ни стало, что главнокомандующим, «для подъема духа армии», назначается великий князь Николай Николаевич...

Все вокруг давало впечатление безмерной, всеобщей растерянности и непроходимой бестолочи. Встретил я знакомого офицера из штаба нашей армии. Он рассказал, что, по слухам, параллельно нашим войскам, за пятнадцать верст от железной дороги, идет японская колонна.

— Но ведь это же можно верно установить разведками! — с недоумением возразил я.

— Э, вы не можете себе представить, что сейчас делается в штабах! Это сказка какая-то, которой свежий человек не поверит. Казалось бы, чего уж горячей время, чем теперь, штабы должны бы работать день и ночь. А все сидят сложа руки. Я себе *выдумал* дело, чтоб не ви-

деть, что кругом... И только один горячий, поднимающий интерес у всех — к наградам. Только о наградах везде и говорят.

Рассказывали много анекдотов про осведомленность японцев.

К нашему генералу приводят пленного японского офицера. Генерал в это время отдает приказание ординарцу:

— Поезжайте сейчас же к командиру N-ского полка и передайте ему то-то.

— А где, ваше превосходительство, стоит полк?

— Где?.. Как ее, деревню эту?

Генерал припоминает и беспомощно щелкает пальцами. Японец предупредительно приходит ему на помощь.

— N-ский полк, ваше превосходительство, стоит в деревне Z.

Другой анекдот:

Казак доставляет в штаб человека в русской офицерской форме и докладывает, что поймал переодетого японского шпиона.

— Да это русский офицер!

— Никак нет, японец.

— Да русский же. Что ты говоришь?

— Японец, верно говорю: первое — больно хорошо по-русски говорит, а главное,— великолепно знает расположение наших войск.

Мы простояли в Сыпингае несколько дней и 8-го марта, в 12 ч. дня, исполняя предписание генерала Четыркина, выступили в Гунчжулин.

Теперь дороги были просторны и пусты, большинство обозов уже ушло на север. Носились слухи, что вокруг рыщут шайки хунхузов и нападают на отдельно идущие части. По вечерам, когда мы шли в темноте по горам, на отрогах сопок загадочно загоралась сухая прошлогодняя трава, и длинные ленты огня ползли мимо нас, а кругом была тишина и безлюдие...

Кое-где в встречных деревнях стояли сторожевые охранения в одну или две роты. Однажды утром проехали мы такую деревню, спускаемся на равнину. По лощине, сломя голову, мчалось штук пять черных китайских свиней, а за ними, широко вытянувшись по равнине, бежали солдаты с винтовками. Иногда то тот, то другой

солдат приседал, делал что-то непонятное и бежал дальше. Наша команда с жадным, сочувственным интересом следила за происходившим.

— О, здорово! Попал... Кувыркнулась!

— Нет, мимо. Ранил только... Опять побежала.

— «Побежала»! Где ж побежала? Вон штыком прикалывает.

Солдаты стреляли по свиньям; ветер дул от нас, и выстрелов не было слышно, только слабо сверкали огоньки у дул винтовок.

Четыре солдата бежали свиньям наперерез. Один присел, выстрелил с колена — мимо. Пуля, ноя, пронеслась над нашими головами. Солдаты, как маленькие ребята, все забыли, увлекшись охотою. Мелькали огоньки выстрелов, свистели пули...

Не верилось глазам: это — в двух шагах от японцев, это — в то время, когда ложная боевая тревога может повести к неисчислимым бедствиям!

Из-за горки показались три осторожно вглядывающихся казака с пиками. Солдаты с торжеством тащили к деревне убитых свиней.

В облегченном оживлении от отсутствия жданной опасности, казаки подскакали к солдатам и стали их ругать. Возмущенный главный врач кричал:

— Эй, казаки! Арестовать их!.. Веди их сюда!

Казаки подвели двух испуганных солдат с белыми, как известка, лицами. Один был молодой, безусый парень, другой — с черною бородкою, лет за тридцать. Казаки рассказывали:

— Шла наша сотня вдоль пути, вдруг слышим,— пальба, над головами зазыкали пули. Командир послал нас разведать, а это они, подлецы!

— Отверни штыки! — распоряжался главный врач.— Посмотреть, заряжены ли у них винтовки!.. Ах-х, вы, сукины дети, а? Под суд без разговоров!.. Иди за нами!

Казаки поскакали догонять свою сотню. Мы двинулись дальше, сопровождаемые арестованными. Они шли, медленно ворочая широко открытыми глазами, бледные от неожиданно свалившейся беды. Наши солдаты сочувственно заговаривали с ними.

На берегу реки, под откосом, лежал, понурив голову, отставший от гурта вол. У главного врача разгорелись

глаза. Он остановил обоз, спустился к реке, велел прирезать быка и взять с собой его мясо. Новый барыш ему рублей в сотню. Солдаты ворчали и говорили:

— Может, он больной какой! Все равно, не станем его есть!

Главный врач притворялся, что не слышит ворчаний, тыкал пальцем в окровавленное легкое и говорил:

— Э!.. Совсем здоровый! Прямо грех столько мяса бросать на дороге!

К арестованным не было приставлено караула. Они воспользовались отвлеченным от них вниманием и скрылись.

Пришли мы в Гунчжулин. Он тоже весь был переполнен войсками. Помощник смотрителя Брук с частью обоза стоял здесь уже дней пять. Главный врач отправил его сюда с лишним имуществом с разъезда, на который мы были назначены генералом Четыркиным. Брук рассказывал: приехав, он обратился в местное интендантство за ячменем. Лошади уже с неделю ели одну солому. В интендантстве его спросили:

— Ваш госпиталь откуда?

— Из-под Мукдена.

— А, из-под Мукдена! Нет вам ячменю: мы беглым не даем!

И не дали... Здесь сказался тот удивительный «патриотизм», которым так блистал в эту войну тыл, ни разу не нюхавший пороху. Все время, до самого мира, этот тыл из своего безопасного далека горел воинственным азартом, обливал презрением истекавшую кровью армию и взывал к «чести и славе России».

Но нужно и то сказать: героизм, отвага, самопожертвование были там, назади; а здесь больше всего бросалась в глаза человеческая трусость, бесстыдство, моральная грязь,— все темные отбросы, которые в первую очередь выплеснула из себя гигантская волна отступавшей армии.

В буфете встретил я офицерика одного из наших полков: командир его роты был убит в самом начале боя, и командование перешло к нему.

— Вы как здесь?

Он весело ответил.

— Да вот, заболел! Ревматизм в ногах. Обращался в госпиталь, не принимают.

— И давно вы здесь?

— Недели полторы.

— Кто же вашею ротою командует?

— Там у нас зауряд-прапорщик один есть.

— А что же вы тут делаете?

— Поджидаю наш полк.

Он его здесь поджидает!.. И сам — весело-беззаботный, жизнерадостный, даже не понимающий позора своего поступка.

На поездах, шедших на север, все проезжали беглые солдаты. Были командированы специальные офицеры ловить их. Сидит такой офицер в вагоне-теплушке. В вагоне темно, снаружи ярко светит месяц. Вырисовывается фигура лезущего в вагон солдата с винтовкой.

— Эй, борода, куда?

— Ничего, землячок, я один!

— Ты куда едешь-то?

— Да повка своего ищу.

— Это ты в Харбин едешь «повка» своего искать?

И солдата арестовывали.

Знакомый врач, заведывавший дезинфекционным поездом, рассказывал мне. При отступлении от Мукдена в свободный вагон-теплушку набились раненые офицеры.

Приехал поезд в Куачендзы. Вдруг многие из «раненых» скинули с себя повязки, вылезли из вагона и спокойно разошлись в разные стороны. Повязки были наложены на здоровое тело!.. Один подполковник, с густо забинтованным глазом, сообщил доктору, что он ранен снарядом в роговую оболочку. Доктор снял повязку, ожидая увидеть огромную рану. Глаз совсем здоровый.

— Куда же вы ранены?

— Я не ранен, а этого... Как это называется? Близко, знаете, пролетел снаряд... Контузия... Я контужен в роговую оболочку.

Теперь был полный простор для деятельности главного инспектора госпиталей Езерского, о котором я уже немало рассказывал. Бывший полицмейстер попал в свою сферу. Он рыскал по станциям, рыскал по поездам, устраивал форменные обыски и облавы. Рассказывали, что он нашел в поезде двух офицеров, спрятавшихся от него под пустой котел на вагоне-платформе. Но генерал Езер-

ский не ограничивался ловлею беглых в товарных и пассажирских поездах. То же самое он проделывал и в поездах санитарных. Проверял и отменял диагнозы врачей, высаживал больных, которых признавал здоровыми. По-видимому, деятельность его, наконец, обратила на себя внимание; его перевели куда-то в тыл, кажется, во Владивосток.

Наступление японцев остановилось. Понемножку все начинало приходить в порядок. Связи между частями восстанавливались.

Ходили слухи, что разъезды наши нигде не могут найти японцев. Все они куда-то бесследно исчезли. Говорили, что они идут обходом по обе стороны железной дороги, что одна армия подходит с востока к Гирину, другая с запада к Бодунэ.

Поздно вечером 14 марта наши два и еще шесть других подвижных госпиталей получили от генерала Четыркина новое предписание,— завтра, к 12 ч. дня, выступить и идти в деревню Лидиатунь. К приказу были приложены кроки местности с обозначением главных деревень по пути. Нужно было идти тридцать верст на север вдоль железной дороги до станции Фанцзятунь, а оттуда верст двадцать на запад.

Все наши войсковые части стояли здесь, в Гунчжулине. Для чего же нам было идти туда, какая цель? Но не наше дело рассуждать. Отправились.

Погода изменилась. Было хмуро, холодно и ветрено. К вечеру засеял мелкий дождь, а в сумерках пошел мокрый снег. Мы переночевали у разъезда в крепости пограничников, утром двинулись дальше. По данной схеме пора было сворачивать влево, вдали виднелась станция Фанцзятунь. Мы спрашивали встречных китайцев, где деревня Лидиатунь. Все дружно указывали на восток от железной дороги. А наша схема указывала на запад. Тогда мы стали спрашивать о попутных деревнях, нанесенных на нашу схему,— Дава, Хуньшимиоза. Их китайцы указывали на запад.

Главный врач нанял китайца-проводника, но, по своей торгашеской привычке, не условился предварительно о цене, а просто сказал, что «моя тебе плати чен (деньги)». Китаец повел нас. Снег все падал, было холодно и мокро.

Подвигались мы вперед медленно. К ночи остановились в большой деревне за семь верст от железной дороги.

Кругом ни намека на присутствие русских войск, ни одного солдата, ни одного казака. Только китайцы. Проехали мимо другие госпитали, отправленные вместе с нами. Все недоумевали, все ругали Четыркина.

— Куда же это он нас посылает? Куда-то в глубь Китая, совсем одних! Что мы там будем делать?

— Просто, должно быть, ткнул перстом в карту, куда попало: направить мои госпитали вот сюда! А начальство будет видеть, что он не сидит без дела, чем-то занят, что-то распределяет...

Мы ночевали в большой богатой фанзе у старика-китайца с серьезным, интеллигентным лицом. Главный врач, как он всегда делал на остановках, успокоительно потрепал хозяина по плечу и сказал, чтоб он не беспокоился, что за все ему будет заплачено.

Снег все падал,— мелкий, медленный, без ветра. К утру его напало с четверть аршина, и кругом был совсем зимний вид. Главный врач решил переждать здесь день, чтобы дать отдохнуть лошадям. Было скучно и тоскливо...

Наутро мы собрались уезжать. Главного врача обступили китайцы, у которых он брал фураж, дрова, у которых в фанзах ночевали нижние чины. Главный врач, как будто занятый каким-то делом, нетерпеливо говорил:

— Да подождите вы! Потом!

Обоз был готов, главному врачу подвели верховую лошадь.

— Ну, получите! — торопливо сказал главный врач и стал оделять обступивших его китайцев. Кому дал полтинник, кому рубль. Нашему хозяину дал пятирублевку.

Китайцы загалдели, стали через нашего проводника-переводчика высчитывать, сколько у них солдаты пожгли дров и каоляновой соломы, сколько взяли для лошадей чумизы. Наш хозяин ничего не говорил. Он только держал в руках пятирублевку и грустно, как будто стыдясь за Давыдова, смотрел на него.

— Ничего вам больше не будет! Вот мошенники, а?— сердито говорил главный врач...

Мы негодующе вмешались:

— Отчего вы в таком случае не сговариваетесь с ними заранее насчет цены? Нужен каолян, нужна чумиза,— купите и заплатите деньги. А вы берете просто, не

торгуетесь, даже не контролируете, сколько забирают солдаты.

— Это такие подлецы, рады шкуру содрать!

— Не знаю, мы без вас когда ехали, всегда отлично устраивались с китайцами, и никаких у нас недоразумений не бывало.

— Довольно! Цуба (прочь)! — крикнул Давыдов на китайцев и сел на свою лошадь.— Едем!.. Ходя (приятель), веди! — обратился он к проводнику.

Проводник смотрел на него негодующими глазами.

— Моя не хочет! — заявил он.

Главный врач опешил.

— Я тебе два рубля заплачу,— лянга рубли! — сказал он, подняв кверху два пальца.

Проводник мотнул головою и пошел прочь.

Мы поехали без проводника. В соседней деревне Давыдов нанял другого китайца вести нас в Лидиатунь.

Новый проводник был здоровенный парень с обмотанною вокруг макушки толстою косою, с наглыми, чему-то смеющимися глазами. Он шел впереди обоза, опираясь на длинную палку, ступая по снегу своими китайскими броднями с характерными ушками на тыле стопы. Было морозно, снег блестел под солнцем. Дороги были какие-то глухие, мало наезженные. Далеко назади осталась железная дорога, по снегу чуть слышно доносились свистки и грохот проходящих поездов. Наконец, и эти звуки утонули в снежной тишине.

Мы шли и шли дальше. Нигде ни одного русского лица. Деревень здесь почти не было, были отдельные густо рассеянные хутора по три, по четыре фанзы вместе. Китайцы у ворот внимательно и по обычному молчаливо-бесстрастно провожали нас взглядами.

Сияло солнце, сверкал снег. Солдаты инстинктивно жались ближе к повозкам. Проводник в меховом треухе молча шагал впереди обоза, опираясь на длинную палку и все смеясь чему-то своими наглыми, выпуклыми глазами.

— Ваше благородие, это что же,—китайский Сусанин нас ведет? — спросил меня каптенармус.

Было очень похоже на то...

Дошли мы наконец до деревни Хуньшимиоза. Здесь окончательно узнали, что никакой Лидиатуни в округе нет, есть деревни Лидиу и Лидиафань. Вдали виднелись стоянки раньше пришедших госпиталей. Они расположились

в большой деревне Лидиафань. Все фанзы были заняты, нам не осталось ни одной. И здесь у всех было ощущение недоумения и заброшенности. Один из госпиталей ночевал вчера в деревне, где накануне, по словам китайцев, провел ночь большой отряд хорошо вооруженных хунхузов.

Наш госпиталь стал в небольшом хуторе версты за две от Лидиафани.

Китайцы поспешно уносили на коромыслах куда-то вдаль корзины и мешки с имуществом. Наши хозяева любезно разговаривали с нами, любезно улыбались и в то же время озабоченно и быстро переговаривались между собою, поглядывая на расхищаемые солдатами стожки каоляна. Смотритель всегда равнодушно и лениво допускал грабеж. Но теперь он вдруг набросился на солдат и грозно заявил, что если кто-нибудь хоть хворостину возьмет у китайцев без его разрешения, он того сейчас же отдаст под суд.

Теперь, когда кругом запахло опасностью, смотритель резко изменился. Стал скромен и задумчив, вдруг вспомнил о своих правах и начал сам, помимо главного врача, закупать провиант и фураж, за все платя наличными деньгами. Главный врач хмурился и ссорился с ним, но смотритель был теперь тверд и решителен. Китайцы нашли в нем себе горячего защитника. За командою своею он строго следил, чтоб не грабили. Повеяло маленькою опасностью, маленькою возможностью отпора,—и вдруг так легко оказалось устраиваться с китайцами, не обижая их!

Мы простояли день, другой. На имя главного врача одного из госпиталей пришел новый приказ Четыркина,— всем госпиталям развернуться, и такому-то госпиталю принимать тяжело-раненых, такому-то — заразных больных и т. д. Нашему госпиталю предписывалось принимать «легко-больных и легко-раненых, до излечения». Все хохотали. Конечно, ни один из госпиталей не развернулся, потому что принимать было некого.

Снег понемножку таял. Стояла холодная черно-белая слякоть. Ночи были непроглядно-темные. Вокруг хутора у нас ходил патруль, на дворе и у ворот стояло по часовому. Но в двух шагах не было ничего видно, и хунхузы легко могли подойти без выстрела к самому хутору. А

они были теперь вооружены японскими винтовками, обучены строю и производили наступление по всем правилам тактики.

Однажды поздно вечером, когда мы уже ложились спать, по дороге, а затем на дворе нашей фанзы раздался частый, дробный топот скачущей лошади. Вошел чужой, бледный солдат и подал смотрителю записку. Она была от смотрителя соседнего госпиталя.

«По дошедшим слухам, этою ночью большая партия хунхузов собирается произвести нападение на наши госпитали, о чем сообщаю Вам для сведения».

По всем душам пронеслась тревога. Смотритель побледнел и послал денщика за фельдфебелем.

— У вас там, кажется, есть охранная рота? — спросил он солдата, привезшего записку.

— Так точно.

Смотритель послал с ним записку, в которой просил, ввиду нашего отдаленного нахождения, прислать нам в подмогу взвод из охранной роты.

Своих штыков у нас было восемьдесят пять, считая денщиков и кашеваров. Сорок солдат оцепили со всех сторон наш хутор, остальным приказано было спать одетыми, с заряженными винтовками под рукою. На дворе было темно, как в погребе. Мы и фельдшера осматривали свои револьверы...

Час шел, другой. Охранного взвода не прислали. Смотритель, обвешанный поверх шинели оружием, сидел и чутко прислушивался. Остальные дремали. Как глупо! Как все глупо!.. Сидим здесь,— без толку, без цели. Может быть, сейчас придется драться до последнего вздоха, чтобы живьем не попасть в руки людей, которых мы же озлобили до озверения. И для чего все?

На столе лежала книжка «Buch der Lieder». Гречихин, практикуясь в немецком языке, читал ее. Открыл я книжку...

Am Ganges duftet's und leuchtet's,
Und Riesenbäume blühn,
Und schöne, stille Menschen
Vor Lotosblumen knien.

Старые, знакомые, прекрасные звуки... Раскрылось перед душою что-то важное, чистое и светлое. И так это было удивительно-далеко от всей окружающей темноты, слякоти, близости ненужной крови...

Нападения в эту ночь не было. Вероятно, китайцы сообщили хунхузам, что мы предупреждены и приготовились к нападению.

Наутро мы решили перебраться в деревню, где стояли остальные госпитали, чтобы быть вместе. Главный врач уезжал в казначейство на станцию Куанчендзы и написал письмо старшему в чине главному врачу; в письме он просил потесниться и дать в деревне место нашему госпиталю, так как, на основании приказа начальника санитарной части третьей армии, мы тоже должны стоять в этой деревне. Шанцер и я поехали с письмом.

Нас принял высокий, сухой старичок с седенькою бородкою, с погонами статского советника. Он медленно и методически перечитал письмо Давыдова. Один раз, потом другой, третий.

— Тут написано: «на основании приказа»... Какого приказа? — спросил он.

— Как какого? Да этот приказ был переслан нам за вашею же подписью.

— Ах, этого... Но ведь тут нет места, все занято. Чем же вам там плохо?

Мы объяснили, что стоим одиноко и, в случае нападения хунхузов, окажемся совсем беспомощными.

— Хунхузов боитесь? — с усмешечкою спросил старичок.— Но ведь у вас же есть команда, она вооружена винтовками.

— У вас здесь в деревне семь команд и целая охранная рота, и то сегодня ночью вы не дали нам даже взвода.

— Гм! — Старичок замолчал, как будто не слышал нашего возражения.

— А здесь все расположились очень широко,— продолжал Шанцер.— В вашем госпитале, например, отдельная большая фанза отведена под канцелярию, отдельная — под аптеку. Это чрезмерная роскошь.

Старичок задумчиво смотрел на письмо, потом взглянул на наши погоны.

— Вы ведь младшие ординаторы?

— Да.

— Ну, с вами я, во всяком случае, решать этот вопрос никак не считаю возможным. Я пришлю сегодня вашему главному врачу письмо с предложением пожаловать ко мне завтра в десять часов утра, мы с ним дело и обсудим... Больше ничем не могу служить?

Мы пили чай у младших врачей его госпиталя. И у них было, как почти везде: младшие врачи с гадливым отвращением говорили о своем главном враче и держались с ним холодно-официально. Он был когда-то старшим врачом полка, потом долго служил делопроизводителем при одном крупном военном госпитале и оттуда попал на войну в главные врачи. Медицину давно перезабыл и живет только бумагою. Врачи расхохотались, когда узнали, что Шанцер нашел излишним отдельное большое помещение для канцелярии.

— Да ведь в ней для него вся душа госпиталя! Врачи, аптека, палаты,— это только неважные придатки к канцелярии! Бедняга-письмоводитель работает у нас по двадцать часов в сутки,— пишет, пишет... Мы живем с главным врачом в соседних фанзах, встречаемся десяток раз в день, а ежедневно получаем от него бумаги с «предписаниями»... Посмотрели бы вы его приказы по госпиталю,— это целые фолианты!

Сам старичок, оказалось, ужасно перетрусил, узнав о готовящемся нападении хунхузов, и слышать не хотел, чтоб послать нам на помощь хоть одного солдата.

Зашли мы с врачами еще в другой госпиталь. Там главный врач оказался человеком, но его госпиталь и сам помещался очень тесно: все помещения захватил старичок статский советник. Как раз вошел и сам старичок.

— Вот-с, слышали? Они хунхузов боятся! — с усмешечкою сообщил он.

— Да понятное дело! Какой же смысл там оставаться? — возразил главный врач, у которого мы сидели.— Загнали нас сюда к черту на кулички,— разумеется, нужно держаться всем вместе!

— И что это за удивительное распоряжение Четыркина! — засмеялся Шанцер.— Какой был смысл загнать нас сюда?

— Это не наше дело рассуждать! — строго и сухо заметил старичок.— Вы сами, может быть, еще хуже распорядились бы.

— Ну, хуже уж, кажется, трудно! — усмехнулся один из его врачей.

Заговорили о мукденском разгроме, о видах на мир.

— И когда вся эта грязная история кончится! — вздохнул кто-то.

Старичок широко и недоумевающе раскрыл глаза.

— Какая грязная история? О чем вы говорите?..

Назавтра мы перебрались в их деревню, а через два дня пришел новый приказ Четыркина,— всем сняться и идти в город Маймакай, за девяносто верст к югу. Маршрут был расписан с обычною точностью: в первый день остановиться там-то,— переход 18 верст, во второй день остановиться там-то,— переход 35 верст, и т. д. Вечером 25 марта быть в Маймакае. Как мы убедились, все это было расписано без всякого знания качества дороги, и шли мы, конечно, не руководствуясь данным маршрутом.

От привезшего приказ офицера мы узнали приятную весть: наш корпус переводится из третьей армии во вторую. Значит, мы уходим из-под попечительной власти генерала Четыркина.

Утром мы выступили в поход.

Снег стаял, дороги были еще грязные, но начинало обсыхать. На полях виднелись работающие китайцы. Они выворачивали мотыками из гряд каоляновые корни, вывозили на поля кучи перегною...

Через три дня мы пришли в Маймакай. Город был битком набит войсками и бежавшими из деревень жителями. Жутко было войти в фанзу, занятую китайцами. Как разлагающийся кусок мяса — червями, она кишела сбитыми в кучу людьми. В вони и грязи копошились мужчины, женщины и дети, здоровые и больные.

В штабе и лазарете говорили о возможности близкого отступления. Рассказывали, что впереди на восемьдесят верст нигде не находят японцев, что они где-то глубоким обходом идут на север. Рассказывали, что японцы прислали нам приглашение разговеться у них на пасху в Харбине. Вспоминали, как они недавно приглашали нас на блины в Мукден... Решено, как передавали, бросить сыпингайские позиции и отступить за Сунгари, к Харбину.

X

В ОЖИДАНИИ МИРА

Нас поставили за несколько верст к северу от Маймакая, близ Мандаринской дороги.

Днем дул сильный ветер. К вечеру он затих, заря нежно алела. Недалеко от нашей стоянки, у колодца,

столпилась кучка солдат-артиллеристов. Я подошел. На земле, вытянув морду, неподвижно лежала лошадь, она медленно открывала и закрывала глаза. Около стоял артиллерийский штабс-капитан. Мы откозыряли друг другу.

— Что это, больна лошадь? — спросил я.

— Да... Все время еле ходила. А сейчас напоили, она вот упала и не может встать. Зад отнялся... Все — следствие 25 февраля,— прибавил капитан, понизив голос, чтобы не слышали солдаты.— Масса лошадей надорвалась за отступление, дохнут теперь, как мухи.

— Вы здесь, поблизости стоите?

— Да, вон в том хуторе на ночевку остановились. Завтра опять идем.

— Куда?

— Куда! Конечно, на север! — с усмешкою ответил капитан.

— А что слышно про японцев?

— Говорят, уже под Гирином.— Мы пошли с ним прочь от колодца.— А вы слышали? С 18 марта ведутся мирные переговоры.

— Да что вы?

— Сегодня в штабе армии нашей получено известие: государь созвал земский собор, объявил, что война оказалась для нас неудачною и что приходится заключить мир.

Пришел я домой, рассказал нашим. Никого из нижних чинов в фанзе не было. Но уж через пять минут по всем дворам, по всем фанзам, везде оживленно разговаривали солдаты, слышались радостные расспросы, смех. И везде звучало:

— Восемнадцатого марта... Восемнадцатого марта...

На тихом небе, над закатом, светился узкий серп молодого месяца. На душе было светло и радостно, хотелось говорить, говорить с каждым встречным о том, что кончилось кровавое безумие, хотелось верить самому и уверить других. И везде звучало:

— Восемнадцатого марта... Восемнадцатого марта...

Ко мне подошли два солдата.

— Ваше благородие, правду говорят, замирение будет?

— Говорят.

— А скажите, как,— придется *ему* платить?

— Вероятно, придется.

Они печально задумались.

— Нет, тогда лучше дальше воевать, а то что же?

— И чего это царь думал, когда войну зачинал! — вздохнул другой.

Только что произошел невероятный, небывалый в нашей истории разгром русской армии. А повсюду все говорили только об одном,— о наградах. Штабы кишели бесчисленными представлениями к наградам, награды посыпались, как из рога изобилия.

Наблюдалось то же самое, что и после боя на Шахе, после Ляоянского боя, после всех предыдущих боев. Чуть не ежедневно в приказах по армиям появлялись длиннейшие списки лиц, награжденных боевыми отличиями. Если бы подсчитать все эти тысячи Станиславов, Анн и Владимиров с мечами, этих бесчисленных солдатских Георгиев, то можно бы подумать, что была победоноснейшая из всех войн, увенчавшая нашу армию славнейшими лаврами. Как будто этим ливнем из крестов армия хотела скрыть от себя и других тот стыд, который тайно грыз ее; как будто хотела показать, сказать всему миру: да, почему-то нас упорно преследуют беспросветные неудачи, но каждый генерал, каждый офицер, каждый солдат оказывает чудеса мужества, это сплошь — выдающиеся герои.

Офицеры, бывшие на русско-турецкой войне, поражались этим обилием наград. В то время, по их словам, не было ничего необычайного, что офицер, участвовавший в двух-трех крупных боях, не имел ни одной награды. Красный анненский темляк «за храбрость», какой-нибудь маленький орден с мечами были уже ценными отличиями. Теперь же красный темляк,— в офицерском просторечии именуемый «клюквою» или «брусникою»,— почти сделался простым ярлыком, свидетельствовавшим только, что данный офицер участвовал в бою. В штабах прямо говорили, что уж две-то «очередных» награды за войну получит каждый. Командир 10 армейского корпуса, известный К. В. Церпицкий,— один из немногих генералов, оказавшихся достойными своего поста,— был вынужден издать по своему корпусу следующий странный приказ:

В будущем *строго воспрещаю представлять к наградам всех офицеров поголовно (!!)*, а представлять только заслуживающих наград своей храбростью, мужеством, распорядительностью и истинным

исполнением лежащих на них обязанностей. (*Приказ войскам 10 арм. корпуса,* 1905, № 39).

Как-то встретил я одного артиллерийского офицера-неудачника, не получившего за всю войну ни одной награды. Он острил: «Пошлю свою карточку в «Новое Время»: офицер, не получивший на театре войны ни одной награды». И это, действительно, было такою редкостью, что карточка вполне заслуживала помещения в газете.

Боевые награды, ордена с мечами, получали интенданты, контролеры, тыловые врачи. Такая крупная награда, как Владимир с мечами, давалась штабным офицерам за «разновременные отличия в делах против японцев». Станислава второй степени с мечами, также «за отличие в разновременных делах с японцами», получил от Куропаткина... «корреспондент, потомственный дворянин Немирович-Данченко»! (*Приказ главноком.,* 1904, № 755).

Особенно щедро награждались штабные, и против них в армии было сильное озлобление. Налетавшие в штабы из столиц офицеры со связями откровенно называли свои поездки в армию «крестовым походом». Передавали,— конечно, анекдотическое, но очень характерное,— рассуждение такого офицера: «Вполне понятно, что офицер на передовых позициях получает красный темляк, а я — Владимира. Ведь он при этом сразу имеет две награды: во-первых,— темляк, во-вторых,— то, что остался жив; а что может быть выше этой награды? Мне же и вся-то награда только в ордене».

Уважение к орденам в армии сильно пало. В России, увидев обвешанного боевыми отличиями офицера, люди могли почтительно поглядывать на него, как на героя. Здесь, при виде такого офицера, прежде всего каждому приходила мысль:

— Охлопота-ал!..

Столь же щедро и бестолково сыпались награды и на нижних чинов. Высшее начальство, обходя госпитали, по собственной воле вешало георгиевские кресты тем, кому хотело. Разумеется, боевых заслуг раненых начальство не знало,— и кресты вешались тем, кто попадался на глаза, кто умел хорошо ответить начальству, кто возбуждал сожаление тяжестью своих поранений. Рассказывали,— и если даже это неправда, то характерна самая возможность таких рассказов,— будто Линевич, обходя госпиталь, повесил георгиевский крест на грудь тяжело раненному сол-

дату, солдата же этого, как оказалось, пристрелил его собственный ротный командир за отказ идти в атаку. В Мозысани у нас лежал один солдат, которому пришлось ампутировать руку: полк был на отдыхе далеко за позициями, залетел шальной 6-дюймовый снаряд и оторвал солдату кисть руки. Случайно его увидел у нас его корпусный командир и «из жалости» выхлопотал солдату георгиевский крест. За солдата было очень приятно, но какою же это являлось профанациею «боевой» награды! Вместе с солдатом тем же снарядом было ранено несколько волов из порционного гурта. Ведь эти волы ничуть не в меньшей мере заслуживали георгиевского креста, чем солдат.

Быть на глазах начальства, тереться около начальства — это было весьма важно для получения награды. В приложении к приказу главнокомандующего (Линевича) от 19 сентября 1905 года за № 2011 объявлено, что награждаются серебряною медалью с надписью «за усердие» на Станиславской ленте «за труды и отлично-усердную службу» *прислуга поезда главнокомандующего,*— проводники вагонов такие-то (семь человек) и смазчик такой-то. Я нисколько не сомневаюсь, что все эти лица «отлично-усердно» несли свою легкую службу в поезде главнокомандующего, стоявшем целыми неделями на одном месте. Но вообще приказы были *очень* небогаты награждениями поездной прислуги. А я видел, как «отлично-усердно» несли свою крайне-тяжелую службу проводники и смазчики воинских и санитарных поездов.

Если даже признать вообще пользу отличий и орденов, то все-таки совершенно неоспоримо, что так, как награждения были поставлены в нашей армии, они приносили только вред. Странно награждать за простое исполнение долга,— ведь за неисполнение долга жестоко наказывают. Предполагается (всякий профан так именно и смотрит на боевой орден), что награжденный совершил что-то особенное, исключительное, из ряду выходящее. Но ведь таких на всю армию могут быть только десятки, ну сотня-другая. Слава их подвигов должна греметь по всему миру, имена их должны быть известны всякому. У нас же награжденных были многие тысячи, и о «подвигах» большинства можно было узнать только из наградных списков.

Понятно, что только о наградах везде и говорили, только о наградах и думали. Они мелькали кругом, маня и

дразня, такие доступные, такие мало-требовательные. Человек был в бою, вокруг него падали убитые и раненые, он, однако, не убежал,— как же не претендовать на награду?

Подобно офицерам, и солдаты каждый свой шаг начинали считать достойным награды. В конце года, уже после заключения мира, наши госпитали были расформированы, и команды отправлены в полки. Солдаты уходили, сильно пьяные, был жестокий мороз, один свалился на дороге и заснул. Его товарищ воротился за полверсты назад и сказал, чтобы пьяного подобрали. Назавтра он является к главному врачу и требует, чтоб его представили к медали «за спасение погибавшего».

— Ты с ума сошел?!

— Никак нет! Я вас покорнейше прошу, как я его спас, то желаю медали... Как вам будет угодно!

— Да, дурья голова, пойми ты! Медаль дается, когда человека спасают с опасностью жизни. А ты что,— версту лишнюю прошел, и за это требуешь медали!

— Как вам будет угодно! Не представите, буду жаловаться... За что обижаете?

Мы, младшие врачи госпиталя, были уже представлены главным врачом к Станиславу третьей степени и получили его за полное ничегонеделание в бою на Шахе. Теперь, после мукденского боя, главный врач представил нас к Анне третьей степени с мечами. Сестер он представил к золотым медалям на анненской ленте, а старшую сестру, уже имевшую золотую медаль,— к серебряной медали на георгиевской ленте. В мотивировке представления было сказано, что мы перевязывали раненых под огнем неприятеля. Мы смеялись и возражали, что перевязывать мы уж потому не могли, что у нас не было даже перевязочного материала. Только старшая сестра, которой для службы в ее общине очень была важна георгиевская ленточка, упорно, под всеобщими улыбками, утверждала, что она перевязывала под огнем. Главный врач всех нас в душе ненавидел, мы, не стесняясь, смеялись при нем над наградами, но он все-таки представлял нас к орденам, потому что это было выгодно; если отличились все его подчиненные,— ясно, и сам он заслуживал награды.

В Султановском госпитале дело было поставлено еще шире. Султанов представил Новицкую к золотой медали на георгиевской ленте, остальных сестер — к серебряным медалям на георгиевской ленте. Обо всех, разумеется, также было написано, что они перевязывали раненых под огнем неприятеля и что при этом особенно отличилась своею самоотверженностью сестра Новицкая.

Но начальник дивизии был у нас теперь другой. Еще к новому году прежний начальник дивизии, вялый и покладистый старик, расстроился нервами и эвакуировался в Россию. На его место попал генерал умный, энергичный и самостоятельный. В конце мукденского боя, во время всеобщей паники, он в порядке привел свою дивизию с левого фланга к железной дороге и задержал наседавших японцев. Рассказывали, что Куропаткин сказал ему: «встречаю первого генерала, который не потерял головы». Этот генерал совсем не хотел считаться с особенными симпатиями, которые питал корпусный командир к султановскому госпиталю. За неделю до мукденского боя он делал инспекторский смотр обоим нашим госпиталям, нашел у Султанова людей плохо устроенными, лошадей худыми, изнуренными, отчетность запущенною и в приказе по дивизии сделал всемогущему Султанову резкий выговор.

Теперь начальник дивизии запротестовал против султановского представления сестер к наградам. Он не находил никаких оснований выделять Новицкую из других сестер: если она, действительно, заслуживает золотой медали, то одинаково заслуживают ее и другие сестры. Заносчивая Новицкая ужасно этим возмущалась. Султанов давал обед. За одним столом сидела «знать»,— корпусный командир, начальник штаба, Новицкая и Султанов, за другим — остальные сестры и штабные чином помельче. Адъютант сообщил сестрам, что всех их собираются представить к золотым медалям. Новицкая услышала это и громко заявила:

— Мне будет очень, очень неприятно, если меня сравняют со *всеми!*

После этого корпусный стал еще сильнее настаивать перед начальником дивизии, чтоб остальным сестрам были даны серебряные медали. Начальник дивизии решительно ответил:

— Вот в наградном листе графа для замечаний ва-

шего высокопревосходительства, можете там написать, что хотите. А я своего отзыва не изменю.

Сам Султанов получил за мукденский бой очень крупную награду. Однажды, в апреле месяце, корпусный приехал на обед к Султанову и за обедом торжественно повесил ему на шею Анну второй степени с мечами.

Нас передвинули верст на пять еще к северу, в деревню Тай-пинь-шань. Мы стали за полверсты от Мандаринской дороги, в просторной усадьбе, обнесенной глиняными стенами с бойницами и башнями. Богатые усадьбы все здесь укреплены на случай нападения хунхузов. Хозяина не было: он со своею семьею уехал в Маймакай. В этой же усадьбе стоял обоз одного пехотного полка.

Наступала весна. Почки набухали, пробивались веселые стрелки молодой травы, желтоватые луговины получали зеленоватый отсвет. Однажды под вечер на дворе появился полный старик-китаец в меховом треухе, с рябым, безусым лицом. У него была старчески-добрая улыбка; он ковылял на больных ногах, опираясь на длинную, тонкую палку. Китайцы-работники, почтительно глядя на него, сообщали нам:

— Бульсой, бульсой (большой) капитан!.. Тхун-тхун хажаин!

И показывали руками кругом: хозяин надо всем.

Ковыляя на своих ножках, старик ходил по двору и осматривал его, добродушно-любезно улыбался нам, попросил у нас разрешения войти в свою фанзу. Ему позволили. О вошел, осмотрелся. Видимо, остался очень доволен, что ничего не сломано.

— Шанго (хорошо)! — сказал он.

— Ломайло мэ ю (ломать, портить ничего не будем)! — успокоительно говорили ему.

— Шанго! — повторил он.

Сел на дворе на ящик, посасывая свой аршинный чубук. Из боковой фанзы с поднятыми верхними рамами окон доносились возгласы и пение,— у нас служили всенощную. Слышны были странные моления о страждущих, о мире всего мира... Старик с любопытством прислушивался.

Поместиться ему в своей усадьбе было негде: все было занято нами и нашею командою. К ночи старик уехал обратно в Маймакай.

Китайцы выезжали на поля. Начинался сев. Начальников русских частей объезжали два китайских чиновника с шариками на шляпах, со свитою из пестрых китайских полицейских с длинными палками. Чиновники предъявляли бумагу, в которой власти просили русских начальников не препятствовать китайцам к обработке полей. Русские начальники прочитывали бумагу, великодушно кивали головами и заявляли чиновникам, что, конечно, конечно... какой тут даже может быть разговор...

Однажды утром я услышал в отдалении странные китайские крики, какой-то рыдающий вой... Я вышел. На втором, боковом дворе, где помещался полковой обоз, толпился народ,— солдаты и китайцы; стоял ряд пустых арб, запряженных низкорослыми китайскими лошадьми и мулами. Около пустой ямы, выложенной циновками, качаясь на больных ногах, рыдал рябой старик-хозяин. Он выл, странно поднимал руки к небу, хватался за голову и наклонялся и заглядывал в яму.

В этой яме, под набросанными сверху каоляновыми корешками, у старика было зарыто четыреста пудов каолянового зерна. Сегодня утром с арбами и с рабочими он приехал, чтоб взять семена для сева, разрыл яму,— она была пуста.

Начальник обоза, флегматический капитан с рыжими, отвисшими усами, был здесь. Он с равнодушным любопытством следил за стариком, на вопросы переводчика удивленно пожимал плечами и говорил, что каоляна никто не брал.

— Николай Сергеевич, вы не знаете,— может быть, кто из наших солдат взял? — спрашивал он прапорщика. В его голосе было что-то притворное и неестественное.

— Нет!

— Брал кто из вас, ребята, его каолян? — обращался капитан к команде.

— Никак нет! — неохотно отвечали солдаты, глядя в сторону.

Старик прыгнул в яму. Он валялся на дне, корчился в конвульсивных рыданиях и что-то кричал по-китайски. Переводчик объяснил: старик просит закопать его в яме, потому что теперь ему, все равно, остается умирать с голоду.

Солдаты, хмурые и угрюмые, молча расходились.

Вечером денщики рассказали нам: недели полторы

назад обозные солдаты случайно наткнулись на зарытый каолян и сообщили о нем своему командиру. Капитан дал каждому по три рубля, чтоб никому не говорили, и глухою ночью, когда все спали, перетаскал с этими солдатами каолян в свои амбары.

Я потом расспрашивал об этом обозных солдат. Они со злобою, с презрением рассказали то же самое и вовсе не хотели ничего скрывать

— Мы что ж! Что нам прикажут, то солдат и должен делать. А грех на командире.

Только конюх Михеев, откопавший каолян и сообщивший о нем капитану, говорил:

— Зачем я это сделал? Последнего китай лишился. Мне за это бог отплатит.

Старик-хозяин исчез, и больше мы его уж не видели.

Апрель месяц мы без дела простояли в деревне Тайпинь-шань. В начале мая нас на то же безделье передвинули верст на десять севернее и поставили недалеко от станции Годзядань. Султановский госпиталь, как и прежде, все время стоял недалеко от штаба корпуса.

Деревья и поля уж густо зеленели, наступили жары. Повсюду на случай отступления прокладывались и окапывались дороги, наводились мосты.

Мимо нас проводили с позиций на станцию партии пленных японцев и хунхузов. Вместе с ними под конвоем шли и обезоруженные русские солдаты. Мы спрашивали конвойных:

— Эти за что арестованы?

— За что нашего брата арестуют? Офицеров ругали,— угрюмо и неохотно отвечали конвойные.

Получено было секретное предписание тщательно вскрывать и просматривать письма, приходящие из России на имя солдат, так как в большом количестве присылались прокламации противоправительственного содержания.

Приходили вести о волнениях в России, о забастовках, о громадных демонстрациях. Офицеры острили:

— Вы слышали? В России забастовали все грудные младенцы. Требуют свободы слова и... свободы действий...

— Да, и в Россию теперь возвращаться плохо, и там дела неважные...

— Ничего! Приедем — усмирим!

— Нет, господа, как мы приедем? Ведь на улицу не показывайся. Читали, как в Петербурге зимою избили одного генерала?

— А как нас провожали, когда мы сюда ехали! Как «ура» кричали!

— Д-да... А теперь сторонкой, переулочком проходи, а то изобьют.

— Так это же чернь!

— Да, да! Та самая, которая «ура» кричала!

— Черт возьми! Нет, уж лучше бы наш корпус оставили в Сибири, а потом, когда все забудется, и воротиться.

Мрачный поручик с красным носом решительно махал рукою:

— Это что уж говорить! Воротимся домой,— будут нас студенты бить по морде!

— Ну, это еще посмотрим, кто кого!..

И глаза зловеще загорались.

С 17 мая по армии пошли глухие слухи, что где-то около Японии балтийская эскадра разбита адмиралом Того. Слухи с каждым днем росли, становились настойчивее, определеннее — и все невероятнее. Рассказывали, что эскадра совершенно уничтожена, лучшие броненосцы потоплены, остальные захвачены японцами, Рождественский и Небогатов в плену, во Владивосток прорвался только один крейсер; японский же флот не понес никаких потерь. Самые крайние пессимисты со смехом передавали эти «преувеличенные» слухи. Но день шел за днем,— невероятное оказывалось верным: грозный флот, который так восхваляли, веру в который так усиленно старались вселить в армию,— флот этот, словно игрушечный, разлетелся в куски под дальнобойными орудиями Того, не принесши японцам никакого вреда. Оказывалось, балтийская эскадра была новою огромною глиняною пушкою, которая только должна была пугать японцев своим видом.

Отчаяние, ужас, негодование царили в армии. Как все это могло случиться? Солдаты упорно отказывались верить в гибель эскадры.

— Может, это так себе в газетах написано, врут!

У всех их было глубокое, все возраставшее недоумение,— откуда у этого японца, о котором до войны даже не

слыхал никто,— откуда у него эта волшебная непобедимость и сила?

— Ну, теперь уж мир несомненен! — говорили все с уверенностью.— Перейдены все пределы безумия!

Слухи ползли, клубились и разрастались. Рассказывали, что японцы только и ждали морского боя, и теперь всеми силами собираются ударить на нас, подготовились они грандиозно, и если произойдет бой, то вся наша армия будет прямо сметена с лица земли.

На ухо передавали друг другу известия, что в Петербурге, когда пришла весть о гибели эскадры, произошли громадные народные волнения, убито четырнадцать тысяч человек.

Слухи о мире становились настойчивее. Сообщали, что японцы уж начали было наступление — и вдруг остановили его. Солдаты ждали мира с каким-то почти болезненным напряжением и тоскою. Глаза их мрачно загорались. Они говорили:

— Как скотину, послали нас сюда на убой, неведомо, на что!

Наконец, 1 июня появилось правительственное сообщение, что президент Рузвельт предложил русскому правительству свое посредничество для ведения мирных переговоров с Японией, и что русское правительство приняло предложение Рузвельта.

И началась пытка. Эта пытка тянулась все лето, около двух с половиною месяцев.

Жадно ловились все известия из Вашингтона. Солдаты ежедневно ходили на станции покупать номера «Вестника Маньчжурских Армий». Посредничество Рузвельта принято, уполномоченные России и Японии собираются съехаться... И вдруг приказ Линевича, в котором он приводит царскую к нему телеграмму: «Твердо надеюсь на доблестные свои войска, что в конце концов они с помощью божиею одолеют все препятствия и приведут войну к благополучному для России окончанию».

И опять: местом встречи уполномоченных назначен Вашингтон, но уполномоченные съедутся только в августе, через два месяца! Почему так долго? А в других телеграммах сообщалось, что Ояма перешел в стремительное наступление. С позиций приходили слухи, что начинается генераль-

ный бой. Японцы высадились на Сахалине, заняли Корсаковский пост и быстро продвинулись в глубь острова.

Стояли жары, и шли дожди. В воздухе непрерывно парило. Слухи о предстоящем бое становились все настойчивее, слухи о мирных переговорах и о перемирии все глуше. Солдаты говорили:

— Лучше бы уж не писали ничего, а то телеграммами этими только тиранят сердце каждого человека. Читает сегодня солдат газету, радуется: «замирение!» А завтра откроешь газету,— такая могила, и не глядел бы! Как не думали, не ждали, лучше было. А теперь — днем мухи не дают спать, ночью — мысли. Раньше солдат целый котелок борщу съедал один, а теперь четверо из котелка едят и остается. Никому и есть-то неохота.

Появилась в «Вестнике Маньчжурских Армий» телеграмма, отправленная главнокомандующим царю. В этой телеграмме Линевич заявлял, что армия с огорчением слышит о начинающихся мирных переговорах и вся, как один человек, горит желанием сразиться с врагом.

Солдаты читали телеграмму и враждебно смеялись:

— Видно, мало денег нагреб себе, потому так и пишет. По двенадцать тысяч рублей в месяц получает,—чего ему?

— И чего врет царю? Опрашивал нас, что ли?

— Ну, а кабы опросил, разве бы кто сказал?.. У нас раз было на опросе претензий. Спрашивает нас генерал: «Всем довольны?» — Так точно, ваше превосходительство! — «Пищу хорошую получаете?» — Так точно! — «Кофей сегодня все пили?» — Так точно! — Генерал смотрит, смеется:—«Какой же это вы сегодня кофей пили?» Известное дело, солдат на все: «так точно!»— больше ничего.

Настроение солдат быстро, на глазах, менялось. Они неохотно отдавали честь офицерам; то и дело происходили столкновения. Комментарии к приходившим из России вестям были зловещие.

— Вот, в газетах писано, бунты везде идут у нас... дай, мы приедем, то ли еще будет! Из дому пишут,— ничего не родилось,— ни ржи, ни овса, ни сена. А барину за землю 27 рублей все-таки заплати. Не будет нам прирезки, все равно, землю у помещиков отберем, нам без той земли невозможно.

В середине июля Витте поехал в Вашингтон, и все облегченно вздохнули; теперь уж дело верное! Но вдруг рас-

пространился слух, что его отозвали с дороги обратно. Патриотические газеты писали против мира, Хабаровская дума во всеподданнейшем адресе умоляла царя не принимать мира, если японцы будут требовать контрибуции или «хоть пяди русской земли». Царская резолюция на адресе гласила: «Вполне разделяю чувства, одушевляющие Хабаровскую думу». Ходатайства разных неведомых местечек встречали такой же прием. Может быть, все это лишь для того, чтобы сделать японцев поуступчивее? А если решение вполне серьезно! Уж не было веры хоть в какие-нибудь пределы безумия и ослепления: не остановились после Шахе, не остановились после Мукдена,—почему остановятся после Цусимы?

А утомление войною у всех было полное. Не хотелось крови, не хотелось ненужных смертей. На передовых позициях то и дело повторялись случаи вроде такого: казачий разъезд, как в мешок, попадает в ущелье, со всех сторон занятое японцами. Раньше никто бы из казаков не вышел живым. Теперь на горке появляется японский офицер, с улыбкою козыряет начальнику разъезда и указывает на выход. И казаки спокойно уезжают.

Слухи об отозвании Витте оказались неверными. Он прибыл в Вашингтон, начались переговоры. С жадным вниманием все следили за ходом переговоров. «Вестник Маньчжурских Армий» брался с бою. А здешнее начальство все старалось «поддержать дух» в войсках. Командир одного из наших полков заявил солдатам, что мира желают только жиды и студенты.

Недавно приехавший в армию генерал Батьянов в своей речи к солдатам говорил:

— Если кто вам скажет, что заключен мир, бей того прямо в морду!

«Вестник Маньчжурских Армий» печатал стихи «От солдат» в таком роде:

Веди нас, отец наш, в решительный бой,
Веди нас на дерзких врагов!
Мы грозною тучей пойдем за тобой,
Сразимся с врагами мы вновь.
Мы кровью своею омоем позор
За прежние тяжкие дни,
Нам больно услышать отчизны укор.
Веди нас, отец наш,— веди!

Телеграммы шли все самые противоречивые: одна — за мир, другая — за войну. Окончательное заседание по-

стоянно отсрочивалось. Вдруг приносилась весть: «Мир заключен!» Оказывалось, неправда. Наконец, полетели черные, зловещие телеграммы: Витте не соглашается ни на какие уступки, ему уже взято место на пароходе, консультант профессор Мартенс упаковывает свои чемоданы... Прошел слух, что командующие армиями съехались к Линевичу на военный совет, что на днях готовится наступление.

Никогда в свою жизнь я не видел такой всеобщей, глубокой душевной подавленности. Офицеры сидели, мрачные и задумчивые, изредка перекидываясь замечаниями:

— Какое безумие!.. Идут на гибель и не понимают. Это прямо историческая Немезида!

— Да... Горизонты мрачные!.. Не сами только на погибель идут, а нас посылают.

— Страшно, что теперь самые лучшие полки могут прямо положить оружие,—слишком уж все сжились с мыслью о мире... С этаким духом вести в бой!

Солдаты были угрюмы и злы. Они продавали китайцам последние собственные рубашки.

— Чего их теперь беречь? Лучше выпьем! Думали мир будет, а теперь пусть казна заботится.

— А уж если теперь отступать придется,— никто из этих верховых бегунов от нас не уйдет. В красных лампасах которые. Как бой, так за пять верст от позиции. А отступать: все впереди мчатся, верхами да в колясках... Им что! Сами миллионы наживают, а царю телеграммы шлют, что солдат войны просит.

XI
МИР

— Ура-а!! — повсюду гремело в напоенном солнцем воздухе.

По дороге ехали в фурманке два солдата-артиллериста, высоко поднимали развевавшийся по ветру полулист «Вестника» и кричали:

— Мир! Мир!

— Ура-а!! — неслось в ответ.

Солдаты бросали в воздух фуражки, обнимались, пожимали друг другу руки. Все жадно читали телеграмму Витте к царю:

Япония приняла Ваши требования относительно мирных условий, и таким образом мир будет восстановлен, благодаря мудрым и твердным решениям Вашим...

И опять, и опять перечитывали. За телеграммою шла передовая статья редакции в обычном напыщенном фальшивом стиле:

Ближайшая вероятность заключения мира смутит в некоторой степени наших воинов, кои ожидали боев грядущих, дабы победою снять тяжесть бывших боевых неудач. Всем этим достойным воинам Русской Земли да будет ведомо, что в силу настойчивого их стремления к победе для России создалась возможность, как и до днесь, оставаться Великой державой на Дальнем Востоке.

И опять глаза перебегали к драгоценной телеграмме. Везде было ликование, слышался веселый смех, «ура». «Вестник» с телеграммою Витте рвали друг у друга из рук, в Маймакае платили за номер по полтиннику.

Рассказывают, когда в Харбине была получена телеграмма о мире, шел дождь. В одном ресторане офицер обратился к присутствовавшим, указывая на густо сыпавшиеся с неба капли:

— Господа, посмотрите! Вы думаете, это идет дождь? Нет, это не дождь идет, это льются слезы интендантов, генералов и штабных!

Закончилась великая борьба Христова воинства с «драконом». Ханжи-публицисты могли и теперь еще говорить о святом подвиге, взятом на себя Россией,—солдаты качество этого подвига оценивали совсем иначе. Они облегченно говорили:

— Буде по полям шататься, греха копить. А то, слава богу, сколько греха накоплено!

Ждали ратификации договора. Перемирия заключено не было. На передовых позициях все продолжались стычки, каждый день приходили вести об убитых. Для чего теперь эти ненужные жертвы? Офицеры в ответ посмеивались:

— Спешат все дополучить награды, которых не успели получить. Как только мир будет ратификован,— конец: командующие армиями теряют право собственною властью давать ордена... Вы бы посмотрели, что делается,— ни одного теперь генерала не застанешь дома, все торчат на передовых позициях.

Штабы осаждались офицерами, приезжавшими отовсюду хлопотать об утверждении наград.

Были утверждены и медали наших сестер. Младшие сестры получили золотые медали на анненских лентах «за высокополезную и самоотверженную службу по уходу за ранеными и эвакуацию с 12—20 февраля с. г.». Старшая сестра получила серебряную медаль с надписью «за храбрость» на желанной георгиевской ленте,—«за самоотверженную работу по уходу за ранеными под огнем неприятеля в феврале месяце 1905 года».

Сестры сияли, все поздравляли их. Солдаты нашей команды с удивлением спрашивали меня:

— Ваше благородие! За что это им медали? Уж по второй медали выдают. Что они, больше фельдшеров, что ли, работали? За что это им так?

Работали они, действительно, никак уж не больше фельдшеров. Работали сестры добросовестно, но работа фельдшеров была гораздо труднее. Притом, в походе сестры ехали в повозке, фельдшера, как нижние чины, шли пешком. Сестры на всем готовом получали рублей по восемьдесят в месяц, фельдшера, как унтер-офицеры, получали рубля по три.

Главный врач представил к медалям человек восемь фельдшеров и госпитальных надзирателей. Ему ответили, что на каждый госпиталь для нижних чинов будет выдано только по две медали. Награды здесь были оптовые и равномерные,—по две на госпиталь. У нас медали получили фельдфебель и старший фельдшер.

Сестры... Я ничего не имею сказать против них. Они были на войне небесполезны, в тыловых госпиталях были даже очень полезны. Но они служили необходимым украшением боевой сцены, были «белыми ангелами, утоляющими муки раненых воинов». Как таким «ангелам», им пелись всеобщие хвалы, каждый уж заранее был готов умиляться перед ними, их осыпали наградами. Сколько я знаю, ни одна сестра не воротилась с войны без одной или двух медалей; достаточно было, чтобы за сотню сажен прожужжала пуля или лопнула шрапнель,— и сестру награждали георгиевской ленточкой. Сестрам же, имевшим знакомство в верхах, не нужно было и этого: они получали георгиевские ленточки просто за знакомство с власть имущими. Так получили, например, эти ценные ленточки Новицкая и другие сестры султановского госпиталя, ни разу не бывшие под огнем

Пускай бы все это! Пускай бы русская публика, глядя на оранжево-черные ленточки и на медали с надписью «за

храбрость», думала, что перед нею — самоотверженные героини, бестрепетно работавшие под тучами пуль, шимоз и шрапнелей. Истинному героизму противны ярлыки. Если публика этого не понимает, то и пусть ее дух питается фальшивым героизмом, украшенным пышными ярлыками.

Но невольно является желание умерить эти вздутые восторги, когда вспоминаешь о тысячах безвестных, действительно героических тружениках,— о фельдшерах, невидно тонувших в бескрайном, сером солдатском море. Им никто не пел хвалений, они не украшали собою ярких боевых декораций. Не обращая на себя ничьего внимания, они скромно шагали следом за ротами с своими перевязочными сумками; мерзли вместе с солдатами в окопах; работали, действительно, под тучами пуль и шрапнелей, бесстрашно ползали под огнем, перевязывая валяющихся раненых. Об этих героях с действительным восторгом и уважением отзывались все боевые офицеры. За свою работу в госпитале я тоже с особенно теплым чувством вспоминаю не о сестрах, хотя ничего не могу сказать против них, а о фельдшерах и палатных служителях, так удивительно добросовестно исполнявших свое дело, так тепло и товарищески участливо относившихся к раненым и больным.

Скажу, кстати, вообще о сестрах в эту войну.

Сравнительно лишь очень небольшую часть их составляли профессиональные сестры, уже в России работавшие в качестве сестер. Большинство, по крайней мере, из виденных мною, были волонтерки, наскоро обучившиеся уходу за ранеными перед самым отъездом на войну. Что влекло их на войну? Шедших из «идеи» было, по-видимому, очень мало. Эта война не знала сестер-подвижниц, которые таким ореолом окружили самый образ сестры милосердия. И это понятно. Слишком сама-то война была безыдейная. В русско-турецкую войну могли идти в строй добровольцами-солдатами такие люди, как Гаршин,— естественно, что и среди сестер были такие девушки, как баронесса Вревская, воспетая Тургеневым и Полонским. Теперь для каждой женщины, горевшей жаждою подвига и самопожертвования, было достаточно дела и внутри России,—на работе революционной.

Большинство сестер было из среды тех девушек, которых так много во всех углах Руси: кончили учиться,— а дальше что? Живи у родителей, давай уроки, чтобы иметь

деньги на карманные расходы, тупо скучай и жди случая выйти замуж. В двадцать лет жизнь как будто окончена. И вдруг вдали открывается яркий, жутко-манящий просвет, где все так необычно, просторно и нескучно. Шли также вдовы и мужние жены, задыхавшиеся в тупой скуке и однообразии жизни. Шли просто авантюристки. Шли женщины, которым была противна безопасная жизнь, без бурь и гроз,— женщины с соколиною душою, но со слабою головою. Такова была мелькнувшая в нашем госпитале «сестра-мальчик», у которой глаза загорались хищным огнем, как только надвигалась опасность. Но опасностей было мало, жизнь и здесь текла скучно, серо, и сестра-мальчик вскоре, еще до мукденского боя, уехала обратно в Россию.

Может быть, в армии были и «идейные» сестры разных типов, но я лично их не встречал.

Далее, немало было сестер из аристократических семей, с большими связями. За немногими исключениями, сестры эти являлись истинными бичами тех врачебных учреждений, где они служили. К обязанностям сестры они были приспособлены очень мало, исполняли только те назначения врачей, какие им было угодно, самих врачей не ставили ни в грош и вертели всем учреждением, как хотели. Всю свою деятельность здесь они превращали в один сплошной, веселый и оригинальный пикник с штабными генералами и офицерами.

Не меньшее зло представляли собою и сестры, жены офицеров, находившихся в строю. Во время боя, когда сестры наиболее нужны, они были ни на что не годны. Естественно, все их помыслы в это время были только о муже,— где он, жив ли? Приходила весть, что муж убит или ранен,—и сестре совсем уж было не до окружающих. Отдельные из таких сестер могли очень добросовестно относиться к своим обязанностям, но главное, что шли-то они в сестры вовсе не по влечению, а только для того, чтобы быть поближе к мужьям. Менее культурные из них были чрезвычайно обидчивы, замечание по поводу их неисправности в уходе за больными принимали за оскорбление, и работать с ними было крайне трудно. Естественно было желание жен находиться поближе к мужьям, шедшим в ад этих ужасных боев. Но было совершенно неестественно, что государство платило сравнительно очень немалое жалованье (рублей восемьдесят в месяц на всем готовом) женам за их пребывание поблизости от мужей.

Сестры были единственным женским элементом в огромном скопище здоровых, крепких, лишенных женщин мужчин. Как всегда в армиях на войне, голод по женщине был громадный. Простая возможность побыть полчаса в женском обществе ценилась офицерами чрезвычайно высоко. Полковой праздник никому был не в праздник, если не удавалось пригласить на него хоть двух-трех сестер. Сестры, которых по их развитию и общественному положению еле удостоил бы в России своим знакомством какой-нибудь захудалый поручик, здесь настойчиво приглашались на обеды командующими армиями, знакомства с ними добивались блестящие гвардейцы. Нашей сестре, недурненькой собою, пришлось однажды поехать в штаб одного из наших полков, где был зубной врач. Во всем полку поднялся переполох, офицеры смотрели в щелки дверей, чтоб увидеть сестру. Один из них с недоумевающим смехом рассказывал мне:

— Ей-богу, я человек вовсе не застенчивый, с дамами имел весьма много дел. А тут — поверите ли? — предложили мне познакомиться с этой сестрою, так пять минут за дверью стоял, волновался и не смел войти! Так отвык от дамского пола!

Когда летом мы гуляли по проезжим дорогам с нашими сестрами, все встречные оборачивались на них, оглядывали. Уедут уж далеко, а все смотрят назад, того и гляди, вывихнут себе шею.

Была уже половина сентября. Мы ждали ратификации мирного договора, чтобы идти на зимние стоянки за Куанчензы. Еще в начале августа нас придвинули к позициям, мы развернули госпиталь и работали.

Чумиза на полях была сжата, повсюду снимали каолян. Поля обнажались. Дни стояли солнечные и теплые, но ночи были очень холодные, часто с заморозками. Солдаты же имели только летние рубашки и шинели. Суконные мундиры и полушубки еще весною были отвезены на хранение в Харбин.

А жили солдаты в палатках. Они сильно мерзли по ночам, ходили с угрюмыми, застуженными лицами. У кого были деньги, те отправлялись в Маймакай и покупали себе китайские ватные одеяла. Но спрос на одеяла был громадный, и цена их доходила до восьми рублей.

Наш каптенармус поехал в Харбин за сданными на хранение теплыми вещами. Через день после его отъезда пришла бумага из войскового склада, что наши вещи переданы из этого склада в другой, № такой-то. А через неделю воротился каптенармус без вещей. Он доложил:

— Не выдали вещей. Бумага написана не на этот склад.

— Так ты бы заявил в прежнем складе! Пусть бы пометили на нашей бумаге, что вещи переданы в другой склад.

— Заявил. Отказали. Вам, говорят, об этом была послана бумага.

Пришлось писать новую бумагу, снова посылать в Харбин. Еще через неделю вещи, наконец, пришли.

Многие мундиры, полушубки и валенки были уж так заношены, что совершенно не годились в дело. Написали требование на новые вещи. И тут открылось поразительное обстоятельство: запаса теплой одежды в армии больше не было!

На инспекторском смотру начальник дивизии говорил солдатам:

— Имейте, братцы, в виду: когда мы домой поедем, еще неизвестно. Зима здесь шибко лютая, а запасов теплой одежды нет. Берегите всякую теплую тряпку, ничего не бросайте,— сами потом пожалеете!

Слушал я генерала — и, холодя душу, встал передо мною вопрос: ну, а если бы японцы не приняли последнего ультиматума Витте, и война бы продолжалась?

Вспомнились мне рассказы офицеров, приезжавших летом из Владивостока. Они изумлялись, как вяло и медленно идет укрепление Владивостока; как будто и Владивосток, подобно Порт-Артуру, ждет, когда его обложат японцы, чтобы начать укрепляться энергично.

Да, здесь всему, всему приходилось верить!

История султановского госпиталя закончилась крупным скандалом. Однажды, собираясь ехать в гости к корпусному, д-р Султанов зашел к своим младшим врачам выяснить какие-то недоразумения, которые постоянно возникали в их госпитале. Во время их объяснения старший ординатор Васильев, говоря о Новицкой, назвал ее «сестра Новицкая».

Султанов вспыхнул. Он затопал ногами и закричал:

— Не сметь Аглаю Алексеевну называть сестрой Новицкой!

Васильев изумленно вытаращил глаза:

— Позвольте, а кто же она? Она — сестра милосердия, и ее фамилия — Новицкая.

Султанов в бешенстве замахнулся на Васильева плеткою.

— Если вы еще раз посмеете назвать Аглаю Алексеевну сестрой Новицкой, я вас изобью нагайкой! — крикнул он и вышел из фанзы.

Дело было при многочисленных свидетелях. Васильев подал рапорт по начальству с изложением всего происшедшего. Начальник дивизии назначил расследование. Васильев, кроме того, поехал в Гунчжулин к уполномоченному Красного Креста, рассказал о происшедшем и ему. Уполномоченный со своей стороны прислал посланца исследовать дело. Заварилась каша. Уполномоченный Красного Креста сместил Новицкую с должности старшей сестры и прислал на ее место сестру-старушку. Начальник дивизии потребовал удаления Султанова и заявил корпусному, что больше не потерпит присутствия Султанова в своей дивизии. Корпусный командир прилагал все силы, чтобы затушить дело, но начальник дивизии стоял на своем. Он заявил корпусному:

— Когда я, ваше высокопревосходительство, принимал дивизию, то вы меня не предупредили, что я буду ограничен в своих правах начальника дивизии.

Султанову пришлось подать рапорт о болезни, и он вместе с Новицкою уехал в Харбин. Через месяц Султанов воротился обратно в качестве главного врача госпиталя другой дивизии нашего корпуса. С этих пор рядом со штабом корпуса стали ставить этот госпиталь. Что касается д-ра Васильева, то корпусный командир устроил так, что его перевели из его корпуса куда-то в другой.

На место Султанова был назначен новый главный врач, суетливый, болтливый и совершенно ничтожный старик. Султановские традиции остались при нем в полной целости. Граф Зарайский продолжал ездить к своей сестре, госпитальное начальство лебезило перед графом. У его сестры был отдельный денщик. Она завела себе корову,— был назначен солдат пасти корову. Солдат заявил сестре:

— Ищите себе другого человека, я вашу корову стеречь не хочу!

За такую наглость солдат был поставлен под ружье.

Султановская команда оказалась вообще чрезвычайно «распущенной». Однажды сестры приказали солдатам вытащить матрацы из госпитального шатра. Солдаты ответили:

— Мы не ломовики, чтобы матрацы таскать!

Солдаты не имели права так ответить, но... шатер очищался для бала, который сестры давали штабным офицерам.

Наш солдат, сколько мне пришлось наблюдать его за войну, чрезвычайно добросовестен в исполнении того, что он считает себя обязанным делать. Будет и коров стеречь, и матрацы таскать... но лишь в том случае, когда видит, что это — служба государству, «казне». У нас же усматривали вопиющее нарушение дисциплины в том, что солдаты отказывались исполнять вопиюще-беззаконные требования начальства.

Однажды, когда граф Зарайский сидел у своей сестры, его вестовой доложил ему, что фуражир госпиталя выдал их лошадям совсем гнилое сено. (Между прочим, госпиталь вовсе не был обязан кормить на свой счет лошадей чуть не ежедневно бывавшего в госпитале графа.) Граф сам пошел к фуражиру и велел дать хорошего сена. Фуражир ответил, что сено поставлено интендантством, и оно все такое. Тогда граф велел выдать своим лошадям ячменю. Фуражир отказал:

— Я не имею права. Потрудитесь представить записку от смотрителя...

Граф страшно оскорбился и избил фуражира стэком по лицу. Потом воротился, сказал смотрителю.

— Я сейчас о морду вашего фуражира изломал свой стэк!

И уехал из госпиталя.

Все лицо и голова солдата были в красных полосах и кровоподтеках. Солдат был чрезвычайно дельный, честный и дисциплинированный. Мера терпения смотрителя переполнилась. Он возмутился и подал на графа рапорт с изложением всех обстоятельств. Заварилась новая каша, было назначено расследование. Граф смеялся в глаза смотрителю и говорил:

— Дело кончится тем, что я еще раз изобью вашего фуражира, только на этот раз поосновательнее!

Дознание раскрыло полную корректность в поведении солдата и полную виновность графа. Ждали, что графу будет, по крайней мере, выговор в приказе по корпусу. Но

дело кончилось «словесным выговором» графу. Что это значит? Корпусный командир призвал его и сказал:

— Зачем вы, граф, бьете солдат? Вы ведь знаете, что это запрещено.

Граф заявил в госпитале, чтоб фуражир не попадался ему на глаза, а то он спустит с него всю шкуру. Знакомым же своим, весело посмеиваясь, рассказывал:

— Вы знаете, я недавно получил от корпусного командира выговор за то, что причинил зубную боль одному нижнему чину.

Мир был ратификован. В середине октября войска пошли на север, на зимние стоянки. Наш корпус стал около станции Куанчендзы.

Когда же домой? Всех томил этот вопрос, все жадно рвались в Россию. Солдатам дело казалось очень простым: мир заключен, садись в вагоны и поезжай. Между тем день шел за днем, неделя за неделею. Сверху было полное молчание. Никто в армии не знал, когда его отправят домой. Распространился слух, что первым идет назад только что пришедший из России тринадцатый корпус... Почему он? Где же справедливость? Естественно было ждать, что назад повезут в той же очереди, в какой войска приходили сюда.

Наконец вышел приказ главнокомандующего, в нем устанавливалась очередь отправки корпусов. Очередь была самая фантастическая. Первым, действительно, уходил только что прибывший тринадцатый корпус, за ним следовали — девятый, несколько мелких частей и первый армейский корпус. На этом пока очередь заканчивалась. Когда пойдут другие корпуса, в какую, по крайней мере, очередь,— приказ не считал нужным сообщить.

Настроение солдат было негодующее и грозное.

А в России и Сибири все железные дороги уже стали. В Харбине выдавались билеты только до станции Маньчжурия. Вскоре прекратилось и телеграфное сообщение с Россией. Была в полном разгаре великая октябрьская забастовка. Слухи доходили смутные и неопределенные. Рассказывали, что во всех городах идет резня, что Петербург горит, что уже подписана конституция.

Наконец в армии был получен манифест 17-го октября. Наш смотритель списал манифест в штабе и привез его. Стал нам читать. В фанзу вошли два денщика, копошились у кроватей, как будто что-то убирали, и прислушивались.

Смотритель опасливо покосился на них.

— Что вам тут нужно? Ступайте вон! — строго крикнул он. Денщики ушли.

Мы расхохотались.

— Да вы понимаете ли, Аркадий Николаевич, что вы читаете? Ведь это не прокламация, это манифест, высочайший манифест! Его в праве знать всякий.

— Так-то так, а все-таки!.. Не к чему им это!

Все военное начальство от мала до велика было очень смущено манифестом. «Незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей...» До сих пор все это писалось только в подпольных прокламациях, за отдаленные намеки на это конфисковались письма, приходившие солдатам с родины. А тут вдруг!..

В приказах главнокомандующего манифест не печатался, солдатам его не читали. Но солдаты, конечно, и сами сумели тотчас же ознакомиться с манифестом. С невинным видом они спрашивали своих офицеров:

— Ваше благородие, правду говорят, манифест какой-то от царя вышел?

Офицеры бегали глазами и уклончиво отвечали:

— Да, говорят, вышел какой-то... Сам я не читал...

Солдаты почтительно выслушивали, а глаза их смеялись. Между собою солдаты говорили:

— Спрятать от нас хотят, хотят, чтобы солдат не знал! На дураков напали! Солдат раньше главнокомандующего все узнает!

Сам собою родился и пополз слух, что начальство скрывает еще два царских манифеста: один, конечно, о земле, другой о том, чтобы все накопившиеся за войну экономические суммы были поделены поровну между солдатами.

Офицеры, за немногими исключениями, относились к совершавшимся в России событиям либо вполне равнодушно, либо с насмешливою враждебностью. Было в этой враждебности что-то бесконечно-тупое и легкомысленное, она шла из глубины нутра и неспособна была даже элементарно обосновать себя. То, что, казалось бы, могло быть достоя-

нием только лабазников и сидельцев холодных лавок, здесь с апломбом высказывалось капитанами и полковниками:

— Это все жиды!

В громадных, невиданных в истории муках нарождалась на родине новая жизнь, совершалось историческое событие, колебавшее самую глубокую подпочву страны, миллионы людей боролись и рвали на себе цепи. Здесь отношение было одно:

— Все жиды! Все на жидовские деньги делается!

Шанцер, смеясь, возражал:

— Господа, мне очень лестно то, что вы говорите о евреях, но, право, вы нам делаете уж слишком много чести: и свободу-то вам, оказывается, дали евреи, и на это-то у вас не хватило собственных способностей!

Армии стояли на зимних квартирах, изнывали в безделье. Шло непрерывное, жестокое пьянство. Солдаты на последние деньги покупали у китайцев местную сивуху,— ханьшин. Продажа крепких напитков в районе стоянки армий была строго запрещена, китайцев арестовывали, но, конечно, ханьшину было сколько угодно.

Все томились одним неотвязным, жадно ждавшим ответа вопросом: когда же, наконец, домой? Но сверху было все то же равнодушное молчание. В солдатах кипело глухое, злобное раздражение, им хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы заставить, наконец, поскорее везти их домой. Они грозили «забастовкой». Но какая забастовка могла быть там, где люди все равно ничего не делали?.. Она могла выразиться только в одном,— в избиении офицеров. И этим пахло в воздухе. А тут еще пошли слухи, что правительство боится везти домой возмущенную неудачами и непорядками армию, что решено всю ее оставить здесь. Солдаты зловеще посмеивались и говорили:

— Держат тут, боятся,— домой приедем, бунт устроим. Сколько ни держи, а домой, все одно, приедем, свое дело сделаем.

Линевич назначил смотр войскам нашей армии. Солдаты оживились, они считали дни до смотра. Все ждали, что Линевич объявит, когда домой. Смотр произошел. Линевич благодарил войска за «молодецкий вид» и сказал речь. Солдаты жадно, с горящими глазами, вслушивались, ловили неясные, шамкающие слова. Но перед взорами глав-

нокомандующего были не живые массы измученных, истосковавшихся по родине людей, а официально-молодецкие полки «воинов, кои, ожидая боев грядущих» и т. д. И Линевич говорил, что не понимает, зачем батюшка-царь заключил мир; с такими молодцами он, Линевич, погнал бы японцев от Сыпингая, как зайцев...

После смотра Линевич дал, для распределения между наиболее отличившимися солдатами, по 800 георгиев на каждый корпус. Шутники объясняли это пожалование тем, что Линевич не ждал мира, заказал двадцать тысяч георгиев и теперь не знает, куда их девать.

— Восемьсот георгиев за молодецкий вид! — острили офицеры.— Раньше георгия давали за воинский подвиг, а теперь вот оно как: за молодецкий вид!

Настроение солдат становилось все грознее. Вспыхнул бунт во Владивостоке, матросы сожгли и разграбили город. Ждали бунта в Харбине. Здесь, на позициях, солдаты держались все более вызывающе, они задирали офицеров, намеренно шли на столкновения. В праздники, когда все были пьяны, чувствовалось, что довольно одной искры,— и пойдет всеобщая, бессмысленная резня. Ощущение было жуткое.

Наконец, и начальство увидело положение дел. Пока было тихо, оно не думало о справедливости, высокомерно игнорировало интересы подчиненных. Делалось то же, что и в России. Каждым шагом начальство внушало своим подвластным одно: если ты что-нибудь хочешь от нас получить, то требуй и борись, иначе ничего не дождешься. 10-го ноября вышел приказ главнокомандующего, отменявший прежнюю несправедливую очередь отправки корпусов.

При увольнении в настоящее время запасных от службы на родину предписываю увольнение произвести в строгой справедливости прибытия корпусов на театр войны, а также и по очереди призыва запасных на укомплектование с соблюдением следующего (шло расписание очередей)... Таким образом,— заканчивался приказ,— приняты все меры, чтобы запасных скорее доставить на родину.

Было объявлено также, что для скорейшей перевозки запасных нанят ряд пароходов.

Когда еще в октябре мы шли на зимние стоянки, было уже решено и известно, что наш госпиталь больше не будет работать и расформировывается. Тем не менее, мы уже месяц стояли здесь без дела, нас не расформировывали и не

отпускали. Наконец, вышел приказ главнокомандующего о расформировке целого ряда госпиталей, в том числе и нашего. У нас недоумевали,— расформировывать ли госпиталь на основании этого приказа, или ждать еще специального приказа ближайшего начальства.

Было известно также, что лошадей мы назад не повезем, а они будут продаваться здесь с аукциона. У нас было семьдесят лошадей, содержание их обходилось около 25 руб. в день. Однажды из Харбина приехал извозопромышленник, стал приторговываться к лошадям и давал по 100 руб. за голову. Цена была очень хорошая: китайцы наших крупных лошадей не покупали, и на аукционе они должны были пойти за бесценок.

Смотритель поехал в штаб дивизии спросить, можно ли продать лошадей. Генерал ответил уклончиво:

— Конечно, продавайте. Но, предупреждаю, мое дело сторона. Если выйдут недоразумения с контролем, то разделывайтесь сами, меня это не касается.

Смотритель написал спешную бумагу полевому контролеру нашего корпуса и запросил его. Бумагу отвез письмоводитель и воротился назад с нею же. На обратной стороне бумаги контролер написал карандашом, без своей подписи:

«Возвращается обратно. Ответ передан на словах».

А на словах ответ был: ничего не могу сказать, делайте, как знаете.

Разумеется, махнули рукою и продавать лошадей не стали. А через месяц, поевши еще корму рублей на шестьсот, лошади были проданы с аукциона по пятнадцать рублей.

Железные дороги опять стали, почтово-телеграфное сообщение с Россией прекратилось. Но стачечные комитеты объявили, что перевозка войск с Дальнего Востока будет производиться правильно. Волею-неволею начальству пришлось вступить в сношения с харбинским стачечным комитетом. И воинские эшелоны шли аккуратно.

Дисциплина в войсках со дня на день падала все больше. В штабах предупреждали офицеров, чтоб они обращались с солдатами как можно мягче, чтоб не вступали в пререкания из-за неотдачи чести. Солдат старались занимать на стоянках гимнастикой, военными прогулками, играми. «Вестник Маньчжурских Армий» пестрел письмами в ре-

дакцию разных ефрейторов, фейерверкеров и санитаров. Они писали, что стыдно нам, братцы, огорчать нашего царя-батюшку, нужно нам слушаться начальства, молиться богу, первее же всего — не пить водки, от нее, проклятой, все зло бывает. Конечно, бывают и средь офицеров плохие начальники, но в общем начальство всею душою заботится о нас, и мы должны быть ему благодарны.

Солдат читал, другие слушали и смеялись.

— Кто подписался?

— Афанасий Гуревич.

— Дурак!.. Пиши, Максимка, письмо в *редакцыю:* я, рядовой Максим Прохоров, заявляю, что писаны одне глупости.

— Как откроют бунт большой, вот тогда и держись!— вздыхал другой.

Армия на глазах трещала и разваливалась. Собственно говоря, никакой армии уже не было,— было огромное скопище озлобленных людей, не хотевших признавать над собою никакой власти.

По полкам у солдат отбирали патроны. Велено было строго следить, чтоб в помещениях солдат не было никого посторонних, чтоб даже в соседнюю деревню не отпускать солдат без билетов, делать внезапные поверки и безбилетных арестовывать.

Носились слухи, что где-то в саперном батальоне было собрание солдат-делегатов, что решено в Николин день перебить всех офицеров и поделить между солдатами суммы из денежных ящиков. Несмотря на неоднократные опровержения начальства, среди солдат упорно держался слух, что все войсковые экономические суммы велено поделить между солдатами.

В будни кое-как еще можно было ездить по дорогам, в праздники, когда солдаты были пьяны, это было почти немыслимо.

Верховой офицер обгоняет кучку солдат, вслед ему несутся ругательства.

— Ишь, едет! Давайте, братцы, ссодим его!.. Всех вас, мерзавцев, перестреляем, дай срок! Покуражились над нами, будет.

Однажды я встретил на дороге шедшую под конвоем большую толпу обезоруженных солдат. Все были пьяны и грозны, осыпали ругательствами встречных офицеров. Конвойные, видимо, вполне разделяли настроение своих плен-

ников и нисколько им не препятствовали. Солдаты были из расформированного отряда Мищенка и направлялись в один из наших полков. На разъезде они стали буйствовать, разнесли лавки и перепились. Против них была вызвана рота солдат.

Арестованные рассказывали, что они два дня не ели, не пили, что их обещали отпустить домой в сентябре, а держат до сих пор.

— Мы покажем! Мы еще покажем! — угрожающе твердили они в опьянении от водки и от злобы.

Как-то вечером, в праздник, я гулял с двумя сестрами. Солнце село. По узкой дороге вдоль кустов навстречу нам шел подвыпивший бородатый солдат в коротком полушубке. На околыше его фуражки был номер одного из наших полков.

— Ваше благородие! Как тут пройти в штаб дивизии? — спросил он меня.

— Вон-она деревня, за кустами. Ты не на ту дорогу свернул, нужно было прямо идти.

— Благодарим.

Солдат стоял и загадочно смотрел на меня.

— А ты сам откуда? — спросил я.

— Из штаба дивизии,— поспешно ответил он. Но околыш фуражки показывал, что он говорит неправду.— Ваше благородие, дайте папироску!

Я дал. Мы закурили.

— Когда же, наконец, ваше благородие, мы домой пойдем?

— Не знаю,— вздохнул я.— Говорят, в январе.

— Мы на это несогласны, мы забастовку сделаем! Вон мне жена из дому пишет: лошадь продала, корову; все проела, ничего нет. Нужно все к севу добывать, а это что же? Ноябрь, декабрь, февраль, январь,— эва! Мы несогласны, как вам угодно!

— Голубчик, я-то тут при чем же? Ведь и мне самому так же хочется домой, как и тебе.

— Вам что! Вам какое жалованье идет,— живи и не тужи! Я бы с таким жалованьем десять лет стал ждать! А нам жалованье сорок три с половиной копейки было, да и то теперь, по мирному времени, сократили. Вам ждать— нажива, а нам — разоренье, сума!

Возразить на это было нечего: конечно, получая около двухсот рублей в месяц, ждать было легче.

— Когда же нас отправят? Ваше благородие! — угрожающе приставал солдат.

— Ведь по очереди теперь отправляют, приказ был. Кто раньше пришел, тот раньше и уходит.

— Ви-идишь ты! Это как же так по очереди? Тринадцатый корпус только что пришел из России, ему телеграмма была от Линевича, чтоб остановился в Чите, — а он до Харбина доехал, а потом назад? Девятый корпус тоже недавно пришел, а уж опять-таки ушел. Это что же такое? Мы несогласны!..

Было ясно, — солдат всячески старался вызвать меня на столкновение.

— Ну, так вот она дорога в штаб! — прервал я его и пошел с сестрами.

— Дорога! Я и без вас ее знал!.. Пойду уж домой. Шел к земляку, да не стоит: поздно.

— Куда домой? — засмеялись сестры.

— В Мценский полк.

— Ты же сказал, ты из штаба!

Солдат усмехнулся, махнул рукою и пошел по полю через каоляновые гряды.

— Спутаешься так, иди по дороге, она прямо ведет.

— Э, солдат везде найдет дорогу!..

Он прошел сотни три шагов, потом в сумерках круто повернул к дороге и остановился под деревом у китайской могилы. Мы прошли мимо. Солдат стоял и молча смотрел на нас, потом пошел по дороге следом.

— Да-а... Кто воюет, а кто горюет!.. — вызывающе, с угрозою в голосе, говорил он, и следовали цинические ругательства.

Сестры волновались. Мы замедлили шаг, чтобы пропустить солдата вперед. Он обогнал нас и медленно шел, пошатываясь и все ругаясь. Были уже густые сумерки. Дорогу пересекала поперечная дорога. Чтобы избавиться от нашего спутника, мы тихонько свернули на нее и быстро пошли, не разговаривая. Вдруг наискось по пашне пробежала в сумраке пригнувшаяся фигура и остановилась впереди у дороги, поджидая нас.

Делать было нечего. Мы повернули назад и пошли к деревне. Солдат бегом нагнал нас.

— Так-то вы воюете, а? — задыхаясь, заговорил он. — С сестрами тут по ночам безобразничаете (так-то вас и так-то)?

Я мигнул сестрам, чтоб они шли к деревне, а сам остановился с солдатом.

— Послушай, голубчик, ну, как тебе не стыдно так скандалить?

— Нет, вы что тут такое делали, а?! В одну сторону, в другую,— думали, спрячетесь от меня?.. Се-естры!.. Милосердные!.. Что вы такое делали?

Он напирал на меня левым плечом, отмахнув назад сжатый кулак.

— Вот вы как воюете? Давай пять рублей, с-сукин сын!.. А то сейчас вас раскрою!

— Пяти рублей ты, конечно, не получишь. А отчего мы от тебя уходили,— попробуй-ка, сообрази сам.

— Я зна-аю!.. Я все понимаю!

— Ничего, брат, ты не понимаешь! Отошли мы от тебя потому, что ты пьян.

— Нет, я не пьян!

— Ну, а по совести,— сколько сегодня выпил?

— Действительно, как я именинник, то две чарки ханьжи (ханьшину) выпил, а я не пьян!

— Ну, хочешь вот что: пойдем в деревню, спросим первого встречного, пьян ты или нет. Если скажут нет, я плачу тебе десять рублей.

— Пойдем!

Мы пошли к деревне.

— Бог с вами! Давайте три рубля! — вдруг сказал он.

— Что?.. Нет, пойдем, пойдем; спросим раньше.

— И рублевки не дадите?

— Не дам.

— Ла-адно! — угрожающе произнес солдат.— Недолго погуляешь! Дай время,— со всеми вами разделаемся!

И он свернул в кусты

То, что уже ясно почувствовалось во время мукденского разгрома, что с каждым месяцем росло все больше, теперь достигло меры, превзойти которую было невозможно.

Всякая спайка исчезла, все преграды рушились. Стояла полная анархия. Что прежде представлялось совершенно немыслимым, теперь оказывалось таким простым и легким! Десятки офицеров против тысяч солдат,— как могли первые властвовать над вторыми, как могли вторые покорно нести эту власть? Рухнуло что-то невидимое, неосязае-

мое, исчезло какое-то внушение, вскрылась какая-то тайна,— и всем стало очевидно, что тысяча людей сильнее десятка.

Все, что долго и прочно накапливалось в солдатской душе, вырвалось наружу и медленным, жутко-темным, угрожающим вихрем начинало крутиться над армией. Поражающее неравенство в положении офицерства и солдат, голодавшие дома семьи, бившие в глаза неустройства и неурядицы войны, разрушенное обаяние русского оружия, шедшие из России вести о грозных народных движениях,— все это наполняло солдатские души смутною, хаотическою злобою, жаждою мести кому-то, желанием что-то бить, что-то разрушать, желанием всю жизнь взмести в одном воющем, грозном, пьяно-вольном урагане.

Восьмого декабря мы, младшие врачи госпиталя, получили бумагу. В ней объявлялось, что мы отчисляемся от госпиталя и командируемся в Россию в распоряжение московского военно-медицинского управления. Собственно говоря, это было увольнение в запас. Но в таком случае нам должны бы были выдать прогонные деньги до места нашего призыва. Чтоб избежать этого, нас здесь не увольняли, а «командировали» в Россию.

Итак,— конец! Скоро опять — свободные люди, скоро опять отношение твое к окружающим будет определяться свободною оценкою, а не видом погонов на плечах, количеством на них полосок и звездочек. Конец!

Почти полтора года пробыли мы в Маньчжурии. Много было лишений, много пережито тяжелого. Являлось желание подвести итог, дать себе отчет,— что же ты тут сделал? Итог получался печальный. Оборудование нашего подвижного госпиталя стоило около полутораста тысяч, ежемесячный бюджет его был в шесть-семь тысяч; сто двадцать пять человек было оторвано от своего дела в России и придано к госпиталю. Что же мы тут делали? В промежутке между боями по целым месяцам стояли свернутыми или принимали единичных больных, чтобы сейчас же отправить их дальше. Когда наступал бой, мы почти в самом начале его свертывались и поспешно уходили назад. Если бы нас здесь не было, если бы наш госпиталь совсем не существовал, решительно никто от этого не пострадал бы, никто бы даже не заметил нашего отсутствия.

XII

ДОМОЙ

Гречихин, Шанцер и я, мы выехали вместе из Куанчендзы на Харбин. Ехало много офицеров и врачей, также отправлявшихся в Россию. Подвыпившие солдаты входили в купе, садились, не спрашиваясь, рядом с офицерами, закуривали.

Наутро мы приехали в Харбин. Здесь настроение солдат было еще более безначальное, чем на позициях. Они с грозно-выжидающим видом подходили к офицерам, стараясь вызвать их на столкновение. Чести никто не отдавал; если же кто и отдавал, то вызывающе посмеиваясь,— левою рукой. Рассказывали, что чуть не ежедневно находят на улицах подстреленных офицеров. Солдат подходил к офицеру, протягивал ему руку: «Здравствуй! Теперь свобода!» Офицер в ответ руки не протягивал и получал удар кулаком в лицо.

Вспыхивали страшные драмы. Во Владивостоке артиллерийский капитан Новицкий встретился на улице с солдатом: два георгия на груди, руки в бока, в зубах папироска. Новицкий остановил солдата и сделал ему замечание, что тот не отдал чести. Солдат, ни слова не говоря, с размаху ударил его кулаком в ухо. Новицкий, по обычной офицерский традиции, выхватил шашку и раскроил обидчику голову. Это увидели солдаты, помещавшиеся в чуркинских казармах. Они выбежали из казарм и погнались за Новицким. Новицкий вбежал в офицерское собрание и заперся, солдаты стали ломиться. В собрании было еще несколько офицеров. Новицкий застрелился. Ворвавшиеся солдаты жестоко избили остальных офицеров. Били поленьями и каблуками, преимущественно по голове. Два офицера через несколько дней умерли в госпитале. Об этом тогда было рассказано в газетах.

Мы ждали поезда на вокзале. Стояла толчея. Офицеры приходили, уходили, пили у столиков. Меж столов ходили солдаты, продавали китайские и японские безделушки.

— Сколько веер стоит? — спросил сидевший за стаканом чая полковник.

— Два рубля, ваше высокородие!

— Дорого,— равнодушно сказал полковник и положил веер обратно.

— Дорого?.. Мало жалованья получаете? — возразил солдат, грозно оглядывая его.

Полковник встал и, как будто все равно собирался уйти, направился к выходу.

— До-орого! — вдогонку ему кричал солдат.— Копейку не хочешь дать заработать солдату! Мало деньжищ тут загреб!.. С-су-укин сын!..

В Харбине всем движением по железной дороге заведовал стачечный комитет. На глазах творилось что-то необычное и огромное. Среди царства тупо-высокомерной, неповоротливой и нетерпимой власти, брезгливо пренебрегавшей интересами подвластных, знавшей лишь одно требование: «не рассуждать», вдруг зародилась новая весело-молодая власть, сильная не принуждением, а всеобщим признанием, державшаяся глубоко-проникавшими корнями в вырастившей ее почве. Старая власть с враждебным негодованием косилась на эту нежданную, никакими параграфами не предусмотренную власть; пыталась игнорировать ее, пыталась разыгрывать из себя силу; но вскоре ходом вещей была вынуждена, ломая себя, с кислою улыбкой протянуть руку нечиновному соседу и вступить с ним в переговоры.

Более умные из представителей власти понимали, что единственным выходом из их отчаянного положения было вступить в сношения со стачечным комитетом, заведовавшим перевозкою войск. Вестей из России не было; рвавшаяся домой армия волновалась все грозней; дисциплинарная связь, как насквозь проеденная ржавчиною цепь, разлеталась по всем звеньям. Первый пьяный праздник, первая вспышка,— и произошел бы еще никогда не виданный взрыв, пошла бы резня офицеров и генералов, части армии стали бы рвать и поедать друг друга, как набитые в тесную банку пауки. Владивосток уже дал первое предостережение. В Чите, в Красноярске войска перешли на сторону восставших.

Более тупые из представителей власти не хотели ничего знать. Они не видели занимавшегося вокруг пожара, не видели гор взрывчатого материала, ждавшего только искры. Эти легко воспламенимые горы они слепо принимали за гранитные скалы и надеялись, опираясь на них, все воротить к старому. Во главе этих представителей власти стоял командующий третьей армией генерал Батьянов, приехавший

на театр войны уже после Мукдена. Он настаивал на том, чтоб ни в какие сношения со стачечным комитетом не вступать. Усиленно агитировал в войсках, повторял скверную сплетню о японских миллионах, осыпал клеветами забастовщиков. При первой наступившей возможности, как потом сообщалось в газетах, он послал в Петербург донос на Линевича.

Следом за Батьяновым шли другие. Начальник тыла, генерал Надаров, в своих речах к солдатам тоже старался выставить виновниками всех их бед революционеров и стачечные комитеты, говорил о понятности и законности желания залить кровью творящиеся безобразия. «Недалек, быть может, тот день, когда я всех вас позову за собою,— заявлял генерал.— И тогда никого не пощадим! Я пойду во главе вас и первый буду резать *стариков, женщин* и *детей*».

В ответ на эти речи стачечный комитет объявил, что не повезет в Россию генералов Батьянова и Надарова. Со смехом рассказывали, как Надаров, переодевшись в штатское платье, поехал было инкогнито в Россию, но его узнали на одной из станций и вежливенько привезли назад в Харбин. Ему пришлось, как говорили, на лошадях ехать во Владивосток, чтобы оттуда переправиться в Россию морем.

В приказе главнокомандующего предписывалось, чтоб посадка в вагоны офицерских чинов, едущих в Россию одиночным порядком, производилась в строгой последовательности, по предварительной записи. Но в Харбине мы узнали, что приказ этот, как и столько других, совершенно не соблюдается. Попадает в поезд тот, кто умеет энергично работать локтями. Это было очень неприятно: лучше бы уж подождать день-другой своей очереди, но сесть в вагон наверняка и без боя.

В двенадцатом часу дня подали поезд. Офицеры, врачи, военные чиновники высыпали на платформу. Каждый старался стать впереди другого, чтоб раньше попасть в вагон. Каждый враждебно и внимательно косился на своих соседей.

Поезд подошел и остановился. Мы ринулись к вагонам. Но вагоны были заперты, у каждой двери стояло по жандарму.

— Отпирай двери!

— Когда первый звонок будет, тогда отопрут.

Все теснились к ступенькам вагонов. Каждый старался протиснуться краешком плеча, потом выпрямлял плечо и оказывался впереди.

— Послушайте! Вы же видите, тут стоят! Куда вы лезете?

— Да не толкайтесь, что за безобразие!

Пассажиры крепко цеплялись за ручки и перила, чтоб их не оттиснули. Поручик-сапер заглянул в промежуток между вагонами и увидел, что ведущая в вагон дверь не заперта. Когда жандарм отвернулся, он быстро вскочил на буфер, перепрыгнул на другой и исчез в вагоне. Высокий военный врач старался поймать сапера за полы и в негодовании кричал:

— Эй, эй, поручик! Куда?!. Какое вы имеете пра...

Но вдруг и сам врач вскочил на буфер и тоже исчез в вагоне.

Из вагона назад вышел поручик.

— Господа! Оказывается, весь вагон уж полон!

— Как полон?!

Жандарм отлетел в сторону. Пассажиры, грубо и озлобленно работая локтями, стали вскакивать на буфера. Толкались, перепрыгивая через упавших. Было противно, но мелькнула мысль: «прозеваешь,— и завтра и послезавтра будет то же самое»! И я ринулся вслед за другими на буфера.

В узком коридорчике вагона теснились, сталкивались, ругались. Около меня немного приотворилась запертая дверь купе. Я быстро сунул ногу в отверстие и протиснулся в купе. В нем были Шанцер и четыре незнакомых офицера.

— Виноват, тут все уже занято! — встретил меня офицер.

— Будьте покойны, все равно не уйду! — возразил я.

— То есть, как это не уйдете?.. Купе на четыре человека, а нас тут и так шесть!

— Где же шесть? Вас пять.

— Мы заняли место еще для одного товарища, он на платформе при вещах.

— Ну, это меня не касается! Его тут нет, я и сажусь.

Голоса повышались. И по всему вагону, во всех купе и в коридорчике кричали, препирались и ругались. В наше купе ломились новые пассажиры.

— Господа, давайте уж лучше кончим! — предложил

я.— Уйти отсюда я, все равно, не уйду, а вы видите, ломятся новые пассажиры. Давайте лучше заключим общий оборонительный союз, а там как-нибудь устроимся.

Все рассмеялись, и союз был заключен.

Кругом все еще ругались и кричали. Соседнее купе оказалось занятым каким-то негром в блестящем цилиндре, в дорогой меховой шубе, и изящною, накрашенною дамою с подведенными глазами. Эта парочка танцевала в харбинских кафе-шантанах кэк-уок и теперь ехала на гастроли на станцию Маньчжурия.

Штабс-капитан в потертых погонах кричал на жандарма:

— Я тебя спрашиваю, как тут очутилась эта эфиопская харя?! Мы их в толпе не видели, когда у вагонов стояли... С той стороны их впустил, на чаек получил?.. Мы здесь кровь проливали, нам нету места, а они кэк-уок танцевали, им нашлось отдельное купе?!

Наконец, поезд двинулся. Все рассаживались и устраивались на взятых с бою местах. Слава богу! Как-никак. а наконец поехали. Впереди — Россия.

Поезд мчался по пустынным равнинам, занесенным снегом. В поезде было три классных вагона; их занимали офицеры. В остальных вагонах, теплушках, ехали солдаты, возвращавшиеся в Россию одиночным порядком. Все солдаты были пьяны. На остановках они пели, гуляли по платформе, сидели в залах первого и второго класса. На офицеров и не смотрели. Если какой-нибудь солдат по старой привычке отдавал честь, то было странно и необычно.

И во всех эшелонах было то же. Темная, слепая, безначально-бунтующая сила прорывалась на каждом шагу. В Иркутске проезжие солдаты разнесли и разграбили вокзал. Под Читою солдаты остановили экспресс, выгнали из него пассажиров, сели в вагон сами и ехали, пока не вышли все пары.

Нам рассказывал это ехавший в нашем поезде мелкий железнодорожный служащий, в фуражке с малиновыми выпушками. Все жадно обступили его, расспрашивали. Впервые мы увидели представителя, осиянного всемирною славою железнодорожного союза, первым поднявшего на свои плечи великую октябрьскую забастовку. У него были ясные, молодые глаза. Он с недоумевающею улыбкой говорил о непонимании офицерами происходящего освободительного дви-

жения, рассказывал о стачечных комитетах, о выставленных ими требованиях.

— А скажите, как у вас, все слушаются стачечных комитетов?

Железнодорожник сдержанно улыбнулся.

— Да, у нас дисциплина не то, что у вас. Одно слово стачечного комитета,— и все сразу бросят работу, от инженера до последнего стрелочника.

Он говорил еще, что раньше они требовали реформ; теперь же, когда поведением после 17 октября правительство показало свое вероломство, они уже *требуют революции...*

На следующий день к вечеру мы прибыли на станцию Маньчжурия. Предстояла пересадка, а поезд наш запоздал. Пришлось ночевать на станции.

Здесь было уже полное царство стачечного комитета. Все выглядело так ново, необычно и невиданно, будто перед глазами развернулся какой-то буйно-фантастический сон. Рядом с пожелтевшим, загаженным мухами объявлением военного губернатора Забайкалья ярко белело новенькое объявление от «Комитета служащих и рабочих Забайкальской железной дороги». В объявлении сообщалось, что посадка в вагоны возвращающихся с Дальнего Востока воинских чинов будет производиться в строгом порядке записи; записываться там-то; никакого различия между генералами, офицерами и нижними чинами делаться не будет; в вагоны первого класса вне записи будут сажаться сестры милосердия и больные; остальные места первого класса, второго и так далее до теплушек заполняются по порядку записи. В конце заявлялось, что кто не будет подчиняться распоряжениям стачечного комитета, того не повезут совсем.

Мы пошли записываться. В конце платформы, рядом с пустынным, бездеятельным теперь управлением военного коменданта, было небольшое здание, где дежурные агенты производили запись. На стене, среди железнодорожных расписаний и тарифов, на видном месте висела телеграмма из Иркутска; в ней сообщалось, что «войска иркутского гарнизона перешли на сторону народа». Рядом висела социал-демократическая прокламация. Мы записались на завтра у дежурного агента, вежливо и толково дававшего объяснения на все наши вопросы.

В залах вокзала везде было оживление, лица смотрели светло и празднично. Железнодорожный машинист, окру-

женный кучкой солдат, читал им требования, предъявленные главнокомандующему читинским гарнизоном:

— *Двенадцатое:* свобода и неприкосновенность личности,— начальники не должны ругаться и бить солдат, все должны обращаться с солдатом вежливо и говорить ему *вы;* никто из начальников не должен рыться в сундуках солдата; письма должны с почты отдаваться солдату, не распечатывая...— Солдаты жадно слушали, задерживая дыхание. Проходившие офицеры молча косились на них.

Официанты сообщили нам, что завтра у них официантский митинг; они собираются «экспроприировать» буфет и вести его впредь на артельных началах, без хозяина... Вошел радостно-взволнованный рабочий, с черными от железа руками, и крикнул на всю залу:

— Товарищи! Делегаты вести привезли: в России в *шеснадцати* губерниях войска перешли на сторону народа!

Передавались и другие вести: в Севастополе все броненосцы захвачены восставшими матросами, адмирал Чухнин с офицерами атакует их на миноносцах, крепостные форты разрушены артиллерийским огнем, убито десять тысяч человек...

Был кругом обыкновенный российски большой вокзал. Толкались обычные носильщики, кондуктора, ремонтные рабочие, телеграфисты. Но не видно было обычных тупо-деловых, усталых лиц. Повсюду звучал радостный, оживленный говор, читались газеты и воззвания, все лица были обвеяны вольным воздухом свободы и борьбы. И были перед нами не одиночные люди, не кучки «совращенных с пути», встречающих кругом темную вражду. Сама стихия шевелилась и вздымалась, полная великой творческой силы.

Что это,— юности лучшие сны?
Вижу — и верить глазам не решаюсь...

Там, в Маньчжурии, я про это читал, но все было далеким, трудно-вообразимым. Здесь впервые широко развернулось перед глазами то, о чем я читал, вдруг стало видно глубоко вдаль, и сделалось ясно, что за два года нашего отсутствия, в России, действительно, родилась светлая свобода. Ее могли теперь бить, душить, истязать. Но, раз рожденная, она была бессмертна. Убить и положить ее в гроб было уже невозможно.

Утром подали поезд. Пришли два железнодорожника со списком. Произошла посадка. Агент выкликал по списку

фамилию, вызванный входил в вагон и занимал предназначенное ему место. Кто был недоволен вагоном или своим местом, мог остаться ждать следующего поезда,— по этой же записи он имел право попасть туда одним из первых.

Толстый, краснолицый капитан, отдуваясь, раскладывал вокруг себя свои вещи и говорил:

— Нет, ей-богу молодцы забастовщики!.. Ни толкотни, ни спешки, ни ругани. У каждого свое место... А то, как из Харбина выезжали: первое,— чуть руку себе не сломал, второе,— спал в коридоре, как собака...

Приехали мы в Читу. Здесь революция царствовала. Читинский губернатор Холщевников был под арестом, городом управлял революционный комитет

На вокзале нам рассказали про курьезный случай, происшедший здесь несколько дней назад. Ехал в Россию командир одного корпуса с тремя генералами из своего штаба. Один из генералов обругал на вокзале помощника начальника станции, грозил побить его, кричал, что он продался японцам и жидам. Генералы поужинали на вокзале, воротились в свой вагон, пьют чай. Показалось им странно,— что это поезд стоит так долго? Выглянули,— их вагон отцеплен, стоит один; вокруг часовые с винтовками. В вагон входят три офицера без погонов и двое штатских

— Один из вас оскорбил сейчас помощника начальника станции,— объявил генералам штатский.— Потрудитесь перед ним извиниться. Если извинитесь, то вы просидите в вашем вагоне сутки под арестом и поедете дальше. Если не извинитесь,— совсем не поедете.

Мялись, мялись генералы. Нечего делать, пошли, извинились. Отсидели свои сутки и поехали дальше.

До Читы мы ехали довольно скоро и ровно. От Читы помчались дальше быстрее любого экспресса. Дело вскоре объяснилось: к нашему поезду прицепили вагон, в котором ехали на съезд в Иркутск железнодорожные делегаты.

— Ну, слава богу, теперь можно быть спокойным: с начальством едем! — острили офицеры и с ироническою почтительностью поглядывали на вагон, в который не допускался никто посторонний.

На станциях мы встречали вооруженных милиционеров. На одном разъезде нас обогнал поезд с боевой дружиной, мчавшийся на соседнюю станцию, где черносотенцы напали на рабочих.

Проехали мы Кругобайкальскую дорогу. На Мамаевом разъезде, когда наш поезд обгонял воинский эшелон, из солдатской теплушки с силою полетел в наш вагон большой камень; оба оконные стекла разлетелись вдребезги, одному офицеру ушибло колено. Всю ночь мы мерзли.

В Иркутске нам предстояла новая пересадка. Садиться в вагоны так, как в Маньчжурии, было куда приятнее, чем так, как в Харбине. Мы обошли вагоны и предложили пассажирам заблаговременно составить список всех едущих, чтобы в Иркутске не бегать записываться каждому отдельно, а прямо представить список тому «начальству», какое окажется в Иркутске,— стачечному комитету или коменданту. Все с удовольствием согласились. Порядок записи был определен жеребьевкой, мы составили список и выбрали для представления списка депутацию из одного штаб-офицера, одного военного врача и одного прапорщика запаса.

Мы были верст за сорок от Иркутска. В вагон вошел взволнованный кондуктор и сообщил, что на станции Иркутск идет бой, что несколько тысяч черкесов осаждают вокзал.

— Какие такие черкесы? Откуда?

Около Иркутского вокзала расположен поселок, населенный кавказцами,— черкесами, армянами и грузинами. Несколько дней подряд в этом поселке шел погром. Ехавшие с нами два иркутских обывателя рассказывали, что кавказцы поселка—профессиональные грабители; кто вечером зайдет в поселок, исчезает бесследно; полиция боится кавказцев, и все грабежи остаются нераскрытыми. Недавно нашли в поселке труп зарезанного солдата. Солдаты с эшелонов и рабочие бросились громить поселок и избивать черкесов. При разгроме лавок будто бы нашли массу солдатских шинелей, винтовок и еще теплый труп унтер-офицера. Черкесы созвали из окрестностей своих земляков и напали на вокзал, чтобы отомстить.

В этих рассказах о еще теплых трупах и бесцельных убийствах солдат звучало что-то странное и знакомое, чувствовались за кулисами чьи-то предательские, кровавые руки. Пассажир, несколько дней назад проезжавший через Иркутск, видел самый погром. Он вышел на крыльцо вокзала. Поселок горел, из лавок расхищались товары; на его глазах солдат-погромщик размозжил железною полосою голову бежавшему черкесу. А около вокзала стояла выстроившись рота солдат под командою офицера и спокойно смотрела.

Пассажир спросил офицера, отчего он не остановит погрома.

— Мне не приказано вмешиваться. Велено только охранять вокзал.

Поезд мчался. Впереди на черном небе чудился отсвет далекого зарева, сквозь грохот вагонов как будто слышались выстрелы. Все осматривали и заряжали свои револьверы.

Мы приехали в Иркутск поздно ночью. На вокзале все было тихо и спокойно.

Посадкою в вагоны здесь заведывало военное начальство. Наша депутация со списком отправилась к коменданту. Он жил тут же у платформы, в вагоне второго класса. Депутацию принял маленький, худенький офицер с серебряными штабс-капитанскими погонами, с маленькою головкою и взлохмаченными усиками. Депутация вручила ему список. С безмерным, величественным негодованием офицер отодвинул от себя список концами пальцев.

— Виноват! Тут функционирует не стачечный комитет! Никаких списков я принять не могу, каждый должен записываться у меня лично... И затем,— что это за список? Волков, Айзенберг, Филиппов... Кто такой Волков? Что это за Айзенберг?.. Должны писаться чин и звание... Предпочтение при посадке будет отдаваться штаб-офицерам...

— Когда же мы поедем?

— А это как выйдет по записи. Уж на два дня вперед запись заполнена.

Все толпою хлынули в вагон записываться. В узком коридорчике шла давка, выход был один, тот, кто записался, протискивался к выходу, с трудом продираясь сквозь напиравшие навстречу тела. Дело происходило 18-го декабря. Первых человек пять комендант записал на 20-е, человек по десять на 21-е и 22-е. На 23-е никого не записал. Я с товарищами попал на 24-е,— почти через неделю!

— Позвольте, что же это за запись такая? По пять, по десять человек на день!..

Комендант, не удостоивая нас ответом, говорил, пуская слова через нос:

— Будьте добры быть на вокзале к тому времени, когда подадут поезд. Я буду вызывать записавшихся по списку и сажать в вагоны... Впрочем, господа, вы, может быть, попа-

дете и раньше записи: многие из записавшихся уехали другими способами. Советую вам приходить к каждому поезду, может быть, попадете... Тем более, что трудно поручиться, удастся ли уж кому-нибудь вообще-то уехать отсюда дня через три-четыре. Сегодня вечером мы отбили от вокзала нападение черкесов. Говорят, их теперь собирается тысяч десять. Если сожгут вокзал и перервут сообщение, то запасные с эшелонов все кругом разнесут, нас перебьют, и что вообще будет, трудно сказать...

Мы вышли от коменданта злые и раздраженные. Куда направиться? Поселок у вокзала сожжен, в город попасть нельзя, потому что по Ангаре идет шуга, и перевоза нет; да и опасно ехать ночью из-за черкесов.

В дороге мы хорошо сошлись с одним капитаном, Николаем Николаевичем Т., и двумя прапорщиками запаса. Шанцер, Гречихин, я и они трое,— мы решили не ждать и ехать дальше хоть в теплушках. Нам сказали, что солдатские вагоны поезда, с которым мы сюда приехали, идут дальше, до Челябинска. В лабиринте запасных путей мы отыскали в темноте наш поезд. Забрались в теплушку, где было всего пять солдат, познакомились с ними и устроились на нарах. Была уже поздняя ночь, мы сейчас же залегли спать.

Поезд двинулся и пошел. Наш вагон прыгал, трясся, словно в припадке жестокого озноба, мы подлетали на своих ложах, как только что обезглавленные цыплята. Наконец, заснули.

Утром проснулись,— бодрые, выспавшиеся. Поезд стоит.

— Однако что значит привычка! — удивленно заметил Шанцер. — Сначала, как мы только что поехали, я думал, ни за что не засну. А выспался великолепно, даже не слышал тряски.

— И я тоже,— отозвался капитан Т.

Вдруг дверь теплушки с шумом отодвинулась, кто-то крикнул:

— Есть тут кто? Вылезай! Дальше вагоны не пойдут!

— А где мы?

— На станции Иннокентьевской.

На Иннокентьевской... Это всего за семь верст от Иркутска!.. То-то мы так хорошо проспали ночь: поезд все время стоял на месте!

Вылезли мы, пошли отыскивать местного коменданта. В комендантском управлении теснилась большая толпа штаб- и обер-офицеров. Все требовали мест.

— Устройте нас хоть в теплушку в каком-нибудь проходящем эшелоне!

Помощник коменданта бегал, суетился, ежеминутно звонил в телефон, повел всех на одну платформу, на другую. Человек десять он поместил в вагон четвертого класса к персоналу проходящего эшелона, на пятнадцать человек дал теплушку, мы шестеро и еще трое остались за штатом.

— Подождите, господа, полчаса, тогда определится, пойдет ли сегодня № 11, я вам дам в нем теплушку.

Наконец, в только что пришедшем эшелоне нашлась теплушка, из которой солдаты сходили на этой станции. Начальник эшелона обещал нам очистить ее через час. Теплушка была очень грязная и холодная, но нечего делать, спасибо и на том.

Мы пошли на станцию закусить. За длинным столом обедали полный, важный полковник с окладистою бородою и высокий, рыхлый капитан с лицом доброго малого. Гречихин и Шанцер пошли еще поискать чего-нибудь получше данной нам теплушки. Они воротились оживленные и радостные.

— Господа, вот стоит эшелон! Прекрасный пульмановский вагон второго класса, и в нем всего три офицера, а остальные купе заняты солдатами. Начальник эшелона, нам сказали, обедает здесь в зале.

Сидевшие за столом полковник и капитан уткнули носы в тарелки. Мы подошли к полковнику и попросили его приютить нас в его вагоне.

— Да, да! Пожалуйста! Пожалуйста! С удовольствием! — поспешно ответил он.

— Вас шесть человек? — спросил его помощник, рыхлый капитан.— Ведь с вас довольно будет одного купе? Я вам его очищу, солдат переведу в теплушку, а вы им за это дайте по трешнице. Они будут очень рады.

— Конечно! С величайшим удовольствием!

Шесть солдат перешли в теплушку, мы им за это заплатили восемнадцать рублей и разместились в великолепном, просторном купе.

— А те-то все, несчастные! В теплушках едут! — смеялись мы.

Было очень приятно, что мы поладили с солдатами полюбовно, но вот оно, это тщательное отделение даже оберофицеров от штаб-офицеров!.. Полковники трясутся в гряз-

ных, холодных теплушках, а мимо в прекрасных купе проносятся нижние чины!

Впоследствии, в Челябинске, нас нагнало несколько офицеров и врачей, которые в Иркутске сели в поезд по записи коменданта. Они рассказывали как происходила посадка. Подали поезд, штатские пассажиры устремились в вагоны. Военные стояли и, посмеиваясь, смотрели, как устраивались в вагонах штатские. Преимущество отдавалось военным,— придет сейчас комендант, очистит вагоны и по списку поместит военных, а оставшиеся места предоставит частным пассажирам. Первый звонок. Коменданта нет. Второй звонок. Его все нет. Офицеры бросились в управление.

— Где же комендант?

Коменданта не было. С предыдущим поездом приехала какая-то хорошенькая дама, комендант познакомился с нею и вместе с дамою укатил в город... И пришлось офицерам ехать, сидя на своих чемоданах, спать на полу в проходах.

— Забастовка идет! Гляди, ребята!

— Вот они, красные флаги!

— Игде? Это фуражка начальника станции!

— У-у, дура! Фура-ажка!.. Вон трепыхается!..

Среди солдат была суетня и оживление. Мы вышли на площадку. Все теснились и смотрели вправо. Через полотно дороги чернела и медленно двигалась большая толпа.

Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело...

Порожний паровоз, свистя, промчался мимо и на миг закрыл все.

Толпа окружила поезд, только что пришедший с запада. На площадке вагона стоял смертельно-бледный, растерянный жандармский офицер и что-то говорил толпе.

— Врешь, подлец! — кричали ему.

— Убийца! Каин!

— Кровопийца!.. Насосался христианской крови?

Наш поезд двинулся, угрожающе свистя на кипевшую, взмахивавшую руками толпу.

Проводник вагона на ходу вскочил на ступеньку. Мы набросились на него с расспросами,— что это было, в чем дело?

— Это *ратмистр* приехал с пассажирским поездом из Нижне-Удинска. Там по его приказу была стрельба. Два-

дцать рабочих постреляя. Вот мы и хотели посмотреть, что это за человек, который в людей стреляет. И у нас есть *ратмистр* и в Чите, а нигде в народ не стреляли.

— Что же они, бить его пришли?

— Не бить, а сделать ему позор.

Были у проводника такие хорошие, ясные глаза. Они с недоумением широко раскрывались при рассказе о стрельбе по безоружным людям. Что это? Откуда у всех, с кем мы теперь встречались, эти светлые, чем-то изнутри осиянные лица, как будто совсем люди были из другой породы, чем два года назад?

Эшелон, с которым мы теперь ехали, вез из Владивостока запасных сибиряков. На каждой большой станции с поезда сходило по нескольку десятков человек. В купе полковника, начальника эшелона, все время толпились солдаты, которым он производил денежный расчет.

По всем вагонам шло беспросветное пьянство. На распоряжения своих офицеров солдаты не обращали никакого внимания. Полковник, такой важный и внушительный на вид, на деле был вялою тряпкою. Бросалось в глаза, как сильно он трусил перед своими подчиненными. Много солдат уже сошло на станциях, в теплушках было просторно, а поезд был огромный, паровоз с трудом тащил вереницу вагонов. Полковник распорядился перевести солдат из задних теплушек в передние, чтоб можно было отцепить несколько вагонов. Пришел фельдфебель и доложил:

— Ваше высокоблагородие! Солдаты не хотят переходить!

Полковник делал вид, что занят своими бумагами. Он на минуту оторвался от них и нетерпеливо ответил:

— Что такое?.. Хорошо, подожди! Потом!

«Потом» ничего не последовало. Солдаты так и остались в своих теплушках.

При солдатах, наполнявших коридор вагона, полковник громко говорил нам:

— Что с ними поделаешь? Сейчас все разнесут! Ведь это такой народ...

И все-таки он продолжал играть с солдатами роль важного начальника, даже не допускавшего мысли о неповиновении. Всего, что делалось кругом, он словно не замечал и думал, что и все убеждены, будто он вправду не замечает.

Его помощник, рыхлый, рыжебородый капитан с лицом доброго малого, держался другой тактики: он изо всех сил

лебезил перед солдатами, фамильярничал с ними, угощал папиросами.

Наш спутник, капитан Т., смотрел на все это и покусывал редкие усы. Это был боевой офицер, с большим рубцом на шее от японской пули. Ни в каких взглядах мы с ним не сходились, но все-таки он мне ужасно нравился; чувствовался цельный человек, с настоящим мужеством в груди, с достоинством, которое ни перед чем не сломится. Во всем, что он говорил, чуялась искренность и, главное, искание.

На станциях все были новые, необычные картины. Везде был праздник очнувшегося раба, почувствовавшего себя полноценным человеком. На станции Зима мы сошли пообедать. В зале I—II класса сидели за столом ремонтные рабочие с грубыми, мозолистыми руками. Они обедали, пили водку. Все стулья были заняты. Рабочие украдксю следили смеющимися глазами, как мы оглядывали зал, ища свободных стульев.

Я и рыхлый капитан спросили себе в буфете рябчиков. Сесть было негде, мы стояли у стола и ели. Вдруг я услышал,— кто-то нам что-то говорит. За столом, наискось от нас, стоял старик с крючковатым носом, с седой, курчавой бородой. Он смотрел на нас и, простирая руку, говорил:

— Господа! Объясните мне, пожалуйста, почему рябчики летают у нас только для господ офицеров и буржуазии?.. Почему мы, трудовые люди, не можем есть рябчиков? Я работал сорок лет, трудился потом и кровью, а вот, посмотрите,— кроме мозолей на руках ничего не нажил. Разве вы трудились в жизни больше, нежели я? А вот вы едите рябчиков, а я не имею возможности... Почему это так случилось, господа офицеры? Может быть, вы мне объясните!..

Другие рабочие выжидающе поглядывали на нас и чуть заметно посмеивались. Мы молчали, стыдливо опустив глаза, и доедали своих рябчиков.

Старик подошел к стоявшему у окна прапорщику.

— Скажите, пожалуйста, почему вот вы, напр., стали офицером? У ваших родителей были средства, и они вам дали образование...

Молодой прапорщик слушал, сконфуженно улыбаясь, и старался выразить на лице, что ему весело и интересно наблюдать старика.

— А если бы у меня родители были богатые, я бы, может, был бы теперь генералом,— продолжал старик.— Может, был бы много умнее вас. Вы бы передо мною во фронт стояли... Почему так, позвольте узнать?.. Сколько с меня полагается драть шкур?

— Одну,— уверенно ответил прапорщик, чуть-чуть улыбаясь.

— Одну? — Старик подумал.— Верно, одну!.. А почему с меня одну шкуру дерет казна, другую инженеры, третью купец? Можно все это терпеть или нет?

Старик весь до краев был полон тем неожиданно-новым и светлым, что раскрылось перед ним в последние месяцы. Как будто живою водою вспрыснуло его ссохшуюся, старческую душу, она горела молодым, восторженным пламенем, и этот пламень неудержно рвался наружу.

— Не желаете ли сесть с нами?

Старик острыми глазами смотрел на прапорщика и указывал ему на столик у окна.

— Отчего же? С удовольствием.

За столиком сидели три рабочих и унтер-офицер из нашего эшелона.

— Садитесь, пожалуйста! — вежливо пригласил старик и испытующе ждал, сядет ли офицер за один стол с солдатом.

Прапорщик сел.

— Вот! Это так! Хорошо! — детски-радостно воскликнул старик. — Вас можно уважать! Он вот — солдат, вы — офицер. На службе он вам обязан дисциплиной, а тут вы оба люди, больше ничего. И никакого от этого вреда нету! Вон у японцев солдаты вместе с офицерами сидят, вместе курят, —а ка-ак они вас лупили!..

Мы возвращались в вагон с рыхлым капитаном. Он негодовал и возмущался.

— Черт знает,— какое холуйство! Сидят, развалились, пьянствуют в первом классе, а пассажирам негде сесть. Раз они рабочие, передовые люди, то должны бы понимать, что мы здесь не офицеры, не буржуазия, а просто проезжие... Извольте видеть,— вот какая у нас революция!

На платформе стояла древняя, трясущаяся старуха. Падал снег. Старуха опиралась на палку, укоризненно смотрела на нас и шамкала:

— С чем назад-то едете?.. Стыда нету!.. А как мы вас провожа-али!..

Что делается в России, никто не знал. Газеты содержали только местные сведения. Встречные пассажиры, ехавшие из России, рассказывали, что вся Москва покрыта баррикадами, что на улицах идет непрерывная артиллерийская стрельба.

В солдатских вагонах нашего эшелона продолжалось все то же беспробудное пьянство. Солдаты держались грозно и вызывающе, жутко было выходить из вагона. У всех было нервное, прислушивающееся настроение. Темною ночью выйдешь на остановке погулять вдоль поезда,— вдруг с шумом откатится дверь теплушки, выглянет пьяный солдат:

— Эй, ты, горнист!.. Чего ясные погоны на плечи нацепил?.. Иди сюда, дай, я тебе в шею накладу... У-у, с-сукин сын!.. Фью-у-у!..

На станциях солдаты прямо шли в зал первого-второго класса, рассаживались за столами, пили у буфета водку. Продажа водки нижним чинам, сколько я знаю, была запрещена, но буфетчики с торопливою готовностью отпускали солдатам водки, сколько они ни требовали. Иначе дело кончалось плохо: солдаты громили буфет и все кругом разносили вдребезги. Мы проехали целый ряд станций, где уж ничего нельзя было достать: буфеты разгромлены, вся мебель в зале переломана, в разбитые окна несет сибирским морозом.

Офицеры украдкою шмыгали мимо сидевших за столами солдат, торопливо выпивали у стойки рюмку водки и исчезали. На моих глазах пьяный ефрейтор, развалившись за столом, ругал русскими ругательствами стоявшего в пяти шагах коменданта станции. Комендант смотрел в сторону и притворялся, что не слышит.

— Что, брат, рыло воротишь? Эй, ты, ваше благородие!.. Тебе говорю!

И он дергал офицера за рукав.

Рассказывались страшные вещи. Где-то под Красноярском солдат толкнул офицера в плечо, офицер в ответ ударил его в ухо. Солдаты бросились на офицера, он пустился бежать в тайгу, солдаты с винтовками за ним. Через полчаса солдаты воротились с окровавленными штыками. Офицер не воротился.

По великому сибирскому пути, на протяжении тысяч верст, медленно двигался огромный, мутно-пьяный, безначально-бунтовской поток. Поток этот, полный слепой и ди-

кой жажды разрушения, двигался в берегах какого-то совсем другого мира. В этом другом мире тоже была великая жажда разрушения, но над нею царила светлая мысль, она питалась широкими, творческими целями. Был ясно сознанный враг, был героический душевный подъем.

Обе эти стихии были глубоко чужды друг другу, понимания между ними не было. Солдаты жили одною безмерною своею злобою, и для злобы этой все были равны. Били офицеров,— били железнодорожников; разносили казенные здания,— разносили и толпы демонстрантов, приветствовавших войска дружественными кликами.

Один солдат с благодушною улыбкою рассказывал мне, как под Иркутском они проломили голову помощнику начальника станции.

— За что?

— Да так. Не знаю... Все били.

Здесь, на возвращавшихся войсках, можно было видеть, что такое подлинная анархия. Была война против всех и друг против друга. Солдаты рвались домой, и на станциях происходили жестокие побоища из-за паровозов и из-за права ехать вперед первым. На одной станции мы нагнали эшелон; у него был один паровоз, и он двигался медленно. У нас было два паровоза. Солдаты с того эшелона стали отцеплять у нас один паровоз для себя. Увидели это наши солдаты и бросились на защиту. Наших было больше, они отбили свой паровоз, и мы с криками «ура!» покатили вперед.

На одной большой станции в купе к начальнику нашего эшелона вошел жандарм.

— Ваше высокоблагородие! Солдаты вашего эшелона избили железнодорожного агента!

Полковник сердито и взволнованно закричал в ответ:

— Они и всю станцию вашу разнесут!.. И вашу станцию разнесут и всех перебьют, если вы нас тут будете держать!.. Сейчас же отправляйте нас дальше, сейчас же!..

И наш поезд, действительно, не в очередь был пущен вперед при негодующих криках и ругательствах других эшелонов.

И солдаты пили, пили. Вываливались на ходу из поезда и замерзали в тайге; вскакивали в двигавшиеся вагоны, срывались, и колеса резали их надвое.

Однажды под вечер к полковнику явился старший по вагону № 4 и доложил, что один солдат у них сильно

напился пьян, бунтует, выбросил из вагона железную печку.

Полковник накричал на старшего:

— Вас там двадцать человек трезвых,— как же вы не смогли ему помешать, чего вы его не связали? Что ж, сам я, старик, пойду его вязать?.. Поделом, езжайте теперь в холодном вагоне!

На следующей остановке в наш вагон ворвался окровавленный, пьяный солдат,— босой, голый по пояс, плачущий.

— Ваше благородие! Меня там избили, сейчас убьют.

Капитан сплавил его в соседнее купе, занятое солдатами.

— Иди сюда, проспись! Завтра я разберу!

Солдаты в купе очень мало обрадовались нежданному гостю. Они стояли в коридоре и говорили громко, чтоб слышали полковник и капитан:

— Это что же? Нам, значит, тоже ждать, чтоб он и нас всех, как печку, из вагона повыбросил?

— Самого бы его выбросить вон. Пусть замерзает, пьяная собака!

В купе два солдата поучающим голосом говорили пьяному:

— Ты погляди на себя, что ты есть такое? Тебя дома жена ждет, дети, а ты пьянствуешь.

— Дай, господи, тебе всегда так пьянствовать, как я пьянствую! — возражал пьяный.— Дай руку!.. Дай тебе, господи, всегда так пьянствовать!.. Ну, дай же, тебе говорят,— давай руку сюда!

— Ну, вот тебе рука.

— Вот!.. Дай, я говорю, тебе, господи, так пьянствовать, как я пьянствую!.. Сукин ты сын, проклятый человек! А я не так, чтоб желал бы утопить тебя, уязвить тебя, чтоб ты пропал вечно!..

— Не кричи!

— Имею право кричать!! Я имею право кричать! Я супротив японца сражался, я пять раз ранен!

— Ладно, молчи! Авось, и мы не за японца сражались.

Пьяный долго бушевал в купе.

— Ничего я не боюся, ни огня, ни пламя! — кричал он зловеще-воющим голосом, и была в этом голосе угроза и какая-то дикая, шедшая из темных глубин скорбь.— Я ничего не боюся, погоди, что еще будет!.. Что во Владивосто-

ке было,— по всей Сибири пойдет, по всей Рассее пойдет!.. Всю Рассею полымем пустим!

Утром, когда солдат проспался, его перевели назад в теплушку. Но он тотчас же напился снова. А после обеда старший по вагону пришел доложить, что этот самый солдат на полном ходу поезда открыл дверь теплушки и голый выскочил наружу. Было 32° мороза; если и не разбился, то все равно замерзнет.

Глаза старшего, когда он докладывал, были странные, и он избегал взглядов. И у всех мелькнула одна мысль: солдат не сам выскочил, а его выбросили спутники, наскучив его буйством...

Жизнь человеческая стала не дороже гнилой картошки.

Верст за десять до Красноярска мы увидели на станции несколько воинских поездов необычного вида. Пьяных не было, везде расхаживали часовые с винтовками; на вагонах-платформах высовывали свои тонкие дула снаряженные пулеметы и как будто молчаливо выжидали. На станции собирался шедший из Маньчжурии Красноярский полк; поджидали остальных эшелонов, чтобы тогда всем полком пешим порядком двинуться на мятежный Красноярск.

Приехали мы в Красноярск. Местный гарнизон вместе с народом демонстрировал на улицах с красными флагами; по городу, в сопровождении двух казаков, разъезжал новый революционный губернатор, прапорщик Козьмин; шли выборы в городскую думу на основе четырехчленной формулы. На вокзале, разграбленном запасными матросами, продавались нумера социал-демократической газеты «Красноярский Рабочий», печатанные в губернской типографии. Еще держалось светлое опьянение свободы, но черные тяжелые тучи уже заволакивали горизонт. Все знали о стягивающихся под городом правительственных войсках.

Здесь же мы впервые подробно узнали о подавленном московском восстании, о разрушенных снарядами кварталах и о сковавшем Москву военном положении.

Бастовавший телеграф опять начал действовать. Со станции Обь мы послали домой телеграммы с извещением, что едем.

Настал сочельник. По-прежнему в эшелоне шло пьян-

ство. На станции солдаты избивали начальников станций и машинистов, сами переговаривались по телефону об очистке пути, требовали жезла и, если не получали, заставляли машиниста ехать без жезла. Мы жестоко мерзли в нашем пульмановском вагоне. Накануне ночью, когда на дворе было 38° морозу, мальчик-истопник заснул, трубы водяного отопления замерзли и полопались. Другого вагона мы нигде не могли получить.

Рыхлый капитан, помощник начальника эшелона, был задумчив и вздыхал.

— Изобьют завтра солдаты нашего полковника! Мне сегодня говорили нижние чины. Действительно, тоже и их положение! Полковнику выданы деньги на удовлетворение солдат только за проезд по железной дороге, остальное они должны получить у местного воинского начальника. А от станции до воинского начальника двести верст! Они и говорят: «что же, пешком нам идти двести верст по этакому морозу? Снегом, что ли, питаться?..» Ведь правильно все!.. Я им объясняю, что полковник в этом не виноват,— откуда же он возьмет денег, если ему не выдали? «Мы это понимаем, а все-таки его изобьем... Что же это за порядки!..» Ну, что с ними поделаешь? — Рыхлый капитан задумался.— Меня-то они не тронут. Меня они любят...

Наш спутник, капитан Т., быстро поднял голову и пристально взглянул в глаза рыхлому капитану.

— То есть позвольте! — резко и значительно произнес он. — Вы ведь, я думаю, знаете обязанности офицера? Если полковника тронут хоть пальцем, мы с вами, как офицеры, *обязаны* заступиться за товарища!

— Ну, да, да! Конечно! Как же иначе? — поспешно согласился рыхлый капитан и успокоительно прибавил:— Бить они его не будут, только поругают.

Но в разговоре он неожиданно все задумывался и замолкал. Нечаянно он выдал свою тайную думу:

— Напрасно я вчера дал жене телеграмму, что приеду. Может быть, еще убьют завтра...

Рано утром, только что стало светать, рыхлый капитан собрал свои вещи, и денщик понес их вон из вагона.

— Куда это вы?

— Невозможно, господа, у вас тут спать, такой морозище! Перехожу к солдатам в теплушку!

Но было ясно,— храбрый капитан уходит от неприятной истории и спасает свою шкуру...

К счастью, истории никакой не вышло. Солдаты не тронули полковника. Вскоре нам дали новый вагон, и капитан перешел к нам обратно.

Поезд наш был громадный, в тридцать восемь вагонов. Он шел теперь почти пустой, в каждой теплушке ехало не больше пяти-шести солдат. Хотели было отцепить вагонов пятнадцать, чтоб облегчить поезд, но опять никто из солдат не соглашался уходить из своей теплушки. Уговаривали, убеждали,— напрасно. И почти пустые вагоны продолжали бежать тысячи верст. А там, назади, они были нужны для тех же товарищей-солдат.

От Каинска мы всю ночь бешено мчались почти без остановок. К утру были уже в Омске. Наш капитан гордо потирал руки.

— Меня, господа, благодарите! Это я такого хорошего машиниста достал. Смотрите, как гонит.

Утром мы узнали, что капитан наш здесь совсем ни при чем. Вчера вечером на паровоз взобрались три сильно пьяных солдата и заявили машинисту, чтобы он гнал вовсю, иначе они его сбросят с паровоза. Проехав три пролета, солдаты озябли и ушли к себе в теплушку. Но, уходя, сказали машинисту, что если он будет ехать медленнее, чем сейчас, то они опять явятся и проломят ему поленом голову.

И во всех эшелонах делалось так же. Один машинист, под угрозою смерти от пьяных солдат, был принужден выехать со станции без жезла, на верное столкновение со встречным поездом, должен был гнать поезд во всю мочь. И столкновение произошло. Ряд теплушек разбился вдребезги, десятки солдат были перебиты и перекалечены.

Вообще, то и дело происходили крушения от самых разнообразных причин.

В самом конце декабря мы, наконец, приехали в Челябинск. Тут только в первый раз почувствовалось, что желанная, далекая Россия, до которой, казалось, никогда не доберешься,— уж близко, сейчас здесь, за Уральским хребтом.

Дальше мы поехали с почтовым поездом. Но двигался поезд не быстрее товарного, совсем не по расписанию. Впереди нас шел воинский эшелон, и солдаты зорко следили за тем, чтоб мы не ушли вперед их. На каждой станции

поднимался шум, споры. Станционное начальство доказывало солдатам, что почтовый поезд нисколько их не задержит. Солдаты ничего не хотели слушать.

— Пускай все ровно идут. Чтоб по справедливости!

Они клали шпалы перед нашим поездом, отцепляли паровоз, взбирались к машинисту и грозили бросить его в топку, если он двинет поезд. Офицеры эшелона посмеивались и тайно поощряли своих солдат. Препирательства тянулись полчаса, час. В конце концов их поезд, при победном «ура!» солдат, двигался вперед первым. На следующей остановке повторялось то же самое.

От военного начальника дороги пришла грозная телеграмма с требованием, чтоб почтовый поезд шел точно по расписанию. Но телеграмма, конечно, ничего не изменила. До самой Самары мы ехали следом за воинским эшелоном, и только у Самары эшелон обманным образом отвезли на боковую ветку, арестовали офицеров эшелона и очистили путь почтовому поезду.

Мы переехали Волгу и ехали уже по самой настоящей, подлинной России.

На одной станции сходил с поезда денщик капитана Т. Капитан Т. вышел на платформу и, прощаясь, горячо расцеловался с денщиком. Толпившимся на платформе солдатам это очень понравилось.

— Ваше благородие! Позвольте, мы вас на руках донесем до вашего вагона!

— Лучше под колеса его! — послышалось из толпы.

Забастовка прекратилась. Повсюду уже ходили поезда. Железнодорожники и телеграфисты были сумрачны, понуры и задумчивы.

Пир свободы кончился. Начиналось похмелье. Со всех сторон вздувались кроваво-черные, мстительные волны.

1906—1907.

ЖИВАЯ ЖИЗНЬ

(О Достоевском и Льве Толстом)

ЧЕЛОВЕК ПРОКЛЯТ

(О Достоевском)

Тут ирония, тут вышла злая ирония судьбы и природы! Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще!.. Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!

«Кроткая».

I

«ОДНИ ТОЛЬКО ЛЮДИ, А КРУГОМ НИХ МОЛЧАНИЕ»

Туман, слякоть. Из угрюмого, враждебного неба льет дождь, или мокрый снег падает. Ветер воет в темноте. Летом, бывает, светит и солнце,— тогда жаркая духота стоит над землею, пахнет известкою, пылью, особенно летнею вонью города... Вот мир, в котором живут герои Достоевского. Описывает он этот мир удивительно.

«— Любите вы уличное пение? — спрашивает Раскольников.— Я люблю, как поют под шарманку, в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? А сквозь него фонари с газом блистают...»

И так везде у Достоевского. Живою тяжестью давят читателя его туманы, сумраки и моросящие дожди. Мрачная, отъединенная тоска заполняет душу. И вместе с Достоевским начинаешь любить эту тоску какою-то особенною, болезненною любовью.

В душе художника вечная, беспросветная осень. Он как

будто с большим только напряжением может представить себе, что есть на свете радостный блеск солнца, синее небо, манящие полусветы ночи. Он мучительно знает, что все это есть, но все это безнадежно-далеко. Воспоминания тусклы и безжизненны, как будто он смотрит на них сквозь запотелое от тумана стекло. Только изредка вдруг ярко мелькнет в памяти обрывок образа,— какой-нибудь «лист зеленый, яркий, с жилками, и солнце блестит»,— и сердце сожмется в тоске по далекому и недостижимому.

Прямо удивительно, как неузнаваемо тускнеет волшебник Достоевский, когда ему приходится описывать природу радостную и прекрасную.

Свидригайлов последнюю ночь перед самоубийством проводит в дрянненьком номере на Петербургской стороне. Холодно, сыро, ветер бьет в окно брызгами. Навсегда врезывается в память картина холодного отчаяния одинокой человеческой души среди холодного равнодушия бушующей осенней ночи. И вот Свидригайлову снится сон:

«Ему вообразился прелестный цветущий пейзаж: светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, троицын день. Богатый, роскошный деревенский коттедж, в английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, идущими кругом всего дома; крыльцо, увитое вьющимися растениями, заставлено грядами роз; светлая, прохладная лестница, устланная роскошным ковром, обставленная редкими цветами в китайских банках» и т. д.

Что это? Да Достоевский ли написал это? Ведь перед нами начало банальнейшего английского романа, сочиненного какою-нибудь мисс или миссис. Вот сейчас по лестнице поднимется благородный Артур и изящно поклонится прелестной Мэри.

Сон Версилова:

«Голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали,— словами не передашь... О, тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные, луга и рощи наполнялись их песнями и веселыми криками. Солнце обливало их теплом и светом, радуясь на своих прекрасных детей».

Со стеклянными этими описаниями неловко даже ставить рядом описания природы, например, у Толстого или Тургенева. Вот пара строк из небрежного частного пись-

ма Толстого: «Гомер только изгажен нашими с немецкого образца переводами. *Пошлое*, но невольное сравнение: дистиллированная вода и *вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже соринками, от которых она еще чище и свежее*». Ведь вся душа вздрагивает от этой «пошлой» пары строк. А что могут шевельнуть в душе те «прелестные пейзажи», «волшебные панорамы» и «ласковые голубые волны»?

Лексикон Достоевского поразительно богат. Но при описании радующейся природы он как будто теряет собственные слова. Либо «волшебные панорамы» и «ласковые волны», либо еще... цитаты!

Легенда о Великом Инквизиторе: «Настает темная, горячая и *«бездыханная севильская ночь»*. Воздух *«лавром и лимоном пахнет»*... Юноша Ипполит в «Идиоте» говорит: «Как только солнце покажется и *«зазвучит»* на небе (кто это сказал в стихах: «на небе солнце зазвучало»? Бессмысленно, но хорошо!),— так мы и спать. И несколько раз он повторяет этот образ: «когда солнце взойдет и «зазвучит» на небе».

Но только вступит Достоевский в область мрака, туманов и дождей,— и чуждый пришелец мгновенно превращается в державного владыку. Каждое слово его звучит здесь властно и самостоятельно; здесь ему не нужны ни «пейзажи» и «панорамы», ни цитаты.

Глядя на радость и ликование природы, самые разнообразные герои Достоевского испытывают странное, самим им непонятное чувство какой-то отъединенности.

Раскольников стоит на Николаевском мосту. «Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Одна беспокойная и неясная мысль занимала теперь Раскольникова исключительно. Ему случалось, может быть, раз сто останавливаться именно на этом самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму, и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. *Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина*... Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению».

Юноша-нигилист Ипполит («Идиот») пишет в своей исповеди:

«Для чего мне ваша природа, ваши восходы и закаты солнца, ваше голубое небо, когда весь этот пир, которому нет конца, начал с того, что одного меня счел за лишнего? Что мне во всей этой красоте, когда я каждую минуту, каждую секунду должен и принужден теперь знать, что вот даже эта крошечная мушка, которая жужжит теперь около меня в солнечном луче, и та даже во всем этом пире и хоре участница, место знает свое, любит его и счастлива, а я один выкидыш и только по малодушию моему до сих пор не хотел понять это!»

Князь Мышкин ходит ранним утром по парку, вспоминает чтение Ипполита. «Одно давно забытое воспоминание зашевелилось в нем и вдруг разом выяснилось. Это было в Швейцарии, в первый год его лечения. Он раз зашел в горы, в ясный, солнечный день, и долго ходил с одною мучительною, но никак не воплощавшеюся мыслью. Пред ним было блестящее небо, внизу — озеро, кругом — горизонт, светлый и бесконечный. Он долго смотрел и терзался. Ему вспомнилось теперь, как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир, что же это за всегдашний великий праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может пристать. Каждое утро восходит такое же светлое солнце, каждое утро на водопаде радуга; каждая «маленькая мушка во всем этом хоре участница: место знает свое, любит его и счастлива»; каждая-то травка растет и счастлива! И у всего свой путь, и все знает свой путь, с песнью отходит и с песнью приходит; один он ничего не знает, ничего не понимает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш. О, он, конечно, не мог говорить тогда этими словами и высказать свой вопрос; он мучился глухо и немо; но теперь ему казалось, что он все это говорил и тогда».

Далека от человека жизнь природы; «духом немым и глухим» полна для него эта таинственная жизнь. Далеки и животные. Их нет вокруг человека, он не соприкасается душою с их могучею и загадочною, не умом постигаемою силою жизни. Лишь редко, до странности редко является близ героев Достоевского то или другое животное,— и, боже мой, в каком виде! Искалеченное, униженное и забитое, полное того же мрака, которым полна природа.

Дрянной трактирчик на Петербургской стороне. «Пах-

ло пригорелым маслом. Гадко было. Над головой моей тюкал носом о дно своей клетки безголосый соловей, мрачный и задумчивый («Подросток»).

Собака Азорка в «Униженных и оскорбленных»: «Шерсть на ней почти вся вылезла, тоже и на хвосте. Длинноухая голова угрюмо свешивалась вниз. В жизнь мою я не встречал такой противной собаки. Казалось, она целый день лежит где-нибудь мертвая, и, как зайдет солнце, вдруг оживает».

Перезвон в «Братьях Карамазовых»,— «мохнатая, довольно большая и паршивая собака... Правый глаз ее был крив, а левое ухо почему-то с разрезом. Она взвизгивала и прыгала, служила, ходила на задних лапах, бросалась на спину всеми четырьмя лапами вверх и лежала без движения, как мертвая... Коля, выдержав Перезвона определенное время мертвым, наконец-то свистнул ему: собака вскочила и пустилась прыгать от радости, что исполнила свой долг».

Мельком является еще в «Бесах» «скверная, старая маленькая собачонка Земирка», в «Двойнике» — паршивая уличная собачонка. Вот чуть ли и не все животные, которых мы встречаем в чисто-художественных произведениях Достоевского.

Правда, есть еще в «Неточке Незвановой» невероятно-свирепый и невероятно-умный бульдог Фальстаф, есть в «Маленьком герое» столь же свирепый и дикий конь Танкред (который, однако, ухитряется не сбросить с себя взобравшегося на него одиннадцатилетнего мальчика). Но оба животные в этих ранних произведениях Достоевского слишком явно сочинены, слишком художественно-мертвы, чтобы брать их в счет. Таких псов и коней можно рисовать, ни разу в жизни не видавши собаки и лошади,— достаточно только прочесть несколько французских романов тридцатых годов.

Высших животных почти нет вокруг героев Достоевского. Зато в невероятном количестве встают перед ними всякого рода низшие животные, гады и пресмыкающиеся,— наиболее дисгармоничные, наибольший ужас и отвращение вселяющие человеку. Тарантулы, скорпионы, фаланги, и пауки, пауки без числа. Они непрерывно снятся и представляются чуть ли не всем героям Достоевского без исключения. Как холод, мрак и туманы неодушевленной природы, так эти уроды животной жизни ползут в

душу человеческую, чтоб оттолкнуть и отъединить ее от мира, в котором свет и жизнь.

И мир мертвеет для души. Вокруг человека — не горячий трепет жизни, а холодная пустота, «безгласие косности».

«Косность! О, природа! Люди на земле одни,— вот беда! «Есть ли в поле жив человек?» — кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? *Все мертво и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание,— вот земля!»* («Кроткая»).

II

«CATANA SUM ET NIHIL HUMANUM A ME ALIENUM PUTO»

И одиноко,— сами, как пауки,—сидят люди в глухих углах и смотрят на мир.

Мелкие рассказы Достоевского. Основа всех их одна: в мрачной, безлюдной пустыне, именуемой Петербургом, в угрюмой комнате-скорлупе ютится бесконечно-одинокий человек и в одиночку живет напряженно-фантастическою, сосредоточенною в себе жизнью.

«Смеркалось, накрапывал дождь. Ордынов сторговал первый встречный угол и через час переехал. Там он как будто заперся в монастырь, как будто отрешился от света. Через два года он одичал совершенно» («Хозяйка»).

«Жизнь моя была угрюмая и до одичалости одинокая. Моя квартира была моя скорлупа, мой футляр, в который я прятался от всего человечества» («Записки из подполья»).

И так почти в каждом рассказе... Большие романы, с героями, наиболее близкими душе Достоевского. «Замечательно, что Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей, всех чуждался, ни к кому не ходил и у себя принимал тяжело. Впрочем, и от него скоро все отвернулись... Он решительно ушел от всех, как черепаха в свою скорлупу».— «Я — человек мрачный, скучный,— говорит Свидригайлов.—Сижу в углу. Иной раз три дня не разговорят».

Подросток пишет: «Нет, мне нельзя жить с людьми! На сорок лет вперед говорю. Моя идея — угол... Вся цель моей «идеи» — уединение...» Версилов говорит ему: «Я тоже, как и ты, никогда не любил товарищей».

Кириллов в «Бесах» «не склонен встречаться с людьми и мало с людьми говорит». В убогом своем флигельке все ночи до рассвета он ходит, пьет чай и думает. Одиноко и загадочно проходит сквозь жизнь никому не понятный Николай Ставрогин. Одиноко сидит и думает в отцовском доме Иван Карамазов.

Связи с широкою и таинственною жизнью мира в душе человека нет. Нет также в его душе и естественной связи с другими людьми, с человечеством. Труднее всего для этого человека-одиночки вообразить, как можно *из себя* любить людей или даже просто «быть благородным».

«— Да что мне до будущего,—восклицает Подросток,— когда я один только раз на свете живу! Что мне за дело о том, что будет через тысячу лет с этим вашим человечеством, *если мне за это — ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига?*»

Человек органически не способен любить людей,— это на все лады повторяют разнообразнейшие герои Достоевского.

«—По-моему,— говорит Версилов,— человек создан с физическою невозможностью любить своего ближнего. «Любовь к человечеству» надо понимать лишь к тому человечеству, которое ты же сам и создал в душе своей».

Так же высказываются Иван Карамазов, Настасья Филипповна, многие другие. И уже прямо от себя Достоевский в «Дневнике писателя» пишет: «Я объявляю, что любовь к человечеству — даже совсем немыслима, непонятна и *совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой*» (курсив Достоевского).

Раз же нет этой толкающей силы, раз человеку предоставлено свободно проявлять самого себя,— то какая уж тут любовь к человечеству! Нет злодейства и нет пакости, к которой бы не потянуло человека. Мало того, только к злодейству или к пакости он и потянется.

Иван Карамазов утверждает, что «для каждого лица, не верующего ни в бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему религиозному; эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении».

Сдерживать такого человека могут соображения только чисто внешнего свойства,— боязнь, например, обществен-

ного мнения и т. п. Достоевского чрезвычайно интересует такой вопрос:

«— Положим, вы жили на луне, вы там, положим, сделали злодейство, или, главное, стыд, т. е. позор, только очень подлый и... смешной. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали, и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли?»

Этот вопрос задает Ставрогин Кириллову. Совсем такой же вопрос задает себе герой «Сна смешного человека». В жизни приходится скрывать свою тайную сущность, непрерывно носить маску. Но сладко человеку вдруг сбросить душную маску, сбросить покровы и раскрыться вовсю.

Кладбище. В могилах зеленая вода. Доносятся из-под земли глухие разговоры, «как будто рты закрыты подушками». Это под землею беседуют мертвецы.

«— Господа, я предлагаю ничего не стыдиться!

— Ах, давайте, давайте ничего не стыдиться! — послышались многие голоса. С особенною готовностью прогремел басом свое согласие инженер. Девочка Катишь радостно захихикала.

— Ах, как я хочу ничего не стыдиться! — с восторгом воскликнула Авдотья Игнатьевна.

— На земле жить и не лгать невозможно,— сказал барон.— Ну, а здесь мы для смеху будем не лгать. Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться. Все это там, вверху, было связано гнилыми веревками. Долой веревки и проживем в самой бесстыдной правде. Заголимся и обнажимся!

— Обнажимся, обнажимся! — закричали во все голоса» («Бобок»).

Но и ношение маски дает своеобразное наслаждение. Выбрать только маску с выражением поблагороднее и повозвышеннее. Люди с уважением смотрят и не подозревают, что под маскою смеется над ними и дергается бесстыдное дьявольское лицо.

Князь-отец в «Униженных и оскорбленных» рассказывает про одну красавицу-графиню. Она была примерно-добродетельна, пользовалась глубоким уважением за свою безупречную чистоту, к падшим относилась с жестокостью беспощадной. «И что же? Не было развратницы развратнее этой женщины, и я имел счастие заслужить ее дове-

ренность. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де-Сад мог бы у ней поучиться. Но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении — была его таинственность и наглость обмана. Эта насмешка над всем, о чем графиня проповедывала в обществе, как о высоком и ненарушимом, и, наконец, этот внутренний, дьявольский хохот и сознательное попирание всего, чего нельзя попирать,— вот в этом-то, главное, и заключалась самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо-очарователен».

Когда с ближним случается несчастие, то в душе человека закипает хищная радость,— это уже прямо от своего лица Достоевский настойчиво повторяет чуть не в каждом романе.

«Странное внутреннее ощущение довольства всегда замечается даже в самых близких людях при внезапном несчастии с их ближним; несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия» («Преступление и наказание»). «Вообще в каждом несчастии ближнего есть всегда нечто веселящее посторонний глаз,— и даже кто бы вы ни были» («Бесы»). «Я был потрясен даже до того, что обыкновенное человеческое чувство некоторого удовольствия при чужом несчастии, т. е. когда кто сломает ногу, потеряет честь, лишится любимого существа и пр.— даже обыкновенное это чувство подлого удовлетворения бесследно уступило во мне горю» («Подросток»).

Поистине, человек — это прирожденный дьявол. «Satana sum et nihil humanum a me alienum puto»,— заявляет черт Ивану Карамазову. Я — сатана, и ничто человеческое мне не чуждо. Говорит он это по поводу полученного им ревматизма. Но не только подверженность ревматизму,— в человеке вообще нет ничего, что было бы чуждо дьяволу. «Я думаю,— говорит Иван,— что, если дьявол не существует, и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию».

В человеке живет инстинктивная, непреодолимая ненависть и отвращение к гармонии, его тянет к разрушению, к хаосу.

«— Как я донес букет, не понимаю,— сказал Версилов.— Мне раза три дорогой хотелось бросить его на снег и растоптать ногой... Ужасно хотелось. Пожалей меня, Соня, и мою бедную голову. А хотелось потому, что слиш-

ком красив. Что красивее цветка на свете из предметов? Я его несу, а тут снег и мороз. Я, впрочем, не про то: просто хотелось измять его, потому что хорош».

В душе человеческой лежит дьявол. Великое счастье для жизни, что его удерживает в душевных глубинах тяжелая крышка, которой название — бог.

Федор Павлович Карамазов либеральничает:

«— Взять бы всю эту мистику (монастыри), да разом по всей русской земле и упразднить... Чтоб истина скорее воссияла».

Иван возражает:

«— Да ведь коль эта истина воссияет, так вас же первого сначала ограбят, а потом... упразднят».

Если сбросить крышку, то в жизни произойдет нечто ужасающее. Настанет всеобщее глубокое разъединение, вражда и ненависть друг к другу, бесцельное стремление все разрушать и уничтожать. Случится то, что грезится Раскольникову на каторге:

«Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться,— но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса».

III

НЕ ЗАБЫВАЮЩИЕ ПРО СМЕРТЬ

В «Дневнике писателя» Достоевский приводит сочиненное им письмо одного самоубийцы,— «разумеется, материалиста» («Приговор»).

«Я не могу быть счастлив,— пишет самоубийца,— да-

же и при самом высшем и *непосредственном* счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество — обратимся в ничто, в прежний хаос. *А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья* просто потому, что не буду *и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля.* Это — чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его».

Какие логические доводы можно привести против этого рассуждения? Никаких. Рассуждение вполне правильно. Человек не может не знать, что он умрет,— не завтра, так через сорок лет. Что же это за странная душевная тупость — думать о каком-то счастье, суетливо устраивать мимолетную жизнь, стремиться, бороться, чего-то желать и ждать. Для чего?.. Два только есть логически разумных выхода — либо убить себя, либо последовать примеру пирующих во время чумы: отдаться мгновенным наслаждениям, затуманить мысль о неотвратимом будущем и самозабвенно упиваться

ужасом той мертвой пустоты,
Которую в моем дому встречаю,
И новостью сих бешеных веселий,
И благодатным ядом этой чаши.

Однако люди живут, творят жизнь. И проповедникам тлена стоит больших усилий заставить их очнуться на миг и вспомнить, что существует смерть, все делающая ничтожным и ненужным. В этой странной слепоте всего живущего по отношению к смерти заключается величайшее чудо жизни.

Прометей у Эсхила говорит:

Я смертным дал забвенье смерти.

И хор бессмертных Океанид в изумлении спрашивает:

Но как могли про смерть они забыть?

Этого бессмертным не понять. Не понять, что великая сила жизни делает живое существо *неспособным* внутренно чуять смерть. Только теоретически оно способно представить себе неизбежность смерти, чует же ее душою разве только в редкие отдельные мгновения. «Никто,— говорит Шопенгауэр,— не имеет действительного, живого убеждения в неизбежности своей смерти, ибо иначе не было

бы большого различия между его настроением и настроением человека, приговоренного к смертной казни. Напротив, каждый, хотя познает такую необходимость абстрактно и теоретически, но отлагает ее в сторону, как другие теоретические истины, которые, однако, на практике неприложимы,— нисколько не воспринимая их в свое живое сознание».

Бессмертным этого не понять. Не понять этого и *слишком* смертным,— тем, кто носит в духе своем смерть и разложение. Не понимают и герои Достоевского.

Все они полны смутного, мятущегося ужаса перед уничтожением. Одно напоминание о смерти заставляет их содрогаться.

«В сознании о смерти и в ощущении присутствия смерти всегда для Раскольникова было что-то тяжелое и мистически-ужасное с самого детства».— «Боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней»,— сознается Свидригайлов.— «Ах, как это страшно! Думаешь ли ты когда-нибудь об этом мраке? Ах, как я боюсь смерти!» (Лиза, сестра Подростка).— «Я жизнь люблю, я за жизнь мою ужасно боюсь, я ужасно в этом малодушна!» (Катерина Николаевна в «Подростке»).— «Я там все храбрилась, а здесь смерти боюсь. Я умру, очень скоро умру, но я боюсь, боюсь умирать!» (Лиза в «Бесах»).

Страх смерти — это червь, непрерывно точащий душу человека. Кириллов, идя против бога, «хочет лишить себя жизни, потому что *не хочет страха смерти*». «Вся свобода,— учит он,— будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить... Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог».

Но как при таком душевном состоянии возможна жизнь? Достоевский решительно отвечает: невозможна. Как нет *внутри* человека сил, способных поднять его хоть немного выше дьявола,— так нет внутри его и сил, дающих возможность смотреть без непрерывного ужаса в лицо неизбежной смерти. Единственная возможность жизни, это — полное уничтожение смерти, т. е. личное бессмертие. Если же нет людям бессмертия, то жизнь их превращается в одно сплошное, сосредоточенное ожидание смертной казни. «Это — чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его»,— пишет самоубийца в «Приговоре».

«— Я представляю себе, мой милый,— начал Верси-

лов с задумчивою улыбкою,— что бой уже кончился и борьба улеглась. Настало затишье,— и люди остались *одни*, как желали: великая прежняя идея оставила их, люди разом почувствовали великое сиротство... Осиротевшие люди тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к Тому, Который и был бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в такой мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. «Пусть завтра последний день мой,— думал бы каждый, смотря на заходящее солнце,— но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их»... О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть...»

IV

«ЕСЛИ БОГА НЕТ, ТО КАКОЙ ЖЕ Я ПОСЛЕ ЭТОГО КАПИТАН?»

«— А что, когда бога нет? — говорит Дмитрий Карамазов.— Тогда, если его нет, то человек — шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без бога-то? Вопрос! Я все про это... Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без бога. Ну, это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу».

Мы видели: без бога не только невозможно любить человечество,— без бога жизнь вообще совершенно невозможна. В записных книжках Достоевского, среди материалов к роману «Бесы», есть рассуждение, которое Достоевский собирался вложить в уста Ставрогину:

«Прежде всего нужно предрешить, чтобы успокоиться, вопрос о том: возможно ли серьезно и вправду веровать? Если же невозможно, то вовсе не так неизвинительно, если кто потребует, что *лучше всего всех сжечь. Оба требования совершенно одинаково человеколюбивы (Медленное страдание и смерть и скорое страдание и смерть)*».

Человек беден безмерно. Это одинокий, беспомощный

калека с перебитыми ногами, и бог ему необходим, как костыль. Иначе он сейчас же свалится. Человек лишен всякого живого чувства, свободно идущего изнутри. И не только лишен,— он даже не в состоянии представить себе возможности такого чувства. Ну, а мать, например,— способна ли хоть она-то любить своего ребенка «без санкций»? Право, кажется, не удивишься, если где-нибудь найдешь у Достоевского недоумение: «как это мать может любить ребенка своего без бога? Это сморчок сопливый может так утверждать, а я понять не могу».

Се — человеки могучие, слава сынов земнородных.
Были могучи они, с могучими в битвы вступали.

Эти Гекторы, Диомеды и Ахиллесы боролись и умирали за то, что считали благом целого, при идее такого убогого бессмертия, которое было хуже всякой смерти. И позднейшие греки, создавшие величайшую в мире культуру, были не то, чтобы «добродетельны без бога», а гораздо больше: они были *добродетельнее* своих богов,— это отмечают все исследователи греческой культуры. Еще в большей мере приложимо это к древним римлянам. Юпитер ли вдохновлял Гракхов в их борьбе за народ? Что уж говорить о подвигах и жертвах, которыми полна жизнь за последние века! Без санкции люди боролись и гибли, борются и гибнут.

Все это как будто творится в каком-то совсем другом мире — не в том, в котором Достоевский. В его же мире, если нет человеку бессмертия, то есть только взаимная ненависть, злоба, одиночество и мрак. «Самоубийство,— говорит Достоевский,— при потере идеи о бессмертии становится совершенно и неизбежно даже необходимостью для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем развитии над скотами» (так и сказано!).

Эта слепота Достоевского на все живое слишком ужасна и трагична, чтобы можно было смеяться. И, однако, комично последовательной иллюстрацией к его мысли о невозможности для человека жить без санкции является событие, о котором рассказывает Петр Верховенский в «Бесах».

«— В пятницу вечером я с офицерами пил. Об атеизме говорили и уж, разумеется, бога раскассировали. Рады, визжат. Один седой бурбон-капитан сидел-сидел, все молчал, вдруг становится среди комнаты, и, знаете, гром-

ко так, как бы сам с собой: «Если бога нет, то какой же я после этого капитан?» Взял фуражку, развел руками и вышел.

— Довольно цельную мысль выразил,— зевнул Ставрогин.

— Да? Я не понял; вас хотел спросить».

Мы, может, тоже бы не поняли. Но, подготовленные Достоевским, мы понимаем,— и понимаем, что это, действительно, весьма даже цельная мысль.

V

«СМЕЛЕЙ, ЧЕЛОВЕК, И БУДЬ ГОРД!»

В сумеречной глубине души человеческой лежит дьявол. Ему нет воли. Его держит заключенным в низах души тяжелая крышка — бог. Дьявол задыхается в глубине, рвется на волю, просит жизни. И все очевиднее становится для человека, что это душа его просит воли, что рвущийся из-под крышки дьявол — это и есть он сам.

Что ж делать? «Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!» Нужно только дерзнуть, нужно только сбросить крышку — и будет свобода. Встанет придавленный дьявол, разомнется и поведет человека. Наступит цельная жизнь и яркое счастье,— пускай страшная жизнь, дьявольское счастье,— но жизнь и счастье.

Человек из подполья пишет: «С чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно-выгодного хотения? Человеку надо одного только *самостоятельного* хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила, к чему бы ни привела».

«— Если нет бога,— говорит Кириллов,— то вся воля — моя. Человек потому и был до сих пор так несчастен и беден, что своевольничал с краю, как школьник. Неужели никто, кончив бога, не осмелится заявить своеволие в самом полном пункте? Это так, как бедный получил наследство и испугался, и не смеет подойти к мешку, почитая себя малосильным владеть».

И вот люди начинают заявлять своеволие, начинают проявлять свое самостоятельное хотение.

Самостоятельное хотение, раз сброшена с души упомя-

нутая крышка,— это, конечно, что-то глубоко-отъединенное от всего в мире, идущее исключительно в собственное *я* человека. Раскольников говорит: «Трудолюбивый народ социалисты и торговый; «общим счастьем» занимаются. Нет, мне жизнь однажды дается и никогда ее больше не будет; я не хочу дожидаться «всеобщего счастья». Я и сам хочу жить, а то лучше уж и не жить». В чем же жизнь? — «Свобода и власть, главное — власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель!.. Кто крепок и силен умом и духом, тот над людьми и властелин. Власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь!»

Чтобы доказать себе, что он «смеет», Раскольников убивает старуху-процентщицу. «Я не человека убил, я принцип убил... Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; *для себя убил, для себя одного*... Мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая, или право имею?»

Оказалось,— тварь дрожащая. Проявить «самостоятельное хотение» до конца Раскольников не посмел. Сам идет на раскрытие своего преступления, по-ребячески задирает Заметова и Порфирия, раскидывает на себя сети и беспомощно запутывается в них. С презрением, с отвращением к себе за свою слабость он идет каяться, доносит на себя, отправляется на каторгу.

Раскаяния никакого Раскольников не испытывает, и вовсе не мучения совести заставляют его сознаться в преступлении,— это великолепно показал Мережковский. Перечитываешь «Преступление и наказание» — и недоумеваешь: как могли раньше, читая одно, понимать совсем другое, как могли видеть в романе истасканную «идею», что преступление будит в человеке совесть и в муках совести несет преступнику высшее наказание.

«— Я сейчас иду предавать себя. *Но я не знаю, для чего я иду предавать себя*,— говорит Раскольников.— Преступление? Какое преступление? — вскричал он в каком-то внезапном бешенстве.— Не думаю я о нем, и смывать не думаю! Только теперь вижу ясно всю нелепость моего малодушия, теперь, как уж решился идти на этот ненуж-

ный стыд! Просто от низости и бездарности моей решаюсь!»

И с усмешкою дьявола он думает: «А любопытно, неужели в эти будущие пятнадцать-двадцать лет так уже смирится душа моя, что с благоговением буду хныкать пред людьми, называя себя ко всякому слову разбойником?.. Каким же процессом может это произойти? И зачем, зачем же жить после этого?»

Уже будучи на каторге, «он строго судил себя, и ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого *промаха*... И хотя бы судьба послала ему раскаяние — жгучее раскаяние, разбивающее сердце, от ужасных мук которого мерещится петля и омут. О, он бы обрадовался ему! Муки и слезы — ведь это тоже жизнь. *Но он не раскаивался в своем преступлении*... Вот в чем одном признавал он свое преступление: *только в том, что не вынес его и сделал явку с повинной*».

В конце романа Достоевский сообщает, что в Раскольникове произошел какой-то переворот, что он возродился к добру. «Это могло бы составить тему нового рассказа,— но теперешний рассказ наш окончен».

С «самостоятельным хотением» вступает в жизнь и Подросток. На груди у него документ, дающий ему шантажную власть над гордою красавицею, а в голове—«идея». Идея эта — уединение и могущество. «Мне нужно то, что приобретается могуществом и чего никак нельзя приобрести без могущества; это — уединенное и спокойное сознание силы! Вот самое полное определение свободы, над которым так бьется мир! Свобода. Я начертил, наконец, это великое слово... Да, уединенное сознание силы — обаятельно и прекрасно»...

«— Зачем лезть к людям, которые вас не хотят? Не лучше ли все порвать и уйти к себе? К себе, одному себе! Вот в чем вся моя «идея».

Действительность оказывается более сложною и менее гнусною, чем предрешил Подросток. В падениях своих и унижениях он незаметно теряет идею. Для умудренного опытом юноши наступает «новая жизнь». Но опять — «в записки мои все это войти уже не может, потому что это — уж совсем другое».

Ставрогин,— у него «идеи» нет. Его даже раздражает, когда все вокруг навязывают ему какие-то идеи. Он «не

знает различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою шуткой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества». Он «в обоих полюсах нашел одинаковость наслаждения», стер все «черты» и как будто живет вовсю. Но одинаково во всем перед ним открывается темная, мертвая пустота, и он убивает себя. В предсмертном письме Ставрогин пишет: «Я могу пожелать сделать доброе лицо и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого, и тоже чувствую удовольствие. Но и то и другое чувство всегда слишком мелко, а очень никогда не бывает. Мои желания слишком несильны; руководить не могут».

Иван Карамазов учит: «Так как бога и бессмертия нет, то новому человеку позволительно стать человекобогом, даже хотя бы одному в целом мире, и с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится... Все дозволено». Мысли свои Иван сообщает лакею Смердякову, Смердяков убивает отца-Карамазова при молчаливом невмешательстве Ивана. Иван идет в суд доносить на себя. И черт спрашивает его:

«— Для чего же ты туда потащишься, если жертва твоя ни к чему не послужит? *А потому, что ты сам не знаешь, для чего идешь! О, ты много бы дал, чтобы узнать самому, для чего идешь!..* Ты всю ночь будешь сидеть и решать: идти или нет? Но ты все-таки пойдешь, и знаешь, что пойдешь, сам знаешь, что как бы ты ни решался, а решение уже не от тебя зависит. Пойдешь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь,— это уж сам угадай, вот тебе загадка!»

Какое-то глубокое, неслучайное бессилие разъедает у Достоевского всех людей, дерзающих проявить самостоятельное свое хотение. Как в отчиме Неточки Незвановой, в них все время происходит «отчаянная, лихорадочная борьба судорожно-напряженной воли и внутреннего бессилия».

«Нянька будет моя!» — думает Раскольников про Соню Мармеладову. Ставрогин говорит Дарье Павловне: «— Мне кажется, что вы интересуетесь мною, как иные богомольные старушонки, шатающиеся по похоронам, предпочитают иные трупики попригляднее перед другими». Лиза говорит ему же: «—Не хочу я быть вашею сердобольною сестрою, хотя вы всякого безногого и безрукого стоите». Версилов жене: «— Соня, я хоть и исчезну теперь опять,

но я очень скоро возвращусь, потому что, кажется, забоюсь. Забоюсь,— так кто же будет лечить меня от испуга, где же взять ангела, как Соню?» Подросток пишет про себя: «Валялась на постели какая-то соломинка, а не человек,—и не по болезни только!» Иван Карамазов жалуется Алеше на черта: «— Он меня трусом назвал! «Не таким орлам воспарять над землей!» Это он прибавил!»

Один только из всех героев Достоевского находит в себе достаточно силы, чтобы бесповоротно переступить черту и заявить своеволие до конца. Это — Кириллов в «Бесах». И как же чудовищно-жалко это торжество человеческого своеволия, каким ужасным поражением выглядит победа!

«Вся свобода,— учит Кириллов,— будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить. *Вот всему цель.*

— Цель? Да тогда никто, может, и не захочет жить?

— Никто,— произнес он решительно.

Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь обман. Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Тот — бог. Сознать, что нет бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал,— есть нелепость. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек. Имя его будет человекобог... Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас бог станет.

— Не успеет, может быть,— заметил я.

— Это все равно,— ответил Кириллов тихо, с покойною гордостью, чуть не презрением».

Как «все равно»? Дело вот в чем: «Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается, и будет вечно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо».— «В этой идее для Кириллова как будто заключалась чуть не победа».

И вот происходит торжественное вступление человека в царство свободы, светлое преображение человека в бога:

«В углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кириллов и стоял ужасно странно,— неподвижно, вытянувшись, протянув руки по швам, плотно прижавшись затылком к стене, в самом углу, казалось, желая весь стушеваться и спрятаться. Петр Степанович остановился, по-

раженный ужасом. Его главное поразило то, что фигура, несмотря на крик и на бешеный наскок его, даже не шевельнулась ни одним своим членом,— точно восковая. Бледность лица ее была неестественная, черные глаза совсем неподвижны и глядели в какую-то точку в пространство. Петр Степанович провел свечой сверху вниз и опять вверх, освещая со всех точек и разглядывая это лицо. Он вдруг заметил, что Кириллов хоть и смотрит куда-то перед собой, но искоса его видит и даже, может быть, наблюдает. Тут пришла ему мысль поднести огонь прямо к лицу «этого мерзавца», поджечь и посмотреть, что тот сделает. Вдруг ему почудилось, что подбородок Кириллова шевельнулся и на губах как бы скользнула насмешливая улыбка,— точно тот угадал его мысль. Он задрожал и, не помня себя, крепко схватил Кириллова за плечо.

«Затем произошло нечто безобразное и быстрое. Едва он дотронулся до Кириллова, как тот быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку; подсвечник полетел со звоном на пол, и свеча потухла. В то же мгновение он почувствовал ужасную боль в мизинце своей левой руки. Он закричал и вне себя три раза изо всей силы ударил револьвером по голове припавшего к нему и укусившего ему палец Кириллова. Наконец, палец он вырвал и, сломя голову, бросился бежать из дому, отыскивая в темноте дорогу. Вослед ему из комнаты летели страшные крики:

— Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас!..

Раз десять. Но он все бежал и уже выбежал, было, в сени, как вдруг послышался громкий выстрел».

Кириллов стал «богом»... Чудовищные призраки пляшут вокруг и хохочут, и приветствуют возвращение человека в недра первозданного хаоса.

VI
ИЗВЛЕЧЕНИЕ КВАДРАТНОГО КОРНЯ

В чем же дело? Почему неизбежно подкашиваются бессилием попытки любимейших героев Достоевского зажить свободною, цельною жизнью? Почему никому не удается испытать светлое торжество «самостоятельного хотения»?

Да потому, что на живое самостоятельное хотение ни у кого из них мы не видим даже намека. Кто из упомянутых

героев действительно цельно, широко и свободно проявляет себя? Никто. Никто не живет. Каждый превратил свою живую душу в какую-то лабораторию, сосредоточенно ощупывает свои хотения, вымеривает их, сортирует, уродует, непрерывно ставит над ними самые замысловатые опыты,— и понятно, что непосредственная жизнь отлетает от истерзанных хотений.

Чуткий, благородный, самоотверженный Раскольников совершает бессмысленнейшее, никому не нужное убийство единственно для опыта над собою: посмеет ли он «переступить черту»?

«— Неужели ты думаешь,— говорит он Соне,— что я, как дурак, пошел, очертя голову? *Я пошел, как умник, и это-то меня и сгубило!* И неужели ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать: вошь ли человек? — то, стало быть, уж не вошь человек *для меня*, а вошь для того, кому этого и в голову не заходит, и кто прямо без вопросов идет... Разве так идут убивать, как я тогда шел? Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя навеки!»

Иван Карамазов после последнего своего свидания со Смердяковым решает идти в суд заявить на себя,— то есть возвратиться по сю сторону «черты». На улице он спотыкается на замерзающего в снегу мужичонку,— час-другой назад сам же Иван ни за что, ни про что свалил его толчком в снег. Иван тащит мужичонку, вызывает людей, щедрою рукою сыплет деньги, чтобы спасти его. «Иван Федорович остался очень доволен.— «Если бы не было взято так твердо решение мое на завтра,— подумал он вдруг с наслаждением,— то *не остановился бы я на целый час пристраивать мужичонку, а прошел бы мимо его и только плюнул бы на то, что он замерзнет...*»

Всего замечательнее, что ведь и действительно в таком случае не остановился бы! И не потому не остановился бы, что ему не было бы жалко мужичонку,— нет! В качестве «переступившего черту» он прямо счел бы себя *не в праве* остановиться!

Ставрогин — это еще более форменный экспериментатор, вернее — фанатический фетишист «черты». Он только и делает, что упражняется в переступании черты и ищет для себя «бремени». Для этого он женится на слабоумной девице Лебядкиной, публично сносит пощечину Шатова, объ-

являет о своем браке с Лебядкиной, не мешает ее убийству. Никакой цели у Ставрогина нет, которая бы освящала его упорное шагание через черту. Черта сама по себе становится для него какой-то противоестественною, самодовлеющею целью. «Я пробовал везде мою силу,— пишет он в предсмертном письме.— *На пробах для себя и для показу*, как и прежде во всю мою жизнь, она оказывалась беспредельною. Но к чему приложить эту силу,— вот чего никогда не видал, не вижу и теперь... Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы: *но я не люблю и не хотел разврата*»...

Кириллов — детски прекрасная, благородная душа, ясно и чисто звучащая на все светлое в жизни. Но его, как и всех других, «съела идея». Человек обязан заявить своеволие, все на свете — «все равно», и «все хорошо». «Кто с голоду умрет, кто обидит и обесчестит девочку,— хорошо. И кто размозжит голову за ребенка, и то хорошо, и кто не размозжит, и то хорошо. Все хорошо».

И Кириллов заставлял себя спокойно смотреть на всякую гнусность, пишет под диктовку Верховенского предсмертное письмо, в котором берет на себя подлое убийство Шатова. В восторге вопит:

«— Кому объявляю? Всему миру? Браво! *И чтобы не надо раскаяния. Не хочу, чтобы раскаиваться!*»

Можно ли больше коверкать, ломать свою душу, чем делают эти люди и все, им подобные! Ведь здесь такой надрыв, такой надрыв, что страшнее становится за человека, чем от самого зверского злодейства!

Происходит что-то совершенно непостижимое. Человек стоит перед «чертою». Кто-то запретил ему переступать черту. Человек свергнул того, кто запрещает, и стер черту. Казалось бы, перед человеком свободно открылся мир во всем разнообразии его возможностей. Человек может идти, *куда хочет*. Но не так для героев Достоевского. Переступили черту — и стоят. Им за чертою-то, может быть, делать нечего. Однако они стоят, смотрят назад и не отрывают глаз от линии бывшей черты.

Дьявол толкнул их на «самостоятельное хотение», на желание переступить черту. Но свободное хотение это они спешат немедленно превратить в «идею», более того — в своеобразный *долг*. И начинается какое-то неслыханное, противоестественное, бесцельное подвижничество — подвижничество во имя дьявола. Сознательно закрываются

глаза на живую жизнь вокруг, истязается и кастрируется душа. Огонь самых пламенных стремлений, трепет глубочайших дум, нечеловеческое напряжение воли — все самоотверженно несут эти подвижники на свою «черту». Весь мир, вся жизнь для них — в этой узенькой черте.

Подвижничество всегда нравственно-красиво. Вот почему таким глубоким благородством дышат и эти дьяволовы подвижники. Но зло, как цель, совершенно несовместимо с подвижничеством. Вот почему подвижник и эти так вопиюще неестественны и фантастичны. В жизни они совершенно невероятны, в действительности никогда не было и не могло быть ни Раскольникова, ни Кириллова, ни Ивана Карамазова. Был только один-единственный такой подвижник — сам Достоевский, и то он мог быть им только потому, что подвижничество свое проделывал в духе, а не в жизни.

«Рассудок, господа,— пишет подпольный человек,— есть вещь хорошая, это бесспорно, но рассудок есть только рассудок, а хотение есть проявление всей жизни, т. е. всей человеческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями. И хоть жизнь наша, в этом проявлении, выходит зачастую дрянцо, *но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня*... Рассудок — только какая-нибудь одна двадцатая доля всей моей способности жить. Натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет... Мы — мертворожденные, да и рождаемся-то, давно уж, не от живых отцов, и это нам все более нравится. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи».

Есть у Льва Толстого один образ человека, «переступившего черту». Это — Долохов в «Войне и мире». Никаких над ним нет «норм», кроме «самостоятельного хотения». «От него самого происходит суд его и власть его»,— как говорит пророк Аввакум про народ халдеев. Долохов зверски-жесток и женственно-нежен, лихой смельчак и подлый шулер. Во всех отношениях он неизмеримо ниже Раскольникова или Ивана Карамазова. Но в нем одно есть, чего нет в них,— живая жизнь. И прямо эстетически отдыхаешь душою, глядя, как, с наглою улыбкою в выпуклых глазах, он шагает через «черту», даже не видя ее, мимо всех этих скорбных, немощных жизнью подвижников, застывших над чертою в сосредоточенном извлечении из нее квадратного корня.

VII
БИФШТЕКС НА ЖЕСТЯНОМ БЛЮДЦЕ

Есть у Достоевского другие герои: в извлечении квадратного корня они неповинны, теорией «черты» нисколько не интересуются, хотений «нормальных» и «добродетельных» не признают, а просто живут, проявляя себя и свое «самостоятельное хотение». Характерен среди них Свидригайлов. И чрезвычайно замечательно загадочное, очень трудно понимаемое отношение к нему Раскольникова.

Никаких «норм» Свидригайлов над собою не знает. С вызывающим и почти простодушным цинизмом он следует только своему «самостоятельному хотению». Нет мерзости и злодейства, перед которыми бы он остановился. Он изнасиловал малолетнюю девочку, довел до самоубийства своего дворового человека. Конечно, не смигнув, подслушивает за дверями, конечно, развратник и сладострастник. И решительно ничего не стыдится.

«— Вы, кажется, игрок?

— Ну, какой я игрок. Шулер — не игрок.

— А вы были шулером?

— Да, был и шулером.

— Что же, вас бивали?

— Случалось...»

Но этот же Свидригайлов берет на себя устройство детей умершей Мармеладовой, хлопочет за них, помещает в сиротские заведения, собирается вытащить из омута проститутку Соню Мармеладову.

«— С какими же целями вы так разблаготворились? — спросил Раскольников.

— Э-эх! Человек недоверчивый! — засмеялся Свидригайлов.— Ведь я сказал, что эти деньги у меня лишние. Ну, а просто, по человечеству, не допускаете, что ль?»

После этого-то поступка Свидригайлова в отношении к нему Раскольникова и появляется та загадочность, о которой я говорил.

Дела Раскольникова уже очень плохи, он близок к тому, чтоб идти и донести на себя.

«В последнее время Раскольников, хоть и всегда почти был один, никак не мог почувствовать, что он один. Он сознавал как будто чье-то близкое и тревожное присутствие, не то, чтобы страшное, а как-то уж очень досаждающее... Было что-то требующее немедленного разреше-

ния, но чего ни осмыслить, ни словами нельзя было передать. Все в какой-то клубок сматывалось».

Раскольников мечется в своей каморке. Морщась от стыда, он вспоминает о последней встрече с Соней, о своем ощущении, что в ней теперь вся его надежда и весь исход. «Ослабел, значит,— мгновенно и радикально! Разом! И ведь согласился же он тогда с Соней, сердцем согласился, что так ему одному с этаким делом на душе не прожить! *А Свидригайлов?*.. Свидригайлов загадка... *Свидригайлов, может быть, тоже целый исход*».

Сам Свидригайлов держится так, как будто он, действительно, знает какой-то исход. Случайно встретившись с Раскольниковым на лестнице, он говорит:

«— Да что вы, Родион Романыч, такой сам не свой? Вы ободритесь. Вот дайте поговорим... Эх, Родион Романыч,— прибавил он вдруг,— *всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху*-с... *Прежде всего!*»

Непонятные слова эти глубоко западают в душу Раскольникова. Он говорит Разумихину: «вчера мне один человек сказал, что надо воздуху человеку, воздуху, воздуху! Я хочу к нему сходить сейчас и узнать, что он под этим разумеет».

Происходит последняя беседа Раскольникова с Порфирием. Порфирий дает ему срок денек-другой и советует добровольно пойти и заявить на себя.

Расставшись с Порфирием, Раскольников спешит к Свидригайлову. «Чего он мог надеяться от этого человека, он и сам не знал. Но в этом человеке таилась какая-то власть над ним... Странное дело, никто бы, может быть, не поверил этому, но о своей теперешней, немедленной судьбе он как-то слабо, рассеянно заботился. *Его мучило что-то другое, гораздо более важное, чрезвычайное,*— о *нем же самом и ни о ком другом, но что-то другое, что-то главное...*»

«И он спешил к Свидригайлову; *уж не ожидал ли он чего-нибудь от него нового, указаний, выхода?* И за соломинку ведь хватаются! Может быть, это была только усталость, отчаяние; может быть, надо было не Свидригайлова, а кого-то другого, а Свидригайлов так тут подвернулся. Соня? Но Соня была ему страшна. Соня представляла собою неумолимый приговор, решение без перемены. *Тут — или ее дорога, или его.* Нет, не лучше ли испытать Свидригайлова: что он такое? И он не мог не сознаться внутри,

что действительно тот на что-то ему давно уже как бы нужен.

Ну, однакож, что может быть между ними общего? Даже и злодейство не могло бы быть у них одинаково. Этот человек очень к тому же был неприятен, очевидно, чрезвычайно развратен, хитер, может быть, очень зол. *Правда, он хлопотал за детей Катерины Ивановны;* но кто знает, для чего и что это означает?»

Встреча происходит — и почему-то совершенно разочаровывает Раскольникова. «Ему сделалось и тяжело, и душно, и как-то неловко, что он пришел сюда. *В Свидригайлове он убедился, как в самом пустейшем и ничтожнейшем злодее в мире...*» «И я мог хоть мгновение ожидать чего-нибудь от этого грубого злодея, от этого сладострастного развратника и подлеца!»

А чего же он ждал от Свидригайлова?

От Сони Раскольников ушел потому, что там была «или ее дорога, или его». Ее дорога — возвращение по сю сторону черты, к добру. Его дорога — пребывание за чертою, скорбное подвижничество во имя дьявола. Какой же дороги он ждал от Свидригайлова?

Во время этой последней их беседы, когда Свидригайлов, хохоча над Раскольниковым, с задирающим цинизмом выкладывает перед ним всю свою душевную грязь, Раскольников снова вспоминает о детях, Мармеладовой.

«— *Вы однакож пристроили детей Катерины Ивановны*. Впрочем... впрочем, вы имели на это свои причины... я теперь все понимаю».

Неужели хлопоты Свидригайлова о детях Катерины Ивановны внушили, было, Раскольникову предположение, что Свидригайлов каким-то образом сумел не переступить только, а действительно стереть «черту»? Что он в себе — *один*, что вокруг него тот вольный *воздух, воздух, воздух*, которого нет в душной психологической лаборатории Раскольникова?

Однажды, много раньше, в жизни самого Раскольникова было мгновение, когда ему вдруг почудился вокруг этот вольный воздух. Он доставил раздавленного каретою Мармеладова на квартиру и отдал его жене свои последние двадцать рублей.

«Раскольников сходил по лестнице тихо, не торопясь, весь в лихорадке, полный одного *нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни.* Это

ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение».

На лестнице он беседует с полицейским приставом, который одно время подозревал его в убийстве старухи.

«— А как вы однакож кровью замочились,— заметил пристав, разглядев при свете фонаря несколько свежих пятен на жилете Раскольникова.

— Да, замочился... *Я весь в крови!* — проговорил с каким-то особенным видом Раскольников, затем улыбнулся, кивнул головой и пошел вниз по лестнице.

Он «весь в крови». В крови старухи, которую убил, и в крови Мармеладова, которого спасал.

Раскольников останавливается на мосту,— несколько часов назад он с этого моста хотел броситься в воду.

— Довольно! — произнес он решительно и торжественно.— Прочь миражи, прочь напускные страхи! Есть жизнь! Разве я сейчас не жил?»

Но вполне очевидно, что жизнь он видит вовсе не в простом возвращении к «добру». От убитой старухи он не думает отрекаться.

«— Царство ей небесное и,— довольно, матушка, пора на покой! Царство рассудка и света теперь! И... и воли, и силы... *И посмотрим теперь! Померяемся теперь!* — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее.

Что же, однако, случилось такого особенного, что так перевернуло его? — спрашивает Достоевский.— Да он и сам не знал; ему, как хватавшемуся за соломинку, вдруг показалось, что и ему «можно жить, что есть еще жизнь». Может быть, он слишком поспешил с заключением, но он об этом не думал».

Так вот: не ожидал ли он теперь найти в Свидригайлове эту «полную жизнь», это умение нести на себе две крови, умение вместить в своей душе благодарный лепет Полечки Мармеладовой и вопль насилуемой племянницы г-жи Ресслих? Может быть, в глубине души самого Достоевского и жила безумная мысль, что вообще это каким-то образом возможно совместить. Но только полною растерянностью и отчаянием Раскольникова можно объяснить, что он такого рода ожидания питал по отношению к Свидригайлову.

Свидригайлов, конечно, разочаровывает Раскольникова.

Однако Раскольников не замечает, что на его безмолвный вопрос Свидригайлов дает ему ужасающий, но совершенно точный ответ.

«— Ведь вы пришли ко мне теперь за чем-нибудь новеньким? Ведь так? Ведь так? — настаивал Свидригайлов с плутоватою улыбкою.— Ну, представьте же себе после этого, *что я сам-то, еще ехав сюда, на вас же рассчитывал, что вы мне тоже скажете чего-нибудь н о в е н ь к о г о,* и что вот от вас же удастся мне чем-нибудь позаимствоваться! *Вот какие мы богачи!*

— Чем это позаимствоваться?

— Да что вам сказать? Разве я знаю, чем? Видите, в каком трактиришке все время просиживаю, и это мне всласть, т. е. не то чтобы всласть, а так, надо же где-нибудь сесть... Ну, был бы я хоть обжора, клубный гастроном, а то ведь вот что могу есть! (Он ткнул пальцем в угол, где на маленьком столике, на жестяном блюдце, стояли остатки ужасного бифштекса с картофелем)».

Свидригайлов видит Раскольникова насквозь. Видит, что в свое дьяволово подвижничество он только спасается от невыносимости душевных противоречий, что подвижничество Раскольникова — не более, как «ужасный бифштекс с картофелем». Но такой у него самого в душе хаос, что ему не до гастрономии. Он рад бы удовольствоваться хотя бы даже раскольниковским «бифштексом», и бифштекс этот был бы ему «всласть,— то есть, не то чтобы всласть, а так»,— надо же что-нибудь есть, чтоб не умереть... «Вот какие мы богачи!» «Идея» Раскольникова, мученически-упорное извлечение им квадратного корня — это все-таки дает хоть призрак жизни, дает силу не чувствовать смертной боли разрывающейся на куски души.

И, злобно смеясь, Свидригайлов вскрывает перед Раскольниковым всю чепуху противоречий, которой Раскольников старается не замечать.

«— Но, однако, что же это такое? Объясните, ради бога, голубчик! Вы вот все охаете да охаете! Шиллер-то в вас смущается поминутно. А теперь вот и у дверей не подслушивай... Если вы убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить, чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку... Понимаю, какие у вас вопросы в ходу: нравст-

венные, что ли? Вопросы гражданина и человека? А вы их по боку; зачем они вам теперь-то? Хе-хе! Затем, что все еще и гражданин, и человек? А коли так, и соваться не надо было; нечего не за свое дело браться».

VIII
«ВОТ КАКИЕ МЫ БОГАЧИ»

В последнюю ночь перед самоубийством Свидригайлов в полубреду вспоминает про Раскольникова.

«— А шельма, однакож, этот Раскольников! Много на себе перетащил. Большою шельмой может быть со временем, когда вздор повыскочит, а теперь слишком уж жить ему хочется. Насчет этого пункта этот народ — подлецы».

Самому Свидригайлову *слишком* жить не хочется. Отдав душу свою на растерзание «самостоятельным хотениям», он с наружным спокойствием и с холодным отчаянием в душе идет к самоубийству.

Раскольников убедился в нем, как в грубом злодее, сладострастном развратнике и подлеце. Но Достоевский замечает, что заключение Раскольникова было неправильно. И, действительно, Свидригайлов гораздо «оригинальнее», чем думает Раскольников. «Оригинальность» эта ярко вскрывается в чудовищной сцене последнего его свидания с Дунею.

Свидригайлов заманил Дуню в свою пустую квартиру. Пытается заставить отдаться ему угрозою, что донесет на ее брата... Когда это не действует, прямо идет на насилие. Дуня выхватывает револьвер.

«— Ага! Так вот как! — вскричал он в удивлении, но злобно усмехаясь.— Ну, это совершенно изменяет ход дела. *Вы мне чрезвычайно облегчаете дело сами,* Авдотья Романовна!»

Он идет на нее. Циничными, намеренно пошлыми словами напоминает про то, что было между ними.

«— Видно, забыли, как в жару пропаганды уже склонялись и млели... Я по глазкам видел; помните, вечером-то, при луне-то, соловей-то еще свистал?

Он усмехнулся.

— Знаю, что выстрелишь, зверок хорошенький. Ну, и стреляй!»

Дуня стреляет. Пуля слегка задевает голову Свидри-

гайлова. Но он,— этот «грубый злодей, сладострастный развратник и подлец»,— он не бросается на Дуню.

«— Ну, что ж, промах! *Стреляйте еще, я жду*,— тихо проговорил Свидригайлов, все еще усмехаясь, но как-то мрачно.— Этак я вас схватить успею, прежде чем вы взведете курок!»

Дуня стреляет вторично. Осечка.

«— Зарядили неаккуратно. Ничего! У вас там еще есть капсюль. Поправьте, я подожду.

Он стоял перед нею в двух шагах, ждал и смотрел на нее с дикою решимостью, воспаленно-страстным, тяжелым взглядом. Дуня поняла, что он скорее умрет, чем отпустит ее».

Что это происходит? Словно в бредовом кошмаре, мы видим, как человек раздваивается на наших глазах, мучительно распадается на два существа; существа эти схватываются, душат друг друга, и одно из них покупает у другого право на злодейство ценою почти неминуемой смертной опасности.

Дуня бросает револьвер.

«— Так не любишь? — тихо спросил Свидригайлов.— И... не можешь? Никогда? — с отчаянием прошептал он».

Мгновение «ужасной, немой борьбы». Свидригайлов отходит к окну, не глядя, кладет на стол ключ от выхода.

«— Берите, уходите скорей!.. Скорей!»

«В этом «скорей» прозвучала страшная нота. Дуня бросилась к дверям.

Странная улыбка искривила лицо Свидригайлова, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния».

Да, Свидригайлов вправе был смеяться над Раскольниковым, видевшим в нем какой-то «исход». Это он-то исход! В душе корчатся и бьются два живых, равновластных хозяина, ничем между собою не связанных. Каждому из них тесно, и ни один не может развернуться, потому что другой мешает. Сам не в силах жить, и не дает жить другому.

«— Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь,— в ужасе говорит Версилов.— Точно подле вас стоит ваш двойник; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превеселую вещь, и вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту веселую вещь, бог знает,

зачем, т. е. как-то нехотя хотите, сопротивляясь из всех сил, хотите».

«— Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут,— говорит Дмитрий Карамазов.— Перенести я не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит! Нет, широк человек, слишком даже широк! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она сидит для огромного большинства людей».

Дело, оказывается, много сложнее, чем казалось раньше. Суть не в том, что какая-то воображаемая черта мешает «самостоятельному хотению» единой человеческой души. Суть в том, что черта эта вовсе не воображаемая. Она глубоким разрезом рассекает надвое саму душу человека, а с нею вместе и «самостоятельное хотение».

Старец Зосима говорит Ивану Карамазову:

«— Если вопрос для вас не может решиться в положительную сторону, то никогда не решится и в отрицательную, сами знаете: это свойство вашего сердца».

То же говорит и Раскольников Дуне, приравнивая ее себе:

«— И дойдешь до такой черты, что не перешагнешь ее,— несчастна будешь, а перешагнешь,— может, еще несчастнее будешь».

Быть самим собою, свободно проявлять самостоятельное свое хотение — это для Достоевского самая желанная, но и самая невозможная, самая неосуществимая мечта. Горит костер, на костре глыба льда. Скажи этой смеси: «будь сама собою!» Огонь растопит лед, растаявший лед потушит огонь, не будет ни огня, ни льда, а будет зловонная, чадящая слякоть. Будет Свидригайлов, Версилов, Дмитрий Карамазов.

«Ну, попробуйте,— пишет подпольный человек,— ну, дайте нам, например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, ослабьте опеку, и мы... Да уверяю же вас: мы тотчас же попросимся обратно в опеку!»

В опеку ли зла, как дьяволовы подвижники, в опеку ли добра, как Алеша Карамазов,— это безразлично. Толь-

ко бы прочь от свободы, только бы поскорее связать разваливающуюся душу каким бы то ни было долгом.

«— Ничего и никогда не было для человека невыносимее свободы! — говорит Великий Инквизитор.— Они — бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие... Чем виноваты слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров?

Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!..» Как жалко, как надсадно звучит теперь этот буйный призыв! Он превращается в скорбный вопль Кириллова:

«Я только бог поневоле, и я несчастен, ибо *я обязан* заявить своеволие. Все несчастны потому, что все боятся заявлять своеволие... Я ужасно несчастен, ибо я ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека... Но я заявляю своеволие. Только это одно спасет всех людей».

Но уже нет веры ни в осуществимость своеволия, ни в его спасительность. Боец бьется не за победу, а только за то, чтобы погибнуть со знаменем в руке.

Как будто гигантский молот непрерывно бьет перед нами по жизни и дробит ее на все более мелкие куски. Не только люди одиноки в мире. Не только человек одинок среди людей. Сама душа человека разбита в куски и каждый кусок одинок. Жизнь — это хаотическая груда разъединенных, ничем между собой не связанных обломков

IX
ЛЮБОВЬ — СТРАДАНИЕ

Из темных углов, из «смрадных переулков» приходят женщины — грозные и несчастные, с издерганными душами, обольстительные, как горячие сновидения юноши. Страстно, как в сновидении, тянутся к ним издерганные мужчины. И начинаются болезненные, кошмарные конвульсии, которые у Достоевского называются любовью.

Глубокое отъединение, глубокая вражда лежит между мужчиною и женщиною. В душах — любовь к мучительству и мученичеству, жажда власти и жажда унижения,— все, кроме способности к слиянному общению с жизнью.

Душа как будто заклята злым колдуном. Горячо и нежно загораются в ней светлые огоньки любви, но наружу они вырываются лишь темными взрывами исступленной ненависти. Высшее счастье любви — это мучить и терзать любимое существо.

«Любовь,— пишет подпольный человек,— любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать».

В «Униженных и оскорбленных» Наташа «инстинктивно чувствовала, что будет госпожой князя, владычицей, что он будет даже жертвой ее. Она предвкушала наслаждение любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь, и потому-то, может быть, и поспешила отдаться ему в жертву первая».

Если у Достоевского мужчина ненавидит женщину или женщина мужчину, то читатель должен заключить, что они любят. И чем жесточе ненависть, тем это несомненнее.

«— Но какая же ненависть! Какая ненависть! — восклицает Подросток про Версилова.— И за что, за что? К женщине! Что она ему такое сделала?

— «Не-на-вистъ!» — с яростной насмешкой передразнила меня Татьяна Павловна».

Ненависть — любовь, любовь — ненависть...

«Неужели он до такой степени ее любит? — думает Подросток.—Или до такой степени ее ненавидит? Я не знаю, а знает ли он сам-то?»

Князь Мышкин говорит Рогожину: «Твою любовь от злости не отличишь». И Маврикий Николаевич говорит Ставрогину про Лизу: «Из-под беспрерывной к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает самая искренняя и безмерная любовь и— безумие! Напротив, из-за любви, которую она ко мне чувствует, тоже искренно, каждое мгновение сверкает ненависть — самая великая!»

В «Египетских ночах» Пушкина Клеопатра вызывает желающих купить ее любовь ценою казни на следующее утро. Достоевский по этому поводу вспоминает о «сладострастии насекомых, сладострастии пауковой самки, съедающей своего самца». О «сладострастии насекомых» нередко вспоминает он и по поводу любви собственных своих героев.

Если припустить к куриной семье новую курицу, петух немедленно берет ее под свое покровительство. Он за-

ботливо подзывает ее к пище, не дает обижать другим курам. Если она убежит, он отыскивает ее и ведет назад, и нежно что-то говорит ей на их языке: «ко-о!.. ко-о!..» Удивительно и трогательно, до чего доходит эта заботливость. На ночь петух сажает новую свою подругу на самый край нашести, сам садится рядом и таким образом заслоняет ее от клевков старых кур. Когда курице приходит время нестись, петух ведет ее к кошелке, где несутся куры, впрыгивает в кошелку, садится, опять выходит, обхаживает курицу, все время «ко-о! ко-о!» и водворяет ее в кошелку.

Но в низах животной жизни любовь часто уродлива и страшна. У жаб и лягушек самка вываливается из жестоко-страстных объятий самца с продырявленною грудною клеткою, с поврежденными внутренностями, нередко мертвою. Паук подползает к самке с ласками, а она бросается на него и пожирает; или подпустит к себе, отдастся его объятиям, а потом схватит и сожрет.

Жабы и паучихи навряд ли, конечно, испытывают при этом какое-нибудь особенное сладострастие. Тут просто тупость жизнеощущения, неспособность выйти за пределы собственного существа. Но если инстинкты этих уродов животной жизни сидят в человеке, если чудовищные противоречия этой любви освещены сознанием, то получается то едкое, опьяняющее сладострастие, которым живет любовь Достоевского.

Страсть сливается уже не с тупым равнодушием к мукам и гибели любимого существа, а с ненавистью к любимому, с *желанием* его мук и гибели.

«Я вас истреблю!» — говорит Версилов Катерине Николаевне. Князь Мышкин, только что познакомившись с Рогожиным, из одного лишь общего впечатления от него выносит уверенность, что, если он женится на любимой женщине, то через неделю зарежет ее.

Чем несоединимее люди, чем глубже разъединение, чем чудовищнее противоречия, тем как раз страсть ярче и острее. Свидригайлов рассказывает Раскольникову про свою невесту.

«— Мне пятьдесят, а ей и шестнадцати нет... Ведь заманчиво, а? Ведь заманчиво, ха-ха!.. Посадил я ее вчера на колени, да, должно быть, уж очень бесцеремонно,— вся вспыхнула и слезинки брызнули, сама вся горит. Вдруг бросается мне на шею, целует и клянется, что она

будет мне верною и доброю женою, что всем, всем пожертвует, а за все это желает иметь от меня только «одно мое уважение». Согласитесь сами, что выслушать подобное признание наедине от такого шестнадцатилетнего ангельчика, в тюлевом платьице, с краскою девичьего стыда и со слезинками энтузиазма в глазах,— согласитесь сами, оно довольно заманчиво! Ведь заманчиво? Ведь стоит чего-нибудь, а? Ну, ведь стоит? Ну... ну, слушайте... ну, поедемте к моей невесте...

— Одним словом, в вас эта чудовищная разница лет и развитий и возбуждает сладострастие! И неужели вы в самом деле так женитесь?

— А что ж? Непременно».

Шатов в исступлении кричит Ставрогину:

«— Знаете ли, почему вы женились тогда так позорно и подло? Именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности. Вы женились по страсти к мучительству, по *сладострастию нравственному*. Вызов здравому смыслу был уж слишком прельстителен: Ставрогин — и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка!»

Федор Павлович Карамазов умеет находить прелесть в любой «мовешке и вьельфильке». Нашел он прелесть и в нищей-идиотке Лизавете Смердящей.

Любовь упомянутых низших животных, при всей их дисгармоничности, все-таки дает впечатление силы и какой-то дикой мощи. Глядя на кипящую любовь героев Достоевского, невольно тоже ждешь: вот палящим огнем вспыхнет их сладострастие — зверино-жестокое, страшное, но цельное и самозабвенное, где отпадают все нравственные мерки, где страсть освещает само зверство. Но нет этого. Дух как будто совсем оторван от тела. Тело холодно, немощно и равнодушно, а горит один дух. В духе происходит кипение страсти, в духе переживаются острейшие моменты сладострастия.

Подросток «терпеть не может женщин». Осуществляя в фантазии свою идею о власти над людьми посредством денег, он мечтает.

«Не я буду гоняться за женщинами, а они набегут, как вода, предлагая мне все, что может предложить женщина. Я буду ласков с ними и, может быть, дам им денег, *но сам от них ничего не возьму*. Они уйдут ни с чем, уверяю вас,— только разве с подарками. Я только вдвое стану для них любопытнее.

...с меня довольно
Сего сознанья».

Дмитрий Карамазов предлагает Катерине Ивановне нужные ей деньги под условием, чтобы она «секретно» пришла к нему на квартиру. Для нее это единственное средство спасти отца, и надменная красавица приходит.

«— Вдруг за сердце, слышу, укусила фаланга, злое-то насекомое, понимаешь? Обмерил я ее глазом. От меня, клопа и подлеца, она вся зависит, вся, вся кругом, и с душой, и с телом. Очерчена. Эта мысль, мысль фаланги, до такой степени захватила мне сердце, что оно чуть не истекло от одного томления... Взглянул я на девицу, и захотелось мне подлейшую, поросячью, купеческую штучку выкинуть: поглядеть это на нее с насмешкой и тут же огорошить ее с интонацией, с какою только купчик умеет сказать:

«Это четыре-то тысячи на такое легкомыслие кидать! Да я пошутил-с, что вы это? Сотенки две я, пожалуй, с моим даже удовольствием».

Конечно, Катерина Ивановна в таком случае ушла бы. Но какой же бы за это сладострастный миг был пережит *в душе!* Что в сравнении с ним сладость насильственного телесного обладания красавицею!

Усилием воли Дмитрий побеждает порыв своего «нравственного сладострастия» и благородно отдает Катерине Ивановне деньги, ничего от нее не требуя. Пораженная Катерина Ивановна кланяется в ноги и уходит.

Сам Дмитрий в восторге от своего поступка. Но что вызвало этот поступок? Только ли «искра божия», вспыхнувшая в разнузданном хаме? Или, рядом с нею, тут было все то же утонченное нравственное сладострастие, которого здоровой крови даже не понять: «Вся от меня зависит, вся, вся кругом, и с душой, и с телом. Очерчена». А он, как Подросток в своих сладострастных мечтах: «они набегут, как вода, предлагая мне все, что может предложить женщина. Но я от них ничего не возьму. С меня довольно сего сознания».

И Катерина Ивановна, по-видимому, поняла, какие тайные наслаждения дала она пережить Дмитрию своим посещением. «И самая первая встреча их осталась у ней на сердце, *как оскорбление*»,— сообщает Иван. И сам Дмитрий впоследствии говорит про Катерину Ивановну:

«— Благороднейшая душа, но меня ненавидевшая давно уже, о, давно, давно... и заслуженно, заслуженно

ненавидевшая!.. Давно, с самого первого раза, с самого того, у меня на квартире еще там...»

Конечно, ненависть эта нисколько не мешает Катерине Ивановне любить Дмитрия. Но иначе она и не была бы женщиною Достоевского. Даже если бы Дмитрий опозорил ее на своей квартире, и это бы не помешало ей любить его. Другая Катерина в повести «Хозяйка» говорит:

«— То мне горько и рвет мне сердце, что я рабыня его опозоренная, что позор и стыд мой самой, бесстыдной, мне люб, что любо жадному сердцу и вспоминать свое горе, словно радость и счастье,— в том мое горе, что нет силы в нем и нет гнева за обиду свою».

Раздражающая отъединенность духа от тела, хилость связи между ними делает героев Достоевского совершенно неспособными к яркой, цельной страсти. Что произошло между Ставрогиным и Лизою в Скворешниках в ночь пожара? У нее утром — «неплотно застегнутая грудь», видно, что она раздевалась. Но случилось что-то загадочное, Ставрогин сконфужен, и странен их разговор. Шут-Верховенский говорит:

«— Представьте, я ведь тотчас же, как вы вошли ко мне, по лицу догадался, что у вас «несчастье»! Даже, может быть, полная неудача, а? Ну, бьюсь об заклад, что вы всю ночь просидели в зале рядышком на стульях и о каком-нибудь высочайшем благородстве проспорили все драгоценное время!»

И, однако, если что, то лишь «нравственное сладострастие» и мучительство способно «горячим угольком» зажечь кровь. А нет этого горячего уголька,— кровь холодна, тело спит, как мертвое. Любовь возможна, но любовь — бестелесная, та, которую наши хлысты-богомолы называют «сухою любовью». Либо жестокое сладострастие, либо сухая любовь.

Раскольников любит Соню Мармеладову. Но как-то странно даже представить себе, что это любовь мужчины к женщине. Становишься как будто двенадцатилетнею девочкою и начинаешь думать, что вся суть любви только в том, что мужчина и женщина *скажут* друг другу: «я люблю тебя». Даже подозрения нет о той светлой силе, которая ведет любящих к телесному слиянию друг с другом и через это телесное слияние таинственно углубляет и уярчает слияние душевное.

Князь Мышкин любит Настасью Филипповну, любит Аглаю, собирается жениться то на той, то на другой. И однако...

«— Я ведь... Вы, может быть, не знаете, я ведь, по прирожденной болезни моей, даже совсем женщин не знаю».

И он бросается от одной к другой.

«—Я так только, просто женюсь, да и что в том, что женюсь... Аглая Ивановна поймет...

— Нет, князь, не поймет,— возражает Евгений Павлович.— Аглая Ивановна любила, как женщина, как человек, а не как... отвлеченный дух».

Но вот Рогожин. Казалось бы, уж его-то страсть к Настасье Филипповне — чисто звериная. Тяжелая, плотская, безудержная. Даже ответной любви ему не надо, он готов купить ее за деньги. Страсть стихийно-грозная и страшная. С самого начала все чувствуют, что она пахнет кровью. Однако пахнет она только кровью. Каждую минуту Рогожин может забыться *духом* и зарезать Настасью Филипповну; но никогда он не забудется *телом* и не овладеет ею. В этом отношении и сама Настасья Филипповна нисколько не боится его, спокойно оставляет у себя ночевать. На вид плотски-звериная страсть Рогожина в действительности упадочна-бесплотна. И в страшную последнюю ночь, когда Настасья Филипповна осталась ночевать у Рогожина, удары ножа в теплое, полуобнаженное тело, по-видимому, с избытком заменили ему объятия и ласки.

Да и сама вакханка Настасья Филипповна, другая вакханка Грушенька,— полно, вправду ли они женщины? Не обольстительные ли это призраки, лишенные плоти и крови? Опьяненно крутясь в вихре поднятых ими страстей, исступленно упиваясь своими и чужими муками, они испуганно ускользают из устремленных объятий, и жадные руки хватают только воздух. Способны ли они опьяниться страстью, хоть на миг забыться в цельном, самозабвенном экстазе? В горячих объятиях Дмитрия, сама как будто опьяненная, Грушенька все же шепчет ему: «подожди, потом...» И если бы в эту ночь Дмитрия не арестовали, конечно, назавтра призрак Грушенька опять начала бы с ним свою дразнящую, мучительскую игру. И иначе не могло бы быть. Тут мы подходим к самому страшному и темному, что есть в страшной и темной любви людей Достоевского.

Что бы действительно было, если бы на Дмитрия не пало подозрение в отцеубийстве и он соединился бы с Грушенькой? Что бы было?.. Не надо и ответа. От одного лишь вопроса оргийно мятущееся, грозное море превращается в плоское, отвратительное болото.

Подпольный человек пишет: «В мечтах своих подпольных я иначе и не представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненавистью и кончал нравственным покорением, *а потом уж и представить себе не мог, что делать с покоренным предметом*».

И правда. Ну, что, например, делать потом Дмитрию Карамазову с Грушенькой, Ставрогину — с Лизой, Рогожину — с Настасьей Филипповной? Если не откроется выхода в безумие, в самоубийство или убийство, то остается только один выход — пошлость. Рогожин зарезал Настасью Филипповну. А если бы они соединились? Через пять лет она — противная, истеричная баба, без красоты, освещавшей ее изломанность. Он... Да нет, он все равно бы раньше ее зарезал, а женился бы на другой. Женился бы и,— как предсказывает князь Мышкин,— «засел бы молча один в этом доме с женой, послушною и бессловесною, с редким и строгим словом, только деньги молча и сумрачно наживая... да на мешках своих с голоду бы и помер».

«— Друг мой,— сказал Версилов грустно,— я часто говорил Софье Андреевне в начале соединения нашего, впрочем, и в начале, и в середине, и в конце: «Милая, я тебя мучаю и замучаю, и мне не жалко, пока ты передо мною, а ведь умри ты, и я знаю, что уморю себя казнью».

Лиза говорит Ставрогину: «Мне всегда казалось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и пройдет наша взаимная любовь».

И с обычною своею безбоязненностью перед настоящим словом рисует Дмитрий Карамазов будущую свою жизнь с Грушенькою:

«— Драться будем!»

Нет, лучше назад, к прежним страданиям и мукам! Может быть, их было слишком мало. Еще увеличить их, еще углубить,— не явится ли хоть тогда возможность жизни?

«— Надо как-нибудь выстрадать вновь наше будущее счастье,— говорит Наташа Ихменева,— *купить его какими-нибудь новыми муками. Страданием все очищается»*.

X
НЕДОСТОЙНЫЕ ЖИЗНИ

Задавленный безумным страхом смерти, Кириллов учит: «Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек».

Герои Достоевского не «новые люди». Мы видели, мысль о смерти пробуждает в них тяжелый, мистический ужас; они не могут без содрогания думать «об этом мраке». Если нет личного бессмертия, то жизнь человека превращается в непрерывное, сосредоточенное ожидание смертной казни.

У осужденного на смерть своя психология. В душе его судорожно горит жадная, все принимающая любовь к жизни. Обычные оценки чужды его настроению. Муха, бьющаяся о пыльное стекло тюремной камеры, заплесневелые стены, клочок дождливого неба,— все вдруг начинает светиться не замечавшеюся раньше красотою и значительностью. Замена смерти вечною, самою ужасною каторгою представляется неоценимым блаженством.

«— Где это,— подумал Раскольников,— где это я читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря,— и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность,— то лучше так жить, чем сейчас умирать. Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить,— только жить!.. Экая правда! Господи, какая правда! Подлец человек!.. И подлец тот, кто его за это подлецом называет! — прибавил он через минуту».

«— Кажется, столько во мне этой силы теперь,— говорит Дмитрий Карамазов,— что я все поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук — я есмь, в пытке корчусь,— но есмь!

В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть».

Это судорожное цепляние за жизнь жизненно-бессильных душ очень легко смешать со здоровою силою несокрушимого жизненного инстинкта. В такую ошибку впадает Алеша Карамазов в беседе своей с братом Иваном.

«— Не веруй я в жизнь,— говорит Иван,— разуверься я в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования,— а я все-таки захочу жить и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю! *Впрочем, к тридцати годам наверно брошу кубок, хоть и не допью его всего, и отойду... не знаю куда...* Но до тридцати моих лет, знаю это твердо, все победит моя молодость,— всякое разочарование, всякое отвращение, к жизни... Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь».

«— Нутром и чревом хочется любить,— прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется,— воскликнул Алеша.— Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.

— Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?

— Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно, чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится».

Алеша заключает, что для Ивана половина дела его уже сделана. Но он глубоко заблуждается, дело жизни для Ивана и не начиналось,— вернее, давно уже кончилось. Свою «жажду жизни, несмотря ни на что», Иван сам готов признать *«неприличною»*. Жить дольше тридцати лет он не хочет: «до семидесяти подло, лучше до тридцати: *можно сохранить «оттенок благородства», себя надувая»*.

Цельный, самим собою сильный инстинкт жизни говорить так не может. Ему нет нужды «надувать себя», он верит в свои силы, не рассчитывает их на определенный срок. Прежде же и главнее всего — для него вполне несомненна святая законность своего существования. Жизненный же инстинкт, который *сам стыдится себя*, который сам спешит признать себя «подлым» и «неприличным»,— это не жизненный инстинкт, а только жалкий его обрывок. Он не способен осиять душу жизнью,— способен только ярко осветить ее умирание.

Отношение к жизни Ивана Карамазова характерно вообще для героев Достоевского. Подпольный человек пишет: «Дольше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно. Только дураки и негодяи живут дольше сорока лет».

Жадно цепляясь за жизнь, человек все время чувствует в глубине души, что жить он не только не способен, а просто *не достоин*.

«— Я живуч, как дворовая собака,— говорит Версилов.— Я дожил почти до пятидесяти лет, и до сих пор не ведаю, хорошо это, что я дожил, или дурно. Конечно, я люблю жить, и это прямо выходит из дела; *но любить жизнь такому, как я,— подло*... И неужели земля только для таких, как мы, стоит? Всего вернее, что да; но идея эта уж слишком безотрадна...»

«— Жизнь люблю, слишком уж жизнь полюбил, так слишком, что и мерзко,— сознается Дмитрий Карамазов.— Червь, ненужный червь проползет по земле, и его не будет...— Смотрит он на дерево.— Вот ракита. Веревку сейчас можно свить и — не бременить уже более землю, не бесчестить низким своим присутствием».

И Ставрогин в предсмертном своем письме пишет: «Я знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя с земли, как подлое насекомое».

Как змеи, сплетаются в клубок самые не согласные, самые чуждые друг другу настроения: страх смерти и чувство неспособности к жизни, неистовая любовь к жизни и сознание себя недостойным ее. Ко всему этому еще одно: странный какой-то инстинкт неудержимо влечет человека к самоуничтожению. Страшная смерть полна властного очарования, человек безвольно тянется к ней, как кролик, говорят, тянется в разверстую пасть удава.

«Я думаю,— пишет Достоевский,— что много самоубийств совершилось потому только, что револьвер уже был взят в руки».

«— Если бы у меня был револьвер,— говорит Подросток,— я бы прятал его куда-нибудь под замок. Знаете, ей-богу, соблазнительно! Если торчит вот это перед глазами,— право, есть минуты, что и соблазнит».

И вот то и дело приходят неожиданные вести: «Свидригайлов застрелился!», «Ставрогин повесился!», «Крафт застрелился!», «Смердяков повесился!» Дух беспощадного самоистребления носится над этим миром неудержимо

разваливающейся жизни. Романы Достоевского кишат самоубийствами, словно самоубийство — это нечто самое обыденное, естественное и необходимое в жизни людей.

Как будто перед нами — чуть только начинающий организоваться темный хаос. Робко вспыхивают в нем светящиеся огоньки жизни. Но они настолько бессильны, настолько не уверены в себе, что маленького толчка довольно — и свет гаснет, и жизнь распадается.

Есть в семействе иглокожих странные существа, называемые голотуриями. Если тронуть голотурию, схватить ее рукою, она судорожно сокращается и распадается на куски. Вследствие этого до сих пор никто никогда не видел целого экземпляра голотурии.

Наблюдая человека, как его рисует Достоевский, то и дело приходится вспоминать самые уродливые, самые дисгармонические явления в мире животных,— те уклонения, ошибки и неудачные «пробы», которые делает природа в трудной своей работе по гармонизации жизни.

Человек — вместилище всех самых болезненных уклонений жизненного инстинкта. Ближе, чем всякому другому существу, ему знаком, как выражается Достоевский, «роковой круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения». Как в биологической, так и в моральной области человек неудержимо тянется ко всему, что уродует, ломает и разрушает его жизнь. Это явление Ницше справедливо считает характернейшим признаком упадничества. С ужасом человек чувствует над собой власть страшной силы, но противиться ей нет ни воли, ни даже желания. Так тянется к сжигающему огню ночная бабочка. Мелькнул огонек,— и бабочка устремляется к нему, бьется о раскаленное стекло лампы, обжигается, падает и опять взлетает, и бьется опять.

«У Раскольникова засверкали глаза; он ужасно побледнел, верхняя губа его дрогнула и запрыгала. Он склонился к Заметову как можно ближе и стал шевелить губами, ничего не произнося; так длилось с полминуты; *он знал, что делал, но не мог сдержать* себя. Страшное слово так и прыгало на его губах: вот-вот сорвется; вот-вот только спустить его, вот-вот только выговорить!

— А что, если это я старуху и Лизавету убил? — проговорил он и вдруг — опомнился...

Он вышел, весь дрожа от какого-то дикого, истерического ощущения, в котором, между тем, *была часть нестерпимого наслаждения*».

С тем же наслаждением Раскольников дергает звонок в квартире, где убил старуху, жадно прислушивается к жестяным звукам, возбуждая подозрение столяров. С тем же наслаждением тянется в цепкие лапы сладострастного хихикающего Порфирия.

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане.
Средь диких волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...

Но для разных людей наслаждения эти очень различны.

В «Войне и мире» Долохов с Петею Ростовым, переодетые французскими офицерами, проникают во французский лагерь. Они сидят с французами у костра, расспрашивают их. У французов рождается подозрение.

«Офицер, не спуская глаз, смотрел на Долохова и переспросил его еще раз, какого он был полка. Долохов не отвечал, как будто не слыхал вопроса, и, закуривая трубку, спрашивал офицеров о том, в какой степени безопасна дорога от казаков.

— Ну, теперь он уедет,— всякую минуту думал Петя, стоя перед костром и слушая его разговор.

Но Долохов начал опять прекратившийся разговор и прямо стал расспрашивать, сколько у них людей в батальоне, сколько батальонов.

Французский офицер, которого не видно было (он лежал, укутавшись шинелью), приподнялся и прошептал что-то товарищу. Долохов встал и кликнул солдата с лошадьми.

— Bonjour messieurs,— сказал Долохов.

Офицеры что-то шепотом говорили между собой. Долохов долго садился на лошадь, которая не стояла, потом шагом поехал из ворот».

Несомненно, глядя в лицо грозящей гибели, Долохов испытывает огромное наслаждение.

Но представим себе, что вместо Пети рядом с Долоховым сидит у костра... Раскольников. Он бледнеет, губы его дергаются; страшное слово так и прыгает на губах. «Он знает, что делает, но не может сдержать себя». Его охватывает дрожь от какого-то дикого, истерического ощущения, и страшное слово срывается с губ:

— А что, messieurs, если мы не французские офицеры, а русские лазутчики?

Конечно, и Раскольников испытал бы при этом неизъяснимое наслаждение. Сумел ли бы, однако, Толстой выразить всю силу презрения и гадливого отвращения, которое охватило бы Долохова при виде наслаждения Раскольникова! Обоим им — и Долохову и Раскольникову — понятна привлекательность ужаса и «грозящей гибели». Но для Долохова наслаждением является преодоление ужаса, *торжество воли,* для Раскольникова же — безоглядное растворение себя в ужасе, *исчезновение воли.* «Грозящая гибель» для Долохова — могучий враг, с которым весело схватиться, для Раскольникова — любовница-вампир; в ее объятия безвольно тянется человек, замирая от ужаса.

Характерно вообще для героев Достоевского это полное исчезновение воли перед лицом саморазрушительных инстинктов души.

«Странно,— пишет Подросток,— во мне всегда была такая черта: коли уж мне сделали зло, восполнили его окончательно, оскорбили до последних пределов, то всегда тут же являлось у меня *неутолимое желание подчиниться оскорблению и даже пойти вперед желаниям обидчика.*

«— На-те, вы унизили меня, так я еще пуще сам унижусь, вот смотрите, любуйтесь!»

Подпольный человек навязывается на обед к компании, провожающей своего товарища Зверкова. Ему весьма ясно дают понять, что он никому на обеде не желателен. «Я бесился, потому что наверное знал, что поеду, что нарочно поеду; и чем бестактнее, чем неприличнее мне будет ехать, тем скорее и поеду». Едет. На обеде его третируют, он глупо и нагло всех задирает. От него отворачиваются, усаживаются веселой компанией в уголке, а он в течение трех часов с вызывающим видом гуляет вдоль стены кабинета. «Порой с глубочайшей, с ядовитой болью вонзалась в мое сердце мысль, что пройдет два-

дцать лет, сорок лет, а я все-таки, хоть и через сорок лет, с отвращением и унижением вспомню об этих грязнейших, смешнейших и ужаснейших минутах из всей моей жизни. Бессовестнее и добровольнее унижать себя самому было уже невозможно». Но он еще и еще унижает себя. Все едут «туда». Он выклянчивает у них же денег и увязывается следом. У него созревает решение дать Зверкову пощечину. «*С ужасом* я ощущал, что это ведь уже непременно сейчас, теперь случится, и уж никакими силами остановить нельзя».

Раскольникову до убийства еще снится кроваво-кошмарный сон.

«— Да что же это я!— воскликнул он в глубоком изумлении.— Ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего же я до сих пор себя мучил? Ведь вчера же, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко... Ведь меня от одной мысли наяву стошнило и в ужас бросило.

Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!»

Но на улице он случайно слышит, что завтра, в семь часов вечера, старуха будет в квартире одна. Раскольникова охватывает *ужас*.

«Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не мог рассуждать, но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него ни свободы рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно».

И когда убийство было совершено, у Раскольникова осталось впечатление, «как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неизвестною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в нее втягивать».

XI

«ЖИТЬ, ЧТОБ ТОЛЬКО ПРОХОДИТЬ МИМО»

«Раскольников бродил без цели. Солнце заходило. Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего; но от нее веяло чем-то постоянным, вечным, предчувствовались безысходные годы этой холодной, мерт-

вящей тоски, предчувствовалась какая-то вечность «на аршине пространства».

«— Спасите меня! — истерически кричит подросток Лиза Алеше Карамазову.— Я убью себя, потому что мне все гадко! Я не хочу жить, потому что мне все гадко! Мне все гадко, все гадко!»

Версилов спрашивает Катерину Николаевну:

«— Вы, говорят, опять полюбили общество, свет?

— Не общество. Я знаю, что в нашем обществе такой же беспорядок, как и везде; но снаружи формы еще красивы, так что, *если жить, чтобы только проходить мимо*, то уж лучше тут, чем где-нибудь».

Нет жизни кругом, нет жизни внутри. Все окрашено в жутко тусклый, мертвенный цвет. И страшно не только то, что это так. Еще страшнее, что человек даже представить себе не в силах — как же может быть иначе? Чем способен человек жить на земле? Какая мыслима жизнь? Какое возможно счастье?

Все герои Достоевского могли бы повторить про себя то, что говорит скрипач Ефимов, отчим Неточки Незвановой:

«— Я сам не знаю, чего хочу. Вот, спросите, сударь: «Егорка! Чего ты хочешь? Все могу тебе дать»,— а я, сударь, ведь ни слова вам в ответ не скажу, затем, что сам не знаю, чего хочу».

Остается жить, чтобы «только проходить мимо». Один миг радости, один просто красивый миг,— и за него можно отдать всю эту нудную, темную и бессмысленную жизнь.

«— Я за две секунды радости отдал бы квадриллион квадриллионов»,— заявляет на суде Иван Карамазов.

После ночи со Ставрогиным Лизавета Николаевна с насмешкой говорит ему:

«— Куда нам ехать вместе сегодня же? Куда-нибудь опять «воскресать»? Нет, уж довольно проб... Да и неспособна я. Если ехать, то в Москву, и там делать визиты и самим принимать,— вот мой идеал, вы знаете... Началось с красивого мгновения, которого я не вынесла. А так как я и без того давно знала, что *меня всего на один миг только и хватит, то взяла и решилась... Я разочла мою жизнь на один только час и спокойна»*...

Надеяться в будущем тоже не на что: нет в жизни таких сил, которые могли бы воскресить человека.

«Тогда я еще надеялся на воскресение,— говорит писатель, от лица которого ведется рассказ в «Униженных и оскорбленных».— Хотя бы в сумасшедший дом поступить, что ли,— решил я наконец,— чтобы повернулся как-нибудь мозг в голове и расположился по-новому, а потом опять вылечиться. Была же жажда жизни и вера в нее!»

Но если бы и были силы, способные возродить человека, если бы мог он переделать себя, то и тут вопрос: во что возродиться, во что себя переделать?

Подпольный человек пишет: «Наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения; оттого, что уж нет тебе выхода, что уж никогда не сделаешься другим человеком; что если бы даже и оставалось еще время и вера, чтобы переделаться во что-нибудь другое, то, наверно, сам не захотел бы переделываться, а захотел бы, так и тут бы ничего не сделал, *потому что, на самом деле, и переделываться-то, может быть, не во что*».

Кириллов — тот нашел, во что нужно переделываться: переродиться физически и стать человеком. Но когда мы вглядимся ближе в его человекобога, мы увидим, что это уже полный мертвец, в котором не осталось ни капли жизни.

«Будет новый человек, счастливый и гордый. *Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек»*. Может быть, в таком случае все убьют себя, но — «это все равно. Обман убьют». Придет этот новый человек и научит, что все хороши и все хорошо. Кто с голоду умрет, кто обесчестит девочку, кто размозжит голову за ребенка и кто не размозжит,— все хорошо.

Победа над смертью путем полного отсечения воли в жизни; победа над ужасами жизни путем мертвенно-безразличного отношения к ней; презрение к жизни, презрение к смерти,— вот этот чудовищный идеал, выросший на почве безнадежного отчаяния и глубочайшего неверия в природу человека. Сквозь гордо вызывающие мечты о его венце человечества у Кириллова вдруг прорывается отчаянное признание: «бог необходим, а потому должен быть. Но я знаю, что его нет и не может быть. Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых?»

Кирилловского человекобога очень часто и охотно приравнивают к сверхчеловеку Ницше. Уж общим местом ста-

до указание, что в Кириллове Достоевский как бы предвосхитил учение Ницше о сверхчеловеке. Это большое недоразумение. Оно основано на чисто внешнем сходстве понятий «человекобог» и «сверхчеловек». Содержание же понятий совершенно различно. Солнечно-светлый сверхчеловек горит волею к жизни, полон великой творческой жажды; самую смерть он побеждает силою неодолимой своей жизненности. Что у него общего с тем могильным камнем над жизнью, холодным и неподвижным, имя которому — человекобог?

Тускла, мертвенна и пуста земная жизнь. Трудно даже представить себе, чем можно ее заполнить. Но есть зато жизнь *там*, есть бессмертие.

Однако что же такое бессмертие *само по себе?* Ведь, в сущности, это не более, как форма. Для формы нужно еще содержание.

«Свидригайлов сидел в задумчивости.

— А что, если в будущей жизни одни пауки или что-нибудь в этом роде? — сказал он вдруг.— Нам вот все представляется вечность, как что-то огромное-огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность... Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.

— И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого? — с болезненным чувством вскрикнул Раскольников.

— Справедливее? А почем знать, может быть, это и есть справедливое, и, знаете, я бы так непременно нарочно сделал,— ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь.

Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе».

Мысль неожиданная и чудовищная. Только в душе Достоевского могла родиться такая мысль. И однако, по существу своему, мысль эта до странности проста и естественна.

Один древний христианский пустынник сподобился видеть «райскую жизнь блаженных»: они живут без греха, не употребляя одежд, не вкушая ни вина, ни хлеба печеного, храня чистоту, питаясь одной водою и плодом, который ежедневно исходит из дерева в шестой час дня. Это, конечно, очень скучно, очень притом голодно, но понятно.

Мусульманин будет ласкать в раю вечно-девственных гурий, краснокожий вечно будет охотиться в лугах, богатых дичью, новозеландец-маорис вечно будет сражаться и выходить из боя победителем. Это все тоже понятно. Люди эти знают, чего хотеть.

Но пустая форма бессмертия в философском смысле,— какое содержание она гарантирует? Что-то огромное? «Да почему же непременно огромное?» В душе человека только мрак и пауки. Почему им не быть и *там*? Может быть, бессмертие — это такой тусклый, мертвый, безнадежный ужас, перед которым страдальческая земная жизнь — рай?

XII
ВЕЧНАЯ ГАРМОНИЯ

В душе человека — угрюмый, непроглядный хаос. Бессильно крутятся во мраке разъединенные обрывки чувств и настроений. В темных вихрях вспыхивают слабые огоньки жизни, от которых мрак вокруг еще ужаснее.

Но бывают миги, когда раздельные огоньки эти сбиваются вихрем в одно место. Тогда темнота вдруг прорезывается ослепительно ярким светом. Разрозненные элементы жизни, сжатые в одно, дают впечатление неслыханного напряжения, близкого к взрыву. И как раньше невозможно было жить от угрюмого мрака, от скудости жизненных сил, так теперь жизнь становится невозможною вследствие чудовищного избытка сил и света.

«Для Ордынова (повесть «Хозяйка») началась какая-то странная жизнь. Он чувствовал ясно, как бездонная темень разверзается перед ним, и он бросается в нее с воплем тоски и отчаяния. Порой мелькали мгновения *невыносимого, уничтожающего счастья*, когда жизненность судорожно усиливается во всем составе человеческом, яснеет прошедшее звучит торжеством настоящий светлый миг, и снится наяву неведомое грядущее; когда чувствуешь, что *немощна плоть перед таким гнетом впечатлений, что разрывается вся нить бытия*, и когда вместе с тем поздравляешь всю жизнь свою с обновлением и воскресением».

В «Бесах» Кириллов говорит Шатову:

«— Да... Постойте, бывают с вами, Шатов, минуты

вечной гармонии? Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное, я не про то, что оно небесное, а про то, что *человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть.* Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда! Это... это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то, что любите,— тут выше любви. Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. *Если более пяти секунд, то душа не выдержит и должна исчезнуть. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически*».

То же переживает и князь Мышкин.

«Он задумался о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти перед самым припадком, когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся, как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармонической радости и надежды».

Все существо человека вдруг говорит жизни:

— *Да, это правда!*»

Душа как будто становится совсем другою, она преисполняется неодолимой силы жизни — той силы, через которую единственно познается глубочайшая первооснова жизни.

Но это лишь обман самочувствия. За силу жизни принимаются судорожно обострившиеся, глубоко болезненные процессы души, за вечную гармонию — величайшая дисгармония. Ордынов переживает свои ощущения в бреду горячки. Мышкин — неизлечимый эпилептик. Кириллову говорит Шатов: «Берегитесь, Кириллов, я слышал, что именно так падучая начинается!»

Поэтому вполне естественно и понятно, что, почувствовав гармонию мира, сказав жизни: «Да, это правда!» — люди эти приходят не к утверждению жизни, а как раз к обратному,— к полнейшему ее отрицанию.

«— В эти пять секунд,— говорит Кириллов,— я проживаю жизнь, и *за них отдам всю мою жизнь,* потому что стоит. Я думаю, *человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута?»*

То же и с Мышкиным:

«Раздумывая об этом мгновении впоследствии, уже в здоровом состоянии, он часто говорил сам себе: что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть, и «высшего бытия», не что иное, как болезнь; а если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. Но что же в том, что это болезнь? Если в самый последний сознательный момент перед припадком ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе: *«Да, за этот момент можно отдать всю жизнь!»* — то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни. Впрочем, за диалектическую часть своего вывода он не стоял: *отупение, душевный мрак, идиотизм стояли перед ним ярким последствием этих «высочайших минут».*

Во время минут этих Мышкину становится понятно необычайное слово о том, что «времени больше не будет». То же самое говорит и Кириллов: «Времени больше не будет, потому что не надо. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме».

Если бы жизнь кругом они, действительно, почувствовали, как *правду,* то, как *правду* же, они почувствовали бы и самое время. Отрицанием же времени, признанием ненужности его они только еще ярче подчеркивают свою полную неспособность к жизни и к ее правде.

«Высочайшая минута» проходит. Возвращается ненавистное время — призрачная, но неотрывно-цепкая форма нашего сознания. Вечность превращается в жалкие пять секунд, высшая гармония жизни исчезает, мир снова темнеет и разваливается на хаотические, разъединенные частички. Наступает другая вечность — холодная и унылая «вечность на аршине пространства». И угрюмое время сосредоточенно отмеривает секунды, часы, дни и годы этой летаргической вечности.

«— Да, невесело вы проводите ваши ночи за чаем!» — говорит Кириллову лицо, ведущее рассказ в «Бесах». И по-прежнему терзается в отъединении своем от живого мира князь Мышкин, «всему чужой и выкидыш».

XIII

ТАРАНТУЛ

Самоубийца в «Приговоре» пишет:

«Как бы разумно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество,— все это приравняется завтра к нулю. И хоть это почему-то там и необходимо, по каким-то там всесильным, вечным и мертвым законам природы, но поверьте, что в этой мысли заключается какое-то глубочайшее неуважение к человечеству, глубоко мне оскорбительное и тем более невыносимое, что тут нет никого виноватого... Невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо-грустная мысль: *«ну, что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет?»*.

Страшный вопрос этот все время шевелится в душе Достоевского. Великий Инквизитор смотрит на людей, как на «недоделанные, пробные существа, созданные в насмешку». Герой «Подполья» пишет: «Неужели же я для того только и устроен, чтобы дойти до заключения, что все мое устройство одно надувание?.. Тут подмен, подтасовка, шулерство, тут просто бурда,— неизвестно что и неизвестно кто. Но у вас все-таки болит, и чем больше вам неизвестно, тем больше болит».

«— Кто же это так смеется над человеком, Иван?» — спрашивает сына Федор Павлович Карамазов.

Над человеком стоит «темная, наглая и бессмысленно-вечная сила». Человек глубоко унижен ею. «Смешному человеку» снится, что он убивает себя и воскресает после смерти. «А, стало быть, есть и за гробом жизнь! И если надо б ы т ь снова и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!»

«Природа,— пишет Ипполит в своей исповеди,— мерещится в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя или, вернее, в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства... Мне как будто казалось временами, что я вижу, в какой-то странной и невозможной форме, эту бесконечную силу, это глухое, темное и немое существо. Я помню, что кто-то будто бы повел меня за руку, со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и отвратительного тарантула и стал уверять меня,

что это — то самое темное, глухое всесильное существо, и смеялся над моим негодованием... Нельзя оставаться в жизни, которая принимает такие странные, обижающие меня формы. Это привидение меня унизило. Я не в силах подчиняться темной силе, принимающей вид тарантула».

Подчиняться ей нет сил. Поднимается в душе бурная злоба, хочется винить и проклинать ее, эту темную силу. Но и винить бессмысленно, потому что сила эта безлична, безвольна и мертва.

«Положение мое тем более невыносимо, что *тут нет никого виноватого*»,— пишет самоубийца в «Приговоре». Герой подполья видит для себя лишь один выход,— «молча и бессильно скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, *что даже и злиться, выходит, тебе не на кого, что предмета не находится*».

Ну, а если *есть* виноватый, если есть, на кого злиться? Если над темною и мертвою силою стоит направляющая ее живая воля?

«Религия! — пишет Ипполит.— Вечную жизнь я допускаю и, может быть, всегда допускал. Пусть зажжено сознание волею высшей силы, пусть оно оглянулось на мир и сказало: «я есмь!» и пусть ему вдруг предписано этою высшею силою уничтожиться, потому что там так для чего-то,— и даже без объяснения, для чего,— это надо, пусть, я все это допускаю, но опять-таки вечный вопрос: для чего при этом понадобилось смирение мое? *Неужели нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело?* Если понять его невозможно, то, повторяю, трудно и отвечать за то, что не дано человеку понять... Нет, уж лучше оставим религию».

Но и для такого отношения к высшей воле требуется все-таки немалое смирение. А человек горд.

«Смешной человек» оживает в могиле. «И я вдруг воззвал,— не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к властителю всего того, что совершилось со мною:

— Кто бы ты ни был, но если ты есть, и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое — безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать хотя бы в продолжение миллионов лет мученичества».

Властитель этот неотступно стоит перед всеми «безбожниками» Достоевского. Достоевский любит выводить безбожников, но безбожники его очень странные. Для них бог — не пустота, не слово без содержания. Все они видят бога, только не смотрят на него. Сквозь заявления их о своем неверии у каждого неожиданно прорывается слово или действие, выдающее тайное их настроение.

Атеист Раскольников вдруг объявляет Порфирию, что он верует в бога, даже буквально верует в воскресенье Лазаря. Нигилист Ипполит говорит, что вечную жизнь он допускает. Иван Карамазов «не бога не принимает, а только билет ему почтительнейше возвращает». Безбожник Кириллов постоянно зажигает лампадку перед образом, Петр Верховенский говорит про него: «он в бога верует пуще, чем поп».

Все они вовсе не безбожники. У них глубокая тоска по боге, и бог для них есть, он перед ними. Но они не могут ему покориться,— слишком много они имеют к нему вопросов, на которые нет ответа.

Измученный жестокостями жизни, библейский Иов «ко вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с богом». Новый Иов, Достоевский, выступает на это состязание. И не было со времен Иова таких разрушительных, колеблющих небо вопросов, с какими идет на «стража человеков» Достоевский. Все его произведения — такие буйные вопросы, и увенчание их—знаменитый «бунт» Ивана Карамазова.

«— О, по-моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, но ведь жить по этой эвклидовской дичи я не могу же согласиться! Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию... Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка. Не стоит, потому что слезки его остались неискупленными. И чем, чем ты искупишь их? Неужели тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад?.. Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если

хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое, но страдание своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, хотя бы сам ребенок простил! А если так,— где же гармония? Не хочу гармонии. Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, *хотя бы я был и неправ»* (курсив Достоевского).

В бессознательных глубинах души человеческой кипит и бушует это «неутоленное негодование». И человек вдруг прорывается странным, как будто непостижимым по своей неожиданности словом или поступком.

Скорбно и страстно тоскующий о боге Версилов вдруг яростно раскалывает о печку икону старца Макара Ивановича.

«— Не прими за аллегорию, Соня, я не наследство Макара разбил, а только так, чтобы разбить... *А впрочем, прими хоть и за аллегорию: ведь это непременно было так!»*

В неутоленном негодовании своем «безбожники» Достоевского упорно и сосредоточенно борются против бога. Этим, может быть, и объясняется их настойчивое извлечение квадратного корня именно из зла, непрестанное желание «преступить» и «заявить своеволие».

Возражая против социализма, подпольный человек пишет: «Ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик! Хоть своими боками, да доказывал; хоть троглодитством, да доказывал!»

Для безбожников Достоевского все дело человеческое также как будто в том только и состоит, чтобы поминутно доказывать себе свою независимость от бога,— хоть своими боками, хоть троглодитством, а доказывать.

При том жизнеощущении, которым полон Достоевский, это упорное богоборчество его вполне естественно. Мир ужасен, человек безнадежно слаб и безмерно несчастен, жизнь без бога — это «медленное страдание и смерть» (Ставрогин). Какая же, в таком случае, *свобода* обращения к богу, какая любовь к нему? Нищий, иззябший калека стоит во мраке перед чертогом властителя. Если он запоет властителю хвалу, то потому ли, что возлюбил его, или только потому, что в чертоге тепло и светло?

Босая женщина бродила по улицам Александрии с факелом в одной руке, с кувшином в другой, и восклицала:

«— Я сожгу небо этим факелом и затушу адский огонь этой водой, чтобы человек мог любить бога только ради его самого».

Для Достоевского же нет добродетели, если нет бессмертия; только убить себя остается, если нет бессмертия; невозможно жить и дышать, если нет бессмертия. На что нужен был бы Достоевскому бог, если бы предприятие александрийской женщины удалось? Знаменательная черточка: для Достоевского понятия «бог» и «личное бессмертие человека» неразрывно связаны между собою, для него это простые синонимы. Между тем связь эта вовсе ведь не обязательна.

Любить бога только ради него самого, без гарантированного человеку бессмертия... За что? За этот мир, полный ужаса, разъединения и скорби? За мрачную душу свою, в которой копошатся пауки и фаланги? Нет, любви тут быть не может. Тут возможен только горький и буйный вопрос Ипполита:

«— Неужели нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело?»

Тут возможно только мятежное решение Ивана Карамазова:

« —Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и неправ».

XIV
АРКАН

Но чем же в таком случае жить?

«— Можно ли жить бунтом? А я хочу жить»,— говорит Иван Карамазов.

«— Обливаясь глупыми слезами своими,— говорит Великий Инквизитор,— люди сознаются, наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства и, в конце концов, сама же себе всегда и отмстит за него».

И вот на дальнейшем пути исканий Достоевского мы наталкиваемся на странную психологическую загадку — совсем ту же, которая поражает в исканиях библейского Иова. Обрыв на пути. Непереходимая пропасть. На дне пропасти — не разрешенные, а только задушенные вопросы. По ту же сторону пропасти — гимн и осанна.

Мир там совсем другой. Люди не извиваются, как перерезанные заступом земляные черви. Не слышно воплей и проклятий. Медленно и благообразно движутся безжизненные силуэты святых старцев Макара Ивановича и Зосимы, сидит на террасе своей дачи святой эпилептик Мышкин. Трепетные, нежнейшие мечты Достоевского о невозможном и недостижимом носятся над этими образами. Нездешние отсветы падают на них и озаряют весь мир вокруг. И от нездешнего этого света слабо начинает оживать мертвая здешняя жизнь.

«— Красота везде неизреченная,— умиленно говорит старец Макар Иванович.— Травка растет,— расти, травка божия! птичка поет,— пой, птичка божия; ребеночек у женщины на руках пискнул,— господь с тобой, маленький человечек; расти на счастье, младенчик!.. Хорошо на свете, милый!»

И учит отец Зосима:

«— Все создания и вся тварь, каждый листик устремляется к слову, богу славу поет, христу плачет... Все — как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается... Ты для целого работаешь, для грядущего делаешь. Награды же никогда не ищи, ибо и без того уже велика тебе награда на сей земле: духовная радость твоя... *Знай меру, знай сроки, научись сему...* Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби...»

Чуждо стоят по другую сторону пропасти Раскольников, Иван Карамазов и прочие дьяволовы подвижники. Усмехаются Свидригайлов и Версилов. Недоуменно простирает руки Дмитрий Карамазов...

Почему это вдруг стало «хорошо на свете»? Что это за соприкосновение всего друг с другом — среди всеобщего «безгласия косности»? Какая это такая духовная радость от работы для грядущего? «Да черт мне до будущего, если мне за это — ни любви, ни будущей жизни, ни признания за мной подвига!» (Подросток), «Как я вступ-

лю в союз с землею навек? Что ж мне, мужиком сделаться, аль пастушком?» (Дмитрий Карамазов). Где пути к этой желанной жизни? Ведь звучащие с того края ответы — это те же вопросы, только употребленные в повелительном наклонении. Как мне любить землю? — Люби землю...

И однако, путь есть в эту заветную страну благообразия и сердечного «веселия». Какой же? Да все тот же. Человек еще недостаточно несчастен, нужно навалить на него новые страдания, забить его этими страданиями на самое дно пропасти, и вот тогда...

«— Тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой жить человеку невозможно, а богу быть, ибо бог дает радость. *Как я буду там под землей без бога?* Если бога с земли изгонят, мы под землей его встретим. И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн богу, у которого радость! Да здравствует бог и его радость!» (Дмитрий Карамазов).

Отвернемся от негодующе-усмехающегося Ипполита, забудем про «неутоленное негодование» Ивана Карамазова. Напомнить о них теперь — это значит выбить из-под человека последнюю опору, за которую он цепляется. К другому нужно прислушиваться:

«— Горе узришь великое,— учит отец Зосима,— и в горе сем счастлив будешь. Вот тебе завет: в горе счастья ищи. Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь и жизнь благословишь».

Если же мы все еще не понимаем спасительности и, главное, возвышенности указуемого пути, то послушаем Дмитрия Карамазова. Он понял и объяснит нам это с тою нелепо-голою, невыразимо-милою откровенностью, которая для него так характерна.

«— Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, *чтоб захватить его, как на аркан, и скрутить внешней силой.* Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой! Но гром грянул. Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием очищусь!»

Там, высоко над пропастью, благообразно расхаживают и радуются спасенные... Да полно, не вытащены ли они на свою высоту из пропасти как раз на этом *аркане?* Слишком уж они забыли те вопросы, которые остались

на дне пропасти, слишком устали от трудного подъема, слишком безмятежны. Против буйных и неистовых вопрошателей слишком «знают меру и сроки».

«Осанна, прошедшая через горнило сомнений»... Каким бы ясным, твердым блеском должна сверкать такая осанна, как страстно должна бы устремляться навстречу сомнениям, как бурно рваться к покорению человеческих душ! Но одна лишь усталость и задушенное отчаяние слышны в спокойной осанне благообразных праведников Достоевского.

И как в жизни они мягки, как покладисты! «Знай меру», учит Зосима. О, сам он ее знает!

«— Учитель, что мне делать, чтоб наследовать жизнь вечную?» — спрашивает шут Федор Павлович Карамазов.

«— Не предавайтесь пьянству и сладострастию, а особенно обожанию денег, да закройте ваши питейные дома, *если не можете всех, то хоть два или три...»*

Уж не смеется ли втайне Достоевский над своим Зосимой, заставляя его так ядовито пародировать евангельский ответ на тот же вопрос?

«— Мечтаю видеть и как будто уже вижу ясно наше грядущее,— говорит все тот же святой старец.— Ибо будет так, что даже самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатства своего перед бедным, *а бедный, видя смирение его, поймет* (что поймет?!) *и уступит ему,* с радостью и лаской ответит на благолепный стыд его. Верьте, что кончится сим: на то идет».

Вот она, желанная будущая гармония, та гармония, о которой так безнадежно тоскует Иван Карамазов! Бедный что-то такое поймет, уступит богатому, предоставит своим ребятам по-прежнему чахнуть с голода, а дочь свою пошлет дорогою Сонечки Мармеладовой. Богатый же останется при своем богатстве да получит в придачу «благолепный стыд»... Хорошо, что святой старец говорит хоть проникновенно, но тихо. А то бы с другого берега пропасти его услышал Иван Карамазов и расхохотался бы так, что святой старец покраснел бы от стыда, весьма мало благолепного.

Нет, не неистовы они, эти праведники. Зато очень неистов сам Достоевский, когда речь заходит о его вере в бога. Он сейчас же начинает раздражаться, с негодованием говорит о «мерзавцах» и «олухах», нападавших на

него за его веру в бога. «Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицания, которое перешел я... И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же черт».

Но чем раздраженнее отстаивает Достоевский свое право на веру, чем исступленнее анафематствует и смеется над безбожниками, тем настойчивее припоминается замечание, однажды им же самим оброненное:

«Кто знает, ведь, может, и правда, что иные всю жизнь горячатся даже с пеной у рта, убеждая других, единственно, чтобы самим убедиться, да так и умирают неубежденные».

И, может быть, как раз самого Достоевского имеет в виду старец Макар Иванович, противопоставляя подлинным безбожникам голых отрицателей: «те много пострашнее этих будут, потому что *с именем божиим на устах приходят*».

Но тот же Макар Иванович в «Подростке» говорит:

«Невозможно быть человеку, чтоб не преклониться: не снесет себя такой человек, да и никакой человек».

И преклоняется человек, потому что нет сил нести себя, и нечем жить. Надевает на лицо маску, страстно старается убедить себя, что это и есть его лицо. Но вдруг нечаянно спадает маска, открывается на миг подлинное лицо,— и слышны странные загадочные речи:

«— Монах я, Lise? — спрашивает Алеша.— Вы както сказали сию минуту, что я монах?

— Да, сказала.

— *А я в бога-то вот, может быть, и не верую.*

Было тут, в этих слишком внезапных словах его, нечто слишком таинственное и слишком субъективное, может быть, и ему самому неясное, но уже несомненно его мучившее».

Это из «Братьев Карамазовых». А вот из «Бесов»:

«— Я хотел лишь узнать: веруете вы сами в бога или нет?

— Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую в тело христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую...— залепетал в исступлении Шатов.

— А в бога? В бога?

— *Я... я буду веровать в бога».*

Нужно при этом помнить, что Шатов проповедует *совсем то же самое*, что, от себя уже, проповедует и Достоевский в «Дневнике писателя». С такою, казалось бы, огненною убежденностью и сам Достоевский все время твердит: «я верую в православие, верую, что новое пришествие Христа совершится в России»... Но публицист не смеет произнести последнего слова, он старается скрыть его даже от себя. И со страшною, нечеловеческою правдивостью это слово договаривает художник: а в бога,— в бога я *буду* веровать...

Геффдинг говорит в своей «Философии религии»: «Некогда религия была тем огненным столпом, который шествовал впереди человеческого рода, указывая ему путь в его великом историческом шествии. Теперь она все более и более превращается в лазарет, следующий за походом, подбирающий усталых и раненых».

Религия Достоевского во всяком случае — именно такой лазарет. Лазарет для усталых, богадельня для немощных. Бог этой религии — только костыль, за который хватается безнадежно увечный человек. Хватается, пытается подняться и опереться, но костыль то и дело ломается. А кругом — мрачная, унылая пустыня, и царит над нею холодное «безгласие косности».

XV
В СТРАДАНИИ ЕСТЬ ИДЕЯ

«Страданием все очищается»,— говорит Наташа в «Униженных и оскорбленных».

Да, страдание, страдание, страдание! Вот истинное бродило, очищающее и просветляющее жизнь. Вот что делает человека прекрасным и высоким, вот что дает ему счастье.

В «Бесах» монастырская одна старица говорит:

«— Всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть, а как напоишь слезами своими под собою землю на поларшина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься».

«— В горе счастия ищи!» — поучает Алешу старец Зосима. И Порфирий Петрович поучает Раскольникова:

«— Страдание, Родион Романович, великая вещь; вы не глядите на то, что я отолстел, нужды нет, зато знаю; не смейтесь над этим, *в страдании есть идея»*.

Какая же идея?

Мы видим: перестрадав сверх меры, люди только сходят у Достоевского с ума, убивают себя, умирают, захлебываясь проклятиями. Там, где идея эта должна проявиться, Достоевский как раз замолкает. Раскольников на каторге очистился страданием, для него началась новая жизнь, «обновление» и «перерождение», но.. Но «это могло составить тему нового рассказа, теперешний же рассказ наш окончен». То же и относительно Подростка.

Но все это не важно. «Идею» страдания не к чему вскрывать, не к чему доказывать. Она для Достоевского несомненнее всех идей,— может быть, единственная вполне несомненная идея. И, покоренные силою его веры в страдание, завороженные мрачным его гением, мы принимаем душою недоказанную идею и без всякого недоумения слушаем такие, например, речи Дмитрия Карамазова:

«— Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю!..» — Иван хочет устроить брату побег в Америку, Дмитрий возражает: — *«А совесть-то? От страдания ведь убежал!»* Было указание,— отверг указание, был путь очищения,— поворотил налево кругом... *От распятия убежал!»* — В конце концов он соглашается на Америку,— и вот почему: «— Если я и убегу в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу, не хуже, может быть, и этой! Не хуже, Алексей, воистину говорю, что не хуже!»

Над этим можно бы только в изумлении развести руками: что его гонит? Преступление, которое надо «искупить» страданием? Но ведь Дмитрий в нем неповинен, не он убил отца. Почему же его ободряет мысль, что он бежит на такую же каторгу, а не на радость и счастье?.. Но не изумляешься. Смотришь кругом на бессильно корчащуюся, немощную и безвольную жизнь, и во всей нелепице этой начинаешь чувствовать какую-то чудовищную необходимость, почти правду, рожденную... Из чего?

В «Записках из мертвого дома» Достоевский рассказывает про одного арестанта. Ни с того, ни с сего он бро-

сился с кирпичом на начальника тюрьмы и за это был засечен насмерть. «Вероятно,— говорит Достоевский,— он был из отчаявшихся, из тех, кого покинула последняя надежда, а *так как совершенно без надежды жить невозможно, то он и выдумал себе исход в добровольном, почти искусственном мученичестве*».

Когда жизни нет и надеяться не на что, когда душа бессильна на счастье, когда вечный мрак кругом, тогда призрак яркой, полной жизни дается страданием.

«Страдание-то и есть жизнь»,— говорит черт Ивану Карамазову. Важно не то, *ведет ли* к чему страдание, есть ли в нем какая «идея»,— важно то, что страдание само по себе только и дает своеобразную жизнь в мире тьмы, ужаса и отчаяния. Все призрачно, все мертво. Прочно и твердо и несомненно одно лишь страдание. Отнять у человека страдание,—чем же он станет жить? В муках бессильно стремящейся воли, в едких переживаниях отчаяния, ужаса и позора, в безумиях страдальческой или мучительской страсти,— так еще возможно жить. Но только так и возможно.

Аглая говорит Настасье Филипповне: «Вы любите один только свой позор и беспрерывную мысль о том, что вы опозорены и что вас оскорбили. Будь у вас меньше позора или не будь его вовсе, вы были бы несчастнее».

Подросток называет сестру свою Лизу «добровольною искательницею мучений». Так можно назвать всех без исключения героев Достоевского. Все они ищут мучений, все рвутся к страданиям. «Страдание-то и есть жизнь». Отнять страдание,— исчезнет жизнь, и останется такая пустота, что страшно подумать.

И вот человек гасит в своей душе последние проблески надежды на счастье и уходит в темное подполье жизни. Пусть даже случайный луч не напоминает о мире, где солнце и радость. Не нужен ему этот мир, вечно дразнящий и обманывающий. У человека свое богатство — страдание.

«Законы природы постоянны и более всего всю жизнь меня обижали,— пишет подпольный человек.— Ну-с, вот от этих-то кровавых обид, вот от этих-то насмешек, неизвестно чьих, и начинается, наконец, наслаждение, доходящее иногда до высшего сладострастия... Именно вот в этом холодном, омерзительном полуотчаянии, полувере,

в этом сознательном погребении самого себя заживо с горя в подполье, в этой усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь, и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил».

Все то, с чем борются и от чего бегут на земле,— для подпольного человека желанно, сладостно и целительно, как морфий для морфиниста.

«Такое горе и утешения не желает, чувством своей неутолимости питается»,— говорит Достоевский по поводу одной несчастной бабы-богомолки.

Нелли в «Униженных и оскорбленных» «точно наслаждалась сама своею болью, этим «эгоизмом страдания», если можно так выразиться. Это растравление боли и это наслаждение ею было мне понятно: это — наслаждение многих обиженных и оскорбленных, пригнетенных судьбою».

Существа наземные даже и представить себе не могут, какие сокровища находит подпольный человек, разрабатывая странное свое богатство. Целые россыпи ярких, острых, сладострастных наслаждений открываются в темных глубинах этого богатства.

«В отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения,— пишет подпольный человек,— особенно, когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения».

Герой повести «Игрок» говорит: «Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества! Черт знает, может быть, оно есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки мясо».

XVI
ЖИВАЯ ЖИЗНЬ

«Конец концов, господа: лучше ничего не делать! — заявляет подпольный человек.— Лучше созерцательная инерция! Итак, да здравствует подполье! Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи, но на таких условиях, в каких я вижу его, не хочу быть им... Нет, нет, подполье, во всяком случае, выгоднее. Там, по крайней мере, можно... Эх, да ведь я и тут вру! Вру,

потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К черту подполье!»

И он же в конце своей исповеди пишет:

«Мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей «живой жизни» какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Да взгляните пристальнее! Ведь мы даже не знаем, где и живое-то живет теперь и что оно такое, как называется».

Но рядом с этим глубоко в душах все время горит «зовущая тоска», все время шевелится смутное сознание, что есть она в мире, эта «живая жизнь» — радостная, светлая, знающая свои пути. И от одного намека на нее сладко вздрагивает сердце.

«— Видали вы лист, с дерева лист? — спрашивает Кириллов.— Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист зеленый, яркий, с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал».

«— Что же это за пир,— думает Мышкин,— что же это за всегдашний великий праздник, которому нет конца? У всего свой путь, и все знает свой путь, с песнью приходит и с песнью отходит; один он ничего не знает, ничего не понимает, всему чужой и выкидыш».

Где живет живое, как оно называется?

«— Что же такое эта живая жизнь, по-вашему? — спросил князь.

— Не знаю, князь,— ответил Версилов.— Знаю только, что это должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтобы оно было так просто, и естественно проходим мимо вот уж многие тысячи лет, не замечая и не узнавая».

Малым своим разумом Достоевский знает, в чем эта живая жизнь. Все в том же личном бессмертии. В комментариях к своему письму самоубийцы-материалиста он пишет: «Вера в бессмертие души человеческой есть един-

ственный источник живой жизни на земле,— жизни, здоровья, здоровых идей и здоровых выводов и заключений».

Но, очевидно, не эту живую жизнь имеет в виду великий разум художника, говорящий устами Версилова. Ведь идея бессмертия души существует «многие тысячи лет», человечество не проходит мимо этой идеи, а напротив, все время упирается в нее. А мы все ищем. Не в этом живая жизнь, которую чует Достоевский. Но не от него мы узнаем, в чем же она. Он сам не знает.

Тем не менее он знает все-таки что-то очень важное. Он знает, что «*эта живая жизнь есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на нас смотрящее, что именно из-за этой-то прямоты и ясности и невозможно поверить, чтобы это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем*».

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕСЬ МИР!»

(О Льве Толстом)

Немец засмеялся, вышел совсем из дверей коровника, сдернул колпак и, взмахнув им над головой, закричал: — Und die ganze Welt hoch!

Ростов сам так же, как немец, взмахнул фуражкой над головой и, смеясь, закричал: «Und vivat die ganze Welt». Хотя не было никакой причины к особенной радости ни для немца, вычищавшего свой коровник, ни для Ростова, ездившего со взводом за сеном, оба человека эти с счастливым восторгом и братскою любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и, улыбаясь, разошлись, немец — в коровник, Ростов — в избу.

«Война и мир».

I
ЕДИНСТВО

Солнце,— яркое, горячее солнце над прекрасною землею. Куда ни взглянешь, всюду неожиданная, таинственно-значительная жизнь, всюду блеск, счастье, бодрость и вечная, нетускнеющая красота. Как будто из мрачного подземелья вдруг вышел на весенний простор, грудь дышит глубоко и свободно. Вспоминается далекое, изжитое детство: тогда вот мир воспринимался в таком свете и

чистоте, тогда ощущалась эта таинственная значительность всего, что кругом.

Среди прекрасного мира — человек. Из души его тянутся живые корни в окружающую жизнь, раскидываются в ней и тесно сплетаются в ощущении непрерывного, целостного единства.

«И все я был один,— рассказывает Николенька в «Юности»,— и все казалось, что таинственно-величавая природа, притягивающая к себе светлый круг месяца, стоящий везде, и как будто наполняющий собою все необъятное пространство, и я, ничтожный червяк,— мне все казалось в эти минуты, что как будто природа и луна, и я, мы были одно и то же».

Оленин лежит в первобытном лесу, в логовище оленя. «Около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары; и все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам». Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары: «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть!» — жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, а просто такой же комар или такой же фазан или олень, как и те, которые живут теперь вокруг него».

Князю Мышкину Достоевского мучительно чужд и недоступен «вечный праздник природы». Как незваный гость, «всему чужой и выкидыш», тоскливо стоит он в стороне и не в силах отозваться душою на ликование жизни. Для Толстого же этот праздник — свой, родной. Он рвется в самую его гущу, как ласточка в воздух.

«Я люблю природу,— пишет Толстой,— когда она со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда вы не одни ликуете и радуетесь природой, когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись, ползают коровки, везде кругом заливаются птицы. А это (альпийская вершина) — голая, холодная, серая площадка, и где-то там красивое что-то подернуто дымкой дали. Но это что-то так далеко, что *я не чувствую главного наслаж-*

дения природы, не чувствую себя частью этого всего бесконечного и прекрасного далека. Мне дела нет до этой дали». (Из черновых путевых заметок Толстого о Швейцарии.)

Вокруг человека — огромное море жизни: животные растения. У них нет рассудка, они не умеют говорить. Но в них есть самое важное, что и в человеке важнее рассудка и слов.

«— Нынче весной,— рассказывает дядя-Ерошка,— так-то подошел табун важный, зачернелся. «Отцу и сыну...» уж хотел стрелить. Как она фыркнет на своих на поросят: «беда, мол, детки: человек сидит!» — и затрещали все прочь по кустам.

— Как же это свинья поросятам сказала, что человек сидит? — спросил Оленин.

— А ты как думал? Ты думал, он дурак, зверь-то? *Нет, он умней человека, даром, что свинья называется. Он все знает.* Хоть то в пример возьми: человек по следу пройдет, не заметит, а свинья как наткнется на твой след, так сейчас отдует и прочь; значит, ум в ней есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышит... Она свинья, а все она не хуже тебя: такая же тварь божия. Эх-ма! Глуп человек, глуп, глуп человек!»

Толстой говорит про лошадь Вронского Фру-Фру: «она была одно из тех животных, которые, кажется, *не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого».*

И повсюду у Толстого только как будто эта механическая причина отделяет животных от людей.

«Старая Ласка, еще не совсем переварившая радость приезда Левина, вернулась со двора, махая хвостом, подошла к нему, подсунула голову под его руку, жалобно подвизгивая и требуя, чтобы он поласкал ее.

— *Только не говорит,*— сказала Агафья Михайловна.— А пес... Ведь понимает же, что хозяин приехал и что ему скучно».

Мухортый ищет среди метели дорогу домой. «Никита только дергал вожжи, стараясь не шевелить ими, радуясь на ум своего любимца.

— *Только не говорит,*— приговаривал Никита.— Вишь, что делает! Иди, иди знай! Так, так... И умен же!.. Гляди, что ушами делает. Никакого телеграфа не надо, за версту чует».

Собаки упустили волка. «Когда мы прибежали к канаве, волка уже не было, и обе собаки вернулись к нам с поднятыми хвостами и *рассерженными лицами.* Булька рычал и толкал меня головой — *он, видно, хотел что-то рассказать, но не умел*» («Булька и волк»).

Однако, в конце концов, слова не так уж необходимы. Тесное, непрерывное общение происходит между душами и помимо слов,— путем взглядов, интонаций, какой-то своеобразной интуиции.

«Левин пустил собаку. Сытый, бурый третьяк, увидав собаку, шарахнулся. Остальные лошади тоже испугались. Ласка остановилась, насмешливо посмотрела на лошадей и вопросительно на Левина. Левин посвистал в знак того, что можно начинать». Ласка почуяла дичь. «Чтоб найти, она начала уже круг, как вдруг голос хозяина развлек ее.

— Ласка! Тут! — сказал он, указывая ей другую сторону.

Она постояла, спрашивая его, не лучше ли делать, как она начала. Но он повторил приказание сердитым голосом».

Фру-Фру на скачках. «В то самое мгновение, как Вронский подумал о том, что надо теперь обходить Махотина, сама Фру-Фру, *поняв уже то, что он подумал,* без всякого поощрения значительно наддала и стала приближаться к Махотину с самой выгодной стороны, со стороны веревки. Махотин не давал веревки. *Вронский только подумал о том, что можно обойти и извне, как Фру-Фру переменила ногу и стала обходить именно таким образом...* Он подскакивал к ирландской банкетке. *Вместе с Фру-Фру* он еще издалека видел эту банкетку, и *вместе им обоим, ему и лошади, пришло мгновенное сомнение.* Он *заметил нерешимость в ушах лошади* и поднял хлыст, но тотчас же почувствовал, что сомнение было неосновательно: лошадь знала, что нужно».

Мне рассказывала одна моя знакомая: до семнадцати лет она безвыездно жила в городе, животных, как все горожане, видела мало и знала еще меньше. Когда она в первый раз стала читать Толстого и через него почувствовала животных, ее охватил непередаваемый, странный, почти мистический ужас. Этот ужас она сравнивает с ощущением человека, который бы увидел, что все неодушевленные предметы вокруг него вдруг зашевели-

лись, зашептались и зажили неожиданною, тайною жизнью.

И не только в животных есть для Толстого эта тайная, но близкая человеку жизнь. Есть она и в растениях.

Толстой стал вырубать в саду молодые топольки, шедшие от корней большого тополя. «Мне иногда жалко становилось смотреть, как разрубали под землей их сочные коренья, как потом вчетвером мы тянули и не могли вырвать надрубленный тополек. Он из всех сил держался и не хотел умирать. Я подумал: видно, нужно им жить, если они так крепко держатся за жизнь... Потом уже, когда было поздно, я узнал, что не надо было уничтожать их. Я думал, что отростки вытягивают сок из старого тополя, а вышло наоборот: когда я рубил их, старый тополь уже умирал. *Он давно уже умирал и знал это, и передал свою жизнь в отростки*».

Деревья умеют ходить. Черемуха выросла близко от липы, липа затенила ее. «Черемуха, чтоб ее не глушила липа, перешла из-под липы на дорожку. *Она почуяла, видно,* что ей не жить под липой, вытянулась, вцепилась сучком за землю, сделала из сучка корень, а тот корень бросила» (Рассказы для детей из ботаники: «Как ходят деревья»).

«Тополь *знал,* что умирает», «черемуха *почуяла,* что ей не жить». У Толстого это не поэтические образы, не вкладывание в неодушевленные предметы человеческих чувств, как делают баснописцы. Пусть не в тех формах, как человек,— но все же тополь и черемуха *действительно* знают что-то и чувствуют. Эту тайную их жизнь Толстой живо ощущает душою, и жизнь эта роднит дерево с человеком.

Толстой рубит черемуху. «Всякую работу весело работать; весело и рубить. Весело наискось глубоко всадить топор и потом напрямик подсечь подкошенное и дальше, и дальше врубаться в дерево. Я совсем забыл о черемухе и только думал о том, как бы скорее свалить ее... Когда я запыхался, я положил топор, уперся с мужиками в дерево и попытался свалить его. Мы качнули: дерево задрожало листьями, и на нас посыпались белые душистые лепестки цветов. В то же время точно вскрикнуло что-то,— хрустнуло в середине дерева,— мы налегли, и как будто заплакало, затрещало в середине, и дерево свалилось. Оно разодралось у надруба и, покачиваясь, легло сучья-

ми и цветами на траву. Подрожали ветки и цветы после падения и остановились.

— Эх, штука-то важная! — сказал мужик.— Живо жалко!

А мне так было жалко, что я поскорее отошел к другим рабочим»...

Еще крепче эта таинственная, живая связь у людей друг с другом. Наружно они сообщаются словами, но души их, помимо слов, все время соприкасаются в каком-то другом общении, неизмеримо более глубоком, тесном и правдивом.

«— А что, Марьянка, слышь, начальника у вас поставили? — спросил Лукашка, подвигаясь к ней.

Марьянка, как всегда, не сразу отвечала и медленно подняла глаза на казаков. Лукашка смеялся глазами, *как будто что-то особенное, не зависимое от разговора, происходило в это время между ним и девкой*».

Николай Ростов возвратился с войны домой и встречается с Соней. «Он поцеловал ее руку и назвал ее *вы — Соня*. Но глаза их, встретившись, сказали друг другу *ты* и нежно поцеловались. Она просила своим взглядом у него прощения за то, что в посольстве Наташи она смела напомнить ему о его обещании. Он своим взглядом благодарил ее за предложение свободы».

Князь Нехлюдов встречается с сестрою. «Они поцеловались и, улыбаясь, посмотрели друг на друга. Совершился тот таинственный, невыразимый словами, многозначительный обмен взглядов, в котором все была правда,— и начался обмен слов, в котором уже не было той правды».

Но часто даже и взгляды излишни. Люди просто *чувствуют* друг друга.

Николай Ростов стоит в церкви на молебне. «Он тотчас же узнал княжну Марью не столько по профилю ее, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его».

Андрей Болконский. «Он был в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.

«— А, это она вошла! — подумал он.

Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа. С тех пор, как она

стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости».

Грубое, по самой сути своей схематическое слово только уродует тонкое общение, которое происходит между душами.

Князь Андрей объясняется Наташе в любви. «Он взглянул на нее, и серьезная страстность выражения ее лица поразила его. Лицо ее говорило: «Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь?»

Княжна Марья Болконская приезжает к умирающему брату. «Она отерла глаза и обратилась к Наташе. Она чувствовала, что от нее она все поймет и узнает.

— Что...— начала она вопрос, но вдруг остановилась. Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни ответить. Лицо и глаза Наташи должны были сказать все яснее и глубже».

Мир светел. Он весь полон единым, непрерывным трепетом жизни. Счастливым ответным трепетом полна и душа человека.

«Чего хотеть, чего желать? — пишет Толстой в «Люцерне».— Вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими, полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Все твое, все благо!»

Чем сильнее в человеке трепет жизни, чем больше у него *счастья*, тем выше и прекраснее становится человек, тем глубже и полнее понимает он «все, что стоит понимать в жизни».

«Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была *на той высшей ступени счастья, когда человек делается вполне добр и хорош* и не верит в возможность зла, несчастья и горя».

То же и с Пьером.

«Пьер часто потом вспоминал это время счастливого безумия. Все суждения, которые он составил себе о людях и обстоятельствах за этот период времени, остались для него навсегда верными. Он не только не отрекался впоследствии от этих взглядов на людей и вещи, но, напротив, во внутренних сомнениях и противоречиях прибе-

гал к тому взгляду, который он имел в это время безумия, и взгляд этот всегда оказывался верен.

«Я был тогда,— думал он,— умнее и проницательнее, чем когда-либо, *и понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что... я был счастлив*».

Безумие Пьера состояло в том, что он не дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того, чтобы любить их, *а любовь переполняла его сердце, и он, беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их*».

Счастье и радость обличают зло жизни, делают его наглядно-ужасным и чудовищным.

«— Го, го, го! Ха, ха, ха! Ух! Ух! — раздался между солдатами грохот такого здорового и веселого хохота, невольно через цепь сообщившегося и французам, что после этого нужно было, казалось, разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорее всем по домам.

Но ружья остались заряженными, бойницы так же грозно смотрели вперед, и так же, как прежде, остались друг против друга, обращенные, снятые с передков пушки».

Ясным своим светом счастье ярко освещает вялость, убогость и искусственность людской жизни.

Ужин у князя Василия Курагина. Влюбленные Пьер и Элен сидят рядом. «Старая княгиня, предлагая с грустным вздохом вина своей соседке и сердито взглянув на дочь, этим вздохом как будто говорила: «да, теперь нам с вами ничего больше не осталось, как пить сладкое вино, моя милая, теперь время этой молодежи быть так дерзко, вызывающе-счастливой».— «И что за глупость все то, что я рассказываю, как будто это меня интересует», думал дипломат, взглядывая на счастливые лица любовников: «вот это счастье!»

«Среди тех ничтожно-мелких, искусственных интересов, которые связывали это общество, попало простое чувство стремления красивых и здоровых молодых мужчины и женщины друг к другу. И это человеческое чувство подавило все и царило над всем их искусственным лепетом. Шутки были невеселы, новости неинтересны, оживление, очевидно, поддельно. Казалось, и огни свечей сосредоточены были только на этих двух счастливых лицах».

Бёрне говорит: «быть счастливым — это тоже добродетель». Для Толстого это великая добродетель и великая заслуга. Пьяница-музыкант Альберт замерзает на улице. Ему чудится голос друга-музыканта, защищающего его перед толпой: «— Вы могли презирать его, мучить, унижать, а он был, есть и будет неизмеримо выше всех вас. *Он счастлив,* он добр. Ниц падайте перед ним! На колени!» — *«Да, он лучший и счастливейший!»* — невольно повторялось в воображении Альберта... В ближайшей церкви слышался благовест, и благовест этот говорил: «да, он лучший и счастливейший!» Далеко и высоко гудя где-то, колокол говорил: «он вам жалок кажется, вы его презираете, а он лучший и счастливейший!»

У Достоевского было бы: «он лучший и *несчастнейший!»*

Толстой рассказывает про Нехлюдова: «В это лето у тетушек он переживал то восторженное состояние, когда в первый раз юноша сам по себе познает всю красоту и важность жизни и всю значительность дела, предоставленного в ней человеку... Мир божий представлялся ему тайной, которую он радостно и восторженно старался разгадывать».

Светлою тайною стоит мир божий и перед самим Толстым; радостно и восторженно он старается познать и разгадать эту тайну. В чем ценность жизни? В чем счастье? Для чего живет человек?

II
СПОСОБ ПОЗНАНИЯ

К важнейшим вопросам жизни Достоевский подходит с меркою разума и логики. Какое может быть для человека разумное основание любить людей, быть нравственным и благородным? Какая логика может заставить его жить и ценить жизнь, раз его ждет неизбежная смерть? Какой вообще может быть смысл в этой жизни, которая полна ужасов и скорбей? Ни на один из вопросов разум не может дать логического ответа. Больше, чем кто-

либо другой, Достоевский знает, что разуму и не дано собственными силами разрешать подобные вопросы; разум может только передать сознанию ответы другого голоса, лежащего глубже и сокровеннее. Но другой этот голос в Достоевском молчит, как труп. Молчит и разум. Ответов нет. И вот — жизнь пуста, ужасающе-бессмысленна, лишена всякой внутренней ценности; только санкция со стороны способна дать ей ценность.

Толстой вообще относится к разуму с глубочайшим недоверием. Сложная жизнь не укладывается для него в ограниченные рамки слов, мыслей и убеждений. Твердость и определенность убеждений вернее всего свидетельствует об оторванности от жизни.

«В области политики, философии, богословия Каренин сомневался или отыскивал; но в вопросах искусства и поэзии, в особенности музыки, понимания которой он был совершенно лишен, у него были самые определенные, твердые мнения».

Старший брат Левина, ученый теоретик Кознышев, «никогда не изменял своего мнения о народе и сочувственного к нему отношения». В спорах с Левиным, гораздо ближе знавшим народ, «Кознышев всегда побеждал брата именно тем, что у Кознышева были определенные понятия о народе, его характере, свойствах и вкусах; у Константина же Левина никакого определенного и неизменного понятия не было, так что в этих спорах Константин был уличаем в противоречии самому себе».

Тем более ненадежен разум, когда он берется решать основные вопросы жизни. Все, чем жива жизнь, для Толстого лежит на каком-то совсем другом уровне, а не на том, где люди оперируют словами и оформленными мыслями.

«Главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была несомненная, непоколебимая вера в силу и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла притти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя все-таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнение в том, что *не вздор ли все то, что я думаю, и все то, во что я верю?*»

Человек жалок и беспомощен, когда подходит к жизни с одним только умом, с кодексом его понятий, суждений и умозаключений. Так был бы беспомощен

скрипач, который вышел бы играть хотя бы и с самым прекрасным смычком, но без скрипки. Сущность жизни познается каким-то особенным путем, внеразумным. Есть способность к этому познанию,— и ум, как смычок, извлечет из него полные, живые, могущественные мелодии.

«И Наташа уходила в детскую кормить своего единственного мальчика Петю. Никто ничего не мог ей сказать столько успокоительного, *разумного*, сколько это трехмесячное маленькое существо, когда оно лежало у ее груди, и она чувствовала его движение и сопение носиком. Существо это говорило: «Ты сердишься, ты ревнуешь, ты хотела бы ему отмстить, ты боишься, а я вот он. А я вот он»... И отвечать нечего было. *Это было больше, чем правда»*.

То же и с Кити. «Кити сердцем знала, что не только ребенок ее узнает няню, но что *он все знает и понимает, и знает, и понимает еще много такого, чего никто не знает*, и что она, мать, сама узнала и стала понимать только благодаря ему».

Умный Каренин или Кознышев со снисходительною улыбкою спросят Наташу и Кити: «что же это *знает и понимает* ваш ребенок, чего никто не знает? Что он такого *разумного* говорит?» Конечно, ни Наташа, ни Кити не сумеют ответить, и умные люди пожмут плечами.

Умирает Николай Левин. За ним ухаживают Константин Левин, Кити и няня Агафья Михайловна.

«Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным»,— так думал Левин про свою жену, разговаривая с ней в этот вечер.

Левин думал об евангельском изречении не потому, чтоб он считал себя премудрым. Он не считал себя премудрым, но не мог не знать, что *он был умнее жены и Агафьи Михайловны*, и не мог не знать того, что когда он думал о смерти, он думал всеми силами души. Он знал тоже, что многие мужские большие умы, мысли которых об этом он читал, думали об этом и *не знали одной сотой того, что знали об этом его жена и Агафья Михайловна*. Как ни различны были эти две женщины, и Агафья Михайловна и Кити, они в этом были совершенно похожи. *Обе несомненно знали, что такое была жизнь и что такое была смерть*, и хотя никак не могли ответить и не

поняли бы даже тех вопросов, которые представлялись Левину, обе они не сомневались в значении этого явления и совершенно одинаково, не только между собою, но разделяя этот взгляд с миллионами людей, смотрели на это».

Что-то знает в этой таинственной области дядя Ерошка. «Он удивился, почему русские все п р о с т ы, и *отчего они ничего не знают, а все ученые»*. Русские господа не знают, а зверь знает. «Ты думал, он дурак, зверь-то? Нет, он умней человека. Он *все знает*... Глуп человек, глуп, глуп человек!..»

Смерть брата производит на Левина очень сильное впечатление. «Он ужаснулся не столько смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что он такое». Левин пересматривает свои убеждения, читает философов,— не только нет никаких ответов, но ничего похожего на ответ. «Он был в положении человека, отыскивающего пищу в игрушечных и оружейных лавках... Нарочно вдаваясь в ту ловушку слов, которую ставили ему философы или он сам себе, он начинал как будто что-то понимать. Но стоило забыть искусственный ход мысли и из жизни вернуться к тому, что удовлетворяло,— и вдруг вся эта искусственная постройка заваливалась, как карточный дом, и ясно было, что постройка была сделана из тех же перестановленных слов, *независимо от чего-то более важного в жизни, чем разум»*.

Жизнь теряет для Левина всякий смысл. Его тянет к самоубийству. Но рядом с этим наблюдается одно чрезвычайно странное явление. «Когда Левин думал о том, что он такое и для чего он живет, он не находил ответа и приходил в отчаяние; но когда он переставал спрашивать себя об этом, *он как будто знал, и* что *он такое, и для чего живет, потому что твердо и определенно действовал и жил;* даже в это последнее время он гораздо тверже и определеннее жил, чем прежде».

Левин как будто подходит к чему-то очень большому и важному. Еще одно усилие,— и смычок коснется струн таинственной скрипки, и Левину откроется то, что знают Агафья Михайловна и сопящий носиком Петя, дядя Ерошка и зверь.

И вдруг...

III

«СМЫСЛ ДОБРА»

Вдруг Левин услышал слова мужика:

«— Фоканыч для души живет, бога помнит. По правде живет, по-божью».

Эти слова производят в душе Левина полный переворот. «Не для нужд своих жить, а для бога». Неверующему Левину становится вдруг ясно, что он мог жить только благодаря тем христианским верованиям, в которых он был воспитан. «Что я бы был такое, если бы не имел этих верований, не знал, что надо жить для бога, а не для своих нужд? Я бы грабил, лгал, убивал». То несознаваемое, чем крепок Левин, оказывается христианским богом, с «законами добра, явленным миру откровением». Это же, по объяснению Левина, дает Агафье Михайловне и Кити внутреннее знание того, что такое жизнь и смерть. Лишь благодаря христианским верованиям миллионы людей живут, находя в жизни смысл.

Но перед Левиным встает, как сам он чувствует, «опасный» вопрос: «Ну, а евреи, магометане, конфуцианцы, буддисты, что же они такое?» Левин отвечает: «Вопроса о других верованиях и их отношениях к божеству я не имею права и возможности решить». Кто же тогда дал ему право решать вопрос о христианских верованиях,— решать, что именно моральное содержание христианства единственно дает людям силу жизни?

Тщетно ждем мы от художника Толстого, чтобы он в живых образах показал нам раскрывшийся Левину смысл жизни. «С Кити никогда не будет ссор, с гостем, кто бы он ни был, буду ласков». Но с Кити Левин опять поссорился — и приходит к окончательному выводу: «Так же буду сердиться на Ивана-кучера, так же буду спорить... Но жизнь моя теперь не только не бессмысленна, как было прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я *властен* вложить в нее».

Не «вложил», даже не «вложу», а только «*властен* вложить»! И что вложить-то? «С Кити не будет ссор, с гостем буду ласков». И бессмысленная прежде жизнь вдруг освещается смыслом! Вот тот живящий хлеб, который, наконец, нашел Левин. Но ведь этот хлеб из папье-маше! Левин искал пищу в игрушечных и оружейных

лавках. Очевидно, в одной из игрушечных лавок ему и подсунули этот хлеб.

Но как же Левин не заметил, что хлеб его — из папье-маше? Очевидное дело: Левин искал пищу, не будучи голоден. Вот почему грубо сделанное подобие хлеба он так легко и принял за хлеб. Вопрос о смысле жизни был для него чисто умственным вопросом; в бессознательной своей глубине он твердо знал, «и что он такое, и для чего живет». Вот почему он так легко удовлетворился своим поспешным, скомканным, ни на что не отвечающим ответом.

Но не один только Левин находит у Толстого смысл жизни в добре. Большинство его героев приходит к тому же. Поищем у них, что же это за смысл, который дается жизни добром?

Оленин лежит в лесу. Его охватывает чувство счастья, ощущение единства со всем окружающим; в сердце вскипает любовь ко всему миру. Это сложное чувство он разлагает умом и анализирует, старается уложить в форму, в которую оно совершенно неспособно уложиться.

«Как надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?» — И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Он сам представился себе *таким требовательным эгоистом*, тогда как, в сущности, ему для себя ничего не было нужно.. И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье вот что,— сказал он сам себе,— счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно... Какие желания всегда могут быть удовлетворены? Какие? Любовь, самопожертвование!» Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой».

Он решает «раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадется, того и брать». Но увы: никто не попадается. Насекомые кругом слишком крупны. Они вольно носятся в воздухе, пролетают сквозь жиденькую паутину Оленина, рвут ее и даже не замечают. И сам паук любви начинает чувствовать, что куда радостнее летать в воздухе, чем сидеть в уголке на своей паутине. «Иногда Оленин забывал вновь открытый им рецепт счастья и считал себя способным слиться с жизнью дяди Ерошки, но потом вдруг

опоминался и тотчас же хватался за мысль сознательного самоотвержения».

А кругом — люди, не нуждающиеся в его рецепте. «Люди здесь живут, как живет природа: умирают, родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, земле, дереву, других законов у них нет... И оттого люди эти, в сравнении с ним самим, казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя».

Оленина тянет к жизни. Сильнее разгорается любовь к красавице Марьянке. Он с силою схватывает ее наедине, крепко целует. «Все пустяки, что я прежде думал: и любовь и самоотвержение. Одно есть счастье: кто счастлив, тот и прав,— мелькнуло в его голове».

Однако, счастье ему не дается. Оленин опять обращается за объяснением к своему прошедшему, но теперь причину находит совсем уже не в том, в чем видел прежде,— не в том, что был «таким требовательным эгоистом».

«Я пробовал,— пишет он,— отдаваться этой жизни и чувствовал *свою слабость, свою изломанность. Я не мог забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого прошедшего...* Самое ужасное и самое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я понимаю Марьяну, а она никогда не поймет меня. Она не поймет не потому, что она ниже меня, напротив, она не должна понимать меня. Она счастлива: она, как природа, ровна, спокойна и *сама в себе. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтоб она поняла мое уродство и мои мучения.* Любя ее, я испытываю не желание наслаждения, это что-то другое. *Любя ее, я чувствую себя нераздельною частью всего счастливого божьего мира.* Я писал прежде о своих новых убеждениях, которые вынес из своей одинокой жизни. Дороже этих убеждений ничего во мне не было... Ну... Пришла любовь, и их нет теперь, нет и сожаления о них! *Даже понять, что я мог дорожить таким односторонним, холодным, умственным настроением, для меня трудно.* Пришла красота и в прах рассеяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожаления нет об исчезнувшем! *Самоотвержение — все это вздор, дичь.* Это все гордость, *убежище от заслуженного несчастья, спасение от*

зависти к чужому счастью. Жить для других, делать добро! Зачем? Я не люблю теперь этих других. Я живу не сам по себе, но есть что-то сильнее меня, руководящее мною. Я мучаюсь, но прежде я был мертв, а теперь только я живу».

Кончается роман тускло и нудно. Марьяна соблазнилась, было, браком с богатым «юнкирем», но после смерти Лукашки отворачивается от Оленина.

«— Уйди, постылый! — крикнула девка, топнула ногой и угрожающе подвинулась к нему. И такое отвращение, презрение, злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться».

Он навсегда уезжает из станицы. Жалок его отъезд. С глубоким равнодушием все смотрят на уезжающего, как будто он и не жил среди них. И ясно: Оленин стал всем чужд не потому, что не сумел удержаться на высоте своего самоотвержения, а потому, что в нем не оказалось *жизни*,— той жизни, которая ключом бьет в окружающих людях — в Лукашке, Марьяне, дяде Ерошке.

В «Утре помещика» князь Нехлюдов открывает ту же — «ему казалось,— совершенно новую истину» о счастье в добре и самоотвержении. Но так же, как Оленин, он убеждается в мертвенной безжизненности этой истины. «Иногда я чувствую, что могу быть довольным собою; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нет, я просто недоволен собою! Я недоволен, потому что я здесь не знаю счастья, а желаю, страстно желаю счастья».

Брошенная Вронским Кити знакомится за границею с самоотверженною Варенькою. Ей становится понятным счастье самоотвержения и любви к людям. Она начинает ухаживать за больными, пытается вся уйти в любовь и самоотречение. Но очень уже скоро в величайшем волнении она говорит Вареньке:

«— Все это было притворство, потому что это все выдуманное, а не от сердца. Какое мне дело до чужого человека? Ах, как глупо, как гадко!.. Нет, теперь я уже не поддамся на это! Быть дурною, но по крайней мере не лживою, не обманщицей! Пускай они живут, как хотят, и я, как хочу. Я не могу быть другою!»

С Варенькою она помирилась. «Но для Кити изменился весь тот мир, в котором она жила. Она не отреклась от всего того, что узнала, но поняла, что она себя обманы-

вала, думая, что может быть тем, чем хотела быть. Она как будто очнулась... и ей поскорее захотелось на свежий воздух».

«Смысл добра» открывается и Пьеру Безухову в учении масонов. «Он был, как ему казалось, порочным только потому, что он как-то случайно запамятовал, как хорошо быть добродетельным». Мы увидим,— пребывание в плену дало Пьеру новое, широкое понимание жизни, и он с чуждым, отказывающимся чувством вспоминает об откровениях масонства.

И так у всех художественно-выписанных искателей смысла жизни. «Смысл добра», который они вкладывают в жизнь, так наглядно-мертвен, так уродлив, что вызывает только раздражение, почти отвращение. Князь Нехлюдов в «Воскресении» пожертвовал собою для Катюши Масловой. После хорошего обеда у сибирского губернатора сидит он в мягком кресле, слушает симфонию Бетховена. «Рояль белый прекрасный, исполнение симфонии хорошее. Слушая прекрасное анданте, он почувствовал щипание в носу от умиления над самим собою и всеми своими добродетелями». И горячо сочувствуешь озлоблению Масловой, с каким она думает об этом подвижнике: «Она знает его и не поддается ему, не позволит ему духовно воспользоваться ею, как он воспользовался ею телесно, не позволит ему сделать ее предметом своего великодушия».

Иногда положительно начинает казаться, что Толстой сознательно рисует «смысл добра» в таких уродливых формах, что он как будто прямо хочет сказать читателю: нет, смысл жизни — в чем угодно, только не в добре!

Но, конечно, это не так. Напротив, Толстой горячо сочувствует своим искателям смысла жизни в области добра. Он упорно рисует их почти в каждом своем произведении, начиная с «Юности» и кончая «Воскресением». Он, несомненно, всеми силами старается заразить читателя мыслью, что смысл жизни лежит именно в любви и самоотвержении. Тем знаменательнее неудача, которая при этом постигает Толстого. Как будто какая-то непреодолимая преграда стоит перед художником, он снова и снова разбегается, чтоб перепрыгнуть ее,— и каждый раз напрасно.

Внутренняя сущность его героев совершенно не соответствует тому «смыслу добра», который они признают за

жизнь. Еще более знаменательно, что несоответствие это не создает в их душах решительно никакой *трагедии*. Кириллов Достоевского говорит: «Бог необходим, а потому должен быть. Но я знаю, что его нет и не может быть. Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых?» Тут безысходный ужас самой подлинной трагедии. Не менее трагично должно быть положение и героев Толстого. Все они должны бы говорить: «Смысл жизни только в любви и самоотвержении. Но во мне нет ни любви, ни самоотвержения. Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых?» Но ни тени трагизма у Толстого нет. Как будто в бессознательной глубине своей он носит что-то, обо что всякий трагизм разбивается и рассыпается пылью.

В августе 1903 года у меня была в Ясной Поляне одна беседа с Толстым, и тогда она меня очень поразила. Разговор зашел об этом самом трагизме,— когда человек сознает, что, скажем, счастье любви есть высшее счастье, но он неспособен отдаться ему, нет в нем этой любви, которая единственно дает счастье.

Толстой в недоумении пожал плечами.

— Не понимаю вас. Если человек понял, что счастье— в любви, то он и будет жить в любви. Если я стою в темной комнате и вижу в соседней комнате свет, и мне нужен свет,— то как же я не пойду туда, где свет?

— Лев Николаевич, ведь на ваших же всех героях видно, что это не так просто. Оленин, Левин, Нехлюдов очень ясно видят, где свет, однако не в силах пойти к нему.

Но Толстой только разводил руками. Видно было, что он искренно хочет понять этот самый «трагизм», выспрашивал, слушал внимательно и серьезно.

— Простите меня, не понимаю!

Самое же слово «трагизм», видимо, резало его ухо, как визг стекла под железом. По губам пронеслась насмешка.

— Трагизм!.. Бывало, Тургенев приедет, и тоже все: *траги-изм, траги-изм*...

И так он это слово сказал, что где-то в душе стало совестно за себя, шевельнулся странный, нелепый вопрос: да полно, существует ли вправду какой-нибудь в жизни трагизм?

Только в настоящее время, мне кажется, я начинаю понимать этот странный разговор и начинаю понимать в Толстом последних десятилетий то, что раньше мне было совершенно непонятно.

Жить в добре и самоотвержении большинство героев Толстого совершенно неспособно. Но есть и такие, которые непрерывно живут в добре и самоотвержении. Отношение к ним художника Толстого не менее знаменательно.

Прежде всего таких образов у него до странности мало. В княжне Марье Болконской характерна религиозная созерцательность, а не деятельная любовь. В деятельной любви она ни горяча, ни холодна. Наташа, например, горячо поддерживает своего мужа Пьера в его замыслах деятельности на благо людей. Марья отрицательно относится к такой деятельности, и вот почему: «Пьер говорит, что все страдают, мучаются, развращаются и что наш долг помочь ближним. Разумеется, он прав, но он забывает, что у нас есть другие обязанности ближе, которые *сам бог указал нам, и что мы можем рисковать собой, но не детьми*». (Это бог-то указал, говорящий так ясно и определенно: «враги человеку домашние его».)

Есть далее, в «Воскресении» революционерка Мария Павловна, красавица с бараньими глазами. «Весь интерес ее жизни состоял, как для охотника найти дичь, в том, чтобы найти случай служения другим. И этот спорт сделался привычкой, сделался делом ее жизни». Но обрисована она бледно и схематично, это — тусклый силуэт, теряющийся в глубине сложной и большой картины.

Остаются Варенька в «Анне Карениной» и Соня в «Войне и мире».

Варенька — образец самоотвержения. Она никогда не думает о себе, спешит всюду, где нужна помощь, ухаживает за больными,— всегда ровная, спокойно-веселая. Кити, брошенная Вронским, знакомится с нею за границей. «На Вареньке Кити поняла, что стоило только забыть себя и любить других, и будешь спокойна, счастлива и прекрасна. И такою хотела быть Кити. Поняв теперь ясно, что было с а м о е в а ж н о е, Кити тотчас же всею душою отдалась этой новой, открывшейся ей жизни».

Но тускла, сера и безжизненна душа Вареньки. Когда-то Варенька любила. Мать любимого человека была против их брака, он женился на другой. Варенька рассказывает про это Кити, «и в красивом лице ее чуть брезжил тот огонек, который, Кити чувствовала, когда-то освещал ее всю». Теперь же она — «одинокая, с грустным разочарованием, *ничего не желающая, ничего не жалеющая.* Она была похожа на *прекрасный, хотя еще и полный лепестков, но уже отцветший, без запаха цветок*... Ей недоставало того, чего слишком много было в Кити,— *сдержанного огня жизни*».

Обидное, унизительное отсутствие этого огня жизни сказывается и в коротком, трагикомическом романе Вареньки с Кознышевым. Во время прогулки за грибами они пытаются объясниться друг другу в любви, но у них, как выражается Кити, «не берет».

«Кознышев повторял себе слова, которыми он хотел выразить свое предложение, но вместо этих слов, по какому-то неожиданно пришедшему ему соображению, он спросил:

— Какая же разница между белым грибом и березовым?

Губы Вареньки дрожали от волнения, когда она ответила:

— В шляпке почти нет разницы, но в корне.

И как только эти слова были сказаны, и он, и она поняли, что дело кончено, что то, что должно было быть сказано, не будет сказано»... Они возвращаются с прогулки с пристыженными лицами, оба испытывают одинаковое чувство, подобное тому, какое испытывает ученик после неудавшегося экзамена... «Левин и Кити чувствовали себя особенно счастливыми и любовными в нынешний вечер. Что они были счастливы своею любовью, это заключало в себе неприятный намек на тех, *которые того же хотели и не могли,* и им было совестно».

«Хотели того же и не могли»... И вот в результате — самоотвержение, *забыть себя* и любить других. Это дает «завидное спокойствие и достоинство»... Но какая цена этому самоотвержению? Художник как будто всеми словами готов повторить то, что раз уже сказал устами Оленина: «самоотвержение — это убежище от заслуженного несчастия, спасение от зависти к чужому счастью».

Соня, кузина Наташи Ростовой, тоже полна самоотвержения. Она покорно отказывается от прав своих на Николая Ростова, живет в семье бывшего жениха, ухаживает за его детьми, за старой графиней. «Но все это принималось невольно с слишком слабою благодарностью». Наташа, в разговоре с женою брата, вот как отзывается о Соне:

«— Знаешь, что: вот ты много читала евангелия; там есть одно место прямо о Соне: «имущему дастся, а у неимущего отнимется», помнишь? Она — неимущий; за что? Не знаю. *В ней нет, может быть, эгоизма,*— я не знаю, но у ней отнимется, и все отнялось... она пустоцвет; знаешь, как на клубнике? Иногда мне ее жалко, а иногда я думаю, что она не чувствует этого, как чувствовали бы мы».

Есть еще в «Анне Карениной» благородный деятель «для общего блага». Это Кознышев, старший брат Левина.

«Константин Левин смотрел на брата, как на человека благородного в самом высоком значении этого слова и одаренного способностью деятельности для общего блага. Но в глубине своей души, чем ближе он узнавал своего брата, тем чаще и чаще ему приходило в голову, что эта способность деятельности для общего блага, *может быть, и не есть качество, а напротив, недостаток чего-то,* не недостаток добрых, честных, благородных желаний и вкусов, но *недостаток силы жизни,*— того стремления, которое заставляет человека из всех бесчисленных представляющихся путей жизни выбрать один и желать этого одного. Чем больше он узнавал брата, тем более замечал, что и Сергей Иванович, и многие другие деятели для общего блага не сердцем были приведены к этой любви к общему благу, но умом рассудили, что заниматься этим хорошо, и только потому занимались этим».

Мы перебрали, кажется, решительно всех героев Толстого, вкладывающих или пытающихся вложить в жизнь «смысл добра». Результат пересмотра настолько поразителен, что спрашиваешь себя: да как же возможно такое уничтожающе-отрицательное отношение к добру и любви со стороны человека, так упорно проповедующего, что смысл жизни заключается именно в любви и самоотречении? Люди по мере сил вкладывают в жизнь «смысл добра», «забывают себя» для других, а художник

говорит: «Это — умирание, это смерть души!» Вареньке недостает «сдержанного огня жизни». У Кознышева «недостаток силы жизни». У Сони «нет эгоизма». Сбросив с себя иго «смысла добра», Оленин восклицает: «Я был мертв, теперь только я живу».

— Добро! Любовь! Самоотвержение! — твердят герои Толстого и Толстой-проповедник.

— Жизнь! Жизнь! Жизнь! — возражает Толстой-художник.

Что же такое эта жизнь?

IV

ЖИВАЯ ЖИЗНЬ

Толстой пишет: «Если бы мне дали выбирать: населить землю такими святыми, каких я только могу вообразить себе, но только, чтобы не было детей, или такими людьми, как теперь, но с постоянно прибывающими, свежими от бога детьми,— я бы выбрал последнее».

Это писано в 1902 году, когда Толстой давно уже и окончательно утвердился в своем учении о смысле жизни в добре. «Святые, каких можно себе только вообразить», разумеется, всего полнее осуществили бы на земле тот «смысл добра», о котором мечтает Толстой. Тем не менее он предпочитает грешное современное человечество, лишь бы существовали дети. Очевидно, в детях есть для Толстого что-то такое, что выше самой невообразимой святости взрослого. Что же это?

Николенька Иртеньев уходит по утрам к реке. «Там я ложился в тени на траве и глядел на лиловатую в тени поверхность реки, на поле желтеющей ржи на том берегу, на светло-красный утренний свет лучей и наслаждался сознанием в себе *точно такой же свежей, молодой силы жизни, какою везде кругом меня дышала природа»*.

Князь Андрей на перевязочном пункте «после перенесенного страдания чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты его жизни, в особенности самое дальнее детство, когда, зарывшись головой в подушки, *он чувствовал себя счастливым одним сознанием жизни,*— представлялось его воображе-

нию даже не как прошедшее, а как действительность». Так же и Левин жадно вспоминает свое детство, его *«через край бьющее и пенящееся сознание счастья жизни»*. И умирающий Иван Ильич обращается мыслями все к тому же детству: «там, в детстве, было что-то такое, *с чем можно было бы жить, если бы оно вернулось»*.

В книге «О жизни» Толстой пишет: «Радостная деятельность жизни со всех сторон окружает нас, и мы все знаем ее в себе с самых первых воспоминаний детства... Кто из живых людей не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного и чаще всего в самом раннем детстве,— того блаженного чувства умиления, при котором хочется любить всех; и близких, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и травку; хочется одного,— чтобы всем было хорошо, чтобы все были счастливы».

Не случайно Толстой так упорно возвращается к жизнеощущению, которым отличаются дети. В этом жизнеощущении для него лежит какая-то великая правда, утерянная взрослыми. В «Люцерне» он пишет:

«Жалкий твой ум, жалкое то счастье, которого ты желаешь, и несчастное ты создание, само не знаешь, чего тебе надобно... Да дети-то здраво смотрят на жизнь: *они любят и знают то, что должен любить человек, и то, что дает счастье*, а вас жизнь до того запутала и развратила, что вы смеетесь над тем, что одно любите, и ищете одного того, что ненавидите, и что делает ваше несчастие».

Эту правду, таящуюся в детской душе, Толстой чует не только в детях, уже способных *сознавать* счастье жизни. Вот грудной ребенок Наташи или Кити. Младенец без искры «сознания»,— всякий скажет: кусок мяса. И с поразительною убежденностью Толстой утверждает, что этот кусок мяса «все знает и понимает, *и знает, и понимает еще много такого, чего никто не знает»*. С тою же убежденностью он отмечает это знание в звере и даже в старом тополе.

В последние годы всеобщее внимание обратил на себя французский мыслитель Анри Бергсон. Много у него спорного, со многим трудно согласиться. Но ряд основных его положений имеет значение огромной важности. Всякий думающий, вслушивающийся в себя человек давно уже

смутно чувствовал то, что говорит Бергсон. Ярко, ясно и глубоко чувствовал это Лев Толстой.

Бергсон говорит: «Мы не только разумные существа. Возле нашей умозрительной и логической мысли находится неопределенная туманность из той самой сущности, за счет которой образовалось блестящее ядро, наш разум. В этой туманности еще находятся силы, дополняющие разум; мы только смутно чувствуем их, сосредоточившись в себе».

Одна из таких сил,— инстинкт. Большая ошибка видеть в нем ступень, предшествующую разуму. Различие между этими двумя силами лежит не в интенсивности, вообще не в степени, а в самой сущности их. Способы познания жизни совершенно у них различны. Какой-нибудь лошадиный овод или навозный жук совершенно лишены интеллекта; между тем мудрость их инстинкта поразительна. Связать эту мудрость с интеллектом невозможно, невозможно и интеллект вывести из нее. Это совсем другой род познания жизни — интуитивный. «То, что есть в инстинкте существенного, не может выразиться в интеллектуальных терминах и, следовательно, не может быть анализировано». Развиваясь в направлении к интеллекту, человек оставил по дороге много других способностей,— эти способности сильны в животных, развившихся в ином направлении. Разум, который дал человеку власть и силу над миром, в то же время сузил человека, сделал его однобоким, задержал его развитие в других направлениях. «В общем, эволюция старается идти, насколько возможно, в прямом направлении, но каждое специальное развитие представляет круговой процесс. Как вихри пыли, поднятые пролетевшим ветром, живые существа вращаются вокруг самих себя, отставая от великого потока жизни». Так вращается человек вокруг своего разума, и великий поток жизни проносится мимо него.

Заметим от себя, что изредка в человеке еще просыпаются остатки тех утерянных способностей, о которых говорит Бергсон. Разум вдруг отступает, выдвигается другая сила. Своеобразным, не поддающимся сознанию путем она охватывает окружающую жизнь так глубоко и полно, действует в ней так уверенно и точно, как разум не смел бы и мечтать. Лунатик, с глубоко-спящим интеллектом, карабкается по карнизу дома, каждое его движение целесообразно и точно; и горе ему, если вдруг проснется ин-

теллект и вмешается в чудесную, бессознательную работу инстинкта: то, что до тех пор было легко-исполнимо, становится невозможным. В минуту большой опасности бывает, что в человеке вдруг просыпается та же уверенная, хладнокровная и зоркая сила инстинкта; она пренебрежительно отстраняет растерявшийся разум, схватывает положение во всей его сложности и выводит человека из опасности. Всякий из нас хоть раз-другой испытал блаженное изумление от пробуждения в себе этой мощной, таинственной силы, действующей вне сознания — во время ли той же опасности, во время ли работы или игры.

Левин учится косить. «В середине работы на Левина находили минуты, во время которых он забывал то, что делал, ему становилось легко, и в эти же самые минуты ряд его выходил почти так же ровен и хорош, как и у Тита. Но только что он вспоминал о том, что он делает, и начинал стараться сделать лучше, тотчас же он испытывал всю тяжесть труда, и ряд выходил дурен... И чаще, и чаще приходили минуты бессознательного состояния... Уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все сознающее себя, полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней, работа правильная и отчетливая делалась сама собою. Это были самые блаженные минуты».

Возвращаемся к Бергсону. Инстинктом,— говорит он,— живое существо глубже входит в жизнь, глубже познает ее, но это познание у животного не переходит в сознание и направлено исключительно на ближайшие, практические полезности. Интеллект же, способный рассматривать жизнь только с внешних точек зрения, способен ставить вопросы о всех глубинах жизни. «*Существуют вещи, которые только интеллект способен искать, но которых он сам по себе никогда не найдет. Только инстинкт мог бы найти их, но он никогда не станет их искать*».

«Интеллект характеризуется *природным непониманием жизни*. Наоборот, инстинкт отливается по форме жизни. В то время, как интеллект трактует все вещи механически, инстинкт действует, если можно так выразиться, органически. Если бы пробудилось спящее в нем сознание, если бы он обратился во внутрь на познание, вместо того, чтобы переходить во внешние действия, *если бы мы умели спрашивать его, а он умел бы отвечать, он выдал бы нам*

самые глубокие тайны жизни... Интуиция, то есть инстинкт, который не имел бы практического интереса, который был бы сознательным по отношению к себе, способным размышлять о своем объекте и бесконечно расширять его, такой инстинкт ввел бы нас в самые недра жизни».

Но этого нет. Инстинкт — это мы уже делаем выводы из Бергсона,— инстинкт немо вбуравливается всеми своими корнями в глубь жизни, целостно сливается с нею, охраняет нас, заставляет нас жить, не помнить о смерти, бороться за жизнь и ее продолжение, но при этом молчит и невыявленным хранит в себе смысл того, что делает. А мы так слабо связаны с ним, что, только им живя, совершенно не *чувствуем* ни его, ни самой жизни. Мы разумом ставим жизни вопросы, даем себе на них разнообразнейшие, шаткие, противоречивые ответы и воображаем, что живем этими ответами. Если же мы отрекаемся от жизни, клеймим ее осуждением и проклятием, то и тут думаем: это оттого, что жизнь неспособна ответить на наши вопросы. А причина совсем другая. Причина та, что мы окончательно оторвались от жизни, что в нас замер последний остаток инстинкта жизни.

Только в детях силен еще этот инстинкт жизни, эта «свежая, молодая сила жизни, какою везде кругом дышит природа». Она-то и дает ребенку способность «знать и понимать много такого, чего никто не знает»,— не умом понимать, а всем существом своим чувствовать глубокую, неисчерпаемую *самоценность* жизни. Жизнью переполнена душа, жизнью пронизан весь мир вокруг — и непонятен странный вопрос: «для чего жизнь?» Только ужасающее разложение в человеке инстинкта жизни делает возможным этот вопрос — бессмысленный и смешной при наличности инстинкта жизни, не разрешимый при его отсутствии никакими силами разума. Столь же непонятен и вопрос о грозящей смерти. Как солнце неспособно видеть тени, так жизнь неспособна внутренно сознавать свою обреченность на уничтожение. «В смерть, про которую ему так часто говорили, Сережа (сын Анны Карениной) не верил совершенно. Он не верил в то, что любимые им люди могут умереть, и в особенности в то, что он сам умрет. Это было для него совершенно невозможно и непонятно».

У нас же как раз обратное. В смерть мы верим твердо,

мы понимаем ее и вечно чувствуем. Жизни же не понимаем, не чувствуем и даже представить себе неспособны, как можно в нее верить. А что верят в нее дети, мы объясняем тем, что они *неразумны*. И труднее всего нам понять, что слепота наша к жизни обусловлена не разумом самим по себе, а тем, что силы жизни в человеке хватает обычно лишь на первый-второй десяток лет; дальше же эта сила замирает.

Живы дети, только дети,
Мы ж мертвы, давно мертвы.

Эту мертвенную слепоту к жизни мы видели у Достоевского. Жизненный инстинкт спит в нем глубоким, летаргическим сном. Какое может быть разумное основание для человека жить, любить, действовать, переносить ужасы мира? *Разумного* основания нет, и жизнь теряет внутреннюю, из себя идущую ценность.

В редкие только мгновения жизненный инстинкт просыпается из летаргии и тихо шепчет Достоевскому свои не разумом постигаемые откровения.

«— Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что,— говорит Иван Карамазов.— Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь... Понимаешь ли ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет?

— Слишком понимаю, Иван; нутром и чревом *хочется* любить,— прекрасно ты это сказал... Я думаю, что все *должны* прежде всего на свете жизнь полюбить.

— Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?

— Непременно так, полюбить прежде логики, и тогда только я и смысл пойму».

Алеша полагает, что Иван к этому близок. Но мы уже видели, Алеша глубоко ошибается. Умирающую под холодным пеплом последнюю искорку жизни он принимает за огонь, способный ярко осветить и жарко согреть душу.

Для самого Алеши вековечная тайна жизни столь же чужда и далека, как и для Ивана. Есть в романе потрясающая сцена, когда Алеша в исступлении целует чуждую ему землю. Исступление это еще более страшно, чем отъединенная от земли тоска по ней Ипполита или князя Мышкина.

«Алеша быстро сошел с крылечка вниз. Полная восторгом душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих, сияющих звезд... Тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною... Алеша стоял, смотрел, и вдруг, как подкошенный, повергся на землю.

Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, но он целовал ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, *и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков.* «Облей землю слезами радости твоея и люби сии слезы твои»...— прозвенело в душе его. О чем плакал он? О, он плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и не стыдился исступления сего»...

В изумлении поглядели бы на плачущего Алешу Наташа Ростова или дядя Ерошка. Как чужды, непонятны были бы им его *клятвы* любить во веки веков землю и жизнь! Душа целостно и радостно сливается с жизнью мира,— какие же тут возможны клятвы, для чего они ? Не станет ребенок клясться перед собою в любви к матери. Но с исступлением Алеши будет клясться пасынок в любви к прекрасной мачехе, с ужасом чувствуя, что нет у него в душе этой любви.

Как молния — бурную тьму ночи, постижение «тайны земной» только в редкие мгновения пронизывает душу Достоевского. Сверкнув, тайна исчезает, мрак кругом еще чернее, ни отсвета нигде, и только горит в душе бесконечная тоска по исчезнувшему свету.

Алеша говорит: «нутром и чревом *хочется* любить», «все *должны* полюбить жизнь больше, чем смысл ее». Толстой не скажет «хочется» и «должны». Он и без того жадно любит жизнь именно нутром и чревом, любит жизнь больше, чем смысл ее. Есть жизнь — есть все. Вопросы о смысле, о цели осыпаются с блистающего существа живой жизни, как чуждая шелуха.

Сенокос. «Все потонуло в море веселого, общего труда. Бог дал день. Бог дал силы. И день, и силы посвящены труду, и *в нем самом награда.* А для кого труд? Какие

будут плоды труда? — Это соображения посторонние и ничтожные».

Музыкант Альберт играет на скрипке. «Лицо сияло непрерывною, восторженною радостью: глаза горели светлым сухим блеском, ноздри раздувались, вся фигура выражала восторженную жадность наслаждения. Встряхнув волосами, он опустил скрипку и с улыбкою гордого величия и счастия оглянул присутствующих...

— Много нужно для искусства, но главное — огонь! — сказал он, блистая глазами и поднимая обе руки кверху.

И действительно, страшный внутренний огонь горел во всей его фигуре».

Альберт замерзает, пьяный, у подъезда дома терпимости. Ему снится, что над ним идет суд. Люди говорят:

«— Чем же он велик? И зачем нам кланяться перед ним? *Разве он вел себя честно и справедливо? Разве он принес пользу обществу?* Разве мы не знаем, как он брал взаймы деньги и не отдавал их?

— Перестаньте, стыдитесь! — заговорил голос художника Петрова.— Какое право имеете вы обвинять его? *Разве вы жили его жизнью? Испытывали его восторги?* Искусство есть высочайшее проявление могущества в человеке. Оно поднимает избранника на такую высоту, на которой голова кружится, и трудно удержаться здравым... Да, унижайте, презирайте его, а из всех нас он лучший и счастливейший».

Вот история «Двух гусаров» — отца и сына. Граф Турбин-старший — кутила, мот, скандалист и дуэлянт. Но все, что он делает, горит жизнью. Кутит ли он с цыганками, расправляется ли с шулером, обыгравшим его товарища,— во всем живет безудержно и самозабвенно. На балу в провинциальном городке граф знакомится с хорошенькой вдовушкой и влюбляется в нее. «Граф не спускал глаз с вдовушки. Он не притворялся, говоря, что для нее готов был броситься в прорубь. Прихоть ли, любовь ли, упорство ли, но в этот вечер все его душевные силы были сосредоточены на одном желании — видеть и любить ее». Во время разъезда он, без шубы, по колени в снегу, пробирается к ее карете, прячется в ней и объятиями встречает испуганную вдовушку. В эту же ночь он овладевает ею и навсегда уезжает из города.

Через двадцать лет сын его случайно попадает во время похода к этой же вдовушке Анне Федоровне. Граф Тур-

бин-младший — благоразумный, расчетливый и предусмотрительный молодой человек; из всего он умеет аккуратно и старательно извлекать приятное для себя удовольствие. У Анны Федоровны красавица дочка Лиза. Граф старается завязать с нею «интрижку», трогает под столом ногою ее ногу. Лиза сообщает, что любит сидеть по ночам у открытого окна. Граф принимает это за намек, пробирается к ее окну, девушка пугается, и он убегает. В своей комнате граф с улыбкой рассказывает о приключившейся неудаче ночующему с ним товарищу.

«Корнет Полозов повернулся спиной к двери и молча полежал минут десять. Когда он повернулся снова, лицо его выражало страдание и решительность.

— Граф Турбин! — сказал он прерывистым голосом.

— Что ты, бредишь или нет? — спокойно отозвался граф.— Что, корнет Полозов?

— Граф Турбин! Вы подлец! — крикнул Полозов и вскочил с постели».

Подлец?.. Почему же не подлец и граф Турбин-старший? У обоих одинаково — мгновенно вспыхнувшее увлечение хорошенькими женщинами, оба с одинаковою дерзостью стремятся к цели. Но Турбин-старший *живет* своею страстью — и происходит что-то единственное, особенное, чего нельзя назвать определенным словом и к чему нельзя подойти с определенною меркою. У Турбина же младшего — холодный, спокойный расчет на «удовольствие», пошлое слово «интрижка» совершенно покрывает пошлую цель его стремлений! — и получается мертвая гадость.

Мы видим, не содержанием определяется живая жизнь. Одно и то же содержание: у Турбина-старшего есть жизнь, у Турбина-младшего — пошлость и мертвечина.

Оленин и Нехлюдов делают открытие, что жизнь заключается в добре; Варенька непрерывно и самоотверженно живет в добре. Толстой показывает, что эта жизнь в добре не жизнь, а смерть. Значит ли это, что само добро отрицается живою жизнью?

Ростовы уезжают из покидаемой войсками Москвы. В гостиной сидит их зять, полковник Берг, прямой предок нынешних истинно-русских инородцев. Он восхищается «истинно-древним мужеством российских войск» и почтительнейше просит старого графа уступить ему одну подводу, чтоб увезти купленную по случаю очень прекрасную ши-

фоньерку с аглицким секретом. На дворе нагружаются добром подводы, и отовсюду на них с завистью глядят покидаемые в городе раненые. Тут же стоит Наташа с братом Петей.

«— По-моему,— вдруг закричала почти Наташа, обращая свое озлобленное лицо к Пете,— по-моему, это такая гадость, такая мерзость, такая... Я не знаю. Разве мы немцы какие-нибудь?

Горло ее задрожало от судорожных рыданий, и она, боясь ослабить и выпустить даром заряд своей злобы, повернулась и стремительно бросилась по лестнице.

Берг сидел подле графини и родственно-почтительно утешал ее. Граф с трубкой в руках ходил по комнате, когда Наташа, с изуродованным злобой лицом, как буря, ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери.

— Это гадость! Это мерзость! — закричала она.— Это не может быть, чтобы вы приказали!

Берг и графиня недоумевающе и испуганно смотрели на нее. Граф остановился у окна, прислушиваясь.

— Маменька, это нельзя: посмотрите, что на дворе! — закричала она.— Они остаются!

— Что с тобой? Кто они? Что тебе надо?

— Раненые, вот кто! Это нельзя, маменька; это ни на что не похоже... Нет, маменька, голубушка, это не то, простите, пожалуйста, голубушка... Маменька, ну что нам то, что мы увезем; вы посмотрите только, что на дворе... Маменька! Это не может быть!..

Граф стоял у окна и, не поворачивая лица, слушал слова Наташи. Вдруг он засопел носом и приблизил свое лицо к окну.

Графиня взглянула на дочь, увидала ее пристыженное за мать лицо, увидала ее волнение, поняла, отчего муж теперь не оглядывался на нее, и с растерянным видом оглянулась вокруг себя.

— Ах, да делайте, как хотите! Разве я мешаю кому-нибудь? — сказала она, еще не вдруг сдаваясь.

— Маменька, голубушка, простите меня...

Но графиня оттолкнула дочь и подошла к графу.

— Mon cher, ты распорядись, как надо... я ведь не знаю этого,— сказала она, виновато опуская глаза.

— Яйца... яйца курицу учат...— сквозь счастливые сле-

зы проговорил граф и обнял жену, которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо».

«Добро», которое тут проявляет Наташа, уж, конечно, не отрицается живою жизнью. Напротив, оно есть именно сама живая жизнь. И именно поэтому дико даже подумать, что душа Наташи живет — добром. Каким добром?! Наташа *жизнью* живет, а не добром; добро так же свободно и необходимо родится у нее из жизни, как родятся ее песни и радость. И вот то самое, что у Вареньки является вялым без запаха цветком, превращается в цветок свежий и душистый, как только что сорванный в лесу ландыш.

Ясно становится, какое уродливое, противоестественное дело творят с добром Оленины, Левины и Нехлюдовы. Они берут нежнейший, прекраснейший цветок жизни, зарывают его в землю и говорят: вот что должно быть корнем растения. Художник Толстой откапывает изуродованный, смятый цветок, стряхивает с него землю и говорит: смотрите, что вы сделали с ним. Это вовсе не корень растения,— растение живет другим, и *этим* жить не может: но это — высшее проявление и увенчание растения; пышно же развиться оно может только при наличности подлинных подземных корней. Корни эти — сила жизни.

В «Воскресении» ярко противопоставлены друг другу два «цветка» добра. Один, в качестве корня растения, уродливо зарыт в землю; это Нехлюдов. Другой вольно растет на воздухе; это — Катюша Маслова.

Катюша окончательно отказывается от брака с Нехлюдовым и решает выйти замуж за ссыльного Симонсона. Известие огорчает Нехлюдова. «Ему было что-то не только неприятно, но и больно. В чувстве этом было и то, что предложение Симонсона разрушало исключительность его поступка, уменьшало в глазах своих и чужих людей цену жертвы, которую он приносил: если человек, и такой хороший, ничем не связанный с ней, желал соединить с ней судьбу, то его жертва уж не была так значительна».

Катюше — той решительно все равно, значительна или незначительна ее жертва.

«— Нет, вы меня, Дмитрий Иванович, простите, если я не то делаю, что вы хотите,— сказала она, глядя ему в глаза своим косым, таинственным взглядом.— Да, видно, уж так выходит. И вам жить надо... Вы уж и так сколько

для меня сделали; если бы не вы...— Она хотела что-то сказать, и голос ее задрожал.

— Вам-то уж меня нельзя благодарить,— сказал Нехлюдов.

— Что считаться? Наши счеты бог сведет,— проговорила она, и черные глаза ее заблестели от выступивших в них слез.

— Какая вы хорошая женщина,— сказал он.

— Я-то хорошая? —сказала она сквозь слезы, и жалостная улыбка осветила ее лицо».

Нехлюдов прощается с нею.

«— Простите,— сказала она чуть слышно. Глаза их встретились, и в странном косом взгляде и жалостной улыбке, с которой она сказала это не «прощайте», а «простите», Нехлюдов понял, что она любила его и думала, что, связав себя с ним, она испортит его жизнь, а, уходя с Симонсоном, освобождала его, и теперь радовалась тому, что исполнила то, что хотела, и вместе с тем страдала, расставаясь с ним».

И опять-таки тот же вопрос: разве основою жизни служит для Катюши это творимое ею «добро»? Оно — проявление жизни, а не основа.

Живая жизнь не может быть определена никаким конкретным содержанием. В чем жизнь? В чем ее смысл? В чем цель? Ответ только один: в самой жизни. Жизнь сама по себе представляет высочайшую ценность, полную таинственной глубины. Всякое проявление живого существа может быть полно жизни,— и тогда оно будет прекрасно, светло и самоценно; а нет жизни,— и то же явление становится темным, мертвым, и, как могильные черви, в нем начинают копошиться вопросы: зачем? для чего? какой смысл?

Мы живем не для того, чтобы творить добро, как живем не для того, чтобы бороться, любить, есть или спать. Мы творим добро, боремся, едим, любим, *потому что живем.* И поскольку мы в этом живем, поскольку это есть проявление жизни, постольку не может быть и самого вопроса «зачем?».

Толстой рассказывает: «Заяц сказал раз гончей собаке: «для чего ты лаешь, когда гоняешься за нами? Ты бы скорее поймала нас, если бы бежала молча. А с лаем ты

только нагоняешь нас на охотника: ему слышно, где мы бежим, и он забегает с ружьем нам навстречу, убивает нас и ничего не дает тебе».

«Собака сказала: «я не для этого лаю, а лаю *только потому, что когда слышу твой запах, то и сержусь. и радуюсь, что я вот сейчас поймаю тебя, и сама не знаю зачем, но не могу удержаться от лая»*.

Лисица или волк никак не смогли бы понять этого,— не смогли бы потому, что в них нет жизненной потребности лаять во время охоты. И они, как заяц, могли бы спросить: «зачем это?» Но для гончей собаки вопрос бессмыслен.

То же и относительно людей. Жизнь бесконечно-разнообразна, бесконечно-разнообразны и люди. Общее у них, всем дающее смысл,— только жизнь. Проявления же жизни у разных людей могут быть совершенно различны.

Вот Долли из «Анны Карениной». Что она такое, глядя с высшей точки? Не человек даже, а так, что-то вроде родильной машины или наседки. Никаких высших интересов, вся жизнь в пеленках и кашках. Для чего все?

На постоялом дворе Долли спрашивает молодайку, есть ли у нее дети. «Красивая молодайка весело отвечала:

— Была одна девочка, да развязал бог, постом похоронила.

— Что ж, тебе очень жалко ее? — спросила Дарья Александровна.

— Чего жалеть? Только забота. Ни тебе работать, ни что. Только связа одна.

Ответ этот показался Дарье Александровне отвратителен, несмотря на добродушную миловидность молодайки; но теперь она невольно вспомнила эти слова. В этих цинических словах была и доля правды.

«Да и вообще,— думала Дарья Александровна, оглянувшись на всю свою жизнь за эти пятнадцать лет замужества,— беременность, тошнота, тупость ума, равнодушие ко всему и главное — безобразие... Роды, страдания, безобразные страдания, эта последняя минута... Потом кормление, эти бессонные ночи, эти боли страшные от треснувших сосков... И все это зачем? Что ж будет из всего этого? То, что я, не имея ни минуты покоя, то беременная, то кормящая, вечно сердитая, ворчливая, сама измучен-

ная и других мучающая, противная мужу, проживу мою жизнь, и вырастут несчастные, дурно воспитанные дети... В самом лучшем случае они только не будут негодяи. Вот все, что я могу желать. Из-за всего этого сколько мучений, трудов... Загублена вся жизнь!» Ей опять вспоминалось то, что сказала молодайка, и опять ей гадко было вспомнить про это, но она не могла не согласиться, что в этих словах была и доля грубой правды».

Долли наблюдает деревенскую жизнь Анны и Вронского, чувствует безнадежно-мертвую сердцевину их наружно блестящей жизни; с ужасом выслушивает признание Анны о ее решении не иметь больше детей, о способах к этому. «Воспоминание о доме и детях с особенною, новою для нее прелестью в каком-то новом сиянии возникали в ее воображении. Этот ее мир показался ей теперь так дорог и мил, что она ни за что не хотела вне его провести лишний день». Долли вдруг начинает ощущать жизненность своего мира, ту трепещущую в нем жизнь, которая делает сумасшедше-нелепыми ряд самых логических, рассудительных доводов.

«— Зачем же мне дан разум,— говорит Анна,— если я не употреблю его на то, чтобы не производить на свет несчастных? Я бы всегда чувствовала себя виноватою перед этими несчастными детьми. Если их нет, то они не несчастны, по крайней мере.

Это были те самые доводы, которые Дарья Александровна приводила самой себе, но теперь она слушала и не понимала их. «Как быть виноватою перед существами несуществующими?» — думала она. И вдруг ей пришла мысль: могло ли быть в каком-нибудь случае лучше для ее любимца Гриши, если б он никогда не существовал? И это ей показалось так дико, так странно, что она помотала головой, чтобы рассеять эту путаницу кружащихся сумасшедших мыслей».

«Для чего?» — это бессмысленнейший вопрос, сам собою отпадающий от всего, что полно жизнью. В минуту уныния Долли могла задавать себе вопросы о бессмысленности своей жизни, о бесцельности своих страданий и суетни с детьми. Но жизнь эта полна и прекрасна, несмотря на все ее страдания,— прекрасна потому, что *для Долли* жизнь именно в этом.

«Дарья Александровна ничем так не наслаждалась, как этим купаньем со всеми детьми. Перебирать все эти

пухленькие ножки, натягивать на них чулочки, брать в руки и окунать эти голенькие тельца и слышать то радостные, то испуганные визги, видеть эти задыхающиеся, с открытыми, испуганными веселыми глазами лица этих брызгающихся своих херувимчиков было для нее большое наслаждение.

К купальне подходят бабы.

— Ишь ты, красавица, беленькая, как сахар. А худая...

— Да, больна была...

— А у тебя есть дети?

И разговор стал самый интересный для Дарьи Александровны: как рожала? Чем была больна? Где муж? Часто ли бывает? Дарье Александровне не хотелось уходить от баб: так интересен ей был разговор с ними, так совершенно одни и те же были их интересы. Приятнее всего Дарье Александровне было то, что она ясно видела, как все эти женщины любовались более всего тем, как много было у нее детей, и как они хороши».

Одна и та же сила жизни сказывается в наседке, радостно и хлопотливо водящей по двору цыплят, и в ястребе, вольно летающем под облаками. И если для наседки жизнь прекрасна и значительна именно в курятнике и нигде больше прекрасной быть не может, то для ястреба тот же курятник был бы сплошным ужасом и тоской.

«— Да, он очень красив,— думал Пьер, глядя на Долохова,— я знаю его. Для него была бы особенная прелесть в том, чтоб осрамить мое имя и посмеяться надо мной, и именно потому, что я хлопотал за него и призрел его, помог ему.

Он вспомнил то выражение, которое принимало лицо Долохова, когда на него находили минуты жестокости, как те, в которые он связывал квартального с медведем и пускал его на воду, или когда он вызывал без всякой причины на дуэль человека, или убивал из пистолета лошадь ямщика»...

В мирной, повседневной жизни Долохов задыхается, как ястреб задыхался бы в курятнике. Он обыгрывает в карты Николая Ростова. «Из-за улыбки Долохова Ростов увидал в нем то настроение духа, которое было у него в те времена, когда, как бы соскучившись ежедневною жизнью,

Долохов чувствовал необходимость каким-нибудь странным, большею частью жестоким, поступком выходить из нее».

Хищный и сильный, он ярко живет только среди борьбы и опасностей. И нет положения, в котором бы он упал духом, в котором ему была бы нужна ласка, участие или поддержка. Он разжалован в солдаты. Его полк идет по дороге, в буйно-веселом вихре песни «Ах, вы, сени». Кутузов со свитой нагоняет полк. «Во втором ряду, с правого фланга, невольно бросился в глаза голубоглазый солдат Долохов, который особенно бойко и грациозно шел в такт песни и глядел на лица проезжающих с таким выражением, как будто он жалел всех, кто не шел в это время с ротой». К нему подъезжает свитский офицер Жерков: раньше он не узнавал разжалованного приятеля и вдруг радостно узнал после того, как с Долоховым поговорил Кутузов.

«— Ты заходи, коли что нужно, все в штабе помогут...— сказал Жерков.

Долохов усмехнулся.

— Ты лучше не беспокойся. Мне что нужно, я просить не стану, сам возьму».

В двенадцатом году Долохов, уж опять разжалованный в солдаты, стоит перед Кутузовым.

«— Если вашей светлости понадобится человек, который бы не жалел своей шкуры, то извольте вспомнить обо мне... Может быть, я пригожусь вашей светлости».

При отступлении французов Долохов — начальник партизанского отряда. С холодною отвагою он, переодевшись, пробирается в самый центр французского лагеря — и с холодным равнодушием расстреливает пленных, смеясь над сентиментальностью Денисова.

«— Кто же им не велел меня двадцать раз поймать? А ведь поймают,— меня и тебя с твоим рыцарством, все равно, на осинку».

И, конечно, под самою осинкою он стоял бы с теми же гордыми, грозными глазами, какими смотрит пойманный ястреб.

Образцами для Долохова Толстому послужили партизан Фигнер и известный «американец» Федор Толстой. Это тот самый Федор Толстой, про которого Грибоедов писал:

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом
И крепко на руку нечист.

Это про него писал и Пушкин:

В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он — и т. д.

Толстой этот был дальний родственник Льва Толстого, в раннем детстве Льву Николаевичу случилось его видеть. И в старости, когда так сильна в Льве Толстом исключительно-моральная оценка жизни, вот как вспоминает он о человеке, только презрение вызывавшем в Грибоедове и Пушкине: «Много бы хотелось рассказать про этого *необыкновенного, преступного и привлекательного человека*»...

Борьба и связанные с нею опасности высоко поднимают для Толстого темп жизни, делают жизнь еще более яркой, глубокой и радостной. Начинается бой.— «Началось! Вот оно! Страшно и весело! — говорило лицо каждого солдата и офицера».

Гусары стоят у моста, на горе показываются французы.

«Ясно чувствовалась та строгая, грозная и неуловимая черта, которая разделяет два неприятельских войска. Один шаг за эту черту и — неизвестность, страдания и смерть. И что там? Кто там? Никто не знает, и хочется знать, и страшно перейти эту черту, и хочется перейти ее... А сам силен, здоров, весел и раздражен, и окружен такими же здоровыми и раздраженно-оживленными людьми. Чувство это придает особенный блеск и радостную резкость впечатлений всему, происходящему в эти минуты».

В «Севастопольских рассказах» Толстой описывает солдат на знаменитом четвертом бастионе. «Вглядитесь в лица, в осанки и в движения этих людей... Здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны проложили следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства».

Как видим, даже злоба — и та, вопреки Толстому-проповеднику, способна преисполнить человека достоинством, высокою мыслью и чувством. К сожалению, подъем жизни, вызываемый борьбою, опасностью и «злобою», Толстой рисует преимущественно лишь в традиционной области войны.

Он редко и неуверенно касается другой области, где в настоящее время как раз с огромною, упорно-длительною силою проявляется неиссякающая жизнь, рождаемая борьбою, злобою и опасностью.

Левин вполне прав, когда в стремлении своего брата Кознышева к общественной деятельности видит недостаток силы жизни,— «того стремления, которое заставляет человека из всех бесчисленных представляющихся путей жизни выбрать один и желать этого одного». Но как раз в семидесятых годах,— а эту именно эпоху и рисует «Анна Каренина»,— русская жизнь дала редкие по чистоте и яркости типы людей, которых к общественной деятельности и борьбе вела поразительная по своей огромности сила жизни.

И все-таки, когда Толстому приходится касаться этой области, то и здесь первоисточник подвижнической деятельности он усматривает не в императивах долга, не в стремлении к добру, а в той же силе жизни. «Узнав революционеров ближе, Нехлюдов убедился, что это не были сплошные злодеи, как их представляли себе одни, и не были сплошные герои, какими считали их другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие и дурные, и средние люди... Большинство было привлечено к революции знакомым Нехлюдову по военному времени желанием опасности, риска, наслаждением игры своею жизнью,— чувствами, свойственными самой обыкновенной энергической молодежи».

Во время московской переписи Толстой наблюдает студентов-счетчиков. «Как детям в веселом духе хочется хохотать, они не умеют придумать, чему бы хохотать, и хохочут без всякого предлога, потому что им весело, так эта милая молодежь жертвует собой. Она еще не успела придумать, за что бы им жертвовать собой, а жертвует своим вниманием, трудом, жизнью за тем, чтобы записать карточку, из которой еще выйдет или не выйдет что-нибудь». И странное впечатление производит то, что Толстой пишет дальше. «Что же бы было,— спрашивает он,— если бы было такое дело, которое того стоило? Есть и было, и всегда будет это дело. Дело это есть любовное общение людей с людьми и разрушение тех преград, которые воздвигли люди между собой для того, чтобы веселье богача не нарушалось дикими воплями оскотинившихся людей и стонами беспомощного голода, холода и болезней».

Но ведь эта «милая молодежь» занимается не только записыванием карточек. Она в действительности делала и делает то дело, о котором говорит Толстой,— и делает именно так, «как детям в веселом духе хочется хохотать». И не только «милая молодежь».

V

МЕРТВЕЦЫ

В произведениях своих Толстой выводит немало людей, к которым он относится с решительным, нескрываемым отрицанием. Но опять-таки и здесь — меньше всего отрицание это определяется специально моральным содержанием данных лиц. Уж, конечно, самоотверженная Варенька вкладывает в жизнь больше «смысла добра», чем пьяница, вор и убийца дядя Ерошка; и, конечно, смешно в нравственном отношении даже сравнивать благородного общественного деятеля Кознышева с забубенным Стивою Облонским. И однако ясно, что не к этим деятелям «добра» лежит душа художника. С отсутствием «добра» Толстой еще может помириться. Но чего он совершенно не выносит, что вызывает в нем тоску, отвращение, почти ужас, это — отсутствие все той же *жизни*, все той же *силы жизни*. Ему душно, мертвая тяжесть наваливается на его душу, когда он чувствует в людях отсутствие этого трепета жизни. Надутые, замороженные англичане за люцернским табльдотом. «Мне все кажется, что я виноват в чем-нибудь, что я наказан, как в детстве, когда за шалость меня сажали на стул и иронически говорили: «отдохни, мой любезный!» в то время, как в жилках бьется молодая кровь, и в другой комнате слышны веселые крики братьев. Я прежде старался взбунтоваться против этого чувства задавленности, но тщетно: все эти мертвые лица имеют на меня неотразимое влияние, и я становлюсь таким же мертвым».

Перед человеком открыто так много радостей, так много счастья, а он не видит этого, не слушает поющих в душе голосов жизни и превращает душу свою в мерзлый, мертвый комок. «Ведь все эти люди — не глупые же и не бесчувственные,— пишет Толстой,— а наверное у многих из этих замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне, у многих и гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя одного из лучших

удовольствий жизни — наслаждения друг другом, наслаждения человеком?.. Странно подумать, сколько здесь друзей и любовников, самых счастливых друзей и любовников, сидят рядом, может быть, не зная этого. И, бог знает, отчего, никогда не узнают этого и никогда не дадут друг другу того счастья, которое так легко могут дать и которого им так хочется».

Вот и Борис Друбецкой в «Войне и мире». Яркая, радостная жизнь широко раскрыта перед ним. Но он отворачивается от нее. Все живые движения души у него на узде. Никогда он не забудется, никогда вольно не отдастся жизни. Холодно и расчетливо он пользуется ею исключительно для устройства карьеры. Для карьеры вступает в связь с красавицею Элен, порывает с Наташей, женится на богачке Жюли.

В атмосфере буйно-радостной и напряженно-страдающей жизни, которою трепещет «Война и мир», Борис вызывает прямо недоумение: для чего это замораживание бьющих в душе ключей жизни, для чего эта мертвая карьера? Каким-то недоразумением кажется это, каким-то непонятным безумием. Как в восьмидесятых годах Толстой писал в дневнике: «Все устраиваются,— когда же начнут жить? Все не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные. И нет жизни».

В Борисе все же хоть изредка, например, при встречах с Наташей, вспыхивает слабая искорка жизни. Совсем мертв и неподвижен в «Войне и мире» великолепнейший Берг. Это даже не мертвец, а аккуратно сработанный автомат — без крови, без жизни, с единственной двигательной пружиной внутри — жить, как все. Подлинный ницшевский «последний человек»: «он имеет свое маленькое удовольствие для дня и свое маленькое удовольствие для ночи. Мы изобрели счастье,— говорят последние люди и моргают».

« —Вот видите ли,— говорит Берг своему товарищу, которого он называл другом только потому, что он знал, что у всех людей бывают друзья.— Вот видите ли, я все это сообразил, и я бы не женился, ежели бы не обдумал всего, и это почему-нибудь было неудобно... И я люблю ее, потому что у нее характер рассудительный,— очень хороший. Вот будете приходить к нам... Берг хотел сказать «обедать», но раздумал и сказал — «чай пить»,— и, проткнув его быстро языком, выпустил круглое, маленькое ко-

лечко табачного дыма, олицетворявшее вполне его мечты о счастье».

И счастье, разумеется, тут, как тут.

«Берг встал и, обняв свою жену осторожно, чтобы не измять кружевную пелеринку, за которую он дорого заплатил, поцеловал ее в середину губ.

— Одно только, чтобы у нас не было так скоро детей,— сказал он по бессознательной для себя филиации идей.

— Да,— отвечала Вера,— я совсем этого не желаю. Надо жить для общества.

— Точно такая была на княгине Юсуповой,— сказал Берг, с счастливой и доброй улыбкой указывая на пелерину».

Вот в «Анне Карениной» зловещий, мертвый призрак — «министерская машина» Каренин. Самое для него чуждое, самое непереносимое и непонятное — это живая жизнь. «Он стоял теперь лицом к лицу перед жизнью, и это-то казалось ему очень бестолковым и непонятным, потому что это была сама жизнь. Всю жизнь свою Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражением жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее».

Страшно смотреть, как все блекнет, вянет и ссыхается вокруг этого ходячего трупа, как трепетно-нежная, радостная жизнь превращается в сухой консерв.

«— Вам дали звезду новую. Вы рады, папа? — спросил Сережа.

— Во-первых, не качайся, пожалуйста. А во-вторых, дорога не награда, а труд. И я желал бы, чтоб ты понимал это. Вот если ты будешь трудиться, учиться для того, чтобы получить награду, то труд тебе покажется тяжел; но когда ты трудишься, любя труд, ты в нем найдешь для себя награду.

Блестящие нежностью и веселием глаза Сережи потухли и опустились под взглядом отца. Это был тот самый, давно знакомый тон, с которым отец всегда относился к нему и к которому Сережа научился уже подделываться. Отец всегда говорил с ним,— так чувствовал Сережа,— как будто он обращался к какому-то воображаемому им мальчику, одному из таких, какие бывают в книжках, но совсем не похожему на Сережу. И Сережа всегда с отцом старался притворяться этим самым книжным мальчиком.

— Ты понимаешь это, я надеюсь! — сказал отец.

— Да, папа,— отвечал Сережа, притворяясь воображаемым мальчиком».

И все больше встает перед нами ходячих трупов: Иван Ильич в «Смерти Ивана Ильича», супруги Позднышевы... Мы о них еще будем говорить. В «Воскресении» мертвецы эти, как в кошмаре, заполняют все поле нашего зрения. Длинною вереницею тянутся высшие сановники, светские дамы, судьи, тюремщики. Все они разговаривают, действуют, живут, но это какая-то особенная, безжизненная жизнь: как будто не кровь горячая бежит в упругих сосудах, а мутная жидкость медленно струится и переливается в разлагающихся телах. Скорби, страдания, бессмысленно разбитые жизни усеивают дорогу этих живьем гниющих людей, но почти нет места для нравственного возмущения. Глядя на них в волшебном освещении толстовского жизнепонимания, испытываешь не негодование, не злобу, а недоумевающий ужас; да как же люди могут жить так? Какая же это жизнь? Как позже, по поводу высылки своего секретаря Н. Н. Гусева, Толстой писал: «Жалко всех тех погибших и погибающих и озлобляемых людей в ссылках, в тюрьмах, со злобою и ненавистью умирающих на виселицах, но нельзя не жалеть и тех несчастных, которые совершают такие дела, а главное — предписывают их... Ведь делая такие дела, они захлопывают на себя дверь от всех истинных и лучших радостей жизни. И вот этим-то людям мне хотелось сказать: *подумайте о себе,* о своей жизни, о том, на что вы тратите данные вам богом духовные силы. Загляните себе в душу, *пожалейте себя*».

И еще есть у Толстого раздряд мертвецов. Это — люди, смысл жизни видящие специально в любви и самоотречении. Как это странно звучит в применении к Толстому, так упорно и настойчиво проповедующему именно любовь и самоотречение! И, однако, это так.

Толстой-художник прямо не в состоянии понять, как может самоотречение совмещаться с живою жизнью. Только полно и широко живущий человек способен у него к действительной, ненадсадной любви и самопожертвованию. Если же нет в душе широкой жизни, если человек, чтоб любить других, старается «забыть себя»,— то и сама любовь

становится раздражающе-вялой, скучной и малоценной. Наташа Ростова говорит про Соню: «Имущему дастся, а у неимущего отнимется. *Она — неимущий. В ней нет, может быть, эгоизма,*— и у нее все отнялось. Она пустоцвет». Героиня «Семейного счастья» пишет: «Я не поняла бы теперь того, что прежде мне казалось так ясно и справедливо: счастье жить для другого. *Зачем для другого, когда и для себя жить не хочется?*»

В том же разговоре с Толстым, о котором я упоминал, в том же споре о «счастье в любви», я рассказал Льву Николаевичу случай с одной моей знакомой: медленно, верно и бесповоротно она губила себя, сама валила себя в могилу, чтоб удержать от падения в могилу другого человека,— все равно обреченного жизнью. Хрупкое свое здоровье, любимое дело, самые дорогие свои привязанности, все она отдала безоглядно, далекая даже от мысли спросить себя, стоит ли дело таких жертв. Рассказал я этот случай в наивном предположении, что он особенно будет близок душе Толстого: ведь он так настойчиво учит, что истинная любовь не знает и не хочет знать о результатах своей деятельности; ведь он с таким умилением пересказывает легенду, как Будда своим телом накормил голодную тигрицу с детенышами.

И вдруг — вдруг я увидел: лицо Толстого нетерпеливо и почти страдальчески сморщилось, как будто ему нечем стало дышать. Он повел плечами и тихо воскликнул:

— Бог знает, что такое!

Я был в полном недоумении. Но теперь я понимаю. Это Наташа возмутилась в его душе и сказала про самоотверженную девушку: «она — неимущий; в ней нет эгоизма,— и любовь ее пустоцветна». И теперь для меня совершенно несомненно: если бы в жизни Толстой увидел упадочника-индуса, отдающего себя на корм голодной тигрице, он почувствовал бы в этом только величайшее поругание жизни, и ему стало бы душно, как в гробу под землей.

Мы уже видели: кто у Толстого живет в любви и самоотречении, у того художник выразительно подчеркивает недостаток силы жизни, недостаток огня. Правда, мы немало также встречаем у Толстого благочестивых старцев и добродетельных юношей, в них любовь и самоотречение как будто горят прочным, из глубины идущим огнем, но обра-

зы эти обитают лишь в одной резко-обособленной области толстовского творчества — в его «народных рассказах». Вступая в эту область, Толстой сурово обсекает все связи с бессознательною своею сущностью — единственным источником истинного художества; он творит только от головы, творит для поучения,— и вместо живых образов получаются безжизненные восковые фигуры.

Есть у Толстого одна большая повесть такого рода: «Ходите в свете, пока есть свет». В ней действует один чрезвычайно добродетельный юноша Памфилий, познавший истину жизни. Юноша этот поистине ужасен — ужасен по своей мертвенности, отсутствию жизни и спокойно-уравновешенному моральному самодовольствию. Восковая фигура с благочестивым лицом, а вместо глаз — холодные, мертвые стекляшки. Самого слабого биения жизни нет в его душе, только зевоту и тяжкую скуку вызывают его мертвые христианские добродетели. И странно сказать: рассказ относится к эпохе первых веков христианства — к той кипучей, напряженной эпохе, где было столько огня, вдохновения, восторженно-радостного страдальчества и самоотречения, столько *жизни*.

На казнь идти и гимны петь,
И в пасть некормленному зверю
Без содрогания смотреть...

И в ней-то, в этой-то эпохе — эта неподвижно-самодовольная, успокоившаяся добродетель!.. Насколько живее, насколько выше добродетельного мертвеца Памфилия хотя бы даже Левин. Он мещанин, он хозяйственный приобретатель, он живет в себя,— да. Но все-таки в нем есть частица того «страшного внутреннего огня», которым горит музыкант Альберт, в нем есть искание и честность искания, есть живая динамика. И, может быть, недалеко уже время, когда динамика эта поведет Левина в такие дебри «бесхозяйственности», что домовитая Кити в ужасе всплеснет руками. А юноша Памфилий никуда не пойдет, как никуда не пойдет могильная плита, хотя бы вся она была исписана самыми благочестивыми надписями.

Какой-то есть в Толстом органический дефект, делающий его неспособным рисовать образы людей, жизненно живущих в любви и самоотречении. Пробует, и вот — либо живые образы мертвых людей, либо мертвые образы людей будто бы живых. И, конечно, Толстой сам это чувствует. Как бы отчаявшись в пригодности могучего орудия — художест-

венного своего гения, он отбрасывает его в сторону и настойчиво начинает *доказывать, как* выгодно должно быть для человека жить в любви и самоотречении.

«Христос говорит, что есть *верный мирской расчет* не заботиться о жизни мира... Он учит тому, как нам избавиться от наших несчастий и жить счастливо... Христос учит людей не делать глупостей... Христос и не думает призывать нас к жертве, он, напротив, учит нас не делать того, что хуже, а делать то, что лучше для нас здесь в этой жизни».

Вот истинная бентамовская «моральная арифметика»!.. И всюду она в статьях Толстого: всюду призыв к уму, к логике. Это удручающее «стоит только понять», эти бесконечные доказательства счастья в любви, бесконечные рассуждения о любви. И хочется напомнить Толстому то, что сказал еще Николенька Иртеньев: «жалкая, ничтожная пружина моральной деятельности — ум человека!». И хочется спросить: неужели евангелие выиграло бы в силе, если бы было написано не в четырех «брошюрах», а в сотне?

И вот нежное, воздушно-трепетное, светлое чувство, не укладывающееся ни в слово, ни в мысль, превращается в засушенный препарат — черствый, серый, легко ощупываемый и безнадежно мертвый. И во имя той именно любви, которую Толстой проповедует, хочется протестовать против него и к нему же приложить его же слова:

«Любовь не есть вывод разума, а есть сама радостная деятельность жизни, которая со всех сторон окружает нас... Люди грубыми руками ухватывают росток любви и кричат: «вот он, мы нашли его, мы теперь знаем его, взрастим его. Любовь, любовь! высшее чувство, вот оно!» И люди начинают пересаживать его, исправлять его и захватывают, заминают его так, что росток умирает, не расцветши, и те же или другие люди говорят: все это вздор, пустяки, сентиментальность».

VI

ПРЕКРАСНЫЙ ЗВЕРЬ

Смысл жизни заключается для Толстого не в добре, а в самой жизни. Точнее — жизнь, живая жизнь лежит для него вообще в другой плоскости, не в той, где возможен самый вопрос о «смысле».

Но в таком случае: чем же отличается человек от зверя? Только зверь свободно живет из себя, только зверь не ведает никакого долга, никаких дум о добре и смысле жизни. Не является ли для Толстого идеалом именно зверь — прекрасный, свободный, цельно живущий древний зверь?

Дядя Ерошка предлагает Оленину добыть ему красавицу. Оленин стыдит его, говорит, что это грех.

«— Грех? Где грех? — решительно спросил старик.— На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так? Нет, отец мой, это не грех, а спасенье. Бог тебя сделал, бог и девку сделал. На то она и сделана, чтобы ее любить да на нее радоваться. По-моему, все одно. Все бог сделал на радость человеку. *Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми*».

«Ни в чем нет греха, возьми пример со зверя». Этот призыв теперь часто повторяется, и повторяется многими. Люди все сильнее сознают, что самое главное в жизни — жизнь. В себе и в людях кругом они ощущают ужасающее отсутствие жизни, чувствуют сухую принудительность и вялую мертвенность добра. И они отвергают добро, и обращают жадные взгляды к прекрасному, хищному, древнему зверю. Возносится на высоту «белокурая бестия», Цезарь Борджиа, железный кондотьер, англичанин-завоеватель, хищная женщина-паучиха. Воля к жизни отождествляется с волею к господству, с волею к мощи. По мощи тоскуют упадочные герои Достоевского, по ней же тоскует ряд очень ярких новых писателей. Лишенные своего собственного, человеческого ощущения жизни, они способны видеть жизнь только в жестоких и торжествующих проявлениях прекрасного хищного зверя.

Только по большому недоразумению можно относить Толстого к приверженцам этого «прекрасного зверя». Зверь одинок. Он полон силы жизни, но познавательною интуицией своего инстинкта соприкасается с миром только для ближайших, практических своих целей. Высшее, до чего он способен подняться, это — сознание единства со своими детенышами или,— у роевых и стадных животных,— до сознания единства со своей общиной. Живой мир в целом для животного чужд и нем, он для него — только среда, добыча или опасность.

Совсем не так у Толстого.

«Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него.

— Дура, дура! — заговорил он.— Куда летишь? Дура! Дура! — Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек.— Сгоришь, дурочка. Вот сюда лети, места много,— приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить.— Сама себя губишь, а я тебя жалею».

Ерошка говорит: «ни в чем греха нет, хоть с зверя пример возьми». Но говорит он это специально об отношениях к женщине. А в этой области понятие греха, действительно, очень смутно, расплывчато и спорно. Общее же отношение дяди Ерошки к жизни не имеет ничего схожего с отъединенною, уверенною в себе безгрешностью зверя.

«— Сидишь на зорьке в лесу, дожидаешься,— рассказывает старик.— Ружье где далече ударит, мысли придут. Подумаешь, кто это стрелил? Казак так же, как я, зверя выждал, и попал ли он его, или так только испортил, и пойдет, сердечный, по камышу кровь мазать, так, даром! Не люблю, ах! не люблю! Зачем зверя испортил? Дурак, дурак!.. А то раз, сидел на воде, смотрю, зыбка сверху плывет. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой черт, взял за ножки да об угол. Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях!»

А между тем — «не одно убийство и чеченцев, и русских было на душе дяди Ерошки». Но не с гордо-спокойным равнодушием вспоминает он об этих убийствах.

«— Это знаешь, кто поет? — сказал старик, очнувшись.— Это Лукашка джигит. Он чеченца убил, то-то и радуется. И чему радуется, дурак, дурак!

— А ты убивал людей? — спросил Оленин.

Старик вдруг поднялся на оба локтя и близко придвинул свое лицо к лицу Оленина.

— Черт! — закричал он на него.— Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено, ох мудрено!»

И поспешно обрывает разговор.

Зверь не таков. При виде крови глаза его загораются зеленоватым огнем, он радостно разрывает прекрасное тело своей жертвы, превращает его в кровавое мясо и, грозно

мурлыча, пачкает морду кровью. Мы знаем художников, в душе которых живет этот стихийно-жестокий зверь, радующийся на кровь и смерть. Характернейший среди таких художников — Редиард Киплинг. Но бесконечно чужд им Лев Толстой.

«Над всем бородинским полем стояла теперь мгла сырости и дыма, и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди! Перестаньте... Опомнитесь. Что вы делаете?»

«Измученным людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебание, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитым? Убивайте, кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить все и побежать, куда попало».

Может быть, как раз один из недостатков «Войны и мира», что в действительности в человеке гораздо больше звериной любви к крови, гораздо меньше священного трепета перед нею, чем мы видим в романе.

Душа зверя близка и родна Толстому. Он любит ее за переполняющую ее силу жизни. Но глубокая пропасть отделяет для него душу зверя от души человека... Та самая форма силы жизни, которая в звере законна, прекрасна и ведет к усилению жизни,— в человеке становится низменною, отвратительною и, как гнилостное бродило, разрушает и умерщвляет жизнь.

В «Холстомере» перед нами история двух прекрасных зверей, четвероногого и двуногого — пегого мерина Холстомера и красавца-гусара, князя Серпуховского. Мерин рассказывает про своего хозяина-князя: «Хотя он был причиною моей гибели, хотя он никого и ничего никогда не любил, я люблю и любил его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и по-

тому никого не любил... Он ничего не боялся и никого не любил, кроме себя, и за это все любили его».

Оба они красиво и ярко прожили молодость. И вот прошло двадцать лет. После долгих мытарств мерин — старый, надорванный — попадает на конный двор. Другие лошади мучают его и обижают. «Он был стар, они были молоды; он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя могут легко представить. Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив?.. Казалось бы, что нет, но *по-лошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы*».

Мерину горько и обидно, что молодые лошади обижают его, но он понимает, что виноват,— «виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь». Все жизнепонимание его стройно и последовательно-жестоко — как по отношению к другим, так и по отношению к самому себе. Эта звериная правда составляет природную сущность души зверя. И вот, живя по этой присущей ему правде, мерин до последнего своего часа остается полезным для жизни. Умирает — и сама смерть его служит «созиданию и обновлению лица земли». Кожу мерина унес драч, над мясом его хлопотливо возятся собаки и вороны, в лесном овраге радостно воют головастые волченята, перед которыми худая волчица выхаркивает куски холстомерова мяса. Даже кости мерина уносит мужик, собирающий кости, и пускает их в дело.

Мерин никого не любил и любил тех, кто никого не любил,— и, однако, до последних своих дней и даже после смерти остается среди жизни. Хозяин его, красавец князь Серпуховской, тоже никого не любил — и уже при жизни оказывается вне жизни. Вот он — плешивый, обрюзгший, отвратительный, с бегающими глазами, пахнущий табаком, вином и грязною старостью. Никому оно не нужно, всем оно в тягость — это «ходящее по свету, едящее и пьющее мертвое тело». И смерть его никому не доставляет ничего, кроме затруднений и хлопот.

А между тем несомненно, князь Серпуховской — двойник того же графа Турбина-старшего, к которому Толстой относится так сочувственно. Оценка жизни двоится, худож-

ник как будто противоречит себе. Но противоречие это объяснить нетрудно. Толстой жадно любит жизнь «нутром и чревом», поэтому не может не любить «прекрасного зверя» даже и в человеке. Но чем дальше, тем сильнее Толстой начинает чувствовать, что отъединенная звериная сила жизни в человеке обусловливает как раз *непрочность жизни*. На плохо перепревшем навозе пышно и здорово растет грубый бурьян, но загнивает благородная лилия. То самое начало, которое могуче питает «прекрасного зверя», уродует и разрушает человека. Потому что сущность человека неизмеримо тоньше, глубже и светлее, чем сущность зверя.

VII
«НЕ НИЖЕ АНГЕЛОВ»

В одной из своих педагогических статей Толстой пишет:

«Здоровый ребенок родится на свет, вполне удовлетворяя тем требованиям безусловной гармонии в отношении правды, красоты и добра, которые мы носим в себе... Во всех веках и у всех людей ребенок представлялся образцом невинности, безгрешности, добра, правды и красоты. *Человек родится совершенным* — есть великое слово, сказанное Руссо, *и слово это, как камень, останется твердым и истинным*».

Наше воспитание, уродливая наша жизнь, уродливая оценка добра и зла калечат изначально-прекрасную человеческую душу. Но все время ясно и призывно звучит в ней «непогрешимый, блаженный голос» и зовет человека к великим радостям, таким близким и доступным.

«Сделали себе подразделение в этом вечно-движущемся, бесконечном, бесконечно-перемешанном хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится... Вот это-то воображаемое знание уничтожает *инстинктивные, блаженнейшие, первобытные потребности добра в человеческой натуре*... Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, всемирный дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу».

В самых холодных, свирепых душах живет несознаваемо этот всемирный дух единения. Наступает миг, и, как сон, отходит от человека дурманящая власть обыденной жизни, и звучит в душе напоминающий голос великого духа. Пленного Пьера Безухова приводят к маршалу Даву, известному своею жестокостью.

«— Кто мне докажет, что вы не лжете?

— Ваше высочество! — вскрикнул Пьер не обиженным, но умоляющим голосом.

Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья».

В душе человека живет всемирный дух единения? Он заставляет нас бессознательно жаться друг к другу?.. Мрачно и недоумевающе усмехнулась бы на это душа Достоевского. Как? Просто так, бессознательно, жаться друг к другу, «как дерево растет к солнцу»? И никакого за это бессмертия? Разве же способны на это люди,— «недоделанные, пробные существа, созданные в насмешку»? Нет, человек — это дьявол. «Дьяволу ничто человеческое не чуждо». «Если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию».

Молодежь Ростовых сидит на диване в темной комнате, в окна падает на пол серебряный свет месяца. Все разговаривают шепотом, охваченные светлым, таинственным настроением. Вспоминают впечатления самого дальнего прошлого, где сновидения сливаются с действительностью,— и тихо смеются, радуясь чему-то.

«— Знаешь, я думаю,— сказала Наташа шопотом, придвигаясь к Николаю и Соне,—что когда так вспоминаешь, вспоминаешь, все вспоминаешь, до того довоспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете...

— Это метампсихоза,— сказала Соня, которая всегда хорошо училась и все помнила.— Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных.

— Нет, знаешь, я не верю этому, чтобы мы были в животных,— сказала Наташа тем же шопотом, хотя и му-

зыка кончилась,— а я знаю, наверное, что *мы были ангелами там где-то и здесь были* и от этого все помним.

— Ежели бы мы были ангелами, так за что же мы попали ниже? — сказал Николай.— Нет, этого не может быть.

— *Не ниже, кто тебе сказал, что ниже?* Почему я знаю, чем я была прежде,— с убеждением возразила Наташа».

«Не ниже ангелов»... Это не девушка сболтнула, не зная, что говорит. Это душа Толстого сказала. Потому что именно Наташа-то и есть подлинная душа Толстого.

Ничем не сокрушимая вера в светлое существо человеческой души — это одна из самых характерных особенностей Толстого. «Человек — это то, чему не может быть оценки, выше чего ничего нет»,— говорит он. Эта-то вера лежит в основе и его позднейшего учения о непротивлении злу. Только ею можно объяснить то упорство, ту странную слепоту, с которою Толстой возражает против очевидности. Ею только можно объяснить знаменитое письмо к Александру III, которое в 1881 году пишет пятидесятитрехлетний старик, по-детски верящий в силу добра. И ею же только можно объяснить, например, недавнее письмо по поводу ареста его секретаря Гусева. Естественное негодование против бессмысленного насилия наших Даву у Толстого, мы видели, выливается вот во что: «Подумайте о себе, о своей жизни... Загляните себе в душу, *пожалейте себя*».

Вот именно такие настроения переживал каждый из нас очень, очень давно, в раннем детстве. Тогда было это непонимание и недоумение,— как люди могут не ужасаться сами перед собою тех жестокостей, которые они делают? Тогда было в сердце то непосредственное, из глубины души идущее знание, которое мы видим в длинношеем мальчике, смотрящем в «Воскресении» на арестантов. «Не смигивая и не спуская глаз, смотрел мальчик на шествие арестантов. Он знал еще твердо и несомненно, узнав это прямо от бога, что люди эти были точно такие же, как и он сам, как и все люди, и что поэтому над этими людьми было кем-то сделано что-то дурное, такое, чего не должно делать, и ему было жалко их, и он испытывал ужас и перед теми людьми, которые были закованы и обриты, и перед теми, которые их заковали и обрили».

Давно замечено, что каждый художник в творчестве своем как бы отражает один определенный человеческий возраст. Гончаров и в самых юношеских своих произведе-

ниях был стариком. Юноша Лермонтов все время был взрослым человеком. Взрослый Пушкин до конца жизни оставался юношей. Во Льве Толстом мы имеем редкий пример, где художник все время остается *ребенком*. Ребенком не только в отношении своем к «добру», а и во всех характернейших особенностях ребенка — в радостной свежести чувства, в пенящемся сознании жизни, в чистоте отношения к жизни, в ощущении таинственной ее значительности, даже... даже в самом слоге.

Описание оперы в «Войне и мире». «Во втором акте были картины, изображающие монументы, и была дыра в полотне, изображающая луну, и абажуры на рампе подняли, и справа и слева вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, и в руках у них было что-то вроде кинжалов; потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь девицу... Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили, и за кулисами ударили три раза во что-то металлическое, и все стали на колени и запели молитву».

Кто это написал,— большой художник? Да. Но возможно также, что написал это в своем дневнике восьмилетний мальчик. И тот же мальчик, описывая священника в ризе, скажет: «старик в парчовом мешке», и про городового напишет: «человек с саблей и пистолетом на красном шнурке» (и именно пистолетом, а не револьвером).

Глубоко серьезными глазами ребенка смотрит Толстой на жизнь. И, как в ребенке, в нем так же совершенно нет юмора. Рисуемое им часто убийственно смешно, но чувство смешного достигается чрезвычайно своеобразным приемом: как будто внимательный, все подмечающий ребенок смотрит на явление, описывает его, не ведаясь с условностями, *просто так, как оно есть*,— и с явления сваливаются эти привычные, гипнотизировавшие нас условности, и оно предстает во всей своей голой, смешной нелепице.

VIII

ЛЮБОВЬ — РАДОСТЬ

Глубокая и таинственная серьезность «живой жизни», форма проявления ее в том светлом существе, которое называется человеком, *счастье* в его отличии от *удовольствия*, уплощение и омертвение жизни, когда дело ее бе-

рется творить живой мертвец,— все эти стороны художественного жизнепонимания Толстого особенно ярко и наглядно проявляются в отношении его к любви между мужчиной и женщиной.

Человек полюбил. И в смятении он ощущает, как на него надвигается какая-то огромная, грозно-радостная тайна. И радостный ужас встает ей навстречу из души человека.

«У Кити шел свой разговор с Левиным, и не разговор, а какое-то таинственное общение, которое с каждой минутой все больше связывало их и производило в обоих чувство радостного страха перед тем неизвестным, в которое они вступали».

Левин приезжает к Щербацким делать предложение.

«Вдруг за дверью послышался шорох платья и радостный ужас близости своего счастья сообщился ему... Быстрые-быстрые легкие шаги звучали по паркету. Он видел только те ясные, правдивые глаза, испуганные тою же радостью любви, которая наполняла и его сердце».

Полюбивший Наташу князь Андрей весь день провел у Ростовых. Вечером Наташа лежит в постели матери.

«Графиня подошла к Наташе и шопотом спросила:

— Ну что?

— Мама, ради бога, ничего не спрашивайте у меня теперь. Это нельзя говорить, — сказала Наташа.

Но, несмотря на то, в этот вечер Наташа, то взволнованная, то испуганная, с останавливающимися глазами, лежала долго в постели матери.

— Такого, такого... со мной никогда не бывало! — говорила она.— Только мне страшно при нем, мне всегда страшно при нем; что это значит? Значит, что это настоящее, да? Мама, вы спите?

— Нет, душа моя, мне самой страшно,— отвечала мать.

— Мамаша, мамаша, такого со мной никогда не бывало,— говорила она с удивлением и испугом перед тем чувством, которое она сознавала в себе».

Еще глубоко-глубоко в бессознательном лежит то специальное телесное чувство, которым в конечном счете обусловливается влечение любящих друг к другу. Человек совсем еще как будто не думает о теле, даже сама мысль о нем оскорбительна. В таинственном, воздушно-бесплотном общении зреет подготовка души к тому, что кажется со стороны таким простым и что в человеке так сложно и

глубоко. И только, когда в тесном, радостном единении сольются уже души, когда они наладятся на новый, светлый, дотоле неведомый строй, тогда неожиданно и само собой пробудится тело.

Если же не совершилось этой подготовки, если человек грубо, со звериной меркою, подойдет к медленно зреющему таинству, то грязным, пошлым и мелким становится вдруг то, что могло бы и должно бы быть солнечно-чистым и солнечно-высоким.

Князь Нехлюдов полюбил Катюшу. У заутрени они христосуются. «Она невинно снизу вверх смотрела на него своими влюбленными, смеющимися от радости и полноты жизни глазами. Черная, гладкая, блестящая головка, белое платье со складками, девственно охватывающее ее стройный стан и невысокую грудь, и этот румянец, и эти нежные глаза, и во всем ее существе две главные черты: чистота девственности любви не только к нему,— он знал это,— но любви ко всем и ко всему не только хорошему, что есть в мире, но и к тому нищему, с которым она поцеловалась.

Он знал, что в ней была эта любовь, потому что он в себе в эту ночь сознавал ее, и сознавал, что в этой любви он сливался с нею в одно».

Назавтра в Нехлюдове просыпается древний зверь— «животный человек».

«— Катюша, постой,— сказал он.

Она оглянулась.

— Что вы? — сказала она, приостанавливаясь.

— Ничего, только...

И, сделав усилие над собой, он обнял Катюшу за талию.

Она остановилась и посмотрела ему в глаза.

— Не надо, Дмитрий Иванович, не надо, — покраснев до слез, проговорила она, и своей жесткой, сильной рукой отвела обнимавшую ее руку.

Нехлюдов пустил ее, и ему стало на мгновение не только неловко и стыдно, но гадко на себя. Но ему показалось, что это говорит в нем его глупость. Он догнал ее еще раз, опять обнял и поцеловал в шею. Этот поцелуй был страшен, и она почувствовала это.

— Что же это вы делаете? — таким голосом, *как будто он безвозвратно разбил что-то бесконечно драгоценное,* вскрикнула она и побежала от него».

В последнее время, как вообще сила жизни отождествляется у нас с силою жизни «прекрасного хищного зверя», так и в области любви возносится на высоту тот же «древний, прекрасный и свободный зверь, громким кличем призывающий к себе самку». У Толстого только очень редко чувствуется несомненная подчас красота этого зверя,— например, в молниеносном романе гусара Турбина-старшего со вдовушкою Анной Федоровной. Ярко чувствуется эта красота у подлинных зверей.

«Бурая кобылка остановилась гордо, несколько на бок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. В нем было и желание, и обещание любви, и грусть по ней.

Вон дергач, в густом тростнике перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и кукушка, и перепел поют любовь, и цветы по ветру пересылают свою душистую пыль друг к другу.

И я молода, и хороша, и сильна,— говорило ржанье шалуньи,— а мне не дано было до сих пор испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видел меня.

И многозначащее ржанье грустно и молодо отозвалось низом и полем и издалека донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Она была очарована серебряным звуком далекого ржанья и заржала тоже. Пахавший мужик рассердился, дернул ее вожжами и так ударил лаптем по брюху, что она не успела докончить своего ржанья и пошла дальше. Но чалой лошадке стало сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржанья и сердитого голоса мужика.

Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла так ошалеть, что было бы с ней, если бы она видела всю красавицу-шалунью, как она, навострив уши, растопырив ноздри и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее».

Так именно, «куда-то порываясь и дрожа молодыми, красивыми телами», зовут к себе друг друга люди-жеребцы и люди-кобылы в зверином воображении нынешних жизнеописателей. Но для Толстого любовь человека — нечто неизмеримо высшее, чем такая кобылиная любовь. И при напоминающем свете этой высшей любви «прекрасный и свободный зверь» в человеке, как мы это видели на Не-

хлюдове, принимает у Толстого формы грязного, поганого гада.

Отлетает от любви очарование, исчезает живая глубина; радостная, таинственная жизнь оголяется, становится мелкой, поверхностной и странно-упрощенной.

«Бюст Элен, казавшийся всегда мраморным Пьеру, находился в таком близком расстоянии от его глаз, что он своими близорукими глазами невольно различал живую прелесть ее плеч и шеи, и так близко от его губ, что ему стоило немного нагнуться, чтобы прикоснуться до нее. Он слышал тепло ее тела, запах духов и скрип ее корсета при движении. Он видел не ее мраморную красоту, составлявшую одно целое с ее платьем, он видел и чувствовал всю прелесть ее тела, которое было закрыто только одеждой. И раз увидев это, он не мог видеть иначе, как мы не можем возвратиться к раз объясненному обману.

«— Так вы до сих пор не замечали, как я прекрасна?— как будто сказала Элен.— Вы не замечали, что я женщина? Да, я женщина, которая может принадлежать каждому и вам тоже»,— сказал ее взгляд. И в ту же минуту Пьер почувствовал, что Элен не только могла, но должна была быть его женою, что это не может быть иначе. И он опять видел ее не какою-то дочерью князя Василия, а видел все ее тело, только прикрытое серым платьем».

Пьер начинает видеть под платьем голую Элен. Глаза ее, подобно ржанию бурой кобылки, говорят: «да, я могу принадлежать каждому и вам тоже». Чудовищно даже подумать, чтоб князь Андрей или тот же Пьер начали видеть под платьем голую Наташу, или чтоб глаза полюбившей Кити говорили Левину: «я женщина, которая может принадлежать каждому и вам тоже». Глаза ее только одно могут говорить: «случилось что-то неведомое и таинственное,— и вот я могу принадлежать только вам, и нельзя себе даже представить, чтоб я могла принадлежать другому».

Еще голее, проще и ужаснее в своей простоте отношения Анатолия Курагина к Наташе.

«Он не спускал улыбающихся глаз с лица, с шеи, с оголенных рук Наташи. Наташе было приятно, что он восхищается ею, но почему-то ей тесно и тяжело становилось от его присутствия. Когда она не смотрела на него, она чувствовала, что он смотрел на ее плечи, и она невольно перехватывала его взгляд, чтоб он уж лучше смотрел на ее гла-

за. Но, глядя ему в глаза, она со страхом чувствовала, что между ним и ею совсем нет той преграды стыдливости, которую она всегда чувствовала между собой и другими мужчинами. Она, сама не зная как, через пять минут чувствовала себя страшно близкой к этому человеку. Когда она отворачивалась, она боялась, как бы он сзади не взял ее за голую руку, не поцеловал бы ее в шею».

Оголение и уплощение таинственной, глубокой «живой жизни» потрясает здесь душу почти мистическим ужасом. Подошел к жизни поганый «древний зверь»,— и вот жизнь стала так проста, так анатомически-осязаема. С девушки воздушно-светлой, как утренняя греза, на наших глазах как будто спадают одежды, она — уж просто тело, просто женское мясо. Взгляд зверя говорит ей: «да, ты женщина, которая может принадлежать каждому и мне тоже»,— и тянет ее к себе, и радостную утреннюю грезу превращает — в бурую кобылку.

Темен и низмен в любви становится для Толстого человек, когда в нем пробуждается «древний, прекрасный и свободный зверь, громким кличем призывающий к себе самку». Но, с другой стороны, для Толстого совершенно чужда и непостижима серафическая «сухая любовь» Достоевского. Прежде и после всего любовь для Толстого есть таинство жизни, служащее «обновлению и созиданию лица земли». Как живая жизнь вообще, так и любовь скрыто несет в себе у Толстого бессознательно направляющую ее *цель*. И величайшим поруганием жизни является любовь самодовлеющая, любовь, вырывающая из недр своих животворящую ее цель.

Понятно поэтому, что поэзия любви не кончается у Толстого на том, на чем обычно кончают ее певцы любви. Где для большинства умирает красота и начинается скука, проза, суровый и темный труд жизни, — как раз там у Толстого растет и усиливается светлый трепет жизни и счастья, сияние своеобразной, мало кому доступной красоты.

Что, например, может быть безобразнее и достойнее сожаления, чем беременная женщина? Беременность — это уродство, болезнь,— это проклятие, наложенное на женщину богом. «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей». Только и ос-

тается женщине — покорно и терпеливо нести тяжелую «скорбь» и замирать от ужаса в ожидании грядущих мук и опасностей. Но не так для Толстого.

Маленькая княгиня Болконская, жена Андрея, беременна. И в глазах ее — «то особенное выражение внутреннего и счастливо спокойного взгляда, свойственного только беременным женщинам». В «Холстомере» Толстой рассказывает: «хозяйка дома была беременна, что *очень заметно было в особенности по глазам*, внутрь кротко и важно смотревшим большим глазам». Беременность женщины «особенно заметна» для Толстого не по обезображенному телу, не по огромному, оскорбительно-уродливому животу, а по глазам, приобретающим какую-то совсем новую красоту, важную и торжественную.

Беременность служит для женщины источником высочайшей радости, полной светлого трепета жизни.

«Кити теперь ясно сознавала зарождение в себе нового чувства любви к будущему, отчасти для нее уже настоящему ребенку и с наслаждением прислушивалась к этому чувству. Он теперь уж не был вполне частью ее, а иногда жил и своею, не зависимою от нее жизнью. Часто ей бывало больно от этого, но вместе с тем хотелось смеяться от странной новой радости».

Ужасы и скорби жизни теряют свою безнадежную черноту под светом таинственной радости, переполняющей творчески работающее тело беременной женщины. В темную осеннюю ночь брошенная Катюша смотрит с платформы станции на Нехлюдова, сидящего в вагоне первого класса. Поезд уходит.

«— Пройдет поезд,— под вагон, и кончено,— думала Катюша.

Она решила, что сделает так. Но тут же, как это и всегда бывает в первую минуту затишья после волнения, он, ребенок,— его ребенок, который был в ней — вдруг вздрогнул, стукнулся и плавно потянулся и опять застучал чем-то тонким, нежным и острым. И вдруг все то, что за минуту так мучило ее, что, казалось, нельзя было жить, вся злоба на него и желание отомстить ему, хоть своей смертью, все это вдруг отдалилось. Она успокоилась, встала, надела на голову платок и пошла домой».

Наступают роды — еще более страшное, страдальческое бремя, возложенное на женщину разгневанным богом.

Родит Кити.

«Зарумянившееся лицо Кити, окруженное выбившимися из-под ночного чепчика мягкими волосами, *сияло радостью и решимостью.* Она, улыбаясь, смотрела на Левина; но вдруг брови ее дрогнули, она подняла голову и, быстро подойдя к нему, взяла его за руку и вся прижалась к нему, обдавая его своим горячим дыханием. Она страдала и как будто жаловалась ему на свои страдания. Но во взгляде ее была нежность, которая говорила, что она не только не упрекает его, но *любит за эти страдания.* «Если не я, то кто же виноват в этом?» — невольно подумал он, отыскивая виновника этих страданий, чтобы наказать его; но виновника не было. *Она страдала, жаловалась и торжествовала этими страданиями, и радовалась ими, и любила их!* Он видел, что в душе ее совершалось что-то прекрасное, но что — он не мог понять. Это было выше его понимания».

Вот что такое истинная «живая жизнь» и что такое счастье, даваемое ею. Оно не в «легкой приятности», не в отсутствии страданий. Чудесная, могучая сила жизни не боится никаких страданий, она с радостью и решимостью идет навстречу им, торжествует этими страданиями, и радуется ими, и любит их, и само страдание преображает в светлую, ликующую радость.

Роды продолжаются.

«Не помня себя, Левин вбежал в спальню. Лица Кити не было. На том месте, где оно было прежде, было что-то страшное и по виду напряжения, и по звуку, выходившему оттуда. Он припал головой к дереву кровати, чувствуя, что сердце его разрывается. Ужасный крик не умолкал, он сделался еще ужаснее, и как бы дойдя до последнего предела ужаса, вдруг затих. Нельзя было сомневаться: крик затих, и слышалась тихая суетня, шелест и торопливые дыхания, и ее прерывающийся, живой и нежный, счастливый голос тихо произнес: «кончено».

Он поднял голову. Бессильно опустив руки на одеяло, необычайно прекрасная и тихая, она безмолвно смотрела на него и хотела и не могла улыбнуться.

Упав на колени перед постелью, он держал перед губами руку жены и целовал ее, и рука эта слабым движением пальцев отвечала на его поцелуи. А между тем там, в ногах постели, в ловких руках Лизаветы Прокофьевны, как огонек над светильником, колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было и которое так

же, с тем же правом, с тою же значительностью для себя, будет жить и плодить себе подобных.

И средь молчания послышался голос совсем другой, чем все сдержанно говорившие голоса в комнате. Это был смелый, дерзкий, ничего не хотевший соображать крик непонятно откуда явившегося нового человеческого существа».

Что это? Какое чудо случилось на наших глазах? Ведь мы присутствовали сейчас всего только при родах женщины — при чем-то самом низменном, обыденном и голобезобразном! Это — неприличие, это — стыд. От чистых детей это нужно скрывать за аистами и капустными листами. Но коснулась темной обыденности живая жизнь — и вся она затрепетала от избытка света; и грубый, кровавый, оскорбительно-животный акт преобразился в потрясающее душу мировое таинство.

К такому неприличию, как роды, художник не побоялся подойти прямо и открыто. И как обидно, как горько обидно, что он стыдливо остановился перед другим «неприличием» — тем, последствием чего являются роды. А Толстой сумел бы подойти и к нему, сумел бы ярко показать его глубокую, светлую и целомудренную красоту. И можно было бы девочек знакомить по Толстому с серьезною и строгою тайною любви. И ясно бы также стало еще раз, как внутренне-противоположно может быть внешне-тождественное, какая глубокая пропасть лежит между похотливым сладострастием темной плоти и чистою страстью плоти жизненно-просветленной.

IX

ЛЮБОВЬ — ЕДИНЕНИЕ

Наташа Ростова замужем.

«Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка. Очень редко зажигался в ней теперь прежний огонь... И в те редкие минуты, когда преж-

ний огонь зажигался в ее развившемся, красивом теле, она бывала еще более привлекательна, чем прежде... Наташа до такой степени опустилась, что ее костюмы, ее прически, ее невпопад сказанные слова, ее ревность были обычным предметом шуток всех ее близких... Предмет, в который погрузилась вполне Наташа, была семья, то есть муж и дети».

Всею семейною, домашнею жизнью полновластно правит Наташа. «Всему же, что было умственным, отвлеченным делом мужа, она приписывала, *не понимая его*, огромную важность и постоянно находилась в страхе быть помехою в этой деятельности ее мужа».

«— Наташа уморительна,— говорит про сестру Николай Ростов.— Ведь как она Пьера под башмаком держит, а чуть дело до рассуждений,— у ней своих слов нет,— она так его словами и говорит».

Так вот во что превратилась полная огня и жизни Наташа! Вот к чему ведет хваленая «живая жизнь»! Вместо живого человека — сильная, плодовитая самка, родящее и кормящее тело с тупою головою, подруга мужу только по постели и по обеденному столу. Самое ценное — духовная жизнь мужа ей чужда, она не понимает ее и только, как попугай, повторяет за мужем его слова...

Но не будем торопиться. Не виновата в этом живая жизнь, и ни в чем не изменила себе Наташа. Виноват сам художник, и это только он себе изменил: сбросил сосредоточенную, глубоко в себя ушедшую правдивость художника, вызывающе стал оглядываться по сторонам, превратился в публициста и полемиста.

«Толки и рассуждения о правах женщин,— пишет Толстой,— хотя и не назывались еще, как теперь, *вопросами*, были тогда точно такие же, как и теперь; но эти вопросы не только не интересовали Наташу, но она решительно не понимала их. Вопросы эти и тогда, как и теперь, существовали только для тех людей, которые в браке видят одно удовольствие, получаемое супругами друг от друга, то есть одно начало брака, а не все его значение, состоящее в семье. Если цель обеда — питание тела, то тот, кто съест вдруг два обеда, достигнет, может быть, большего удовольствия, но не достигнет цели, ибо оба обеда не переварятся желудком. Если цель брака есть семья, то тот, кто захочет иметь много жен и мужей...» и т. д.

Толстой же *говорит*, спорит и доказывает. И, как всегда в таких случах, художественная перспектива вдруг искажается, свет и тени распределяются неправильно, одни детали непропорционально выдвигаются вперед в ущерб другим. И не со спокойным самообладанием художника, а с задором увлекшегося полемиста Толстой на первом плане семейной жизни Наташи водружает знаменитую пеленку с желтым пятном вместо зеленого.

«Наташа не любила общество вообще, но она тем более дорожила обществом родных. Она дорожила обществом тех людей, к которым она, растрепанная, в халате, могла выйти большими шагами из детской, с радостным лицом, и показать пеленку с желтым вместо зеленого пятном и выслушать утешения о том, что теперь ребенку гораздо лучше».

Но ведь это совсем то же самое, как если бы Толстой, вместо просветляющей душу картины родов Кити, развесил перед нами окровавленную простыню роженицы, стал бы перед этой простыней и начал говорить: «если цель любви — удовольствие, то, конечно, роды не нужны, безобразны и ужасны; но если цель любви — продолжение жизни на земле, то...» и т. д. И сколько бы он ни говорил, сколько ни доказывал,— мы видели бы только окровавленную простыню, и простыня эта говорила бы как раз противоположное, что восхваляемое явление есть именно ненужный ужас и безобразие.

То же и с Наташиной пеленкой. Дело не в самой пеленке,— она ничему бы не помешала, как ничему не помешала бы окровавленная простыня в родах Кити. Дело в том, что за этою пеленкою мы у Толстого не чувствуем душою той глубины и напряженности жизни, которая делает приемлемою и саму пеленку.

А жизнью этой, глубокой и напряженной, Наташа полна совсем по-прежнему. В том, что она с головою ушла в семью, не только нет ничего удивительного, но решительно нельзя себе представить, как же бы это могло быть иначе. Старая графиня говорит про Наташу: «она до крайности доводит свою любовь к мужу и детям, так что это даже глупо». Такая уж судьба Наташи — все доводить до крайности, ничего не уметь делать вполовину; в этом сама ее природа. В одном месте Толстой говорит про нее: «На-

[1] «Изображай, художник! Не говори!»

таша не могла и не умела делать что-нибудь не от всей души, не изо всех своих сил».

И понятно, что ее целиком захватило новое, близкое и важное дело, вставшее перед нею.

«Чем больше Наташа вникала не умом, а всей душой, всем существом своим в занимавший ее предмет,— семью,— тем более предмет этот разрастался под ее вниманием, так что она все силы сосредоточивала на одно и то же, и все-таки не успевала делать всего того, что ей казалось нужно».

Но это неумение делать что-нибудь не изо всех своих сил, эта потребность «всю себя класть в жизнь» — плохой залог для стояче-тихого, «статического» счастья. Недаром материнское чутье говорит старой графине, «что чего-то слишком много в Наташе, и что от этого она не будет счастлива».

В отрывке из ненаписанного романа «Декабристы» мы знакомимся с дальнейшею судьбою Наташи. В Москву возвращается отбывший каторгу декабрист Пьер Лабазов. В добродушном, восторженном чудаке Пьере Лабазове и его жене Наталии Николаевне нетрудно узнать Пьера и Наташу Безуховых.

«Наталья Николаевна, казалось, отдыхала не от одной дороги, не от одних тяжелых годов,— она отдыхала, казалось, от целой жизни. Был ли это подвиг любви, который она совершила для своего мужа, та ли любовь, которую она пережила к детям, когда они были малы, была ли это тяжелая потеря или это была особенность ее характера,— только всякий, взглянув на эту женщину, должен был понять, что от нее ждать нечего, что она уже давно когда-то положила всю себя в жизнь, и что ничего от нее не осталось. Осталось достойное уважения что-то прекрасное и грустное, как воспоминание, как лунный свет.

Sie pflegen und weben
Himmlische Rosen ins irdische Leben.

Она знала этот стих и любила его, но не руководилась им. Вся натура ее была выражением этой мысли, вся жизнь ее была одним этим бессознательным вплетением невидимых роз в жизнь всех людей, с которыми она встречалась...»

Как мы уже видели, Николай Ростов отзывается о сестре: «Наташа уморительна. Чуть дело до рассуждений, у ней своих слов нет,— она так словами Пьера и говорит». Сам Толстой отмечает, что умственным, отвлеченным делам мужа Наташа приписывала огромную важность, не понимая их. Значит ли это, что связь между Наташей и Пьером — исключительно лишь животная, что при телесной близости между ними — полная духовная разъединенность и непонимание?

Освобожденный из плена Пьер рассказывает Наташе Ростовой про свою жизнь в плену.

«Видно было, что *Наташа понимала не только то, что он рассказывал, но и то, что он хотел бы, но не мог выразить словами*... Пьер рассказывал свои похождения так, как он никогда еще не вспоминал их. *Он видел теперь как будто новое значение во всем том, что он пережил.* Теперь, когда он рассказывал все это Наташе, он испытывал то редкое наслаждение, которое дают женщины, слушая мужчину,— не умные женщины, которые, слушая, стараются или запомнить, что им говорят, для того, чтобы обогатить свой ум, или сообщить поскорее свои умные речи, выработанные в своем маленьком умственном хозяйстве; а то наслаждение, которое дают настоящие женщины, одаренные способностью выбирания и всасывания в себя всего лучшего, что только есть в проявлениях мужчины».

Кое-что, значит, Наташа способна понимать в Пьере, и притом так понимать, что и ему самому она дает этим нечто новое. И понимание это не только не исчезает в брачной их жизни, а напротив, растет и углубляется.

Наташа наедине разговаривает с Пьером. «Она разговаривала так, как только разговаривает жена с мужем, то есть *с необыкновенной ясностью и быстротой познавая и сообщая мысли друг друга*, путем, противным всем правилам логики, без посредства суждений, умозаключений и выводов, а совершенно особенным способом. Наташа до такой степени привыкла говорить с мужем этим способом, что вернейшим признаком того, что что-нибудь было неладно между ней и мужем, для нее служил логический ход мыслей Пьера... Этот разговор был противен всем законам логики, противен уж потому, что в одно и то же время говорилось о совершенно различных предметах. Это одновременное обсуждение многого не только не мешало ясности понимания, но, напротив, было вер-

нейшим признаком того, что они вполне понимают друг друга».

Умственных, отвлеченных дел мужа Наташа «не понимает». Но, кажется, ясно теперь, не понимает она не потому, что не способна понять, а потому, что так это мелко и несущественно в сравнении с тем важным и основным, что она понимает!

Воротившись из поездки в Петербург, Пьер рассказывает о положении дел в столице, о тайном обществе, которого Пьер один из главных основателей. «Наташа, в середине разговора вошедшая в комнату, радостно смотрела на мужа. Она не радовалась тому, что он говорил. Это даже не интересовало ее, потому что ей казалось, что все это было чрезвычайно просто, и что она все это давно знала (*ей казалось это потому, что она знала все то, из чего это выходило, всю душу Пьера*); но она радовалась, глядя на его оживленную, восторженную фигуру».

Умственные, отвлеченные дела человека — это и для самого Толстого самое последнее, это только производное, выходящее из чего-то гораздо более глубокого — из души человека. Общность умственного, отвлеченного дела сама по себе, даже «единство идеалов» — для Толстого решительно ничего не говорит; и прямо нелепостью, пошлостью представляется ему эта общность как основа того глубокого, таинственного единения, которое сливает в одно мужской и женский мир двух любящих. Как будто и сам Толстой готов при этом усмехнуться едкою усмешкою Позднышева и сделал его циничное возражение: «Но в таком случае незачем спать вместе (простите за грубость). А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе!»

И ведь действительно: если оба человека занимаются медициной или музыкой, или объединены стремлением к социалистическому идеалу, то какое же это основание для того, чтобы спать вместе?

Совсем другое у Наташи с Пьером. Соприкасаются они не в умственных своих проявлениях, не во внешних склонностях и стремлениях, а в глубочайших основах самых своих сущностей. Для взаимного общения им не нужен громоздкий аппарат «суждений, умозаключений и выводов» — аппарат, которым пользуются люди для общения друг с другом; они разговаривают совсем «особенным способом» — тем, которым только сама с собою разговаривает душа. Они уже не два, а одно. Души слились. И чуждо,

дико-нелепо может тут только прозвучать вопрос Позднышева: «зачем же спать вместе?» Все в одном открыто для другого, нет запретных границ, слияние душевное властно требует слияния телесного. Тайны тела открываются любимому, как и тайны души. Един дух и едина плоть.

И в тесном этом единении непрерывно происходит чрезвычайно тонкое и сложное взаимодействие — характернейшее, так мало отмеченное взаимодействие духовных миров мужчины и женщины. К сожалению, и у Толстого оно отмечено хотя и твердо, но слишком бегло.

«Весьма часто, в минуты раздражения, случалось, что муж с женой спорили, но долго потом после спора Пьер к радости и удивлению своему находил не только в словах, но и в действиях жены свою ту самую мысль, против которой она спорила. И не только он находил ту же мысль, но он находил ее очищенною от всего того, что было лишнего, вызванного увлечением и спором, в выражении мысли Пьера.

После семи лет супружества Пьер чувствовал радостное, твердое сознание того, что он не дурной человек, и чувствовал он это потому, что он видел себя отраженным в своей жене. В себе он чувствовал все хорошее и дурное смешанным и затемнявшим одно другое. Но на жене его отражалось только то, что было истинно-хорошо; все не совсем хорошее было откинуто. И отражение это произошло не путем логической мысли, а другим, таинственным, непосредственным отражением».

Духовные миры мужчины и женщины очень различны. В мире мужском — ум, мысль, творчество. В мире женском — что-то совсем другое.

Княжна Марья спрашивает Пьера про Наташу, невесту князя Андрея:

«— Умна она?

Пьер задумался.

— Я думаю, нет,— сказал он,— а, впрочем, да. *Она не удостоивает быть умной*... Да нет, она обворожительна и больше ничего».

Мир женщины, мир «настоящей женщины» настолько лежит для Толстого вне ума, что его просто трудно даже определить в отношении к уму. «Я думаю, нет... А впрочем, да... Да нет...» «Настоящая женщина» не удостоивает быть умной. И малость ее «умственного хозяйства» для

Толстого ничего не говорит против нее. В ней слишком много есть того, чего подчас так не хватает большому «умственному хозяйству» мужчины. Способность к уму, к мысли, к непосредственному творчеству в женщине далеко не первостепенна. Зато громадна и неисчерпаема чуткость к тому иррациональному, на что в конечном счете опирается и мысль и творчество. Может быть, именно эта чрезмерная чуткость, эта перегруженность иррациональным и делает женщину неспособною к непосредственному творчеству, к воплощению чего-то тонкого и неуловимого во всегда грубые, всегда ограниченные формы жизни. Наташа, например, совершенно не умеет даже писать писем. «Она не умела писать, потому что не могла постигнуть возможности выразить в письме правдиво хоть одну тысячную долю того, что она привыкла выражать голосом, улыбкой и взглядом».

И вот соприкасаются друг с другом два совершенно различных духовных мира. Соединяются не две одинаковые силы, а происходит взаимодействие двух сил качественно различных. Мысль мужская погружается в золотистую, неразличимую тьму женского и в таинственном отражении возвращается оттуда просветленною, углубленною и очищенною. И кто определит — где тут и какова доля работы каждой из сил?

Николай Ростов смеется: «У нее своих слов нет, она так его словами и говорит». Но он ничего не знает о той таинственной лаборатории, из которой вышли эти слова. Пусть они формулированы Пьером, это не значит, что они только его, а не Наташины также.

Ну, а все-таки, ведь сами слова эти были бы у Наташи совсем иные, если бы она была женою другого. Другого? Чьей? Бориса Друбецкого или Анатолия Курагина? Их слова и мысли мертвой шелухой сваливались бы с живой души Наташи. Но если бы она была женою князя Андрея,— да, слова ее были бы иные, совсем так же, как и дети бы были иные. И нам незачем даже гадать, какая доля в творчестве этих иных «слов» *могла бы принадлежать* Наташе. При разборе «Войны и мира» мы увидим, что она творит с душою Андрея, увидим, как она вверх ногами ставит все его миросозерцание. И когда бы он это новое миросозерцание свое формулировал в слова, и Наташа бы повторяла их,— странно бы нам было смеяться над нею. Мы могли бы только сказать: да, дети Наташи от кня-

зя Андрея не были бы похожи на Пьера. Но и в детях от Андрея, как в детях от Пьера, одинаково была бы та же Наташа. То же и со «словами».

X

ЛЮБОВЬ МЕРТВЕЦОВ

Позднышев в «Крейцеровой сонате» говорит: «Любовь — это не шутка, а великое дело». И мы видели: для Толстого это, действительно, великое, серьезное и таинственное дело, дело творческой радости и единения, дело светлого «добывания жизни». Но в холодную пустоту и черный ужас превращается это великое дело, когда подходит к нему мертвец и живое, глубокое таинство превращает в легкое удовольствие жизни.

Вот как полюбил и как любил Иван Ильич в «Смерти Ивана Ильича»: «Прасковья Федоровна была самая привлекательная, умная, блестящая девушка того кружка, в котором вращался Иван Ильич. *В числе других забав и отдохновения от трудов следователя* Иван Ильич установил *игривые, легкие отношения с Прасковьей Федоровной*... Она влюбилась в него. Иван Ильич не имел ясного, определенного намерения жениться, но, когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос. «В самом деле, отчего же и не жениться»,— сказал он себе.

Женился. Этим «он делал *приятное для себя*, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным». Но «очень скоро, не далее, как через год после женитьбы, Иван Ильич понял, что супружеская жизнь, представляя некоторые удобства жизни, в сущности, есть очень сложное и тяжелое дело, по отношению которого, для того, чтобы вести приличную, одобряемую обществом жизнь, нужно выработать определенное отношение. И такое отношение выработал себе Иван Ильич. Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал *веселой приятности* и, если находил ее, был очень благодарен; если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный выгороженный им мир службы и в нем находил приятность».

В таком же роде любовь и Позднышева в «Крейцеровой сонате». Впервые познал он любовь еще пятнадцатилетним мальчиком,— познал голо, грубо, в объятиях проститутки. Женщина превратилась в «сладкое нечто» — во вкусное женское мясо. «Мне хотелось плакать о навеки погубленном отношении к женщине... Я стал тем, что называется **блудником**. А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика... Как пьяницу и морфиниста можно узнать тотчас же по лицу, по приемам, точно так же и **блудника**. Простого, ясного, чистого отношения к женщине у него никогда не будет. По тому, как он взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас же можно узнать блудника. И я стал блудником и остался таким, *и это-то и погубило меня»*.

В свое время Позднышев влюбляется, женится. Все, конечно, происходит очень просто, без всяких этих «радостных ужасов», которые испытываются Наташами и Левиными. «Джерси было ей особенно к лицу, также и локоны. После проведенного в близости с ней дня захотелось еще большей близости». И вот — брак. С одной стороны — мужчина-блудник, у которого горят глаза на женское мясо, с другой — женщина, «или раба на базаре, или привада на капкан».

Ясно заранее, что такое будет между ними любовь.

«Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу, то есть два совершенно чуждых друг другу эгоиста, *желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого»*.

Приятно вкусное женское мясо, когда человек голоден. Но он насытился, а оно все перед глазами, это мясо — назойливое, доступное и ненужное, противное в своей доступности и ненужности. «С братом, с приятелями, с отцом, я помню, я ссорился, но никогда между нами не было той особенной, ядовитой злобы, которая была тут. Рассудок не успевал подделать под постоянно существующую враждебность друг к другу достаточных поводов. Но еще поразительнее была недостаточность предлогов примирения. Иногда бывали слова, объяснения, даже слезы, но иногда... Ох! Гадко и теперь вспомнить,— после самых жестоких слов друг другу вдруг молча взгляды, улыбки, поцелуи,

объятия... Фу, мерзость! Как я мог не видеть всей гадости этого тогда...»

Тогда он этого не видел. И только великое несчастие,— кровь и убийство,— раскрыло глаза живому мертвецу, и он увидел, что он не женским мясом тешился, а все время безумно топтал и убивал бесценную живую жизнь.

«Я удивлялся нашей ненависти друг к другу. А ведь это и не могло быть иначе. Эта ненависть была не что иное, как ненависть взаимная сообщников преступления... Как же не преступление, когда она, бедная, забеременела в первый же месяц, а наша свиная связь продолжалась. Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько! Это я все рассказываю вам, как я убил жену. Дурачье! Думают, что я убил ее тогда, ножом, 5 октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше. Так точно, как они все теперь убивают, все, все...»

И разбита жизнь Позднышева. И в мертвом одиночестве умирает в своей семье Иван Ильич. И не случайно это так. Сурова и огромно-серьезна живая жизнь в своих строго-радостных тайнах. Горе безумцам, которые, гуляючи, входят в ее таинственное святилище, которые ждут от нее «удовольствия» и «легкой приятности». К святотатцам жизни живая жизнь беспощадна. «Виноград их от лозы Содомской и с полей Гоморрских; ягоды их — ягоды ядовитые, грозды их горькие; вино их — яд драконов и гибельная отрава аспидов. *Мне отмщение и Аз воздам*» (Второзак. XXXII, 32—35).

XI
«МНЕ ОТМЩЕНИЕ»

«Мне отмщение и Аз воздам».

Таков эпиграф над «Анной Карениной». «Кому—мне»? Главное,— за что «отмщение»?

Обыкновенно «идея» романа, закрепленная этим эпиграфом, понимается так, как высказывает ее, например, биограф Толстого П. И. Бирюков: «Общая идея романа выражает мысль о непреложности высшего нравственного закона, преступление против которого неминуемо ведет к гибели, но судьей этого преступления и преступника не может быть человек».

Но прежде всего — в чем же преступление Анны? Без любви выданная за человека, много старше ее, она полю-

била другого. Это не легкомысленная светская интрижка, а любовь глубокая, серьезная. После долгой и тяжелой борьбы с собою Анна порывает с мужем и соединяется с любимым человеком.

«— Как из-за меня ты могла пожертвовать всем? Я не могу простить себе то, что ты несчастлива.

— Я несчастлива? — сказала Анна, с восторженною улыбкою любви глядя на Вронского.— Я, как голодный человек, которому дали есть. Может быть, ему холодно, и платье у него разорвано, и стыдно ему, но он не несчастлив. Я несчастлива? Нет, вот мое счастье»...

За это-то преступление «высший нравственный закон» карает Анну — смертью! В нынешнее время мы ко всему привыкли. Но если бы человеческий суд за такое преступление приговорил женщину к смертной казни, то и наши отупевшие души содрогнулись бы от ужаса и негодования.

«Преступление против высшего нравственного закона неминуемо ведет к гибели»... Ведь это же — истина из прописей, фальшивая, как все прописные истины. Вот, например, подруга Анны, развратная княгиня Бетси Тверская. Она живет в связи с Тушкевичем, заигрывает с Облонским, пытается заманить его к себе, чтобы отдаться ему,— и никакой из этого гибели для нее не получается. «Анна думала: почему для других, для Бетси, например, все это было легко, а для нее так мучительно». Не всегда, значит, действие «высшего нравственного закона» так уж *неминуемо*.

Для читателя с живою душою совершенно очевидно, что никакого преступления Анна не совершила. Вина не в ней, а в людском лицемерии, в жестокости закона, налагающего грубую свою руку на внезаконную жизнь чувства. Если бы в обществе было больше уважения к свободной человеческой душе, если бы развод не был у нас обставлен такими трудностями, то Анна не погибла бы... Такой читатель просто пропускает эпиграф романа мимо сознания: слишком ясно,— никакого тут не может быть места для «отмщения».

И однако это не так. Над Анною стоит великий, грозный мститель, неумолимо ведет ее к гибели и говорит: «Мне отмщение и Аз воздам».

Проследим историю Анны.

«Во время губернаторства Каренина тетка Анны, богатая губернская барыня, свела его со своею племянницею и поставила его в такое положение, что он должен был или высказаться, или уехать из города. Алексей Александрович долго колебался. Но тетка Анны внушила ему через знакомого, что он уже компрометировал девушку, и что долг чести обязывает его сделать предложение. Он сделал предложение и отдал невесте и жене все то чувство, на которое был способен». Брак был заключен. Молодая девушка «вышла замуж за человека, который был на двадцать лет старше ее,— вышла замуж без любви или не зная любви».

Без любви протекли и все восемь лет их брачной жизни. «Любит? — с насмешкою думает Анна.— Разве он может любить? Если бы он не слыхал, что бывает любовь, он никогда бы и не употреблял этого слова. Он и не знает, что такое любовь. Они не видят, что я видела. Они не знают, как он восемь лет душил мою жизнь, душил все, что было во мне живого,— что он ни разу не подумал о том, что я живая женщина, которой нужна любовь. Не знают, как на каждом шагу он оскорблял меня и оставался доволен собой».

Так живут они, и лгут друг перед другом, лгут перед собою, и притворяются, будто между ними есть то, что единственно освящает соединение женщины с мужчиною, что претворяет в светлое таинство грубую и низменную видимость. Каренин говорит жене нежные, любовные слова — «тем тоном, который он всегда почти употреблял с ней,— тоном насмешки над тем, кто бы в самом деле так говорил». Когда Анна, возвращаясь из Москвы, увидела на вокзале мужа, «ее поразило чувство недовольства собой, которое она испытывала при встрече с ним. Чувство то было домашнее, знакомое чувство, похожее на состояние притворства, которое она испытывала в отношениях к мужу; но прежде она не замечала этого чувства, теперь она ясно и больно сознавала его». Чуткая в подобных делах Долли при первом же взгляде на жизнь Карениных ощущает «что-то фальшивое во всем складе их семейного быта».

У Анны есть сын Сережа. В него она пытается вложить весь запас женской силы, которым ее наделила природа. Она пытается стать только матерью,— единственное, что для нее осталось. Но мать и жена неразъединимо сли-

ты в женщине. Жажда любви не может быть возмещена материнством. Анна только обманывает себя. «*Роль* матери, живущей для сына,— замечает Толстой,— роль, которую она взяла на себя в последние годы, была *отчасти* искренняя, хотя и много преувеличена».

Подавляемая сознанием, неудовлетворенная потребность любви переполняет все существо Анны, помимо ее воли прорывается наружу. Вронский в первый раз видит ее в вагоне. «В ее коротком взгляде он успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметною улыбкою, изгибавшей ее румяные губы. *Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо*, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке».

Избыток «чего-то». Пресловутый Дионисовский «оргийный избыток» сил. Он чужд широко и свободно живущему существу, но типичен для существа искалеченного,— там, где сдавлена вольная игра сил. Эти силы бушуют в Анне, рвутся из тесноты, и уже чувствуется в них зловещее напряжение, грозящее гибелью и носителю этих сил, и всему, что с ними соприкоснется.

На московском балу, где зарождается любовь Анны к Вронскому, покинутая Кити приглядывается к Анне: «Анна была прелестна в своем черном платье, прелестны были ее полные руки с браслетами, прелестна твердая шея с ниткой жемчуга, прелестно это красивое лицо в своем оживлении, *но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести*».

— Да, *что-то чуждое, бесовское и прелестное* есть в ней,— сказала себе Кити».

Анна сама ужасается на себя, борется, душит бушующие в ней силы. Но как будто высшая воля подхватила ее и несет,— воля того, кто позднее заговорит об «отмщении».

«Неужели они не простят меня, *не поймут, как все это не могло быть иначе?* — думала Анна, с внутренним ужасом глядя на сына.— Пришло время, я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что бог меня сделал такою, что мне нужно любить и жить... Я не могу раскаиваться в том, что я дышу, что я люблю»...

В душе Анны ужас. Но это не светлый, радостный ужас

любви, которым полны, например, полюбившие Левин и Кити. Мрачные страшилища людской жестокости и лицемерия стоят над любовью Анны, давят эту любовь и уродуют. «Я живая, мне нужно любить и жить, все это не могло быть иначе». Анна чувствует это, но полна только презрением к себе и к постыдной своей любви. Встающая перед нею живая жизнь глядит на нее темно и зловеще. «Лицо Анны блестело ярким блеском; но блеск этот был невеселый,— он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи».

И когда совершилось, что неизбежно должно было совершиться, то было это не радостным счастьем, а сугубым ужасом, мукою и позором.

«Бледный, с дрожащей нижней челюстью, Вронский стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чем и чем. Но чем громче он говорил, тем все ниже она опускала свою, когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она все сгибалась и падала с дивана на пол, к его ногам.

— Боже мой! Прости меня! — всхлипывая говорила она, прижимая к своей груди его руки.

Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощения; а в жизни теперь, кроме него, у нее никого не было, так что она и к нему обращала свою мольбу о прощении. Она держала его руки и не шевелилась. Да, эти поцелуи — то, что куплено этим стыдом. Да, и эта рука — рука моего сообщника. Она подняла эту руку и поцеловала ее».

Как будто сама перед собою Анна хочет подчеркнуть свое унижение и свой позор, первая бросить в себя камнем презрения.

«С странным для него выражением холодного отчаяния на лице она рассталась с ним. Она чувствовала, что в эту минуту не могла выразить словами того чувства стыда, радости и ужаса перед этим вступлением в новую жизнь».

Анна стала «любовницей». С вызывающим цинизмом отчаяния она впоследствии сама называет себя так в объяснении с мужем, называет себя так и в разговоре с Вронским. Тайно, скрываясь от мужа, она видается с Вронским. Притворяется перед светом, лжет. Из объятий Вронского переходит в объятия мужа.

Вронский думает про нее:

«— Да, она прежде была несчастлива, но горда и спокойна, а теперь она не может быть спокойна и *достойна*, хотя она и не показывает этого. Да, это нужно кончить!»

Он предлагает ей разорвать с мужем. Но Анна с удивляющею его «поверхностностью и легкостью суждений» упорно отказывается. Вскоре выясняется ее беременность. Вронский снова указывает ей на невозможность «так оставаться». «И ей, которая так боялась, чтоб он не принял легко ее беременность, теперь было *досадно за то, что он из этого выводил необходимость предпринять что-то*».

Толстой объясняет: «главная причина этого было то слово *сын*, которого она не могла выговорить. Когда она думала о сыне и его будущих отношениях к бросившей его отца матери, ей так становилось страшно, что она старалась только успокоить себя лживыми рассуждениями и словами, с тем, чтобы все оставалось по-старому, и чтобы можно было забыть про страшный вопрос, что будет с сыном».

Ложь продолжает тянуться. Все больше любовь как будто покрывается грязными, сальными пятнами. Вронского временами охватывает «странное чувство беспричинного омерзения». Анна вздрагивает от отвращения, чувствуя место на руке, к которому прикоснулись губы мужа. И все-таки она, «со своею сильною, честной натурой», продолжает жить, отдавая на величайшее поругание женскую свою природу.

«Но во сне, когда Анна не имела власти над своими мыслями, ее положение представлялось ей во всей безобразной наготе своей. Одно сновидение почти каждую ночь посещало ее. Ей снилось, что оба вместе были ее мужья, что оба расточали ей свои ласки. Алексей Александрович плакал, целуя ее руки, и говорил: «как хорошо теперь!» И Алексей Вронский был тут же, и он был также ее муж. И она удивлялась тому, что прежде ей казалось это невозможным, объясняла им, смеясь, что это гораздо проще, и что они оба теперь довольны и счастливы. Но это сновидение, как кошмар, давило ее и она просыпалась с ужасом».

В снах этих, с мукою и отчаянием, женщина старалась

соединить в одно любовника и отца своего ребенка,— то, что должно быть и не может не быть одним, но что у нее было два.

Катастрофа разразилась. На скачках под Вронским упала лошадь. Испуг Анны выдал ее. И в объяснении с мужем она заявила, что не может переносить, ненавидит его, что она — «любовница» Вронского.

Сначала Анна радовалась, что теперь, наконец, ее положение выяснится, определится. Но на следующее утро «ей стало страшно за позор, о котором она прежде не думала... Она спрашивала себя, куда она пойдет, когда ее выгонят из дома, и не находила ответа. Ей представлялось, что Вронский не любит ее, что она не может предложить ему себя, и она чувствовала враждебность к нему за это».

Приходит письмо от мужа с его решением: свет не должен ничего знать, они продолжают по-прежнему жить вместе, и с Вронским она должна порвать.

«Анна села к письменному столу и заплакала, всхлипывая и колеблясь всею грудью, как плачут дети. Она плакала о том, что мечта ее об уяснении, определении своего положения разрушена навсегда. Она знала вперед, что все останется по-старому, и даже гораздо хуже, чем по-старому. *Она чувствовала, что то положение в свете, которым она пользовалась,— что это положение дорого ей,* что она не будет в силах променять его на позорное положение женщины, бросившей мужа и сына и соединившейся с любовником, что, сколько бы она ни старалась, не будет сильнее самой себя. *Она никогда не испытает свободы любви, а навсегда останется преступною женой,* под угрозой ежеминутного обличения, *обманывающею мужа для позорной связи с человеком чужим, с которым она не может жить одною жизнью.* Она знала, что это так и будет, и вместе с тем это было так ужасно, что она не могла представить себе даже, чем это кончится. И она плакала, не удерживаясь, как плачут наказанные дети».

Вот что, оказывается, главным образом удерживает Анну от разрыва с мужем! «Положение в свете», а не сын!.. С другой стороны, и для Вронского разрыв этот оказывается вовсе не таким уже желанным. «Он был взят врасплох и в первую минуту, когда она объявила о своем положении

(беременности), сердце ее подсказало ему требование оставить мужа. Он сказал это, но теперь, обдумывая, он видел ясно, что *лучше было бы обойтись без этого*, и вместе с тем, говоря это себе, боялся, не дурно ли это».

Одной дорого ее положение в свете, другому — его свобода... Что же такое для них их любовь? Серьезное, важное и радостное дело жизни,— или только запретное *наслаждение?* Помешали наслаждению,—и остается только плакать, «как плачут наказанные дети»? А ведь когда зарождалась любовь, Анна проникновенно говорила Вронскому: «—Любовь... Это слово для меня слишком много значит, больше гораздо, чем вы можете понять...»

Анна идет на свидание с Вронским.

«Получив письмо мужа, она знала уже в глубине души, что все останется по-старому, что она не в силах будет пренебречь своим положением, бросить сына и соединиться с любовником. Но свидание это все-таки было для нее чрезвычайно важно. Она надеялась, что это свидание изменит их положение и спасет ее. *Если он при этом известии решительно, страстно, без минуты колебания скажет ей: брось все и беги со мной, она бросит сына и уйдет с ним*».

Но у него во время объяснения с Анной мелькает мысль: «лучше не связывать себя».

«Прочтя письмо, он поднял на нее глаза, и во взгляде его не было твердости. Она поняла тотчас же, что он уже сам с собой прежде думал об этом. И она поняла, что последняя надежда ее была обманута».

Словами Вронский продолжает говорить о необходимости разрыва.

«Я надеюсь,— он смутился и покраснел,— что ты позволишь мне устроить и обдумать нашу жизнь. Завтра...

Она не дала договорить ему.

— *А сын?* — воскликнула она.— Ты видишь, что он пишет: надо оставить его, а я не могу и не хочу сделать это».

Вот только когда она вспомнила о сыне! Неужели не ясно, что сын не представлял такой уже неодолимой преграды для их соединения?

Во время этого же свидания Анна говорит:

«— Для меня одно и одно — это твоя любовь. Если она моя, то я чувствую себя так высоко, так твердо, что ничто

не может быть для меня унизительным. Я горда своим положением, потому что... горда тем... горда...— Она не договорила, чем она была горда. Слезы стыда и отчаяния задушили ее голос».

О, если бы Анна действительно была горда!.. Будь она горда, уважай она свою любовь,— и она чувствовала бы себя «высоко и твердо», и понимала бы, что нельзя эту любовь волочить по грязи. Нет, она не горда. А гордости понадобится еще много, очень много.

Анна продолжает жить с мужем. Видается с Вронским вне дома, и муж знает про это. И Анна ждет, придет «что-то», от чего все изменится. Вронский, невольно подчиняясь ей, тоже ожидает «чего-то не зависимого от него, долженствующего разъяснить все затруднения». С негодованием Анна говорит Вронскому о муже:

«Это не человек, это министерская машина. Он не понимает, что я твоя жена, что он чужой, что он лишний...»

Но как же сама-то Анна не понимает, что она не жена Каренина? Как не понимает своей обязанности не ждать, а действовать?

Каренин говорит ей: «— Вы называете жестокостью то, что муж предоставляет жене свободу, давши ей честный кров имени только под условием соблюдения приличий. Это жестокость?

— Это хуже жестокости, это подлость, если вы уже хотите знать! — со взрывом злобы вскрикнула Анна.

— Нет! — закричал он.— Подлость? Если вы хотите употребить это слово, то подлость — бросить мужа, сына для любовника и есть хлеб мужа!

Она нагнула голову. Она чувствовала всю справедливость его слов».

И все-таки остается жить у него! Живет, сама себя презирая, перенося скотские оскорбления от потерявшей регулятор министерской машины. И все менее способной становится она нести свою любовь «достойно», все больше грязнится и отрепывается любовь. Что-то в Анне меняется. Широко и цельно полюбившая женщина вянет, ссыхается. «Анна была совсем не та, какою Вронский видел ее первое время. И нравственно, и физически она изменилась к худшему. Она вся расширела, и в лице ее, в то время как она говорила об актрисе, было злое, искажавшее его выражение. Он смотрел на нее, как смотрит человек на сорванный им и

завядший цветок, в котором он с трудом узнает красоту, за которую он сорвал и погубил его».

Уж ему и ей одновременно является во сне зловещий мужик со взъерошенною бородою, маленький и страшный; он копошится руками в мешке с железом и говорит какие-то непонятные французские слова. В ужасе оба смотрят друг на друга.

«— Какой вздор! Какой вздор! — говорил Вронский, но он сам чувствовал, что не было никакой убедительности в его голосе.

— Но не будем говорить. Позвони, я велю подать чаю... Но вдруг Анна остановилась. Выражение ее лица мгновенно изменилось. Ужас и волнение вдруг заменились выражением тихого, серьезного и блаженного внимания. Он не мог понять значения этой перемены. *Она слышала в себе движение новой жизни*».

Как будто луч ясного света вдруг озаряет тьму, в которой бьется Анна. Зловещие предчувствия, презрение к себе и ужас отступают перед этим пробуждением цельной женщины, перед любовью, вдруг углубившеюся, вдруг ставшею светлой и серьезной, как жизнь.

Тот, в чьих руках воздаяние, смотрит на Анну, колеблет весы и ждет.

Анна родила. Произошла знаменитая встреча мужа и Вронского у ее постели. Анна порывает с мужем и решает уехать с Вронским за границу.

«— Неужели это возможно, чтобы мы были, как муж с женой, одни, своей семьей с тобой? — сказала Анна, близко вглядываясь в его глаза».

Может быть, это еще возможно. Но, во всяком случае, после всего, чем они так унизили и загадили свою любовь, для этого теперь требуется много, очень много силы и «гордости».

Они живут в Италии. Анна чувствует себя «непростительно-счастливою и полною радости жизни». «Разлука с сыном, которого она любила, и та не мучила ее первое время. Девочка, его ребенок, была так мила и так привязала к себе Анну, что Анна редко вспоминала о сыне». Но глубоко в душе воспоминание это непрерывно живет у нее. Они возвращаются в Петербург. «И чем ближе она подъ-

езжала к Петербургу, тем радость и значительность свидания с сыном представлялась ей больше и больше. Ей казалось натурально и просто видеть сына, когда она будет в одном с ним городе». Но оказалось не так. Та «грубая властная и таинственная сила», которая помешала Каренину проявить пробудившиеся в нем человеческие чувства,— сила окоченелых понятий людских о добре и зле,— загораживает Анне дорогу к сыну. Незабываемо мучительна сцена свидания Анны с Сережей, когда ранним утром, подкупив швейцаров и лакеев, Анна, как воровка, пробирается в спальню сына. Она по-детски рыдает и целует мальчика, впивая «милый, сонный запах и теплоту, которые бывают только у детей», и твердит: «милый, милый Кутик!» — и бежит, заслышав шаги Каренина.

Нужна была великая сила и гордость, чтоб выдержать это надругательство над материнским своим чувством и не сломиться. У Анны этой силы не хватило. И вот происходит окончательный перелом на том месте, которое давно уже было надломлено: люди считают ее «потерянной женщиной», заставляют стыдиться перед собственным сыном,— хорошо! Ну да, она — «потерянная женщина». Пусть все смотрят!

Встает Достоевский, упивающийся муками и позором. Встает безвольный Дионис. Пропадает воля к борьбе с ужасами и тьмою жизни, тьма эта неудержимо тянет к себе, как огонь тянет ночную бабочку.

Анна решает ехать в оперу, где будет «весь свет». Вронский тщетно пытается отговорить ее. Она как будто ничего не понимает и удивленно спрашивает:

— Отчего же мне не ехать?

«В блестящих глазах было напряженное внимание, и в речи и в движениях была та нервная быстрота и грация, которые в первое время их сближения так прельщали его, а теперь тревожили и пугали». Анна одета в светлое парижское платье, с открытой грудью и с дорогим кружевом на голове, особенно выгодно выставляющими ее яркую красоту. Вронский думает:

— В этом наряде появиться в театре — значит не только признать свое положение погибшей женщины, но и бросить вызов свету, то есть навсегда отречься от него.

— Как может она не понимать этого, и что с ней делается? — говорил он себе. Он чувствовал, как в одно и то

же время *уважение его к ней уменьшилось, и увеличивалось сознание ее красоты*».

Анна появляется в театре. Сидит, гордая и улыбающаяся, под перекрестным огнем насмешливых взглядов и шепотов. Наконец, дама в соседней ложе громко заявляет, что позорно сидеть рядом с Анной, и уходит из ложи.

«Анна собрала свои последние силы, чтобы выдержать взятую на себя роль». Кто не знал, что происходит, «те любовались спокойствием и красотою этой женщины и не подозревали, что она испытывала чувства человека, выставленного у позорного столба».

Объяснение с Вронским после театра. Слезы, жадное впивание в себя уверений в любви, «которые ему казались так пошлы, что ему совестно было выговаривать их». И, совершенно примиренные, они уехали в деревню.

Но уже совершилось. Огненная рука пишет над Анною: «т е к е л,— ты взвешена на весах и найдена очень легкою». Начинается «отмщение».

Вронские живут в деревне. Долли приезжает проведать их. Она поражена «тою временною красотой, которая только в минуты любви бывает в женщинах, и которую она застала теперь на лице Анны. Все в ней было особенно привлекательно; и, казалось, она сама знала это и радовалась этому».

Анна сообщает Долли, что она непростительно-счастлива, еще раз повторяет, что она счастлива, и при этом с робкою улыбкою вопроса глядит на Долли. У Анны появилась новая привычка — щуриться, и Долли заметила, что щурится она, как только разговор касается задушевных сторон ее жизни.

«— Точно она на свою жизнь щурится, чтоб не все видеть,— подумала Долли».

Они заходят в детскую. Общий дух детской очень не понравился Дарье Александровне. Видно было, что Анна, кормилица, нянька и ребенок не сжились вместе и что посещение матерью было дело необычное.

«— Мне иногда тяжело, что я как лишняя здесь,— сказала Анна, выходя из детской.— Не то было с первым.

— Я думала, напротив,— робко сказала Долли.

— О, нет!»

Анна щурится и обрывает разговор.

За столом Долли замечает, что все хозяйственные заботы по дому лежат на самом Вронском. Анна же, как и все другие присутствующие,— одинаково гости, весело пользующиеся тем, что для них приготовлено. Дарью Александровну неприятно поражает в Анне «какая-то новая черта молодого кокетства». Между Анною и молодыми мужчинами чувствуется в разговоре «тон какой-то игривости». «Это щекотит Алексея»,— позднее объясняет Анна. Дни усиленно заполняются всевозможными удовольствиями, но чувствуется страшная пустота и скука. И ложь. «Долли все казалось, что она играет на театре с лучшими, чем она, актерами, и что ее плохая игра портит все дело».

Оставшись наедине с Долли, Вронский обращается к ней с чрезвычайно странною и неожиданною просьбою: он просит ее помочь ему уговорить Анну... потребовать от мужа развода! «Я пробовал говорить про это Анне. *Это раздражает ее*». А между тем Каренин и раньше был не против развода, и теперь, можно надеяться, не откажет,— стоит только Анне написать ему.

Анна не хочет развода!.. Почему? Ведь казалось бы, как все хорошо устраивается; они поженятся, Анна восстановит свое положение в свете — и будет прекрасный брак, основанный на любви.

Долли заводит с Анною разговор и пытается убедить ее в необходимости развода. Анна возражает «умышленно поверхностным и легкомысленным тоном», приводит странные возражения, указывающие как раз на ложность и тяжесть ее теперешнего положения. Долли говорит:

«— Ну, и самое законное; он хочет, чтоб дети ваши имели имя.

— Какие же дети? — не глядя на Долли и щурясь, сказала Анна.

— Ани и будущие...

— Это он может быть спокоен: у меня не будет больше детей».

Причину этого решения Анна объясняет так:

«— Подумай, у меня выбор из двух: или быть беременною, то есть больною, или быть другом, товарищем своего мужа, все равно мужа... Ты пойми, я не жена; он любит меня до тех пор, пока любит. *И что же, чем же я поддержу его любовь? Вот этим?*

Она вытянула белые руки перед животом».

Долли все время с удивлением возражает:

«— Но ведь для этого-то и нужен развод».

Но Анна не слушает и продолжает приводить свои ничего не опровергающие возражения. Наконец, ссылается на сына.

«— Ведь они мне не отдадут его. Только эти два существа (Вронского и сына) я люблю, и одно исключает другое. Я не могу их соединить, а это мне одно нужно. А если этого нет, то все равно. Все, все равно».

Как все равно? Ложностью их положения одинаково мучаются и она сама, и Вронский. Если ей вправду все равно, то отчего же не согласиться на просьбу Вронского *для него?* А ведь если развода она не попросит, то сына ей тем более не отдадут.

Рана в душе Анны от потери сына, конечно, очень тяжела,—но не смертельна, как она утверждает. В Анне слишком много силы жизни, чтобы погибнуть от такой раны. Настоящей причины своего отказа Анна так и не высказывает.

«— Ты не можешь понимать. *Это слишком ужасно.* Я стараюсь вовсе не смотреть... Ты говоришь,— выйти замуж за Алексея, и что я не думаю об этом... Я не думаю? Нет дня и часа, когда бы я не думала и *не упрекала себя за то, что думаю...* потому что мысли об этом могут с ума свести. Когда я думаю об этом, то я уже не засыпаю без морфина».

Что же она думает такого, что способно свести с ума? За какие мысли она упрекает себя?

По-видимому, Анна уже совершенно ясно понимает то, чего не понимает ни Долли, ни сам Вронский и что сама Анна вскоре выскажет всеми словами: что теперь ни разводом и браком, ни даже отдачею ей сына *ничему не поможешь*. И в наизаконнейшем браке они с Вронским будут теми же любовниками, та же между ними будет *внешняя* любовь, где самым важным остается чувственное наслаждение, красота, «круглые колени» и «выпуклые бедра», та темная арцыбашевщина, которая в самой себе несет гибель, взаимную ненависть и разъединение. Анна чувствует это и бессознательно противится браку; тогда уж нельзя будет себя обманывать, банкротство их любви станет очевидным.

Толстой пишет: «Жизнь, казалось, была такая, какой

лучше желать нельзя: был полный достаток, было здоровье, был ребенок, и у обоих были занятия». Анна много читает по вопросам, занимающим Вронского, является незаменимым помощником в его делах. Все между ними есть. Чего же нет? Вот чего:

«Кити крепче оперлась на руку Левина и прижала ее к себе. Он наедине с нею испытывал теперь, когда мысль о ее беременности ни на минуту не покидала его, то еще новое для него и радостное, совершенно чистое от чувственности наслаждение близости к любимой женщине. Ему хотелось слышать звук ее голоса, изменившегося теперь при беременности. В голосе, как и во взгляде, была мягкость и серьезность, подобная той, которая бывает у людей, постоянно сосредоточенных над одним любимым делом».

Только этого нет между Анной и Вронским. Но в том глубоко серьезном и важном деле жизни, каким для Толстого является любовь, это — все. Мрачною погребальною песнью над умершею женщиною звучит безобразный ответ Анны: «Чем я поддержу его любовь? Вот этим?» И кощунственным поруганием светлого таинства кажется ее циничный жест.

Все быстрее и быстрее Анна катится по откосу вниз. «Как Анна ни старалась, она не могла любить свою девочку, а притворяться в любви она не могла». Всем существом, всею душою Анна уходит в свою хищную, противоестественно-самодовлеющую любовь. Она спрашивает:

«— Для чего ты желаешь развода?

«Боже мой, опять о любви!» — подумал он, морщась.

— Ведь ты знаешь, для чего: для тебя и для детей, которые будут,— сказал он.

— Детей не будет.

— Это очень жалко,— сказал он.

Вопрос о возможности иметь детей был давно спорный и раздражавший ее. Его желание иметь детей она объясняла тем, что он не дорожил ее красотой».

Перед нами совсем другая женщина, чем в начале романа. Не узнаешь прежней Анны, как будто кто-то подменил ее. Когда-то с вызовом отчаяния Анна называла себя «любовницей», шла на признание себя «погибшей женщиной». Теперь она, действительно, становится такою.

«Бессознательно в это последнее время в отношении ко всем молодым мужчинам Анна делала все возможное, чтоб возбудить в них чувство любви к себе». Она старается вскружить голову Левину. Прощаясь, удерживает его за руку и глядит ему в глаза притягивающим взглядом. Сообщает Кити, «очевидно, с дурным намерением», что Левин был у нее и очень ей понравился.

Как два прикованных к одной цепи врага, стоят теперь друг против друга Анна и Вронский. Между ними — «мрачная, тяжелая любовь», ужасающая обоих. «Рядом с любовью, которая связывала их, установился между ними злой дух какой-то борьбы, которого она не могла изгнать ни из его, ни, еще менее, из своего сердца... Она не хотела борьбы, упрекала его за то, что он хотел бороться, но невольно сама становилась в положение борьбы... Какая-то странная сила зла не позволяла ей отдаться своему влечению, как будто условия борьбы не позволяли ей покориться».

Анна решает покончить с собою.

«Смерть, как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилась ей. С наслаждением стала она думать о том, как он будет мучиться, раскаиваться и любить ее память».

Анна едет на вокзал, в поездку, которая кончится ее смертью. Новыми глазами смотрит на все кругом, думает, думает... И вдруг — «она открыла рот и переместилась в коляске от волнения, возбужденного в ней пришедшею ей вдруг мыслью: «Если бы я могла быть чем-нибудь, кроме любовницы, страстно любящей одни его ласки: *но я не могу и не хочу быть ничем другим.* И я этим желанием возбуждаю в нем отвращение, а он во мне злобу, и это не может быть иначе. Разве я не знаю, что он не стал бы обманывать меня, что он не изменит мне? Я все это знаю, но мне от этого не легче... Ну, пусть я придумаю себе то, чего я хочу, чтобы быть счастливой. *Ну, я получу развод и буду женою Вронского. Какое же я придумаю между нами новое чувство?* Возможно ли какое-нибудь,— не счастье уже, а только *не*мучение? Нет и нет! Невозможно! Мы жизнью расходимся, и я делаю его несчастье, и переделать ни его, ни меня нельзя. Все попытки были сделаны, винт свинтился».

И Анна бросается под колеса вагона,— «жестоко-мстительная, торжествующая, свершившая угрозу никому ненужного, но неизгладимого раскаяния»...

«Мне отмщение, и Аз воздам».

Для Толстого живая жизнь не знает ошибок. Она благостна и велика. Ею глубоко заложена в человеке могучая, инстинктивная сила, ведущая его к благу. И горе тому, кто идет против этой силы, кто не повинуется душе своей, как бы это ни было тяжело и трудно. На него неотвратимо падает «отмщение», и он гибнет.

В браке с Карениным Анна была только матерью, а не женою. Без любви она отдавала Каренину то, что светлым и радостно-чистым может быть только при любви, без любви же превращается в грязь, ложь и позор. Живая жизнь этого не терпит. Как будто не зависимая от Анны сила,— она сама это чувствует,— вырывает ее из уродливой ее жизни и ведет навстречу новой любви. Если бы Анна чисто и честно отдалась этой силе, перед нею раскрылась бы новая, цельная жизнь. Но Анна испугалась,— испугалась мелким страхом перед человеческим осуждением, перед потерею своего положения в свете. И глубокое, ясное чувство загрязнилось ложью, превратилось в запретное *наслаждение*, стало мелким и мутным. Анна ушла только в любовь, стала духовно-бездетною «любовницею», как раньше была только матерью. И тщетно пытается она жить своею противоестественною, пустоцветною любовью. Этого живая жизнь также не может терпеть. Поруганная, разорванная надвое, она беспощадно убивает душу Анны.

И здесь нельзя возмущаться, нельзя никого обвинять в жестокости. Здесь можно только молча преклонить голову перед праведностью высшего суда. Если человек не следует таинственно-радостному зову, звучащему в душе, если он робко проходит мимо величайших радостей, уготовленных ему жизнью, то кто же виноват, что он гибнет в мраке и муках? Человек легкомысленно пошел против собственного своего существа,— и великий закон, светлый в самой своей жестокости, говорит:

«Мне отмщение, и Аз воздам».

Сам Толстой, разумеется, не так смотрит на свой ро-

ман. Григорович в своих воспоминаниях рассказывает: однажды, на обеде в редакции «Современника», присутствующие с похвалою отозвались о новом романе Жорж-Занд; молодой Толстой резко объявил себя ее ненавистником и прибавил, что героинь ее романов, если бы они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам.

Такую позорную колесницу Толстой, по-видимому, хотел сделать из своего романа и для Анны. Анна изменила мужу, бросила сына — и сделалась «потерянной женщиной». Никакая новая любовь, никакие разводы не в состоянии снять с нее грязного клейма. Левин, приехавший в гости к Анне, долго раздумывает, хорошо это или дурно. Наконец, «сомнения его были окончательно разрушены. Он знал теперь,— говорит Толстой,— *что этого не надо было делать*». Облонский заговаривает с Карениным о разводе, при этом теряется и чувствует робость. Толстой от себя объясняет: «это был *голос совести, говоривший ему, что дурно то, что он был намерен сделать*». Достойный выход для Анны был только один: принять прощение мужа, задавить отвращение к нему и возвратиться в прежнюю ложь, мрак и узаконенный позор. Анна этого не сделала — и гибнет. Но люди не должны бросать в нее камнями. «Высший нравственный закон» и без того карает ее жестоко.

Для самого Толстого смысл романа как будто сводится к следующему разговору светской старухи, матери Вронского, с Кознышевым:

«— Да, она кончила, как и должна была кончить такая женщина. Даже смерть она выбрала подлую, низкую.

— Не нам судить, графиня,— со вздохом сказал Сергей Иванович».

В отношении Толстого к своему роману замечается та же рассудочная узость и мертвенность, как в его отношении, например, к «Крейцеровой сонате». Каждая строка «Сонаты» кричит о глубоком и легкомысленном поругании человеком серьезного и светлого таинства любви. Сам же Толстой уверен, что показал в «Сонате» как раз противоположное,— что сама любовь есть «унизительное для человека животное состояние», есть его «падение».

Нет, прав, сто раз прав был Сократ, когда говорил:

«ходил я к поэтам и спрашивал у них, что именно они хотели сказать. И чуть ли не все присутствующие лучше могли бы объяснить то, что сделано этими поэтами, чем они сами. Не мудростью могут они творить то, что они творят, а какою-то прирожденною способностью и в исступлении, подобно гадателям и прорицателям».

Чрезвычайно характерно толкование, которое дает «Анне Карениной» Достоевский:

«Во взгляде Толстого на виновность и преступность людей ясно усматривается, что никакой муравейник, никакое торжество «четвертого сословия», никакое уничтожение бедности не спасут человечество от ненормальности, а следственно и от виновности и преступности. Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что *ненормальность и грех исходят из нее самой*, и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны и таинственны, что нет и не может быть еще судей окончательных, а есть тот, который говорит: «Мне отмщение, и Аз воздам». Ему одному лишь известна вся тайна мира сего... Сам судья человеческий должен знать о себе, что весы и мера в руках его будут нелепостью, если сам он не преклонится перед законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному выходу,— к милосердию и любви. А чтоб не погибнуть в отчаянии от непонимания путей и судеб своих, от убеждения в *таинственной и роковой неизбежности зла*, человеку именно указан исход. Он гениально намечен поэтом в сцене смертельной болезни героини, когда преступники и враги вдруг преображаются в существа высшие, в братьев, все простивших друг другу... Но потом, в конце романа, в мрачной и страшной картине падения человеческого духа, когда зло, овладев существом человека, парализует всякую силу сопротивления, всякую охоту борьбы с мраком, падающим на душу и сознательно, излюбленно, со страстью отмщения принимаемым душою вместо света,— в этой картине — столько назидания для судьи человеческого, что, конечно, он воскликнет в страхе и недоумении: «нет, не всегда мне отмщение, и не всегда Аз воздам», и не поставит бесчеловечно в вину мрачно павшему преступнику того,

что он пренебрег указанным вековечно светом исхода и уже сознательно отверг его».

Удивительно, как в отзыве этом отразился сам Достоевский. В мире царит «таинственная и роковая неизбежность зла», «ненормальность и грех исходят из самой души человеческой»... Но ведь у Толстого как раз обратное! Весь роман светится несокрушимою верою в то, что душа человеческая нормальна, свята, что «грех» приходит к ней *снаружи*. Как раз ярко опровергается «убеждение в таинственной и роковой неизбежности зла». Перед «отмщением» Толстой преклоняется не «в страхе и недоумении», не как перед высшею тайною, о которой человек не смеет рассуждать. «Отмщение» для него вполне понятно, законно и неотвратимо: если человек накинет себе на шею петлю и затянет ее, то задохнется он неизбежно.

XII
СМЕРТЬ

Левин, отвергнутый любимою девушкою, встречается со своим неизлечимо-больным братом Николаем.

«Смерть, неизбежный конец всего, в первый раз с неотразимой силой представилась ему... Не нынче, так завтра, не завтра, так через тридцать лет, разве не все равно!.. Все яснее ему становилось, что он забыл, просмотрел в жизни одно маленькое обстоятельство,— то, что придет смерть, и все кончится, что ничего не стоило начинать, и что помочь этому никак нельзя».

«— Мне умирать пора!» — мрачно говорит он знакомым. Мрачно продолжает заниматься хозяйством: «надо же было как-нибудь доживать жизнь, пока не пришла смерть». И мрачно говорит Стиве: «В сущности, ты подумай об этом, ведь весь этот мир наш — это маленькая плесень, которая наросла на крошечной планете. Когда это поймешь ясно, то как-то все делается ничтожно».

Конечно, Левин переживает все это вполне искренно. Но как все это не глубоко, как не страшно! Как мало разъедают его душу эти чисто умственные вопросы!.. Кити снова полюбила его. И со снисходительною улыбкою взрослого над ребенком мы готовы спросить Левина, как спрашивает Стива Облонский:

«— Что ж, не пора умирать?

— Н-н-е-ет! — сказал Левин».

Женившись, Левин после смерти брата опять начинает мучиться вопросом о ничтожности жизни и неизбежности смерти.

«Всю эту весну он был не свой человек и *пережил ужасные минуты.*

Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно, нельзя жить»,— говорил себе Левин.

«И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что *спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться».*

Не правда ли, как ужасно? Не правда ли, как глубоко запустила смерть свои когти в душу Левина? Ему приходится прятать от себя шнурок, чтобы не повеситься! Но как же возможно спрятать что-нибудь самому от себя? Возможно это только тогда, когда спрятавший не хочет найти; а тогда незачем и прятать. Курильщик, когда ему захочется курить, без малейшего труда найдет табак, который он от себя спрятал. А если не найдет, то это не курильщик.

Толстой *уверяет:* «Левин пережил ужасные минуты», «Левин был близок к самоубийству»... Художник требует, чтоб мы поверили ему на слово. Но такая уж странная вещь искусство: когда оно требует от нас, чтоб мы ему верили,— мы именно поэтому и не можем верить.

Десятки страниц Толстой посвящает описанию того, как охотится Левин. Мы там живо чувствуем с Левиным и тайное общение его с собакою, и утренние запахи трав, и проснувшегося на копне ястреба, недовольно глядящего на болото. Здесь же — одна страничка сухих и неубедительных уверений. Мы ничего не чувствуем и безучастно смотрим на «ужасные» мучения Левина.

Достоевский не говорит, что Свидригайлов или Ставрогин были «близки к самоубийству». Дух смерти ощутимо носится над ними, и, когда они вдруг убивают себя, нам кажется: мы давно уже ждали этого. И не нужно Достоевскому говорить, что Ипполит в «Идиоте» переживал «ужасные минуты»: обессмысленный мир въявь превращается перед нами в огромного и отвратительного тарантула, и мы вместе с Ипполитом задыхаемся в кошмарном ужасе. Левин случайно услышал слово «по-божьи» — и

воскрес. Смешно даже представить себе, чтобы голое *слово* способно было воскресить в жизнь Свидригайлова, Ставрогина или Ипполита.

Отчего же это так у Толстого?

Графиня С. А. Толстая рассказывает в своих записках: «Тургенев наивно сознается, что боится страшно холеры. Потом нас было тринадцать за столом, мы шутили о том, на кого падет жребий смерти, и кто ее боится. Тургенев, смеясь, поднял руку и говорит:

— Que celui qui craint la mort lève la main!

Никто не поднял, и только из учтивости Лев Николаевич поднял и сказал:

— Eh bien, moi aussi je ne veux pas mourir».

Толстой с очевидною намеренностью совершенно изменяет смысл вопроса. Тургенев говорит: *«кто боится смерти*, пусть поднимет руку!» Смерти боится все падающее, больное, лишенное силы жизни. Толстой же отвечает: «да, *и я не хочу умирать»*. Умирать не хочет все живое, здоровое и сильное.

Загадка смерти, несомненно, остро интересует Толстого. «Какой в жизни смысл, если существует смерть?» В процессе своих исканий почти все герои Толстого проходят через этот этапный пункт. Но никогда сам художник не застревает на этом пункте, как застряли Тургенев или Достоевский.

Для Достоевского живая жизнь сама по себе совершенно чужда и непонятна, факт смерти уничтожает ее всю целиком. Если нет бессмертия, то жизнь — величайшая бессмыслица; это для него аксиома, против нее нечего даже и спорить. Для стареющего Тургенева весь мир полон веяния неизбежной смерти, душа его непрерывно мечется в безмерном, мистическом ужасе перед призраком смерти.

Никогда этот мистический ужас смерти не ложится прочным гнетом на душу Толстого. Только на мгновение смерть способна смять его душу тем же животным испугом, с каким лошадь шарахается от трупа. Вспомним для примера сцену в «Детстве и отрочестве», где Николенька с воплем ужаса бросается прочь от трупа матери.

Но есть в глубине души художника какое-то прочное бессознательное знание, оно высоко поднимает его над этим минутным ужасом. И из мрачной тайны смерти он выносит лишь одно — торжествующую, светлую тайну жизни.

Смерть, в глазах Толстого, хранит в себе какую-то глубокую тайну. Смерть серьезна и величава. Все, чего она коснется, становится тихо-строгим, прекрасным и значительным — странно-значительным в сравнении с жизнью. В одной из своих статей Толстой пишет: «все покойники хороши». И в «Смерти Ивана Ильича» он рассказывает: «Как у всех мертвецов, лицо Ивана Ильича было красивее, главное,— значительнее, чем оно было у живого».

Стоит смерть в своей величавой, таинственной серьезности; а перед нею в мелком испуге мечется цепляющийся за жизнь человек. Умирает в рассказе «Три смерти» барыня. Вся она полна ужаса перед надвигающейся смертью, вся полна одною собою и своею тяжбою со смертью. Ее возмущает, что муж, зная о ее состоянии, способен есть. Даже детей своих она не хочет видеть перед смертью: «это расстроит ее». Все вокруг чувствуют себя под ее взглядами как бы виноватыми в том, что живут. Умирает она, *она*,— ведь этим опровергается вся жизнь, разрушается весь мир. Как же у людей хватает совести жить и думать о жизни перед лицом совершающейся величайшей мировой катастрофы?

Барыня в гробу. Дьячок читает над нею псалтырь:

«Сокроешь лицо твое,— смущаются. Возьмешь от них дух,— умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой,— созидаются и обновляют лицо земли. Да будет господу слава во веки».

«Лицо усопшей было строго и величаво. Ни в чистом, холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание. *Но понимала ли она хоть теперь великие слова эти?*»

В ямской избе в это время умирает больной ямщик дядя-Федор. Умирает спокойно и как будто просто — до того просто, что ужасом трогает душу эта необычайная простота. Ямщик Серега просит больного отдать ему свои сапоги и просьбою этою ясно обнаруживает уверенность, что самому Федору их уже не носить. Кухарка подхватывает:

«— Где ему сапоги надобны? В новых сапогах хоронить не станут».

И больной не пугается, как барыня, упоминания о смерти, умоляюще и вопросительно не смотрит кругом. Как будто совсем не о его смерти идет речь. Он спокойно от-

дает сапоги, под условием, чтоб Серега поставил на его могиле камень. Спокойно говорит кухарке:

«— Ты на меня не серчай, Настасья: скоро опростаю угол-то твой».

Умирает покорно, тихо и неслышно. В народе про такую смерть говорят: «умер, как трава отцвела».

Но барыня про эту смерть сказала бы: «мужицкая тупость и грубость духа, отсутствие тонких чувств».

Через месяц ямщик Серега идет на заре в рощу срубить ясень на крест умершему дяде-Федору.

«Топор низом звучал глуше и глуше. Дерево погнулось, послышался треск его в стволе, и, ломая сучья, оно рухнулось макушей на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли... Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями. Первые лучи солнца пробежали по земле и небу. Роса, блестя, заиграла на зелени. Сочные листья радостно и спокойно шептались на верхушках, и ветви живых дерев медленно, величаво зашевелились над мертвым поникшим деревом».

Дерево умерло. Но пред нами не ужас, не опровержение жизни, а светлое таинство «созидания и обновления лица земли». Живые деревья еще радостнее красуются на новом просторе, сочные листья радостно шепчутся, ветви шевелятся величаво... «Возьмешь от них дух,— умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой,— созидаются и обновляют лицо земли». Понял ли бы дядя-Федор, умирая, великие слова эти? *Слов*, конечно, не понял бы, и текста растолковать не сумел бы. Но весь он был полон тем же настроением, которое создало и эти слова. Тайными, неуловимыми для сознания путями душа его слита с общею жизнью, жизнь свою он ощущает, как частицу этой единой жизни. И с высоты ощущаемого единства далеко внизу кажется собственная смерть, она теряет свои огромные заслоняющие жизнь очертания, перестает быть мировой катастрофой. И не тупость в этом, не грубость духа, а такая тонкость и глубина жизнеощущения, которой барыне даже не понять.

В «Воскресении» Толстой рассказывает про революционера Набатова, крестьянина по происхождению: «В религиозном отношении он был типичным крестьянином; никогда не думал о метафизических вопросах, о начале всех начал. О будущей жизни он тоже никогда не думал, в глубине души неся то унаследованное им от предков

твердое, спокойное убеждение, общее всем земледельцам, что, как в мире животных и растений ничто не кончается, а постоянно переделывается от одной формы в другую,— навоз в зерно, зерно в курицу, головастик в лягушку, желудь в дуб,— так и человек не уничтожается, но только изменяется. Он верил в это, и потому бодро и даже весело всегда смотрел в глаза смерти и твердо переносил страдания, которые ведут к ней».

Что это? Утешительная уверенность в незыблемости законов сохранения материи или энергии? Я умру, а закон сохранения энергии будет существовать вечно. Я умру, но не уничтожусь, а превращусь... в навоз, на навозе же пышно распустится базаровский «лопух». Какое же это утешение? Как с такою «верою» возможно «бодро и даже весело смотреть в глаза смерти»?

Так возражают сыны Достоевского. У самого Достоевского «смешной человек», собираясь застрелиться, пишет: «Жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере, для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, весь этот мир и все эти люди — я-то сам один и есть». Людям с подобным жизнеощущением никогда не понять Толстого. Нет в отъединенной душе их живого чувствования мира, связи с жизнью оборваны. Только издалека мир отражается в душе, как в холодном зеркале. Разбилось зеркало,— и где мир? Его нет. Совершилась мировая катастрофа. Какое там еще «созидание и обновление лица земли»! Просто, школьные законы физики. Вздор все это. Одним только можно предотвратить мировую катастрофу — сохранением навеки моего личного «я». И одним только можно уничтожить идущий от смерти ужас — уничтожением самой смерти.

Тенеромо вспоминает, как раннею весною он работал с Толстым в его саду. Они присели отдохнуть на межу у дороги.

«— Нет, вы прислушайтесь,— сказал Лев Николаевич,— прислушайтесь к этой немолчной работе жизни, какая здесь идет во всех углах и впадинах... Мне кажется, будто я сижу и чувствую движение соков, как они тянутся тонкими струйками по мочкам и корням к стволу, ветвям и почкам. Я чувствую, как земля внизу, оттаивая, шлет свои пары кверху, и дышит, и вздыхает, как вздыхает че-

ловек после долгого, тяжелого сна. Это не метафора, не уподобление, а так оно и есть. Земля живет несомненною, живою, теплою жизнью, как и все мы, взятые от земли».

Если мы поймем, если душою почувствуем это жизнеощущение, то мы поймем также, почему Набатов способен «бодро и даже весело всегда смотреть в глаза смерти». Уж конечно, дело тут не в законе сохранения энергии и не в умственных каких-либо убеждениях. Тесно со всех сторон душа охвачена жизнью, жизнь как будто непрерывно переливается из души в мир и из мира в душу. Ушла жизнь из души,— и как будто сама душа вместе с нею растворилась в жизни мира. «И ты,— как выражается Марк Аврелий,— ты легко оторвешься от жизни, как созревший плод с дерева, благословляя ветвь, на которой висел».

Толстой рассказывает про Платона Каратаева:

«Жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла, как отдельная жизнь. Она имела смысл только, как частица целого, которое он постоянно чувствовал». Больной и слабый, Каратаев сидит в своей шинельке, прислонившись к березе. Идти он не может. И он знает, что французы сейчас его пристрелят. «В лице Каратаева, кроме выражения вчерашнего радостного умиления, светилось еще выражение тихой торжественности».

Если есть в душе жизнь, если есть в ней, в той или другой форме, живое ощущение связи с общею жизнью, то странная перемена происходит в смерти, и рассеивается окутывающий ее ужас.

В Севастополе умирает раненый поручик Козельцов.

«— Что, я умру?—спросил Козельцов у священника, когда он подошел к нему.

Священник, не отвечая, прочел молитву и подал крест раненому.

Смерть не испугала Козельцова. Он взял слабыми руками крест, прижал его к губам и заплакал.

— Что, выбиты французы?

— Везде победа за нами осталась,— отвечал священник.

— Слава богу,— проговорил раненый, не чувствуя, как слезы текли по его щекам. Мысль о брате мелькнула на мгновение в его голове.—«Дай бог ему такое же счастье»,—подумал он».

Однажды Конфуция спросили: «Как надо служить духам, и что такое смерть?» Мудрец ответил: «Когда не умеют служить людям, то где же уметь служить духам. *Когда еще не знают, что такое жизнь, то где же знать, что такое смерть»*. Удивительная мысль эта близка и родна душе Толстого. Разрешения загадки смерти он все время ищет в разрешении загадки жизни.

Под влиянием смерти брата «Левин ужаснулся не столько смерти, сколько жизни, без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что он такое».

Устрашающе-властно ставит перед нами смерть загадку жизни в «Смерти Ивана Ильича».

XIII
MEMENTO VIVERE!

Иван Ильич умер. «Прошедшая история жизни Ивана Ильича,—говорит Толстой,—была самая простая и обыкновенная и самая ужасная».

В продолжение всей своей жизни он был умным, живым, приятным и приличным человеком. Всегда строго исполнял свой долг, долгом же считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Везде он умел устраивать себе «легкое и приятное положение»; не уставая, «приятно и прилично веселился»; строго следил за тем, чтобы у него все было, «как у других». Легко и приятно он женится на приятной девице.

Страшною своею кистью Толстой ярко рисует жизнь этого двигающегося трупа. Самого слабого биения жизни нет ни в самом Иване Ильиче, ни вокруг него. Все, чего он коснется, омертвевает, все превращается в ложь, пошлость и самодовольную обыденщину.

И вдруг перед ним встает смерть. «Нельзя было обманывать себя: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичем, совершалось в нем». Что бы он теперь ни делал,—«вдруг боль в боку начинала свое сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и она приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: *неужели только она правда?*»

А кругом прежняя ложь и пошлость. Чуждая жена. Она уговаривает Ивана Ильича съездить к знаменитому доктору, принять новое лекарство, просит сделать это *для нее*, давая понять, что это делается для него, тогда как в действительности она это делает для себя. Красавица-дочь. Она спешит в театр и с усилием присаживается на стул, чтобы послушать «эту скуку»,—мнение доктора о болезни отца. Важные и приличные сослуживцы. «Ивану Ильичу хотелось, чтобы его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей... Вместо этого Иван Ильич делает серьезное, строгое, глубокомысленное лицо и по инерции говорит свое мнение о значении кассационного решения и упорно настаивает на нем».

«Главное мучение Ивана Ильича была ложь,—та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали и он знал, и хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения. *Ложь, ложь, эта совершаемая над ним накануне его смерти ложь, долженствующая низвести этот страшный, торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду... была ужасно мучительна для Ивана Ильича...* Он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положения».

А смерть наваливается все плотнее. Ивану Ильичу кажется, что его с болью суют куда-то в узкий и глубокий черный мешок, и все дальше просовывают и не могут просунуть. Он плачет детскими слезами о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости бога, об отсутствии бога.

«Может быть, я жил не так, как должно?—приходило ему вдруг в голову. Но он тотчас же отгонял от себя это *единственное разрешение всей загадки жизни и смерти*, как что-то совершенно невозможное.

Чего же ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: «суд идет»? Суд идет, идет суд. Вот он — суд. Да я же не виноват! — воскликнул он со злобой. За что? И он перестал плакать, и, повернувшись лицом к стене, стал думать все об одном и том же: *зачем, за что весь этот ужас?*

Но сколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила мысль о том, что все это происходит от того, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль».

Но однажды ночью ему вдруг приходит в голову: «а что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была не то?»

«Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя,— что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то.

Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь, все то, чем он жил, и ясно увидел, что все это было не то, все это был *ужасный, огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть*. Это сознание увеличило, удесятерило его физические страдания».

Умирающий живой мертвец мечется в муках и вопит: «Суд идет! Вот он суд... зачем, за что весь этот ужас?»

И ясен ответ того, кто раз уже сказал: «Мне отмщение, и Аз воздам».

Ивана Ильича ужасает совершаемая над ним ложь. Ложь эта низводит страшный, торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду. Но что же такое была вся его жизнь? — Эти же самые визиты, гардины и осетрины к обеду. К ним он свел великий и торжественный *акт жизни*.

Перед нами раскрывается загадка смерти. «Неужели только о н а правда?» — спрашивает Иван Ильич. Да, перед его жизнью правда — одна смерть, всегда величавая, глубокая и серьезная. Но в обманный призрак превращается смерть, когда перед нею встанет подлинная жизнь, достойная померяться с нею в глубине и величавой своей серьезности.

И так огромна, так всепобеждающа для Толстого сила этой подлинной жизни, что стоит только почувствовать ее хоть на миг, только прикоснуться к ней просветленным своим сознанием,—и смерть исчезает.

Три дня Иван Ильич кричит на разные интонации: «у! уу! у!» Он начал кричать: «не хочу!» и так продолжал кричать на букву «у». Крик этот был так ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его.

«Он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая, непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись... Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавила ему дыхание, он провалился в дыру, и там в конце дыры засветилось что-то... И ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, *но что это можно еще поправить*. Он спросил себя: что же «то»? и затих, прислушиваясь.

— Смерть?.. Где она?

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет.

— Так вот что! — вдруг вслух проговорил он.— Какая радость!

Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стали клокотание и хрипение.

— Кончено! — сказал кто-то над ним.

Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. *«Кончена смерть,— сказал он себе.— Ее нет больше»*.

Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер».

Так кончается этот удивительный рассказ — торжественный гимн во славу великой, все просветляющей жизни.

И замечательно вот что. «Смерть Ивана Ильича» написана в середине восьмидесятых годов, когда написано было большинство народных рассказов и повесть из времен древних христиан «Ходите в свете, пока есть свет». В этот период Толстой-проповедник с пуритански-суровым и холодным осуждением относился к живой жизни с ее блеском и радостью, с наибольшею настойчивостью втискивал ее в узкие рамки «добра». Но «Смерть Ивана Ильича» писалась не для поучения, как упомянутые рассказы, а свободно вылилась из свободной души художника. Для Толстого же художника жизнь есть нечто гораздо более широкое, чем добро, и есть единственное прочное основание самого добра.

«Чем дальше назад,— думает Иван Ильич,— *то больше было жизни. Больше было и добра в жизни, и больше было самой жизни. И то, и другое сливалось вместе».* Когда он вспоминает то, «с чем можно было бы жить, если бы оно вернулось»,— перед ним встает не специально «добро», а именно жизнь во всем ее глубоком и живом разнообразии. «Поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим», рядом же с этим,— конечно, прежде всего детство, так высоко стоящее для Толстого за бьющее через край, пенящееся сознание жизни. В училище у Ивана Ильича тоже было «коечто истинно-хорошее: *веселье, дружба, надежды».* В дальнейшей жизни — *«любовь к женщине»...* Даже любовь к приятной девице Прасковье Федоровне — и в ней, оказывается, было зерно чего-то истинно-хорошего!

Также и напоминанием Ивану Ильичу об «истинно-хорошей жизни» является не благочестивый какой-нибудь старец из народного рассказа, не доброжелательный юноша Памфилий — ходячий труп, набальзамированный ароматами всех христианских добродетелей. Живым напоминанием о жизни перед Иваном Ильичем стоит обыкновеннейший буфетный мужик Герасим. У него ловкие, сильные руки, улыбка оскаливает белые, сплошные мужицкие зубы. На лице сияет «радость жизни», и он старается сдерживать ее, чтобы не оскорбить ею умирающего. Вся сила Герасима — в этой радости жизни, в живом соприкосновении со всем окружающим, в отсутствии лжи, в глубоко-серьезной и простой значительности жизни перед такою же серьезною и простою значительностью смерти. В нем есть то же бессознательное знание, что в Агафье Михайловне и Кити, ухаживающих за Николаем Левиным,— знание, которое Константин Левин так неудачно объясняет откровением христианства. Как те две женщины, Герасим тоже «несомненно знает, что такое жизнь и что такое смерть».

«— Божья воля. Все там будем,— улыбаясь, говорит он».

Легко, охотно и просто он ухаживает за Иваном Ильичем, выносит судно, сидит целыми ночами, держа на плечах ноги Ивана Ильича. «И Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Один Герасим не лгал; по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать это, и просто жалел исчахшего слабого

барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его:

«Все умирать будем. Отчего же не потрудиться?»

Светлое, неуловимое и неопределимое «что-то», чем пронизана живая жизнь, мягким своим светом озаряет темную смерть, смерть светлеет, и исчезает ее извечная противоположность жизни. «Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях оскорбляли Ивана Ильича; сила и бодрость жизни Герасима не огорчали, а успокаивали его».

В предисловии к отрывкам из дневника Амиеля Толстой, горячо восхваляя этот дневник, пишет: «В продолжении всех тридцати лет своего дневника Амиель чувствует то, что мы все так старательно забываем,— то, что *мы все приговорены к смерти, и казнь наша только отсрочена*».

Толстой-проповедник все время весьма озабочен тем, чтобы побольше напугать нас смертью, чтобы мы ходили в жизни, как приговоренные к смертной казни. Помни о смерти! Помни о смерти! Если ты всегда будешь помнить о ней, тебе будет легко и радостно «жить по-божьи». А жить по-божьи значит — *«отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым»* («Исповедь»). Отсекай от себя жизнь, умерщвляй ее, и смерть перестанет быть страшной. Смерть попирается смертью.

Но, слава богу, кроме Амиеля и проповедника Толстого, мы имеем еще Толстого-художника. И одно слово этого художника тяжелее и полноценнее, чем многие томы тех двух писателей. Художник же этот говорит:

Не смертью попирается смерть, а жизнью. Не то помни, что нужно умирать, а помни, что нужно жить. Если есть жизнь, то «кончена смерть, ее нет больше».

XIV

«БУДЬ ВСЯК САМ СЕБЕ»

Подпольный человек Достоевского пишет: «С чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непремен-

но благоразумно-выгодного хотения? Человеку надо — одного только **самостоятельного** хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела».

Мы достаточно видели, что к *добродетельному хотению* резко отрицательно относится и художник Толстой. Добродетельное хотение — это смерть для души. Выбившись из-под власти добродетельного хотения, Оленин пишет: «Я был мертв, а теперь только я живу!» И Кити в волнении восклицает: «Ах, как глупо, как гадко!.. Нет, теперь уже я не поддамся на это! Быть дурною, но по крайней мере не лживою, не обманщицей! Пускай они живут, как хотят, и я, как хочу. Я не могу быть другою!» И так все.

Будь свободен, будь самим собою,— одинаково говорят и Достоевский и Толстой. Но мы уже знаем, к чему ведет свобода у Достоевского. Дать душе проявляться свободно — это значит выпустить на простор чудовищные, хаотические силы, клокочущие в недрах души. Они вырвутся вулканическими взрывами, сшибутся, завьются вихрями и в клочья разнесут бессильную душу, посмевшую вызвать их из глубин. И с ужасом, с отчаянием убедится человек, что свобода, которой он так страстно желает, не для него, что «не в силах слабая человеческая душа вместить столь страшного дара». «Никогда,— говорит Великий Инквизитор,— ничего и никогда не было для человека невыносимее свободы!»

То самое, что перед Достоевским стоит мрачною, неразрешимою, безысходно-трагическою задачею, для Толстого есть светлая, радостная заповедь. И это потому, что для него душа человека — не клокочущий вулкан, полный бесплодными взрывами огня, пепла и грязи, а благородная, плодородная целина, только сверху засоренная мусором жизни. Действительно из недр идущее, действительно *самостоятельное* хотение человека только и может заключаться в стремлении сбросить со своей души этот чуждый ей, наносный мусор.

«Тогда Нехлюдов был честный, самоотверженный юноша, готовый отдать себя на всякое доброе дело; теперь он был развращенный, утонченный эгоист, любящий только свое наслаждение. Тогда мир божий представлялся ему тайной, которую он радостно и восторженно старался разгадывать; теперь в этой жизни все было просто и ясно

и определялось теми условиями жизни, в которых он находился... И вся эта страшная перемена совершилась с ним *только оттого, что он перестал верить себе, а стал верить другим*».

В Сибири, при переезде на пароме через реку, князь Нехлюдов знакомится со стариком-бродягой.

«— Никакой веры у меня нет. Потому никому я, никому не верю, окроме себе,— быстро и решительно сказал старик.

— Да как же себе верить? — сказал Нехлюдов.— Можно ошибиться.

— Ни в жизнь,— тряхнув головой, решительно отвечал старик.

— Так отчего же разные веры есть? — спросил Нехлюдов.

— Оттого и разные веры, что *людям верят, а себе не верят*. И я людям верил и блудил, как в тайге; так заплутался, что не чаял выбраться... Значит, верь всяк своему духу, и вот будут все соединены. *Будь всяк сам себе, и все будут за едино*».

Быть самим собою, отыскать в глубине своей самого себя,— в этом вся жизненная задача человека. Но, конечно, для Толстого смысл этой задачи совсем не тот, что, например, для Макса Штирнера. Штирнер пишет: «Во всякий момент мы бываем всем, чем мы быть можем, и не должны быть чем-то бóльшим». Для Толстого мы очень редко бываем «всем, чем мы быть можем», а можем мы быть чем-то гораздо большим, чем мы есть. Жизнь — это нечто более трудное, чем думает человек. Более трудное,— но также более глубокое и более ценное. Добрые гении светлым сонмом окружают человека и шепчут ему внятные, радостные призывы. Чутко вслушиваться в них, смело следовать им — и жизнь засияет чудесным, неслыханно-ярким светом. «Иго мое благо, и бремя мое легко».

Но опять и опять следует подчеркнуть: голоса эти призывают *не к добру*. К живой жизни они зовут, к полному, целостному обнаружению жизни, и обнаружение это довлеет само себе, в самом себе несет свою цель,— оно *бесцельно*. Из живой же жизни,— именно потому, что она—живая жизнь,— само собою родится благо, сама собою встает цель. «Каждая личность,— говорит Толстой в «Войне и мире»,— носит в самой себе свои цели и между тем носит

их для того, чтобы служить недоступным человеку целям общим».

Цели эти настолько недоступны человеку, что даже само добро, истинное добро, бывает результатом его деятельности только тогда, когда человек не ставит себе добро целью.

Николай Ростов хозяйничает в деревне. «Когда жена говорила ему о заслуге, состоящей в том, что он делает добро своим подданным, он сердился и отвечал: «Вот уж нисколько; для их блага вот чего не сделаю. Все это поэзия и бабьи сказки — все это благо ближнего». *И должно быть, потому, что Николай не позволял себе мысли о том, что он делает что-нибудь для других. для добродетели, все, что он делал, было плодотворно»*.

То же и с Левиным. «Прежде, когда он старался сделать что-нибудь такое, что сделало бы добро для всех, для человечества, он замечал, что мысли об этом были приятны, но самая деятельность всегда бывала нескладная; теперь же, *когда он стал более и более ограничиваться жизнью для* себя, он *чувствовал уверенность, что дело его необходимо и* что *оно все становится больше и больше»*.

Живи для себя, не думай о других и о добродетели,— и дело твое будет плодотворно, будет необходимо для жизни... Это значит: не нужно, чтоб тебя механически вело узкое, намеренное добро,— оно только сушит, обесцвечивает душу, и потому ничего не дает для жизни. Задача твоя: органически развивать себя из самого себя, проявлять ту радостную, широкую, безнамеренную жизнь, которую заложила природа в тебе, как и во всех живых существах. Только живи подлинною своею сущностью, и само собою придет единение с миром, придет добро. Об этом уж без нас позаботится природа, благая и мудрая, которую не нам учить и не нам направлять.

XV

ПРИРОДА

Во время той же беседы, о которой я рассказывал, Толстой заговорил о присланной ему Мечниковым книге его «Essai de la philosophie optimiste». С негодованием и насмешкой он говорил о книге, о «невежестве», проявляемом в ней Мечниковым.

«— Он, профессор Мечников, хочет... исправлять природу! Он лучше природы знает, что нам нужно и что не нужно!.. У китайцев есть слово — «шу». Это значит — *уважение*. Уважение не к кому-нибудь, не за что-нибудь, а *просто* уважение, уважение ко всему за все. Уважение вот к этому лопуху у частокола за то, что он растет, к облачку на небе, к этой грязной, с водою в колеях, дороге... Когда мы, наконец, научимся этому уважению к жизни?»

Природы с ее колебанием и противоборством разноречивых устремлений, с дисгармоническою несогласованностью и болезненными уклонениями ее инстинктов,— такой природы для Толстого не существует. Она всегда блага, всегда божественно-мудра,— тою глубокою мудростью, которой ум человеческий не должен дерзать даже касаться. Исправлять природу, пытаться направить ее по своему человеческому разумению — это для Толстого такое же смешное безумие, как если бы человек, желая улучшить форму цветка, стал выверты'вать его из бутона и по своему вкусу обрезывать лепестки.

Отсюда — резкое и решительное отрицание, например, медицины. Доктора запретили жене Позднышева кормить ее ребенка. Для них это легко, просто и понятно: кормление истощает женщину,— не нужно кормить. Но они не видят, что этим они разрушают целый сложный, чудесный мир, в котором жизненно-неразрывно все связано одно с другим. «В это самое время ее свободы от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее это женское кокетство... Я особенно ревновал в это время, во-первых, потому, что жена испытывала то свойственное матери беспокойство, которое должно вызывать беспричинное нарушение правильного хода жизни; во-вторых, потому, что, увидав, как она легко отбросила нравственную обязанность матери, я справедливо, хотя и бессознательно, заключил, что ей так же легко будет отбросить и супружескую».

Смешны и нелепы старания врачей устанавливать правила, как жить человеку, как есть, спать, как выхаживать детей. Глубоко и прочно все нужные правила заложены в человеке самою природою; только к ней нужно прислушиваться, к ее блаженному, непогрешимому голосу, а не к выведенным из ума, бесконечно-разнообразным и постоянно

сменяющимся правилам докторов. «Кормить так, тем; нет, не так, не тем, а вот этак; одевать, поить, купать, класть спать, гулять, воздух,—на все это мы с женой узнавали всякую неделю новые правила. Точно со вчерашнего дня начали рожать детей».

Подобное же отношение вызывает к себе со стороны Толстого и наше обычное воспитание. Оно до глубины души возмущает его «недостатком уважения к человеческой природе».

«Воспитание, как умышленное формирование людей по известным образцам, *не плодотворно, не законно, не возможно*,— говорит Толстой.— Воспитание портит, а не исправляет людей. Чем больше испорчен ребенок, тем меньше нужно его воспитывать, тем больше нужно ему свободы».

«Но ведь дети не всегда знают, что им нужно, дети ошибаются и т. д., слышу я. Я не вхожу в такой спор. Этот спор привел бы нас к вопросу: права ли перед судом человека природа человека? и проч. Я этого не знаю и на это поприще не становлюсь».

Толстой это знает, и знает совершенно определенно. Для него тут даже вопроса не будет. Конечно и конечно, природа права!

«Не бойтесь: человеку ничто человеческое не вредно,— пишет он.— Вы сомневаетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманет вас. Поверьте его природе».

Мудро, любовно и нежно ведет человека природа по его жизненной стезе. И даже в самых, казалось бы, ужасных, в самых жестоких своих проявлениях она все та же — по-всегдашнему мудрая, благая и великодушная.

Старая графиня Ростова, при вести о смерти сына Пети, сходит с ума. «В бессильной борьбе с действительностью, мать, отказываясь верить в то, что она могла жить, когда был убит цветущий жизнью ее любимый мальчик, *спасалась от действительности в мире безумия*».

Умирает Николай Левин. Он страстно и жадно цепляется за уходящую жизнь, в безмерном ужасе косится на надвигающуюся смерть. Дикими, испуганными глазами смотрит на брата: «Ох, не люблю я тот свет! Не люблю». На лице его — «строгое, укоризненное выражение зависти

умирающего к живому». Умирать с таким чувством — ужаснее всяких страданий. И благая природа приходит на помощь.

«*Страдания, равномерно увеличиваясь, делали свое дело и приготовляли его к смерти*... Вся жизнь его сливалась в одно чувство страдания и желания избавиться от него. В нем, очевидно, совершался *тот переворот, который должен был заставить его смотреть на смерть, как на удовлетворение его желаний, как на счастие*».

Замечательно,— и навряд ли это случайность: страдания предсмертные выпадают у Толстого как раз на долю людей, боящихся смерти, не могущих оторваться от жизни. Мы видели это и на Иване Ильиче, как в конце его мук вдруг исчезает страх смерти, и вместо смерти является свет. Видим мы это и на Андрее Болконском. Холодным, укоризненным взглядом он встречает приехавшую сестру, и взгляд этот говорит: «Ты виновата в том, что живешь и думаешь о живом, а я!..» И вот с ним случается то, о чем Наташа говорит: «два дня назад вдруг э т о сделалось с ним». Сделалось это,— и все для князя Андрея изменилось: «он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной, и странной легкости бытия».

XVI

ИСТОРИЯ ДВУХ БЕСКОНЕЧНОСТЕЙ

1) Бесконечность и князь Андрей

В аустерлицком бою князь Андрей бежит со знаменем впереди батальона на выручку русской батареи и падает, раненный в голову.

«Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего, кроме неба,— высокого неба, неясного, но все-таки неизмеримо высокого с тихо ползущими по нему серыми облаками.

«Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал», подумал князь Андрей: «не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу. Как же я не видал

прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. *Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба.* Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того *даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава богу!..»*

Едет мимо Наполеон, смотрит на него,— и любимый герой кажется князю Андрею ничтожным и мелким «в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял».

«Да и все казалось так бесполезно и ничтожно в сравнении с тем строгим и величественным строем мысли, который вызывали в нем *ослабление сил от истекшей крови, страдание и близкое ожидание смерти.* Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, *о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих...* Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего».

Рядом и как будто в противоречие с этим Андрей радуется тому, что над ним остановились люди. «Он желал только, чтобы эти люди помогли ему и возвратили его к жизни, которая казалась ему столь прекрасною, потому что он так иначе понимал ее теперь».

Его возвратили к жизни. Он приезжает домой к отцу,— «бледный и худой, с измененным, *странно-смягченным, но тревожным выражением лица».* Как раз в это время родит его жена, маленькая княгиня Lise. От родов она умирает, и на лице ее застывает жалкое, испуганное выражение: «ах, что и за что вы это со мной сделали?».

Князь Андрей живет в деревне. На аустерлицком поле жизнь ему «показалась прекрасною»; под влиянием вечного неба он «так иначе понимал ее теперь». Но приехавший к Андрею в деревню Пьер удивленно смотрит на своего друга: «Слова были ласковы, улыбка была на губах, *но взгляд был потухший, мертвый, которому, несмотря на видимое желание, князь Андрей не мог придать радостного и веселого блеска».*

В беседе с ним Пьер начинает чувствовать, что «перед князем Андреем восторженность, мечты, надежды на счастье и добро — неприличны». Андрей желчно высмеивает мечты Пьера о жизни для других, о самопожертвовании.

«— Я знаю в жизни только два настоящих несчастия: это — угрызение совести и болезнь. И единственное благо есть отсутствие этих зол. Жить для себя, избегая только этих двух зол: вот вся моя мудрость теперь».

Они едут в имение старика-Болконского, переезжают на пароме реку. Пьер восторженно говорит о необходимости любви, веры, о вечной жизни.

«Князь Андрей вздохнул и лучистым, детским, нежным взглядом взглянул на раскрасневшееся восторженное лицо Пьера.

— Да, коли бы это так было!— сказал он. Выходя из парома, он поглядел на небо, на которое указывал ему Пьер, и в первый раз, после Аустерлица, он увидал то высокое, вечное небо, которое он видел, лежа на аустерлицком поле, и что-то давно заснувшее, что-то лучшее, что было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе».

Толстой прибавляет:

«Чувство это исчезло, как скоро князь Андрей вступил опять в привычные условия жизни, но он знал, что это чувство, которое он не умел развить, жило в нем. *Свидание с Пьером было для князя эпохой, с которой началась хотя по внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь*».

Так уверяет Толстой. Но в дальнейшем мы нигде не видим ничего, что говорило бы об этом обновлении Андрея. Приходится верить Толстому на слово. А мы уже знаем: когда художник требует, чтоб ему верили на слово,— это верный знак, что верить ему не следует.

И после встречи с Пьером князь Андрей остается таким же мертвецом, каким был до встречи. Проходит два года. Раннею весною он едет по опекунским делам в рязанские имения своего сына. Все вокруг зеленеет, и трава, и деревья. На краю дороги высится огромный дуб. «Старым, сердитым и презрительным уродом стоял он между улыбающимися березами».

«Весна, и любовь, и счастье!— как будто говорил этот дуб,— и как не надоест вам все один и тот же глупый

и бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья... Стою и не верю вашим надеждам и обманам».

«Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб,— думал князь Андрей.— Пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь,—наша жизнь кончена!» Во время этого путешествия князь Андрей как будто вновь обдумал всю свою жизнь и *пришел к тому же прежнему успокоительному и безнадежному заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая*».

Вот он, двухгодовой итог той новой внутренней жизни, которая началась для князя Андрея после свидания с Пьером! Вот только к чему привело Андрея «высокое, *вечное небо»!*

И вдруг в эту тусклую, унылую и холодную пустоту, как горячий поток солнечного света, врывается богиня жизни и счастья,— Наташа Ростова.

«Князю Андрею вдруг стало отчего-то больно. День был так хорош, солнце так ярко, кругом все так весело; а эта тоненькая и хорошенькая девушка не знала и не хочет знать про его существование и была довольна и счастлива какой-то своей отдельной,— верно глупой,— но веселой и счастливой жизнью. «Чему она рада? О чем она думает? Не об уставе военном, не об устройстве рязанских оброчных. О чем она думает? И чем она счастлива — невольно с любопытством спрашивал себя князь Андрей».

Ночью Андрею не спится, он сидит у открытого окна, смотрит в сад, залитый лунным светом. И над ним, из окна верхнего этажа, слышится тоскующий от избытка счастья голос Наташи.

«— Я не буду, я не могу спать, что же мне делать!.. Соня, Соня! Ну, как можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Да проснись же, Соня! — сказала она почти со слезами в голосе.— Ведь этакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало!

Соня неохотно что-то отвечала.

— Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда!

Ну, видишь? Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки,— туже, как можно туже,— натужиться надо, и полетела бы. Вот так!

— Полно, ты упадешь...

Послышалась борьба и недовольный голос Сони: «Ведь второй час».

— Ах, ты только все портишь мне. Ну, иди, иди.

Опять все замолкло, но князь Андрей знал, что она все еще сидит тут, он слышал иногда тихое шевеление, иногда вздохи.

— Ах, боже мой! Боже мой! Что ж это такое! — вдруг вскрикнула она.— Спать, так спать!—и захлопнула окно».

Совсем другой мир, чем в душе князя Андрея. «Высокое, вечное небо»— презирающее землю, говорящее о ничтожестве жизни, вдруг опускается на землю, вечным своим светом зажигает всю жизнь вокруг. И тоска в душе не от пустоты жизни, а от переполнения ее красотою и счастьем.

Князь Андрей едет обратно. Перед ним прежний лес.

«Да, здесь, в этом лесу был этот дуб, с которым мы были согласны,— подумал князь Андрей.— Да где он? — подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги, и сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной темной зелени, млел, чуть колыхаясь, в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя — ничего не было видно. Сквозь жесткую, столетнюю кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. «Да, это тот самый дуб»,— подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему.

«Нет, жизнь не кончена в тридцать один год,— вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей.— Мало того, что я знаю все то, что есть во мне, надо, чтобы все знали меня, чтоб не для одного меня шла моя жизнь, чтоб не жили они так независимо от моей жизни, чтоб на всех она отражалась, и чтобы все они жили со мною вместе!»

«Высокое, вечное небо» научило его только одному: что

в мире все ничтожно, что нужно доживать свою жизнь, «не тревожась и ничего не желая». Чего не могло сделать высокое небо, сделала тоненькая девушка с черными глазами: отравленного смертью князя Андрея она снова вдвинула в жизнь и чарами кипучей своей жизненности открыла ему, что жизнь эта значительна, прекрасна и светла.

Князь Андрей входит в жизнь. Портрет покойной жены, в котором он раньше читал горькое обвинение жизни, теперь изменился. «Она уже не говорила мужу прежних страшных слов, она просто и весело с любопытством смотрела на него. И князь Андрей, заложив назад руки, долго ходил по комнате, то хмурясь, то улыбаясь, передумывая те неразумные, невыразимые словом, тайные, как преступление, мысли, которые изменили всю его жизнь».

«Оставим мертвым хоронить мертвых, а пока жив, надо жить и быть счастливым»,— решает он.

Любовь к Наташе. Увлечение Наташи Анатолем. Разрыв Андрея с Наташей. И Андрей снова сваливается в темную яму. «Прежде были все те же условия жизни, но прежде они все вязались между собою, а теперь все рассыпалось. Одни бессмысленные явления, без всякой связи, одно за другим представлялись князю Андрею».

Накануне бородинского сражения он лежит в сарае. «Мысли самые простые, ясные и потому страшные мысли, не оставляли его в покое». Все время живущая в его душе смерть поднимает голову. «И с высоты представления о смерти все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным, белым светом без теней, без перспективы, без различия очертаний. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении. Теперь он увидал вдруг без стекла, при ярком дневном свете, эти дурно намалеванные картины. «Да, да, вот они, те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные образы»,— говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни, глядя теперь на них при этом холодном, белом свете дня,—

ясной мысли о смерти. «Вот они, эти грубо намалеванные фигуры, которые представлялись чем-то прекрасным и таинственным. И все это так просто, бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня... Отечество, погибель Москвы! А завтра меня убьют, и придут французы, возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму, чтоб я не вонял им под носом».

И повторяется то же, что мы видели у Достоевского. Смерть разрушает жизнь, делает ее мертвенно-тусклой, бессмысленной,— и тут-то как раз человек жадно начинает цепляться за эту обесцененную жизнь.

«Умереть,— думал князь Андрей.— Чтобы меня убили... завтра... Чтобы меня не было... Чтобы все это было, а меня бы не было...»

Тяжело раненного, его приносят на перевязочный пункт. Очнувшись после мучительной перевязки, князь Андрей видит плачущего, как женщина, красивого человека, у которого отрезали ногу, узнает в нем своего врага Анатоля.

«Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями.

Сострадание, любовь к братьям, к любящим; любовь к ненавидящим нас, к врагам; да, та любовь, которую проповедывал бог на земле,— вот отчего мне было жалко жизни, *вот оно то, что еще оставалось мне*, ежели бы я был жив».

Бесчувственного, умирающего князя Андрея везут из покидаемой Москвы. В первый раз он очнулся в Мытищах, в избе. «Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье. «Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека,— думал он.— Счастье, находящееся вне материальных сил, счастье одной души, счастье любви. Да, любовь. Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и *для которой не надо предмета*. Я теперь испытываю это блаженное чувство. Любить ближних, любить врагов своих. Все любить,— любить бога во всех проявлениях»...

«Чем больше он вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, *тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни*. Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви *значило — никого не любить*,

значило — не жить этою земною жизнью. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни».

Несомненно, это есть та самая любовь, «которую проповедывал бог на земле». Но не тот бог, который воплотился в Христа, а тот, который воплотился в Будду. Сила этой любви — именно в ее бессилии, в отсечении от себя живых движений души, в глубоком безразличии одинаково ко всем явлениям жизни. Чем дальше от жизни, тем эта любовь сильнее. Соприкоснувшись с жизнью, она умирает.

И вот в царство этой мертвенно-безжизненной любви,— холодной, как заоблачные пространства,— опять врывается носительница живой, горячей жизни,— Наташа.

Андрей хотел воротиться к «прежнему миру чистой мысли», но не мог. «Когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные, и тревожные мысли стали приходить ему». Начало вечной любви, жившее лишь в мире чистой мысли, не коренившееся в жизни, исчезает под дыханием действительности. «Вспоминая ту минуту на перевязочном пункте, когда он увидел Курагина, он *теперь не мог возвратиться к тому чувству;* его мучил вопрос о том, жив ли Курагин. И он не смел спросить этого».

Живая жизнь борется в нем с холодною вечностью, брезгливо отрицающею жизнь. Андрей смотрит на сидящую у его постели Наташу. «Неужели только за тем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть?» И сейчас же вслед за этим думает: *«Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи?* Я люблю ее (Наташу) больше всего в мире. *Но что же делать мне, ежели я люблю ее?»*

Грозная, высокомерная вечность не в силах терпеть рядом с собою такого ничтожного пустяка, как жизнь. И князь Андрей говорит Наташе:

«— Никто, как вы, не дает мне той мягкой тишины... того света. Мне так и хочется плакать от радости... Наташа, *я слишком люблю вас.*

— А я? — Она отвернулась на мгновение».

И живая жизнь, которою полна Наташа, с непонимающим недоумением спрашивает:

«— Отчего же слишком?

— Отчего слишком?.. *Ну, как вы думаете, как вы чувствуете по душе, по всей душе, буду я жив?*»

Князь Андрей засыпает и все время думает о жизни и смерти, и больше о смерти: «он чувствовал себя ближе к ней». И опять созидается безжизненный «мир чистой мысли».

«Что такое любовь? Любовь мешает смерти.. Любовь есть жизнь. Любовь есть бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику. Мысли эти показались ему утешительны. Но *это были только мысли.* Чего-то недоставало в них, что-то было односторонне-личное, умственное,— не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Он заснул».

Ему снится, что в дверь ломится *оно;* он изо всех сил держит дверь, но усилия напрасны, дверь отворилась. *Оно* вошло, и оно есть *смерть.* Андрей умер — и в то же мгновение проснулся.

Но проснулся другим, чем был раньше. «Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и — по той странной легкости бытия, которую он испытывал — почти понятное и ощущаемое».

Для князя Андрея началось *«пробуждение от жизни».* Приезжает княжна Марья с его сыном. Она поспешно подходит к брату, давя рыдания,— и вдруг замедляет шаг, и рыдания замирают. «Уловив выражение его лица и взгляда, она вдруг оробела и почувствовала себя виноватою.

«— Да в чем же я виновата? — спросила она себя.— «В том, что живешь и думаешь о живом, а я!..» — отвечал его холодный, строгий взгляд.

В глубоком, не из себя, а в себя смотревшем взгляде была почти враждебность, когда он медленно оглянул сестру и Наташу.

— Здравствуй, Мари, как это ты добралась? — сказал

он голосом таким же ровным и чуждым, каким был его взгляд.

Ежели бы он завизжал отчаянным криком, то этот крик менее бы ужаснул княжну Марью, чем звук этого голоса.

В словах, в тоне его, во взгляде чувствовалась страшная для живого человека отчужденность от всего мирского. Он, видимо, с трудом понимал все живое; но вместе с тем чувствовалось, что он не понимал живого не потому, что он был лишен сил понимания, но потому, что он понимал что-то другое, такое, чего не понимали и не могли понимать живые, и что поглощало его всего».

Просто и равнодушно, с поразительным отсутствием чуткости, он говорит о Наташе, о зарождающейся любви между сестрою и Николаем Ростовым. Совсем так говорила всегда графиня Вера — старшая сестра Наташи: все правильно, верно, неоспоримо, а у всех мысль: к чему это было говорить? «Одно объяснение только могло быть этому,— это то, что князю Андрею было все равно, и все равно от того, что что-то другое, важнейшее, было открыто ему».

Ему сообщают, что Москва сгорела. Он рассеянно отвечает: «Да, сгорела, говорят... Это очень жалко». Подводят сына проститься. Андрей чуть заметно улыбается, с тихой и кроткой насмешкой над тем, что княжна Марья употребляла, по ее мнению, последнее средство для приведения его в чувство. Без радости и нежности целует он сына, смотрит на плачущую сестру и с усилием соображает, что плачет она о том, что Николушка останется без отца.

«Да, им это должно казаться жалко! — подумал он.— А как это просто! «Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но отец ваш питает их!» — сказал он сам себе и хотел то же сказать княжне; но нет, они поймут это по-своему, они не поймут! *Этого они не могут понимать: что все эти чувства, которыми они дорожат, все наши, все эти мысли, которые кажутся нам так важны, что они* ***не нужны.*** Мы не можем понимать друг друга!»

Всю свою жизнь князь Андрей ощущал над собою что-то «грозное, вечное, неведомое и далекое». Теперь оно стало ему близко,— но не тем, что спустилось к нему, а тем, что унесло его к себе, в ледяное свое царство, куда не достигнуть ни одному звуку жизни.

Вечность, бесконечность... При самом большом усилии воображения способны ли мы во всем объеме охватить жуткий для жизни смысл этих понятий?

Вот мировое пространство. В нем мириады пылинок-солнц. Вокруг каждого солнца свои миры. Их больше, чем песчинок в пустыне. Века, как миги. То на той, то на другой песчинке жизнь вспыхнет, подержится миг-вечность и бесследно замрет. На одной крохотной такой песчинке движение. Что это там? Какая-то кипит борьба. Из-за чего? Вечность-миг,— и движение прекратилось, и планета-песчинка замерзла. Не все ли равно, за что шла борьба!

Все в жизни одинаково ничтожно, жалко и ненужно с точки зрения вечности. Трагедия Прометея, трагедия Гракха, трагедия земляного червя, окруженного муравьями,— все равноценно в своем ничтожестве. Скорбным клочком мутного тумана колеблется над могилою тень похороненного бойца.

Помню я толпу без счета,
Ряд ступеней, столб, топор...
Умирать я шел за что-то,
Но за что,— забыл с тех пор.

И понятно, что всегдашний клич всех ненавистников жизни, всех больных и падающих,— один и тот же: «Sub specie aeterni!»

Князь Андрей умер. Смерть его распахнула перед Наташею двери в вечность. Вместе с княжной Марьей, «они, нравственно согнувшись и зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни». Все, что шло из жизни, «все казалось оскорблением и нарушало ту необходимую тишину, в которой они обе старались прислушиваться к незамолкшему еще в их воображении страшному, строгому хору, и мешало вглядываться в те таинственные, бесконечные дали, которые на мгновение открылись перед ними».

«Наташе все казалось, что она вот-вот сейчас поймет, проникнет то, на что с страшным, непосильным ей вопросом устремлен был ее душевный взгляд. Она смотрела туда, куда ушел он, на ту сторону жизни. И та сторона жизни, о которой она прежде никогда не думала, которая

прежде казалась ей такою далекою, невероятною, теперь была ей ближе и роднее, понятнее, чем эта сторона жизни, в которой все было или пустота и разрушение, или страдание и оскорбление».

Все близкие становятся для Наташи чуждыми. «Она не только была равнодушна, но враждебно смотрела на них». Безвыходно она сидит в своей комнате.

«Где он, и кто он теперь? И опять все застилалось сухим, жестким недоумением. И вот, вот, ей казалось, она проникает тайну»...

Но вдруг в комнату вбегает испуганная Дуняша, зовет ее поскорее к отцу: «несчастье... О Петре Ильиче... Письмо»...

Совсем, как умирающий князь Андрей, Наташа брезгливо думает: «Какое там у них несчастие, какое может быть несчастие».

В зале она встречает рыдающего отца, узнает, что Петя убит.

«Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услышав из-за двери страшный, грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе».

Наташа бросается к обезумевшей матери, ласкает ее, твердит бессмысленные ласкательные слова и через слова эти льет в душу матери любовь и жизнь.

Два дня Наташа не отходила от нее. «Любовь Наташи, упорная, терпеливая, *не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни*, всякую секунду как будто со всех сторон обнимала графиню... Три недели Наташа безвыходно жила при матери, и никто не мог ее заменить: она одна могла удерживать мать от безумного отчаяния.

Эта новая рана вызвала Наташу к жизни. Она думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее жизни — любовь — еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь».

Но эта любовь — не та любовь, которая открылась князю Андрею, — «любовь вечная, свободная, не зависящая от этой жизни». Когда проснулась *та* любовь,— жизнь умерла. Проснулась *эта* любовь, проснулась и жизнь.

2) Бесконечность и Пьер

Параллельно с историей исканий князя Андрея в романе идет история исканий Пьера Безухова. Параллелизм этот не случаен. Именно в нем скрыта глубочайшая идея самого великого из творений Толстого.

Начинает Пьер с тех же вопросов, которыми мучается князь Андрей. «Что дурно? Что хорошо?.. Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем? — спрашивал он себя. И не было ответа ни на один из этих вопросов, кроме одного не логического ответа вовсе не на эти вопросы. Ответ этот был: «умрешь — все кончится». Смерть все кончит и должна прийти нынче или завтра,— все равно через мгновение, в сравнении с вечностью».

Временное удовлетворение Пьер находит в масонстве, но вскоре и в нем разочаровывается. Жизнь стоит перед ним в ужасе своей пустоты и бесцельности. Все люди чувствуют бессознательно этот ужас, и жизнь их заключается в одном,— в *«спасении от жизни»:* «все спасаются от жизни, кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто политикой, кто вином. Нет ни ничтожного, ни важного, все — равно: только бы спастись от нее, как умею! — думал Пьер.— Только бы не видеть ее, эту страшную ее» (смерть).

Накануне бородинского сражения Пьер, выехав из Можайска, спускается пешком с крутой горы. Навстречу ему поднимается обоз с ранеными, сзади с песнями его нагоняет кавалерийский полк. «Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера».

Кругом, как вода в огромном котле, кипит жизнь с ее весельем, готовностью к борьбе, ужасами. А среди этой жизни — человек в белой шляпе, с вечным вопросом: «из-за чего хлопочут люди, когда все так кратко и неизвестно?»

«Пьер смотрел то на кавалерийский полк, то на телегу, на которой сидели двое раненых и лежал один, и ему казалось, что тут, в них, заключается разрешение занимавшего его вопроса... Кавалеристы-песенники проходили над самой телегой.

— Ах, запропала... да ежова голова... Да на чужой стороне живучи...— выделывали они плясовую песню.

Как бы вторя им, но в другом роде веселья, перебивались в вышине металлические звуки трезвона. И, еще в другом роде веселья, обливали вершину откоса жаркие лучи солнца. Но под откосом, у телеги с ранеными, было сыро, пасмурно и грустно».

За Можайском Пьер узнает от знакомого доктора, что завтра нужно ждать тысяч двадцать раненых.

«Та странная мысль, что из числа тех тысяч людей, живых, здоровых, молодых и старых, которые с веселым удивлением смотрели на его шляпу, было наверное двадцать тысяч обреченных на раны и смерть (может быть, те самые, которых он видел),— поразила Пьера.

Они, может быть, умрут завтра; зачем они думают о чем-нибудь другом, кроме смерти? И ему вдруг, по какой-то тайной связи мыслей, живо представился спуск с можайской горы, телеги с ранеными, трезвон, косые лучи солнца и песня кавалеристов.

Кавалеристы идут на сражение и встречают раненых, и ни на минуту не задумываются над тем, что их ждет, а идут мимо и подмигивают раненым. А из этих всех двадцать тысяч обречены на смерть, а они удивляются на мою шляпу. Странно,— думал Пьер».

Еще бы не странно. Где тут, действительно, логика? Что это за непонятное уму «забвение смерти»?

Но как могли про смерть они забыть?

Про смерть не помнят. Перед лицом ужаса и смерти только ярче и торжественнее горит в них жизнь, только теснее все сливаются в одно. На лице раненого вспыхивает выражение сознания торжественности наступающей минуты, он говорит Пьеру: «всем народом навалиться хотят; одно слово — Москва». О том же говорят Пьеру лица мужиков-ополченцев, с громким говором и хохотом копающих траншеи. И с тем же выражением, давя друг друга, топчась, пыхтя и толкаясь, со взволнованными лицами лезут солдаты прикладываться к чудотворной иконе. Все живут одною общею, объединенною, торжественною жизнью. И непонятным становится не «забвение смерти», а как раз обратное — чудовищная «логика» Пьера и le dernier jour d'un condamné, тускло унылые мысли князя Андрея в сарае: «Умереть... Чтобы меня убили... завтра... Чтобы все это было, а меня бы не было»...

Начинается бой. Перед глазами Пьера растет и развертывается та могучая сила жизни, перед которою в бессильном недоумении стоит сухая логика. На батарее рвутся ядра, падают раненые.

«Пьер замечал, как после каждого попавшего ядра, после каждой потери все более и более разгоралось общее оживление... Как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех этих людей, как бы в отпор совершающегося, молнии скрытого, разгорающегося огня».

Бой в разгаре. «Грозовая туча надвинулась, и ярко на всех лицах горел тот огонь, за разгоранием которого следил Пьер».

После боя Пьер спит на постоялом дворе; в ушах все еще звучат выстрелы, крики.

«Слава богу, что этого нет больше,— подумал Пьер.— О, как ужасен страх, и как позорно я отдался ему! А они... они все время до конца были тверды, спокойны... Они,— эти странные, неведомые ему доселе... Войти в общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит все. *Самое трудное состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего*... Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли, вот что нужно. Сопрягать,— *ну как сопрягать все?*»

Как все сопрягать? Как можно стремиться к жизни и в то же время не бояться смерти? Как можно вообще любить эту жизнь, которая полна таких мук и ужасов?

Пьер в плену. На его глазах французы расстреляли русских поджигателей. В глазах французов, совершавших казнь, Пьер прочел тот же испуг, ужас и борьбу, какие были в его сердце. «Да кто же это делает, наконец?» — спрашивает себя Пьер.

«С той минуты, как Пьер увидел это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в бога. И он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах, и остались одни бессмы-

сленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь — не в его власти».

Пьера помещают в балаган военнопленных. Он знакомится с Платоном Каратаевым. От маленького старика-солдата непрерывно лучится радостно-любовная жизнь, и жизнь эта освещает и согревает все вокруг,— от лиловой собачонки, спящей на ногах Каратаева, до самого Пьера, которого он кормит печеными картошками.

«— Нет, мне все ничего,— сказал Пьер,— но за что они расстреляли этих несчастных!.. Последний лет двадцати.

— Тц, тц...— сказал маленький человек.— Греха-то, греха-то»...

И поспешно переходит разговором на другое. И во всех разговорах его светится вера в таинственное благообразие жизни, в конечную целесообразность даже ее скорбей.

«— Да теперь все равно,— невольно сказал Пьер.

— Эх, милый человек ты,— возразил Платон.— От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся... Рок головы ищет. А мы все судим: то не хорошо, то не ладно...

Наружи слышались где-то вдалеке плач и крики. Пьер долго не спал, и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте. Он чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, двигался в его душе».

Четыре недели Пьер в плену. Он испытывает с товарищами-солдатами «почти крайние пределы лишений, которые может переносить человек. *И именно в это самое время он получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде.* Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою, того, что так поразило его в солдатах в Бородинском сражении: он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе; он искал этого путем мысли,— и все эти искания и попытки, все обманули его. И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве».

На утренней заре Пьер выходит из балагана, смотрит

на далекую Москву, на летящих через поле галок. Когда он ощутил прикосновение свежего воздуха и когда потом вдруг брызнуло светом с востока и — купола, и кресты, и роса, и даль, и река,— все заиграло в радостном свете,— «*Пьер почувствовал новое, неиспытанное им чувство радости и крепости жизни.* И чувство это — *готовности на все, нравственной подобранности* — чувство это не только не покидало его во время плена, но, напротив, возрастало в нем по мере того, как увеличивались трудности его положения».

Французы отступают из сожженной Москвы и гонят с собою пленных. Новые ужасы развертываются перед Пьером. Отстающих пленных пристреливают. «Пьер чувствовал, что та роковая сила, которая смяла его во время казни и которая была незаметна во время плена, теперь опять овладела его существованием. *Ему было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни.*

В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, *что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом,* в удовлетворении естественных человеческих потребностей... Но теперь, в эти последние три недели похода, он *узнал еще новую, утешительную истину,— он узнал, что на свете нет ничего страшного.*

Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму.

Он не видел и не слыхал, как пристреливали отсталых пленных, хотя более сотни из них уже погибли таким образом. Он не думал о Каратаеве, который слабел с каждым днем и, очевидно, скоро должен был подвергнуться той же участи. Еще менее Пьер думал о себе. Чем труднее становилось его положение, чем страшнее была будущность, тем независимее от того положения, в котором он находился, приходили ему радостные и успокоительные мысли, воспоминания и представления».

Он идет в толпе пленных под дождем. «Ему казалось, что он ни о чем не думает; но далеко и глубоко где-то что-то важное и утешительное думала его душа. Это что-то было тончайшее духовное извлечение из вчерашнего

его разговора с Каратаевым». Каратаев рассказал ему про одного старика купца, безвинно сосланного на каторгу и там умершего. «Не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, которая сияла на лице Каратаева при этом рассказе, таинственное значение этой радости, это-то смутно и радостно наполняло теперь душу Пьера».

А Каратаев, больной и ослабевший, уж не в силах идти. Он знает, что его сейчас пристрелят. «В своей шинельке он сидел, прислонившись к березе. В лице его, кроме выражения вчерашнего радостного умиления при рассказе о безвинном страдании купца, светилось еще выражение тихой торжественности».

На ночном привале Пьер засыпает у костра. Но и во сне душа его думает и подводит итоги пережитому:

«*Жизнь есть все. Жизнь есть бог.* Все перемещается, движется, и это *движение есть бог.* И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. *Любить жизнь — любить бога.* Труднее и блаженнее всего — любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий».

Любить жизнь — любить бога... А как раз в это время,— может быть, в эту же ночь,— за несколько сот верст от Пьера лежит в Ярославле князь Андрей, брезгливыми к жизни глазами смотрит на невесту, сына, сестру и, толкуя слова бога о птицах небесных, думает: «Этого они не могут понимать, что все эти чувства, которыми они дорожат, все мысли, которые кажутся так важны,— что они не нужны».

Во сне Пьеру является давно забытый старичок-учитель, который в Швейцарии преподавал ему географию. Старичок показывает Пьеру глобус.

«Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие.

— Вот жизнь,— сказал старичок учитель.— В середине бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, и сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез»...

Нам уже знакомо это высшее единство жизни, просветляющее и страдания, и смерть отдельных существ. Об этом высшем единстве говорили слова, звучащие в «Трех смертях» над умершею барыней:

«Сокроешь лицо твое,— смущаются. Возьмешь от них дух,— умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой,— созидаются и обновляют лицо земли».

Партизаны отбивают у французов партию пленных, в которой находится Пьер. Пьер на свободе.

«— Ах, как хорошо, как славно! — говорил он себе.— Как хорошо, как славно!

И по старой привычке он делал себе вопрос: «Ну, а потом что? Что я буду делать?» И тотчас же он отвечал себе: «Ничего. *Буду жить*. Ах, как славно!»

То самое, чем он прежде мучился, чего он искал постоянно, цели жизни — теперь для него не существовало. *Эта искомая цель жизни теперь не случайно не существовала для него только в настоящую минуту, но он чувствовал, что ее нет и не может быть.* Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру,— *не веру в какие-нибудь правила, или слова, или мысли,* но веру в живого, всегда ощущаемого бога».

А мы знаем, что такое теперь для Пьера бог. *Жизнь есть бог*. Не будем спорить о словах.

Erfüll davon dein Herz, so gross es ist,
Und venn du ganz in dem Gefühle selig bist,
Nenn'es dann, wie du willst,
Nenn's Glück! Herz! Liebe! Gott!
Ich habe keinen Namen
Dafür! Gefühl ist alles.
Name ist Schall und Rauch,
Umnebelnd Himmelsgluth [1].

Будем же вместе с Пьером жизнь называть богом.

«Прежде Пьер искал бога в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было только искание бога. И вдруг он узнал в своем плену не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством то, что ему давно уже го-

---

[1] «До краев наполни этим сердце; и когда ты весь уйдешь в блаженство этого чувства, то называй его тогда, как хочешь,— называй счастьем, сердцем, любовью, богом! У меня для этого нет имени. Чувство — все, имя — звук и дым, заволакивающий сияние неба».— *«Фауст»*.

ворила нянюшка: что бог — вот он, тут, везде. Он в плену узнал, что бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами архитектоне вселенной. *Он испытывал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами, тогда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя. Он всю жизнь свою смотрел туда куда-то поверх голов окружающих людей, а надо было не напрягать глаз, а только смотреть перед собой*».

Вспомним, что говорит у Достоевского Версилов про «живую жизнь: «Я знаю только, что это должно быть ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтоб оно было так просто, и естественно проходим мимо вот уже многие тысячи лет, не замечая и не узнавая».

«Пьер,— продолжает Толстой,— не умел видеть прежде великого, непостижимого и бесконечного ни в чем. Он только чувствовал, что оно должно быть где-то, и искал его. *Во всем близком, понятном он видел одно ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное.* Он вооружался умственной зрительной трубой и смотрел в даль, туда, где это мелкое, житейское, скрываясь в туманной дали, казалось ему великим и бесконечным оттого только, что оно было не ясно видимо... Но и тогда, в те минуты, которые он считал своею слабостью, ум его проникал и в эту даль, и там он видел то же мелкое, житейское, бессмысленное».

Князь Андрей, лежа на аустерлицком поле, думает: «Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его». И когда он умирает, бесконечное небо это делает всю жизнь вокруг мелкою, ничтожною и бессмысленною. Бесконечность, говоря философским языком,— трансцендентна; она — где-то там, далеко от живой жизни, в холодных и пустых высотах.

Пьер же теперь «*выучился видеть великое, вечное и бесконечное во всем,* и потому естественно, чтобы видеть его, чтобы наслаждаться его созерцанием, он бросил трубку, в которую смотрел до сих пор через головы людей, *и радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь.* И чем ближе он смотрел, тем больше он был спокоен и счастлив».

XVII
БОГ

В 1871 году Толстой писал жене из самарских степей, где он лечился кумысом: «Больнее мне всего за себя то, что я от нездоровья своего чувствую себя одной десятой того, что есть... На все смотрю, как мертвый,— то самое, за что я не любил многих людей. А теперь сам *только вижу, что есть, понимаю, соображаю, но не вижу насквозь с любовью, как прежде».*

Вот в чем для Толстого основное отличие мертвого от живого. Мертвый видит, что есть, понимает, соображает,— и только. Жизнь для него анатомически проста, разрозненна, глаз всю ее видит в одной плоскости, как фотографию; душа равнодушна и безразлична.

Смотрит на ту же жизнь живой,— и взгляд его проникает *насквозь,* и все существо горит любовью. На живой душе Толстого мы видим, как чудесно и неузнаваемо преображается при этом мир. Простое и понятное становится таинственным, в разрозненном и мелком начинает чуяться что-то единое и огромное; плоская жизнь вдруг бездонно углубляется, уходит своими далями в бесконечность. И стоит душа перед жизнью, охваченная ощущением глубокой, таинственной и священной ее значительности.

Дальше в жизнь, дальше, еще дальше! И перед изумленным взором раскрываются все новые дали, и все ярче они освещены, и уж начинает ощущать человек, что яркий свет этих далей — не от земного солнца, а от какого-то другого, ему неведомого. И под светом этого таинственного солнца равно преображаются и печали людские, и радости.

Старый князь Болконский сообщает дочери известие о гибели Андрея в аустерлицкой битве. «Княжна не упала, с ней не сделалось дурноты. Она была уже бледна, но когда она услыхала эти слова, лицо ее изменилось, и что-то просияло в ее лучистых, прекрасных глазах. Как будто радость, высшая радость, независимая от печалей и радостей этого мира, разлилась сверх той сильной печали, которая была в ней».

Кити рожает. «Левин чувствовал, что то, что совершалось, было подобно тому, что совершалось год тому назад на одре смерти брата Николая. Но то было горе, это была

радость. Но и то горе, и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни, были в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо, при созерцании этого высшего, поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде, и куда рассудок уже не поспевал за нею».

Родившая Кити лежит в постели. «Встретив Левина взглядом, она взглядом притягивала его к себе. Взгляд ее, и так светлый, еще более светлел, по мере того, как он приближался к ней. На ее лице была та самая перемена от земного к неземному, которая бывает на лице покойников: но там прощание, здесь встреча».

До глубочайших своих глубин преобразился мир,—чудесно оживотворенный, весь насквозь пронизанный светом. Свет земной сливается со светом небесным, «тайна земная соприкасается с тайною звездной»,—та земная тайна, которая всегда так мучительно чужда была душе Достоевского.

Когда скрытое существо жизни раскрывается перед душою в *таком* виде, то понятно, что и душа отзывается на него соответственным образом. Николенька Иртеньев рассказывает про себя: «Чем больше я смотрел на высокий, полный месяц, тем истинная красота и благо казались мне выше и выше, чище и чище, и ближе и ближе к Нему, к источнику всего прекрасного и благого, и слезы какой-то неудовлетворенной, но волнующей радости навертывались мне на глаза».

Оленин лежит в первобытном лесу, в логове оленя. «И вдруг на него нашло такое странное чувство безграничного счастья и любви ко всему, что он по старой детской привычке стал креститься и благодарить кого-то».

Кого? Бога?.. Как тут неважно слово в сравнении с ощущением той жизни, всеединства и счастья, которые слово это старается охватить!

> Erfüll davon dein Herz, so gross es ist,
> Und wenn du danz in dem Gefühle selig bist,
> Nenn'es dann, wie du willst...

Одно только можно сказать: к такому богу и к такой религии совершенно неприложимы слова Геффдинга о лазарете, подбирающем в походе усталых и раненых,—сло-

ва, которые так подходили к религии Достоевского. Скорее вспоминается Ницше: «Кто богат, тот хочет отдавать; гордому народу нужен бог, чтобы приносить жертвы. Религия, при таких предусловиях, есть форма благодарности. Люди благодарны за самих себя: для этого им нужен бог».

Призывать человека к такому богу, напоминать ему о нем — безумно, как безумно говорить горящему факелу: свети! Раз факел горит, он тем самым и светит... И художник Толстой не зовет к богу,— не зовет так же, как не зовет и к добру. Одно, одно и одно он только говорит: *живи!* Будет жизнь — будет добро, будет и бог.

«Жизнь есть все. Жизнь есть бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь — любить бога».

Можно ли представить себе две религии более противоположные, чем религия эта и религия Достоевского?

Жизнь сама по себе, жизнь непосредственная, для Достоевского темна, уродлива и безмерно-ужасна. Чем глубже человек идет в нее, тем гуще мрак; и шевелится в этом мраке глухой, темный и немой властитель жизни — огромный, отвратительный тарантул. Прочь от жизни, кверху взоры, простри руки к небу,— и небо разверзнется, и небесный свет осияет темную землю, и понесется по ней исступленная «осанна»,— «громовой вопль восторга серафимов». И злой тарантул исчезнет. Но вправду ли исчезнет? Нет. Он только глубже спрячется в темноту и неподвижно будет смотреть на человека слепым, беспощадным своим взглядом. Снова и снова оборвется под этим взглядом осанна, и снова с содроганием, в неутоленном негодовании своем, спросит человек: «неужели нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело?»

Для Толстого в недрах жизни нет никакого мрака, никаких чудищ и тарантулов. Есть только светлая тайна, которую человек радостно и восторженно старается разгадывать. Не прочь от жизни, а в жизнь — в самую глубь ее, в самые недра! Не с далекого неба спускается бог на темную жизнь. Сама жизнь разверзается, и из ее светлых, таинственных глубин выходит бог. И он неотрывен от жизни, потому что жизнь и бог — это одно и то же. Бог есть жизнь, и жизнь есть бог.

Достоевский говорит: найди бога,— и сама собою придет жизнь. Толстой говорит: найди жизнь,— и сам собою

придет бог. Достоевский говорит: отсутствие жизни — от безбожия; Толстой говорит: безбожие — от отсутствия жизни.

Что такое, на самом деле, жизнь, можно ли, видя ее «насквозь», испытывать любовь, или напротив, отвращение и ужас,— каждый решит сам в зависимости от степени своей жизненности. Мы же только отметим здесь один очень характерный эпизод в художественной жизни Достоевского.

Есть у него произведение, которое странно и резко выделяется из всех других. Как будто ясный луч солнца светится средь грозовой тьмы, сверкающей молниями. Произведение это — «Записки из мертвого дома». Существеннейшая особенность их заключается в совершенно необычном для Достоевского тонусе отношения к жизни.

Достоевский вообще «любит» людей. Он все им готов простить, в самых глубоких «безднах падения» способен находить «искру божию». Но что-то шаткое и непрочное ощущается в его порывистой, истерической любви. Лицо пламенного человеколюбца то и дело вспыхивает брезгливою ненавистью, губы злобно подергиваются, глаза начинают подмигивать с нехорошею улыбкою. Еще законнее можно приложить к Достоевскому отзыв Толстого о Тургеневе: «нет человечности и участия к лицам, а представляются уроды, которых он бранит, а не жалеет».

Таков у Достоевского злобно-пасквильный образ великого писателя Кармазинова, с намеренно-прозрачными намеками на Тургенева. Таковы у него повсюду нигилисты и «революционеры» — невероятно-глупая и презренно-пошлая сволочь. Таковы, наконец,— *все инородцы*. И это особенно странно видеть именно у Достоевского: он так много говорит о «всечеловечности» русского человека, о его способности и призвании «вместить в свою душу с братскою любовью всех наших братьев». Инородцы Достоевского все сплошь — непроходимо-тупы, пошлы, вообще, представляют какую-то низшую расу. Прямо перлами среди них кажутся два старичка-доктора из немцев (в «Униженных и оскорбленных» и «Братьях Карамазовых»),— очень глупые, карикатурно-педантические, но, по крайней

мере, с добрыми душами. Дальше же нескончаемою вереницею тянутся «гниленькие жидки», «гаденькие полячки», злобные чухонки и немки, поганые французженки Альфонсинки. Доходит положительно до курьезов. В «Подростке» фигурирует умный, глубокий и интересный Крафт,— и Достоевский отмечает, что он не немец, а русский. Гаденький же и наглый мерзавец Ферфичкин в «Записках из подполья» оказывается — «из русских немцев».

Если мы теперь возьмемся за «Записки из мертвого дома», то получим впечатление, как будто писал их совсем другой человек. Ровным, мягким и любовным светом освещены здесь одинаково все люди; здесь, действительно, «вмещены в душу с братскою любовью все наши братья». Нет эллина, иудея. Не только кавказцев, не только поляков,— даже «жида» сумел здесь Достоевский с любовью вместить в свою душу. И какого еще жида! Нахального, хвастливого и трусливого ростовщика Исая Фомича. «Блаженнейший и незабвенный Исай Фомич»,— отзывается о нем Достоевский, с мягкою улыбкою вспоминая его незлобливое добродушие и комично-самодовольную хвастливость.

И всюду здесь жизнь, всюду ощущение этой жизни и уважение к ней,— то *просто* уважение, которое так высоко ставит Толстой. Мы видели, например, что в чисто-художественных произведениях Достоевского совсем нет животных. Если изредка животное и промелькнет, то непременно «противное», «паршивое», «скверное» — бесконечно униженное, с мертвою и мрачною душою. А вот как в «Записках из мертвого дома»:

«— Ишь, в самом деле: скотина, а понимает!

— Молодец Гнедко!

Гнедко мотает головой и фыркает, точно он и в самом деле понимает. И кто-нибудь непременно тут же вынесет ему хлеба с солью. Гнедко ест и опять закивает головою, точно приговаривает: «Знаю я тебя, знаю! И я милая лошадка, и ты хороший человек!»

И много есть животных,— собака Шарик, гордый орел с подбитым крылом. Гуси выстраиваются на правом фланге арестантов и торжественно шествуют вместе с ними на работы. Милый козел Васька бодается с лезгином Бабаем и ловким ударом сшибает его с крыльца.

Как объяснить, что «Записки из мертвого дома» так

странно и необычно выделяются из остальных произведений Достоевского? Я могу объяснить только одним. Здесь задачею художника было описать действительно виденное и пережитое, эта задача все время держала его близко к жизни, не давала ему уйти в мрачные глубины его духа, чтоб там соответственно претворить жизнь. И вот — подошла вплотную к живой жизни даже такая угрюмо отъединенная душа,— и ясная, строгая правда этой жизни осияла душу. Недаром выше всех произведений Достоевского Толстой ставил именно «Записки из мертвого дома». Они, естественно, должны быть всего ближе живой душе Толстого.

XVIII

«НЕ Я, НО ВЫ УВИДИТЕ УЖЕ ЛУЧШУЮ ЗЕМЛЮ»

Знакомство с Каратаевым научило Пьера Безухова, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом и что на свете нет ничего страшного.

Сам Каратаев, действительно, глубоко счастлив — тихим, крепким счастьем, несмотря на все ужасы и скорби жизни.

«Жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла, как отдельная жизнь. Она имела смысл только, как частица целого, которое он постоянно чувствовал». Это-то ощущение единства с целым и делает Каратаева способным любить жизнь в самой «безвинности ее страданий», смотреть в лицо смерти с «радостным умилением и тихою торжественностью». Жизнь для него полна таинственной гармонии. «В его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия... Больше всего он любил слушать рассказы о настоящей жизни. Он радостно улыбался, вставляя слова и делая вопросы, клонившиеся к тому, чтобы уяснить себе благообразие того, что ему рассказывали».

Во всем он находит это благообразие, подчеркивает его для себя; а на то, где благообразия нет, бессознательно закрывает глаза. Француз заказал Каратаеву сшить ему рубаху и требует оставшихся обрезков, но потом, устыдившись, возвращает обрезки Каратаеву.

«— Вот поди ты,— сказал Каратаев, покачивая голо-

вой.— Говорят,— нехристи, а тоже душа есть. Сам голый, а вот отдал же».

Когда же Пьер рассказывает ему о расстреле поджигателей, Каратаев качает головою, говорит: «греха-то, греха-то!» — и поскорее переводит разговор на другое.

Есть в Платоне Каратаеве один из элементов жизни, составляющих необходимейшую ее часть. Кто готов принять жизнь лишь под условием устранения из нее ужасов и страданий,— тот никогда не сможет принять жизни. Всегда в жизни будут и ужасы, и страдания, никогда жизнь не скажет человеку: «вот, страдание устранено из мира,— теперь живи!» Жив только тот, кто силою своей жизненности стоит выше ужасов и страданий, для кого «на свете нет ничего страшного», для кого мир прекрасен, несмотря на его ужасы, страдания и противоречия. И, как бы будущее ни было светло, принять его сумеет только тот, кто умеет принимать настоящее.

Но в таком жизнеприятии есть один чрезвычайно опасный уклон; попасть на него легко. Если жизнь прекрасна и благообразна, если прекрасна она даже в «безвинности ее страданий»,— то зачем добывать лучшую жизнь? Отчего с тихою радостностью не принимать ее такою, какая она есть?

На этом уклоне Каратаев и стоит. Деятельное вмешательство в жизнь, борьба за ее улучшение глубоко чужды его душевному строю.

Пьер разговаривает с женою об основанном им тайном обществе, о необходимости «тем, которые любят добро, взяться рука с рукою, и пусть будет одно знамя: *деятельная добродетель*».

«— Ты знаешь, о чем я думаю? — сказала Наташа: — о Платоне Каратаеве. Как он? Одобрил бы тебя теперь?

— Платон Каратаев... Он — не понял бы; а впрочем, может быть, что да... Нет, не одобрил бы! — сказал Пьер, подумав.— Что он одобрил бы, это нашу семейную жизнь. *Он так желал видеть во всем благообразие, счастье, спокойствие*»...

На этом же уклоне немалое время стоял и сам Толстой. Он тоже слишком желал видеть во всем благообразие и счастье. Чтоб удержать это благообразие, он бессознательно старался обманывать себя и закрывал глаза на многие темные стороны жизни. В «Первой ступени»

Толстой делает характерное признание: «Когда я писал романы, то тогда для меня необъяснимое затруднение, в котором я находился, заключалось в том, чтобы изобразить тип светского человека идеально хороший, добрый и вместе с тем такой, который был бы верен действительности».

Еще характернее один полемический эпизод по поводу «Войны и мира». Толстого упрекали, что в его романе «недостаточно определен характер времени», не чувствуется, например, ужасов крепостного права. Толстой решительно возражает, что все эти ужасы,— закладывание жен в стены, сечение взрослых сыновей, Салтычиха и т. п.,— лишь единичные случаи. Об этих выступающих случаях мы узнаем из преданий, записок, повестей, и решаем, что таков был преобладающий характер того времени. Но это совсем неверно. В общем, ужасов тогда было ничуть не больше, чем теперь или когда-либо.

Но вот самый обычный для того времени, повседневный эпизод. Мы узнаем о нем из черновых автобиографических заметок самого же Толстого.

«Отец мой в двадцать лет уже был не невинным юношей, а еще до поступления на военную службу, лет шестнадцати, был соединен родителями, как думали тогда, для его здоровья, с дворовой девушкой. От этой связи был сын Мишенька, которого определили в почтальоны, и который при жизни отца жил хорошо, но потом сбился с пути, и часто уже к нам, взрослым братьям, обращался за помощью. Помню то странное чувство недоумения, которое я испытывал, когда этот, впавший в нищенство, брат мой, очень похожий (более всех нас) на отца, просил нас о помощи и был благодарен за 10—15 рублей, которые давали ему».

Известно, что в «Войне и мире» под именем графа Николая Ильича Ростова выведен отец Толстого, граф Николай Ильич Толстой. В начале романа мы знакомимся с Ростовым как раз в то время, когда Николаю около шестнадцати лет и он только собирается вступить на военную службу. В гостиной сидят «большие» и чопорно разговаривают. Вдруг с бурною волною смеха и веселья врывается молодежь,— Наташа и Соня, Борис и Николай. Мила и трогательна их детская, чистая влюбленность друг в друга.

«После того, как луч солнца, проникнувший в гости-

ную вместе с этим молодым поколением, исчез»,— графиня-мать, между прочим, говорит со вздохом:

«— Все боишься, все боишься! Именно тот возраст, в котором так много опасностей... Но я знаю, что Николенька, по своему пылкому характеру, ежели будет шалить (*мальчику нельзя без этого*), то все не так, как эти петербургские господа».

И щекотливой этой темы Толстой больше не касается. Николай объясняется с огорченною, ревнующею кошечкою-Сонею, целует ее. Все так чисто, так светло, трогательно и «благообразно». Но мы знаем теперь: вечером заботливая мать приведет в спальню сына крепостную девушку с испуганными, неподвижными глазами и строго-настрого прикажет ей не противиться ласкам барчука. «Мальчику нельзя без этого». И где тогда весь тот светлый, радостно-чистый мир, в котором живет молодежь Ростовых.

Вот Стива Облонский. Человек он грешный, думает только о плотских удовольствиях; но чувствуется, что для художника он гораздо ближе и приемлемее, чем, например, самоотверженная Варенька или умный, корректный Кознышев. Ближе потому, что в Стиве есть жизнь, которой нет в тех, что весь он переполнен весельем и радостью жизни. Всех, с кем он встречается, он заражает неодолимою своею жизнерадостностью. «Степана Аркадьевича не только любили все за его добрый, веселый нрав и несомненную честность, но в нем, в его красивой, светлой наружности, было что-то физически действовавшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним».

У Стивы — «чрезвычайная снисходительность к людям, основанная на сознании своих недостатков». Он «совершенно ровно и одинаково относился ко всем людям, какого бы состояния и звания они ни были». «Море добродушного веселья всегда волновалось в душе Степана Аркадьевича». Неприятности и недоразумения скатываются с его души, не проникая вглубь, как вода с куска сливочного масла. «Все люди, все человеки, как и мы грешные: из чего злиться и ссориться?» — думает он.

Каренин приехал в Москву. Стива зовет его к себе обедать; он ничего еще не знает о семейной драме Карениных.

«— Я не могу быть,— холодно, стоя и не сажая гостя, сказал Алексей Александрович.

Алексей Александрович думал тотчас стать в те холод-

ные отношения, в которых он должен был быть с братом жены, против которой он начинал дело развода; но он не рассчитывал на то море добродушия, которое выливалось из берегов в душе Степана Аркадьевича... И Алексей Александрович почувствовал, что слова его не имели того действия, которое он ожидал, и что, какие бы ни были его объяснения, отношения его к шурину останутся те же».

Объяснение происходит, и Каренин едет-таки обедать к тому, с кем «должен быть» в холодных отношениях.

В том разнообразии, которым именно и прекрасна живая жизнь, имел бы свое место и Стива Облонский. Но уже чувствуется в окружающей его атмосфере что-то такое, что мешает нам принять его. В «Войне и мире» воздух вокруг героев кажется чистым и ясным; лишь собственными побочными изысканиями мы можем установить, что автор, подобно Платону Каратаеву, не хочет смотреть на то, что нарушает благообразие жизни. В «Анне Карениной» уж не то. Художник все еще старается удержаться на своей позиции, старается видеть гармонию в наличном мире. Но в глубине его души, пока еще несознаваемо для него самого,— беспокойство и смятение. Взявшись неизвестно откуда, по светлому миру скользят темные, оскорбляющие глаз тени. Помимо воли художника, в милом ему Левине проступает отталкивающий кулак-мещанин, поэзия его жизни с Кити, как сальными пятнами, загаживается мещанством. Левин старается оправдать себя, подыскать благородные основания для своей жизни; он говорит Стиве: «Нет, если бы это было несправедливо, я бы не мог пользоваться этими благами. Мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват». Но, глядя со стороны, мы видим, что он уже *чувствует себя виноватым* и что прав его умирающий брат, жестко говорящий ему: «Просто, тебе хочется показать, что ты не просто эксплоатируешь мужиков, а с идеей».

То же и относительно Стивы. Ничего не делающий начальник какого-то ненужного присутствия, законный член бездельного мира, на который сыпятся земные блага в виде мест, аренд и концессий,— он сидит на жизни как красивый чужеядный гриб. И мы видим, мы все время ощущаем эту его чужеядность, и из-за нее совершенно неспособны почувствовать, как прекрасен, как *толстовски*-прекрасен он сам по себе. А между тем он прекрасен,— стоит его только представить себе в *других условиях жиз-*

ни. Будь это не князь Степан Аркадьевич Облонский, а, например, фабричный Степка Облонский! —и что это был бы за милый покоряющий образ! Пил бы он не шампанское, а казенку, путался бы не с балеринами и француженками, а с слободскими девицами,— грешный и забубенный носитель неодолимой радости жизни, всех кругом захлестывающий бушующим в нем морем добродушного, всепрощающего веселья.

Художественным своим аппаратом Толстой и раньше захватывал зло жизни, попадающееся ему на глаза. Поликушка вешается на перемете. Скорбная, неподступная мужицкая жизнь проходит перед глазами помещика-благодетеля. Богачи-туристы наслаждаются пением нищего-певца, а потом, не заплатив ему, над ним же смеются. Но все это, подобно «ужасам крепостного права», было для Толстого чем-то отдельным, случайным, исключительным. Настолько исключительным, что, например, поступок богачей-туристов заслуживал опубликования на весь мир. Читатель помнит эту публикацию. *«7 июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцергофом странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни. Около ста человек слушали его»* и т. д. Негодующим курсивом Толстой излагает происшедшее и предлагает желающим «исследовать» факт, справиться по газетам, кто были иностранцы, занимавшие Швейцергоф 7 июля. Ястреб задрал на глазах ребенка воробья. И ребенок целую неделю всем готов рассказывать об этом ужасном, небывалом в мире событии и удивляться равнодушию слушателей.

Но слишком велика в Толстом и слишком в то же время честна жажда гармонии, чтобы долго видеть в зле мира ряд отдельных случайностей. Постепенно все больше раскрываются детски-серьезные, вглядывающиеся глаза художника. Жизнь может быть безмерно прекрасна, люди могут быть захватывающе-счастливы,— это он знает и чувствует крепко, «всем существом своим, жизнью». А вот — жизнь исковеркана до самого основания, люди жалки и несчастны. И тот, кто раньше обличал случайную кучку богачей-туристов, примостившихся на балконе уродливого здания жизни, теперь всею силою своею бьет в самый фундамент здания, пишет «Воскресение», «не может молчать» и на весь мир кричит, что в уродство и грязь пре-

вращена священная жизнь, что нельзя людям мириться с таким кощунством.

Он видит, как люди устраивают себе внешне-красивую, легкую, беструдовую жизнь, и видит, как миллионы других людей принуждаются работать за них и на них, отрывая себя от всех радостей жизни. И люди, ослепленные привычкою, не замечают этой преступной нелепицы, думают, что иначе и не может быть.

«Как они все уверены,— и те, которые работают, так же как и те, которые заставляют их работать, что это так и должно быть, что в то время, как дома их брюхатые бабы работают непосильную работу, и дети их, в скуфеечках, перед скорой голодной смертью, старчески улыбаются, суча ножками, им должно строить этот глупый, ненужный дом какому-то глупому и ненужному человеку, одному из тех самых, которые разоряют и грабят их».

Нужный для жизни, благородный, возвышающий душу труд заменяется бессмысленной работой на доставление всяческих удобств и радостей ненужным, оторвавшимся от жизни людям. «Собрались и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Бабы дома, мужики трут полы и тела в банях и ездят извозчиками».

И теперь, с широко раскрывшимися глазами, Толстой уже не сможет так легко, как прежде, видеть во всем благообразие. Тот же жизнерадостный, неистощимо-добродушный Стива Облонский вызовет в нем только гадливый трепет. «Как их много, как ужасно их много и какие они сытые, какие у них чистые рубашки, руки, как хорошо начищены у всех сапоги, и кто это все делает?»

Тяжелые железные цепи наложены на свободную жизнь. Разнообразнейшие сложные учреждения плотно опутывают ее, въедаются в ее нежное, светлое существо. Учреждения эти отдают одних людей во власть другим, охраняют счастливых от несчастных, вносят в жизнь разъединение, страдания и неправду. Но они присвоили себе звучные, священные имена и требуют, чтобы люди служили им, видели в них цель и смысл жизни. И в непонятном ослеплении люди верят обману, старательно работают над тем, что уродует и разрушает их жизнь, и не видят, как ничтожно и внутренне смешно их дело, снаружи такое важное и серьезное.

«Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и

дети. Но люди — большие, взрослые люди — не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира божия, данная для блага всех существ,— красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом. Так в конторе губернской тюрьмы считалось священным и важным не то, что всем животным и людям даны умиление и радость весны, а считалось священным и важным то, что накануне получена была за номером бумага».

Жизнь изуродована, исковеркана, загрязнена. А она, в свою очередь, уродует и грязнит людей. Судят молодого парня за кражу со взломом. Толстой рассказывает его жизнь. «Ведь очевидно, что мальчик этот не какой-то особенный злодей, а самый обыкновенный (это видят все) человек, и что стал он тем, что есть, только потому, что находился в таких условиях, которые порождают таких людей. И потому, кажется, ясно, что для того, чтобы не было таких мальчиков, нужно постараться уничтожить те условия, при которых образуются такие несчастные существа».

Но врагам жизни невыгодно такое понимание зла. И, святотатственно облыгая жизнь, они утверждают, что развращенность людей истекает из самой их природы. «Узнав ближе тюрьмы и этапы, Нехлюдов увидел, что все те пороки, которые развиваются между арестантами: пьянство, игра, жестокость и все те страшные преступления, совершаемые острожниками, и самое людоедство — не суть случайности или явления вырождения, преступного типа, уродства, как это, на руку правительствам, толкуют тупые ученые, а есть неизбежное последствие непонятного заблуждения о том, что люди могут наказывать других. Нехлюдов видел, что людоедство начинается не в тайге, а в министерствах, комитетах и департаментах, и заключается только в тайге».

И без конца гибнут всюду люди,— люди, созданные для счастья, полные таких прекрасных, светлых возможностей.

В статье «Жизнь в городе» Толстой рассказывает историю одной больной прачки. Она задолжала в ночлежной квартире шестьдесят копеек; по жалобе хозяйки, го-

родовой «с саблей и пистолетом на красном шнурке» выселил ее из квартиры. Весь день прачка просидела около церкви, а вечером воротилась к дому, упала и умерла. Толстой пошел на ее квартиру.

«Деревья Нескучного сада синели через реку; порыжевшие воробьи так и бросались в глаза своим весельем; люди как будто тоже хотели быть веселы, но у них у всех было слишком много работы». Покойница уже лежала в гробу. «Я взглянул на нее. Все покойники хороши, но эта была особенно хороша и трогательна в своем гробу: чистое, бледное лицо с закрытыми выпуклыми глазами, с ввалившимися щеками и русыми мягкими волосами над высоким лбом; лицо усталое, доброе и не грустное, но удивленное. И в самом деле, если живые не видят, то мертвые удивляются».

Но есть и живые, которые видят. Это — те, в ком Достоевский усматривал «бесов» жизни, на кого неистово сыпал исступленные свои клеветы и ядовитые насмешки.

Нехлюдов знакомится в тюрьме с революционером Крыльцовым. Крыльцов рассказывает ему, как за случайные сношения с революционерами он попал в тюрьму, и как там, почти на его глазах, повесили двух людей; люди эти попались с польскими прокламациями и были присуждены к виселице за попытку освободиться от конвоя, когда их вели на вокзал. «Розовский, очевидно, не в силах был понять того, что его ожидало, и, будто торопясь, пошел, почти побежал, впереди всех по коридору. Но потом он уперся, — я слышал его пронзительный голос и плач. Началась возня, топот ног. Он пронзительно визжал и плакал. Потом дальше и дальше, — зазвенела дверь коридора, и все затихло... Да. Так и повесили. Веревками задушили обоих. Сторож видел и рассказывал мне, что Лозинский не противился, но Розовский долго бился, так что его втащили на эшафот и силой вложили ему голову в петлю. Да. Сторож этот был глуповатый малый. «Мне говорили, барин, что страшно. А ничего не страшно. Как повисли они, — только два раза так плечами», — он показал, как судорожно поднялись и опустились плечи. — «Потом палач подернул, чтобы, значит, петли затянулись получше, и шабаш: и не дрогнули больше. Ничего не страшно», — повторил Крыльцов слова сторожа и хотел улыбнуться, но вместо улыбки разрыдался.

Долго после этого он молчал, тяжело дыша и глотая подступавшие к его горлу рыдания.

«— С тех пор я сделался революционером. Да».

Теперь у Крыльцова чахотка. «В тех условиях, в которых он находился, ему, очевидно, осталось едва несколько месяцев жизни, и он знал это и не раскаивался в том, что он делал, а говорил, что, если б у него была другая жизнь, он ее употребил бы на то же самое, на разрушение того порядка вещей, при котором возможно было то. что он видел».

В практических путях к разрушению этого порядка вещей Толстой резко расходится с Крыльцовым. И это понятно. У Крыльцовых нет детской веры Толстого в изначальную святость человеческой души. Там, где Толстой считает нужным напоминать о жалости к себе и о добре, Крыльцовы считают нужным бороться. Толстого отталкивает от Крыльцовых ненависть, которою они полны; в Крыльцовых раздражение и насмешку вызывает вера Толстого в силу непротивящегося добра и любви. Но объединяет их и его главное,— глубокое, неистовое отрицание «лика мира сего», неспособность примириться с ним, светлая вера в то, что гармония жизни доступна человеку и что она может быть, должна быть добыта.

Тенеромо приводит рассказ одного студента, как он с товарищами встречал на харьковском вокзале больного Льва Николаевича, когда его везли в Крым. Софья Андреевна поручила рассказчику принести для Льва Николаевича из буфета чашку кофе.

«Толстой лежал на диване головой к окну и подпирал рукой свою светившуюся, как мне казалось, лучистую, большую голову. Он улыбнулся глазами и приподнялся. И, принимая левой рукой у меня чашку, он правую подал мне и поздоровался. Меня охватило никогда не испытанное волнение. Я почувствовал спазмы в горле, нагнулся к его руке и приложился губами. И чувствую, как он притягивает к себе мою голову и тоже целует ее.

— Вы передайте своим друзьям,— произнес он,— что хотел бы теперь многое сказать им. Но не могу сейчас. Время гонений скоро минет. Страна вздохнет... Не я, но вы увидите уже лучшую землю...

Я выбежал из вагона.

— Он приветствует вас! — крикнул я товарищам.

И сотни голосов загремели:

— Ура!

Многие чувствовали, что «ура» неподходящий возглас, и слышно было, как кое-где этот возглас заменялся другим:

— Слава духу!»

В отношении Толстого к злу жизни есть одна поразительная особенность, которая резко выделяет его из сонма обычных обличителей жизни. Для большинства их жизнь — это черная, глубокая пропасть; в ней из века в век бьется и мучается страдалец-человечество; зло давит его мрачною, непроглядною тучею, кругом бури, отвесные скалы, мрак и только где-то

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна.

В этой блаженной стране далекого будущего, там будет свет, радость, жизнь. Слабый отблеск золотого света чуть мреет в высоте, сквозь разрыв черных туманов. Рвись из пропасти, пробивай в скалах трудную дорогу вверх, верь в блаженную страну; мреющий золотой отблеск будет светить тебе сквозь мрак и бурю, даст тебе силы к жизни и борьбе.

Еще плотнее и несвержимее лежит над жизнью зло для Достоевского. Мечты об устроении жизни вызывают в нем только ядовитые насмешки. «Тогда выстроится хрустальный дворец,— иронизирует подпольный человек.— Тогда... Ну, одним словом, тогда прилетит птица Каган. Конечно, никак нельзя гарантировать, что тогда не будет, например, ужасно скучно, зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Скверно то, что, чего доброго, и золотым булавкам тогда обрадуешься»,— булавкам, которые царица Клеопатра для развлечения втыкала в груди невольниц. «Не потому ли человек так любит разрушение и хаос, что *сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание?* Может быть, он здание-то любит только издали, а отнюдь не вблизи; может быть, он только любит созидать его, а не жить в нем, предоставляя его потом aux animaux domestigues, как-то: муравьям, баранам и проч., и проч.». Как ни устраивай жизнь, этим для Достоевского ничего не изменишь: основное зло лежит не во внешней жизни, а в самом человеке.

Над ним царит «таинственная и роковая неизбежность зла». «Никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следственно и от виновности и преступности. Зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, ни в каком устройстве общества не избегнете зла; ненормальность и грех исходят из самой души человеческой». Это Достоевский пишет в своей статье об «Анне Карениной», и это, по его мнению, ясно и понятно до очевидности показывает... странно даже выговорить: Толстой!

Зло для Толстого, конечно, не таково. Оно для него не гнилая проказа, насквозь разъевшая неисцелимо-больного, и не черная также туча, на долгие века закрывшая свет жизни от страдальца. На прекрасной земле — прекрасное, созданное для счастья человечество. Вокруг него — непроходящий свет и трепет радостной жизни. Жизнь эта со всех сторон окружает человека, надвигается на него, зовет к себе, хлещет в душу бурными потоками кипучей радости и счастья. А человек, в безумном каком-то помрачении, отворачивает глаза от света, строит вокруг себя какие-то стены и перестенки, опутывает себя веревками. Сбросить веревки, разметать преступные, разъединяющие стены,— и жизнь широко распахнется перед человеком в вечной, неисчерпаемой радости своего бытия.

«Не я, но вы увидите уже лучшую землю...»

Один из современных сынов Достоевского, поместившийся под знаком «вечности», пишет: «Над бездной всеобщего и окончательного небытия хотят позитивисты устроить жизнь, облегчить существование, ослабить страдания этого малого, короткого, узкого, призрачного в своей бессмысленности бытия. Веселые позитивисты, поющие хвалу жизни, должны понимать жизнь, как «пир во время чумы»... Только опустошенные, плоские, лакейски-самодовольные души не чувствуют ужаса этой «чумы» и невозможности этого «пира».

Но вот другой современный писатель. По настроению, по темпераменту, по «верности земле» он — прямая противоположность первому. И вот что мы от него слышали в его гимне человеку:

«Иду, чтобы сгореть как можно ярче, и глубже осветить тьму жизни. *И гибель для меня — моя награда. Иных*

наград не нужно для меня. Я вижу: власть — постыдна и скучна, богатство — тяжело и глупо, а слава — предрассудок, возникший из неумения людей ценить самих себя и рабской их привычки унижаться».

Награда в борьбе — гибель? Гибель, а не победа? Гибель, и иных наград ему не нужно? Очевидно, процесс борьбы обратился для него в цель, а обратился потому, что подлинная цель самого его ужасает своею пустотою и бессодержательностью.

Один брюзгливо ругается и пренебрежительно пожимает плечами: устроить жизнь, облегчить существование, ослабить страдания этого малого, бессмысленного бытия... Другой, пряча от себя пустоту цели, говорит: гибель для меня — моя награда, иных наград не нужно для меня.

Как и то, и другое чуждо духу Толстого! Подобно Пьеру, он крепко знает,— не умом, а всем существом своим, жизнью,— что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом и что на свете нет ничего страшного, никакой «чумы». «Пьер чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни». И если раньше эта сила жизни, лукавя перед собою, отодвигала для Толстого в тень уродства и ужасы жизни, то теперь та же сила, *попрежнему не давая раздавить себя,* с естественною последовательностью направляется именно на эти самые уродства и ужасы. И цель ее,— конечно, не «облегчить существование и ослабить страдания», цель — дать волю неиссякаемым источникам жизни и счастья, скрыто таящимся в человеческой душе. И награда этой силе,— уж, конечно, не собственная ее гибель, а победа — победа широкая, окончательная, не боящаяся своего торжества, потому что сила эта хорошо знает, за что борется.

Настоящее сливается с будущим. Жизнь человечества— это не темная яма, из которой оно выберется в отдаленном будущем. Это — светлая, солнечная дорога, поднимающаяся все выше и выше к источнику жизни, света и целостного общения с миром.

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ

Трудно во всемирной литературе найти двух художников, у которых отношение к жизни было бы до такой степени противоположно, как у Толстого и у Достоевского; может быть, столь же еще противоположны друг другу Гомер и греческие трагики. Но они были отделены друг от друга веками. Гомеровский грек в негодующем недоумении пожал бы плечами, слушая стенания трагического хора,— такого безудержного в отчаянии и такого бездейственного, такого умеренного в жизненной своей философии. Для грека трагической поры Гомер был уже не более, как «литературой». Здесь же, по поразительной, почти невероятной игре случая, на одном и том же поприще, с равною силою гения, сошлись два сверстника и соплеменника. И видеть их рядом более странно, чем было бы видеть рощу пальм бок о бок с полярным ледником, сверкающее солнце в черной глубине ночного неба.

Вводит нас в жизнь Достоевский. Перед нами жуткая, безгласная пустота, как будто из века еще не знавшая света,— та домировая пустота и тьма, о которой библия говорит: «земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною». И средь пустоты этой, в муках недовершенности, дергаются и корчатся странные, темные, одинокие существа, которым имя — люди. Жизнь каждого только в нем самом, все силы ушли в глубь души, на стремление согласовать и соединить то, что внутри. А соединить невозможно, потому что там — хаотическая замесь сил, лишь механически сплетшихся друг с другом,—

Non bene junctarum discordia semina rerum.
Связанных плохо вещей враждебные только зачатки.

Силы эти яростно борются, душат друг друга, одна поднимется, другая сейчас же ее опрокинет; все ползут врозь. Добро подсекается злом, зло добром, любовь поедается ненавистью, ненависть любовью; тоска по гармонии опрокидывается болезненно-судорожными порывами к хаосу; отвращение к жизни давится страхом смерти, стремление к смерти — исступленною любовью к жизни. И ум растерянно крутится над этой мешаниной, старается умственным, логическим путем создать хоть какое-нибудь единство, «идеей» обуздать ползущие врозь силы. Лишенный непосредственного ощущения жизни и счастья, он пытается собственными силами сознать жизнь, изобрести счастье. Но ничего не удается, и в безмерных муках душа снова и снова распадается на несоединимые, разрозненные силы.

И в неотвратимой неизбежности этих мук человек находит, наконец, своеобразный выход: броситься навстречу мукам, целиком отдаться им, растерзать душу смертными противоречиями. В этом — сладко пронзающее душу сладострастие, грозная радость, темная, как кровь. Человеку открывается красота и счастье страдания, он начинает любить скорбь и жаждать мучения. И через скорбь он познает основную истину жизни,— истину о высшем, трагическом призвании человека. Как победное знамя, высоко возносит свою истину обезумевший от страданий человек и с дергающеюся улыбкою насмешки и презрения смотрит в даль: там видится ему что-то серенькое, пошленькое и убого-самодовольное, что зовется гармонией, счастьем и что пригодно только «aux animaux domestigues».

Не там обетованная земля человечества, не в этой серенькой дали. «Царство божие внутри нас». Только еще усилить страдания, еще больше раскачать душевный хаос — горячкою, эпилептическою аурою, безмерностью мук — и темная пустота вдруг вспыхнет ослепляющим светом. Человек отвержется себя, расторгнет давящие грани своей личности и в вихре экстаза опрокинется в радостно сверкающий молниями хаос, принимая его за сияющий космос, за «высшую гармонию». И вот совершается чудо. Мир преобразился. Нет разъединения, нет мрака, нет ужасов, нет неподвижности. Все живет кипуче и радостно, все едино — огромным, стихийным, божественным единством, которого не постичь сознанию, замкнутому в своих гранях. Всей жизни можно сказать: «да, это правда!» Все оправдано одним этим мигом, «длящимся, как вечность». И в человеческом

восторге сливается душа с единою первосущностью мира и из глубочайших глубин своих запевает «трагический гимн богу, у которого радость». А для жизни,— для жалкой, темной жизни,— что можно для нее сделать? «Закройте ваши питейные дома, если не можете всех, то хоть два или три». Это для настоящего. А для будущего: «бедный, видя смирение богатого, поймет и уступит ему».

И против Достоевского — Толстой. Светлый и ясный, как дитя, идет он через жизнь и знать не хочет никакого трагизма. Душа тесно сливается с радостною жизнью мира. Всюду вокруг эта близкая, родная душа, единая жизнь,— в людях, в животных, даже в растениях,— «веселы были растения»,— даже в самой земле: «земля живет несомненною, живою, теплою жизнью, как и все мы, взятые от земли». Не разумом, не умственным путем познает Толстой это единство, а проникновением другого рода, несравненно более полным и глубоким, чем проникновения разума. И в чудесном этом единении бледнеет, как-то странно теряет свою жгучую важность ряд вопросов, тяжко мучающих душу Достоевского,— вопросов о бессмертии, о боге. Сохранится ли в веках личное сознание человека после смерти,— или единая жизнь сознала себя на миг в его жизни, а дальше будет сознавать себя в жизни других? Важно ли это, когда сознано само единство жизни? Важны ли храмы, когда вся жизнь есть один огромный, священный храм? Важно ли понятие «бог», когда в насущном, живом и беспрерывном единении душа молитвенно сливается с целым вселенной?

И не нужно человеку для этого единения отказываться от своего «я». Это «я» не давит его, не ужасает, не заставляет обращаться к небу с отчаянным воплем Бодлэра:

> Ah, Seigneur! Donnez moi la force et le courage
> De contempler mon coeur et mon corps sans degout!
> Боже! Дай мне силу и мужество
> Без отвращенья смотреть на мое сердце и мое тело!

Только сбросив с себя проклятую свою оболочку, в экстазе «исступив из себя», обезличившись, человек Достоевского способен слиться с миром, как капля, растворяясь, сливается с водою океана. Но зачем отрекаться от своего «я» толстовскому человеку, когда это «я» так певуче, светло и радостно? Зачем «исступать из себя», когда, и оставаясь собою, человек чувствует себя частью единого? Живой клетке организма нет нужды распадаться и растворяться, чтоб стать частицею единого организма,— напро-

гив, она тогда только и будет живою его частью, когда останется в то же время обособленною от него, останется сама собою.

И крепко, всей душою, всем существом своим Толстой знает, что человек сотворен для *счастья*, что человек может и должен быть прекрасен и счастлив на земле. Достоевский этого не знает. Не знает, кажется, и никто из нас. «Счастье»... Всем нам чуется в нем что-то, приличествующее только «aux animaux domestiques». Тот самый, «верный земле» современный писатель, который высшею наградою в борьбе считает собственную гибель, пишет: «одно я знаю,— не к счастью нужно стремиться, зачем счастье? Не в счастье смысл жизни, и довольством собою не будет удовлетворен человек,— он все-таки выше этого».

Может быть, наибольшая упадочность человеческого рода сказывается именно в этой поразительной неспособности его даже представить себе какое-нибудь счастье. «Лучше быть несчастным человеком, чем счастливой свиньей». Мы так усвоили этот миллевский афоризм, что не можем мыслить счастье иначе, как в качестве предиката к свинье, и, выговаривая слова афоризма, понимаем под ними другое: «лучше быть несчастным человеком, чем счастливым... *человеком*».

Вся красота, вся жизнь для нас, все достоинство — в страдании. Бессмертные песни спело человечество во славу страдания, вознесло его на такую высоту, что дух радостно бьется и тянется ему навстречу. К счастью же человек недоверчив и стыдлив. Он тайно берет его маленькими порциями для своего личного, домашнего обихода, и стыдится счастья, как секретной болезни, и, действительно, превратил его в секретную болезнь, потерял способность *достойно* нести счастье.

Благословлять губительные стрелы
И проклинать живящие лучи,—
Вот страшные и тесные пределы.
К иным путям затеряны ключи...
Отравленной стрелы вонзилось жало,—
Лобзай ее пернатые края...

Да что это — безумие больного человечества? Кошмарный бред, от которого нужно очнуться и расхохотаться? Ведь даже борясь за будущее, мы в душе все как будто боимся чего-то. Сами неспособные на радость, столь далекие от нее, опасливо уже задаем себе вопросы: не окажет-

ся ли счастье и радость синонимом *статики*? Не тем ли так и прекрасно будущее, что оно... никогда не придет? (Ибсен). Как прав Моррис! «Старый, жалкий мир с его изношенными радостями и с надеждами, похожими на опасения!..»

Высшее, до чего способна подняться наша фантазия, лишенная жизненного инстинкта и чаяния гармонии, это — трагический человек. Но если не суждено человечеству окончательно выродиться, то оно поймет когда-нибудь, что смысл его существования — не в трагическом преодолении жизни, а в бестрагичном, гармоническом слиянии с нею. Основою же этой бестрагичной гармонии может быть только одно,— *сила жизни*, та сила жизни, которая поборает всякую трагедию, для которой «на свете нет ничего страшного». Этою силою жизни несокрушимо-крепок был Гомер. Ее требовал от человека прекраснейший из эллинских богов, действенный, солнечно-светлый Аполлон, бог жизни и счастья. Этой-то силы требует от человека и Лев Толстой.

Трудно себе представить живого человека, у которого могла бы лежать душа одновременно к Достоевскому и Толстому. Мне кажется, на это способен только «любитель литературы», для кого глубочайшие искания и нахождения человеческого духа —лишь предмет эстетических эмоций. Всякий, конечно, «отдаст должное» гению обоих. Но кому дорог Толстой, тому чужд будет Достоевский; кому близок Достоевский, тот равнодушен будет к Толстому. Всегда будет два враждебных стана, никогда одни не поймут других, всегда будут упрекать их в поверхностном понимании или даже в намеренном непонимании учителя. И иначе не может быть: вместить и Достоевского, и Толстого невозможно,— так полно и решительно исключают они друг друга, так враждебно для одного все то, что дорого для другого.

Но тем чудеснее и поразительнее одно обстоятельство: третьего ноября смешной человек вдруг увидел сон.

Сон третьего ноября

Мало кто из читателей знаком с рассказом Достоевского «Сон смешного человека». Рассказ помещен в «Дневнике писателя» и теряется среди нудных рассуждений о том, что

Константинополь непременно должен быть наш и что отличие России от европейских держав заключается во всегдашнем ее бескорыстии в политике.

А между тем рассказ этот поистине поразителен. В нем Достоевский как бы подводит итог самому себе, приходит в ужас от этого страшного итога,— и душе вдруг открывается что-то совершенно новое.

Герой рассказа — обычный для Достоевского одинокий человек, обычный дьяволов подвижник, отчасти даже человекобог, в некотором роде достигший кирилловского идеала. Он решил убить себя, и вот почему:

«Меня постигло убеждение в том, что на свете везде все равно. Я вдруг почувствовал, что мне все равно было бы, существовал ли бы мир, или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что ничего при мне не было. И прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей и почти стал не примечать их... И добро бы я разрешил вопросы; о, ни одного не разрешил, а сколько их было? Но мне стало все равно, и вопросы все удалились».

В мрачный и дождливый осенний вечер он возвращается домой. В темноте к нему подбегает испуганная девочка, в ужасе что-то кричит, просит о помощи, тянет его куда-то. Но ему теперь — «все равно». А для героев Достоевского «все равно» или «все позволено» значит лишь одно: «ломай себя, а обязательно будь зол». В душе смешному человеку жалко девочку, но он, конечно, грозно топает ногами и прогоняет ее.

Возвратившись к себе, он принимается за обычное извлечение квадратного корня. «Ведь если я убью себя, например, через два часа, то что мне девочка, и какое мне тогда дело и до стыда и до всего на свете? Ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что, дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два часа все угаснет. Мир теперь как бы для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня». Следует обычный вопрос: если сделать пакость на Марсе или на луне, то, очутившись на земле, буду ли я чувствовать, что мне все равно?

С револьвером в руках смешной человек засыпает и видит сон.

«Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но неужели не все равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне истину? Ведь если раз узнал истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она истина, и другой нет и не может быть. Ну, и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой,— о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь! Слушайте»...

Ему снится, что он убивает себя — и в могиле вдруг оживает. «А, стало быть, есть и за гробом жизнь! И если надо быть снова и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!»

«Темное и неизвестное существо» поднимает смешного человека и мчит сквозь межзвездные пространства. Перед ним открывается другая солнечная система, совсем, как наша. Он узнает на одной из звездочек очертания Европы.

«Есть ли мучение на этой новой земле? — спрашивает смешной человек.— На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение! Мы иначе не умеем любить. Я хочу, я жажду, в сию минуту, целовать, обливаясь слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной».

Дух опускает смешного человека на эту новую землю, в местности, соответствующей у нас греческому архипелагу.

«И, наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Дети солнца, дети своего солнца,— о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой... Я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле. Они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена... И я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу, на животных и на звезды. У них не

было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих, и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с целым вселенной... Иных песен их, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им, безотчетно и все более и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившей подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего...

Знаете ли, я скажу вам секрет: все это, быть может, было вовсе не сон! Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что *я развратил их всех!* Как это могло совершиться, не знаю, не помню ясно. Как скверная трихина, как атом чумы, я заразил собою всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость... Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и *полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что истина достигается лишь мучением...* Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то наивны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Но странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, *они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед желаниями сердца своего, как дети,* обоготворили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же «желанию», *в то же время вполне веруя в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая и поклоняясь ему.* (Сердечное «веселие» и благообразие старцев Макара Ивановича и отца Зосимы?) И, однако, если бы только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если бы кто вдруг им показал его вновь и спро-

сил их: хотят ли они возвратиться к нему, *то они наверно бы отказались.* Они отвечали мне: «пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы з н а е м это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязуем себя и наказываем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. *Знание выше чувства, сознание жизни — выше жизни. Знание законов счастья — выше счастья».* (Психологические лаборатории «извлекателей квадратного корня»?) Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех... Чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве (Кириллов?). Наконец, эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что *страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль.* (Порфирий Раскольникову: «не смейтесь над этим, в страдании есть идея!») Они воспели страдание в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними... Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их. Я простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один. Но они лишь смеялись надо мной. Они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть».

Вот этот сон. Я изложил его очень подробно, потому что с удивительною яркостью он подводит итог самым заветным думам и настроениям Достоевского. Автор как бы намеренно собирает их здесь все воедино,—

Чтоб произнесть им приговор
Последний, страшный и бесславный.

«О, теперь жизни и жизни! — пишет смешной человек, проснувшись.— Я поднял руки и воззвал к вечной истине: не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь! Я иду проповедывать, я хочу проповедывать,— что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу».

В судорожном усилии человек на миг выкарабкался из мрачного своего подполья,— и увидел яркое солнце, увидел истину жизни.

«Потому, что я видел истину, *я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способно-*

сти жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. И как мне не веровать: я видел истину,— не то что изобрел умом, а видел, видел, и ж и в о й о б р а з ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не мог поверить, чтоб ее не могло быть у людей...»

Но ведь в этом— весь Толстой, весь целиком! У него видели мы эту истину, и «живой образ ее наполнил наши души». Разница только та, что прекрасные люди с земли-двойника куда более *скучно*-счастливы, чем люди с нашей земли у Толстого.

Кончается рассказ тоже совсем по-толстовски: «*И как это просто;* в один бы день, в о д и н б ы ч а с — все бы сразу устроилось! Главное — люби других, как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться».

Разве же это так просто? Для Толстого— да, просто. Но для Достоевского... Ведь счастливые люди с земли-двойника, они как раз любили друг друга, как себя. «Была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая». Однако довольно было появиться одной единственной «трихине»,— и вся жизнь сразу оказалась отравленной и разрушенной. А защититься от одной вползающей трихины легче, чем уничтожить трихин, когда ими кишит вся жизнь.

Если в понимании человека прав Толстой, то дело, действительно, просто: нужно только вызвать на свет ту *силу жизни*, которая бесчисленными ключами бьет в недрах человечества. Но если прав Достоевский,— а самый факт существования его показывает, что, по крайней мере, до известной степени прав он,— то дело очень и очень не просто. В мертвых и бесплодных недрах человечества только чуть сочатся вялые струйки жизни, ничего из этих недр не вызовешь. Силу жизни человечеству предстоит еще *добывать*. А это — задача огромная и безмерно-трудная.

Москва. Гелуан (Египет).
Калужск. губ. 1909—1910.

ПРИМЕЧАНИЯ

НА ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ *(Записки)*. Работу над этой книгой Вересаев начал сразу же после возвращения с театра военных действий. 13 января 1906 года он сообщил А. М. Горькому, что намеревается написать очерки о минувшей войне, и высказал пожелание напечатать их в сборниках «Знание» (см. Г. Бровман, В. В. Вересаев, М., 1959, стр. 172). Окончательное соглашение с издательством Вересаев заключил в ноябре 1906 года, как это видно из письма К. П. Пятницкому от 19 ноября того же года (Архив Горького). К ноябрю Вересаев уже написал несколько глав книги, а в декабре первые четыре главы были высланы редакции сборников «Знание». Последние главы записок были завершены летом 1907 года.

Полностью записки «На войне» впервые опубликованы в XVII, XVIII, XIX, XX сборниках «Знание», вышедших в свет в 1907—1908 годах. Третья глава книги («В Мукдене»), опубликованная впервые в июньском номере журнала «Образование» за 1906 год, была напечатана в «Знании» в значительно переработанном виде. Редакция «Знания» вынуждена была по цензурным соображениям произвести в тексте записок некоторые сокращения, которые были особенно значительны в последней главе книги — «Домой». Во всех дореволюционных изданиях этой книги Вересаеву не удалось сколько-нибудь существенно освободить ее от цензурных искажений. Подлинный текст записок под новым заглавием «На японской войне» был напечатан в советское время в V томе Полного собрания сочинений Вересаева («Недра», М., 1928). Этот текст с некоторыми сокращениями и воспроизводится в настоящем издании.

«На войне» вызвала многочисленные отзывы в печати тех лет. Реакционные и либеральные газеты и журналы, стремясь опорочить эту книгу в глазах читателей, голословно объявляли ее

«поверхностной», «нехудожественной». Рецензент журнала «Вестник Европы», например, лицемерно сокрушался по поводу того, что в записках Вересаева якобы нет гражданского морального пафоса: «Так как его рассказ не художествен, а фотографичен, то получилась не картина, убедительная своей глубокой правдой, а ряд анекдотов, ряд снимков, более или менее характерных, но случайных» («Вестник Европы», 1908, кн. 6, стр. 835). Любопытно, что один из самых отрицательных отзывов на эту книгу был напечатан в журнале «Образование», на страницах которого год назад была опубликована одна из глав книги («Образование», 1907, № 8, стр. 92—95).

Прогрессивная критика восприняла записки Вересаева о войне как значительное художественное произведение. «Его картина,— писал один из рецензентов,— открывает внимательному читателю глубину не только национального, но и общечеловеческого страдания. За преступлениями военных деятелей старого режима поднимается кровавый призрак величайшего общественного зла: милитаризма» («Современный мир», 1908, № 8, стр. 106).

ЖИВАЯ ЖИЗНЬ. (Часть первая. *О Достоевском и Льве Толстом*). Над этой книгой Вересаев работал с перерывами свыше пяти лет. Публикуемая в настоящем издании первая ее часть написана в 1909—1910 годах. Вторая часть — «Аполлон и Дионис (О Ницше)» — закончена в 1914 году.

Первая часть «Живой жизни» (О Достоевском и Льве Толстом) впервые напечатана в журнале «Современный мир» за 1910 год. Первый раздел — «Человек проклят. (О Достоевском)» — в 1 и 2-м номерах, а второй — «Да здравствует весь мир. (О Льве Толстом)» — в 10, 11 и 12-м. В журнальной публикации второго раздела отсутствовала глава XI («Мне отмщение»), которая была впервые напечатана в качестве отдельной статьи в сборнике «Друкарь» (М., 1910). В дальнейшие издания книги Вересаев вносил некоторые исправления и изменения В настоящем издании «Живая жизнь» печатается по тексту т. VII, «Недра», М., 1929.

Вересаев считал «Живую жизнь» одной из самых удачных и значительных своих книг. В «Записях для себя» он признавал, что к мысли о ее написании он пришел после неудачи повести «К жизни». «В долгих исканиях смысла жизни я в то время пришел, наконец, к твердым, самостоятельным, не книжным выводам, давшим мне глубокое удовлетворение... Я попытался свои искания и нахождения втиснуть в художественные образы,— и только исковеркал их... Я увидел, что у меня ничего не вышло, и тогда все свои искания и нахождения изложил в другой форме — в форме критического иссле-

дования. Во Льве Толстом и Достоевском, в Гомере, эллинских трагиках и Ницше я нашел неоценимый материал для построения моих выводов... Это, по-моему, самая лучшая из написанных мною книг. Она мне наиболее дорога. Я перечитываю ее с радостью и гордостью» (см. т. 5 наст. изд.).

Книга Вересаева «О Достоевском и Льве Толстом» вызвала в печати оживленные споры. Реакционные критики старались прежде всего опровергнуть мысль Вересаева о противоположности творчества Достоевского и Толстого. Так, например, критик журнала «Вестник Европы» утверждал, что эта противоположность предопределена не нравственно-философскими и, стало быть, в конечном счете социальными причинами, а различием темпераментов. «Мы... считаем нужным возразить,— писал он,— против того безусловного противоположения Достоевского Толстому, какое проведено во всей книге. Отношение их по существу то же, что и отношение Пушкина и Гоголя... Это отношение двух основных человеческих типов: классика и романтика, Аполлона и Диониса» («Вестник Европы», 1911, кн. 5, стр. 381).

Критики, стремившиеся в те годы поддержать прогрессивные традиции русской литературы, оценивали книгу Вересаева как одно из наиболее ярких выступлений против декадентской пропаганды самых слабых, реакционных сторон наследия Достоевского. Они справедливо считали, что эта книга — событие не только литературной, но и общественной жизни. «Живая жизнь» Вересаева... очень смелый бунт против Достоевского, ...протест против господства его настроений в жизни и литературе» (Е. Колтоновская, Критические этюды, СПб, 1912, стр. 226).

М. Еремин

СОДЕРЖАНИЕ

В. ВЕРЕСАЕВ
Собрание сочинений
в 5 томах. Том III.

Иллюстрации художника
П. Я. Караченцова.

Оформление художника
В. Левинсона.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 24/I 1961 г. Тираж 350 000 экз. Изд. № 200. Заказ № 3255. Форм. бум. 84×108 1/32. Бум. л. 7,75. Печ. л. 25,42+2 вкл. (0,2 п. л.). Уч.-изд. л. 28. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина. Москва, улица «Правды», 24.

